

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й
М И Р

3



1980



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 3

Март, 1980 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МАРТ — лирические стихотворения: Лидия Григорьева, Светлана Соложенкина, Римма Катаева, Эмма Марченко, Олеся Николаева, Лариса Сушкова, Лорина Дымова, Корнелия Войткевич, Наталья Грачева, Светлана Мекшен	3
Д. С. ЛИХАЧЕВ — Заметки о русском	10
ТУДОР АРГЕЗИ — Когда венчаются с железом жгучим клещи. Перевели с румынского Новелла Матвеева, Анна Ахматова, Андрей Вознесенский, Кирилл Ковальджи	39
ЮЛИЯ ДРУНИНА — «Ноль три», стихи	45
ВЛАДИМИР ОРЛОВ — Альтист Данилов, роман. Продолжение	49
РИММА ЧЕРНАВИНА — Путешествие Дерева вместе с корнями, стихи	180
ПУБЛИЦИСТИКА	
ВСЕГДА ОТКРЫТОЕ ЛИЦО. Из переписки писателя-публициста В. Я. Канторовича и ленинградского слесаря С. Г. Солипатрова. Предисловие А. Левикова	183
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ГРИГОРИЙ РЕЗНИЧЕНКО — Последние американцы	197
В МИРЕ ИСКУССТВА	
Н. МИХАЙЛОВ — Павел Корин	220
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
Е. ТАРАКАНОВА — «Если ранили друга...»	234
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Л. АННИНСКИЙ — В цепи. Михаил Луконин и его поэтические спутники	247
Л. ЛАВЛИНСКИЙ — Биография подвига	261

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Ирина Винокурова. Поэзии пристальный опыт. — С. Муратов. Лицо лица.	268
<i>Политика и наука</i>	
В. Елисеева. Очеркист в пути. — В. Карпушин, Я. Поварков. Маоизм, его буржуазные интерпретаторы и апологеты. — Г. Федоров. Извечный круговорот.	
КОРОТКО О КНИГАХ: Ю. Игрицкий. — Советский Союз глазами американцев. 1917—1977. Документы и материалы. ♦ Ю. Орфеев. — А. Чачко. Искусственный разум. ♦ Б. Розен. — Е. Мархинин. В пасти огнедышащих драконов. ♦ Н. Черкасова. — Н. А. Тронцкий. Безумство храбрых. Русские революционеры и карательная политика царизма 1866—1882 гг. ♦ Н. Макарова. — Николай Самохин. Так близко, так далеко. Повесть. ♦ Л. Абелев. — Борис Шмидт. Стихи о моих сокровищах. ♦ А. Л. Хорт. — Витауте Жилинскайте. Парадоксы. Юморески, пародии	282
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	288

МАРТ

Лирические стихотворения

ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВА

Март

Сошли на нет февральские морозы,
подули резко влажные ветра,
и ты, мой музыкант черноволосый,
на улице мне встретился вчера.
Снега вокруг стоят — каменоломней,
где обнаженья мрамора слепят.
И темен твой, уже не вероломный,
обезоруженный разлукой взгляд.

* * *

Столько за зиму тепла во мне скопилось,
а куда его девать, скажи на милость?
В этом городе ни деревца, ни сада,
здесь и воздух тяжелее самосада.
Снова сердцу пустеть, как улице в полночь,
где носится ветер и «скорая помощь».

СВЕТЛАНА СОЛОЖЕНКИНА

* * *

В юности сулили мне так много!
Ничего на свете не брала.
Мне нужна была одна дорога...
Я сама дорогою была.
Да и что, крылатой с колыбели,
на земле могли мне обещать?
На руках меня носить хотели,
я ж хотела одного: летать.
Предо мной синел простор широкий,
и казалось: неба не избыть...
Я была любимой — и жестокой.
Стала доброй — некого любить.

* * *

Переезжают. Осторожно
выносят зеркало, кладут
среди цветов и трав, и можно

вообразить, что это пруд.
 Сейчас трюмо уложат в ящик,
 засыплют стружкой... А пока —
 над перевернутою чашей
 белеют стройно облака.
 Понять хоть что-нибудь бессилён,
 шмель пробует в стекло попасть —
 туда, где колокольчик синий
 вниз головой гуляет всласть.
 Но нет! Там шмель д р у г о й
и в гости
 к себе не пустит все равно...
 Толчок — и зеркало увозят
 со всем, что в нём отражено.

* *
 *

Из стрекозиных крылышек
 свяжу я синий плот...
 Кто любит жизнь — тот море
 на нём переплывет.

РИММА КАТАЕВА

Глухарь

Весна, апрель.
 Глухой болотный край,
 Где на заре токуют глухари,
 Наивные лесные звонари,
 Что ничего не слышат — хоть стреляй!..
 ...Ты мне звонишь. И говоришь умно.
 Всегда взволнован быстрый твой рассказ.
 А я пытаюсь — уж который раз! —
 В него словечко вставить — хоть одно...
 Но ты не слышишь —
 Будто на току,
 На глухарином игрище, поешь.
 Я не бекас, и хоть светает — все ж
 Перекричать тебя я не могу.
 Глухарь, глухарь — ну что тут толковать...
 Ты с глухоманью путаешь меня.
 Хочу я — и боюсь — такого дня,
 Когда ты перестанешь токовать.

ЭММА МАРЧЕНКО

* *
 *

Я ожидала: скоро ли придешь,
 С каким попутным облаком нагрнешь?
 Ты мне необходимым стал, как дождь
 Печально засыхающей поляне.
 На ней поникли нежные цветы,
 И желтизна уже проникла в травы,
 Но грянул дождь — склонившись, обнял ты,

Склонившись, обнял, это было главным.
 Что будет после, отгадать не тщусь —
 Пахнёт ли мятой, обожжет крапивой.
 Во мне сейчас такая свежесть чувств,
 Что грех себя не чувствовать счастливой.

Ярославль в снегу

Я светлый образ в сердце берегу:
 У зимней Волги Ярославль в снегу.
 Над Волгою крутые берега
 Смягчились, облаченные в снега.
 А городские площади белы,
 Как для гостей накрытые столы.
 Во всех трамваях окна изо льда,
 Белы деревья, крыши, провода.
 И лишь красна морозная заря,
 Как праздничный листок календаря.

ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА

«Прощай!»

Что ты слышишь и знаешь такого,
 если ты не погибель и страх,
 а скольжение луча золотого
 различаешь в прощальных словах?
 Смотришь пристально, неуловимо
 мимо окон, людей, тополей,
 мимо сумрака летнего, мимо
 умоляющей жизни моей!
 ...Как давно, как темно это было,
 но, текущее в ночь через край,
 я лишь только теперь полюбила
 это чудное слово «прощай».
 Не оно ль мне открыло звучанье
 всех лесов, и дождей, и полей?
 Да и я не твое ль завещанье
 исполняю всей жизнью моей? —

...долгой жизнью прощенья-прощанья.

Осень

Волнуется реки бывлая гладь,
 и воздух тянет гибнуть и рыдать,
 и кто-то тихо просит погадать.
 Но — что гадать? Вот стали дни короче...
 И надо жизнь от холода спасать.
 Когда ж к огню не будут вас пускать
 и дальний свет вы приметесь искать —
 поможет вам покров продрогшей ночи.

И — что гадать? Ну прибыль, ну успех,
 ну друг придет на зов, ну стол и смех,

да и любовь заглянет, как на грех,
и вновь уйдет...
И век почти что прожит!
Жизнь износила тщетное пальто.
И — что гадать?
Ну, может, лишь про то,
что в этот час, как никогда никто,
покров продрогшей ночи вам поможет!

ЛАРИСА СУШКОВА

* * *

И веселой была и русой —
Угадаешь ли ныне?
Молодую маму Марусей
Называли родные.
Над косою на старом фото
Плоский бант, как носили.
Примечал издавека кто-то
Мамин взгляд серо-синий.
Полон доблести не напрасной,
Он, от жизни морщин не пряча,
Может, так и хранит неглядя
В своем сердце ребячье?

* * *

Когда навстречу море хлынет
Без оговорок, без границ —
Все тяготы как будто вынет
И стены хмурые раздвинет
Гурьба веселых кружевниц.

Душе не душно уж, как раньше.
Она сильна всей высотой,
Прозрачной прозеленью той,
Всей дерзостью волны ближайшей,
Всей дали сизой синевой.

ЛОРИНА ДЫМОВА

* * *

В тенистом зеленом затоне
купаются белые кони.
Встают на дыбы
храпящие кони судьбы
и вновь погружаются в черную воду...
Призывно трубят вдалеке пароходы
о том, что нашли наконец-то большую дорогу!
...И звезды всплывают. Таких я не видела в жизни, ей-богу.
Здесь, в этом чернеющем с каждой минутой затоне,
день медленно тонет.

И здесь же, я знаю, покоятся все мои прошлые дни.
Я вижу на илистом дне золотые огни
и ведаю: это они...
В затихшем затоне
какая-то птица безудержно стонет,
и травы густые ее, безутешную, прячут...
Ах, только б не знать, о чем она плачет!..
И как бы прогнать эти мысли тревожные прочь!
На тихий затон ложится густая осенняя ночь.
Глядится вода в черный купол небесный,
и смотрится в воду холодная звездная бездна.
И черными стали во тьме и, как тени, растаяли кони.
И ни ветерка, ни шуршанья, ни всплеска — лишь птица все стонет
и стонет
в уснувшем затоне...

КОРНЕЛИЯ ВОЙТКЕВИЧ

Художникам

И я люблю тех бородатых братство,
отъявленных и хмурых чудаков,
дробящих постоянство и пространство
на множество великое кусков.
И в час, когда созвездья зодиака
нам шлют свои пунктирные лучи,
с неутоленной жаждою маньяка
они бредут, отшельники, в ночи.
Стрельцы и козероги, львы и рыбы,
отмеченные богом, сатаной,
они бредут, неузнанные глыбы,
в насыщенной пустыне мировой.

И скульптор тот, он грешный был паломник,
он глиной причащался отродясь,
он свой искал Бермудский треугольник,
на пыльный лик нечаянно крестясь.
И в этом треугольнике скитанья
его трясло разрядом новизны,
он выворачивал изнанкою сознание,
ладони ранил, осязая сны.
Устал смертельно, кисти стер, пиненом
пропахли пальцы, ногти отросли,
в подвалах Сретенки меж сыростью и тленом,
наверно, ярче запахи земли.
Там в плоскости, сведенной на подрамник,
четвертым измерением звеня,
с лицом знакомым полоумный странник
протискивает улицей коня.
Там, дробными деревьями измучен,
спит город древний, спекшийся нутром,
и девочка из лепестков созвучий
белеет смутно в сквере голубом.
Тебя узнаю я среди Коро и Мунка
или в толпе тревожной на крыльце,
тебя с улыбкой детского рисунка
в незащищенном и родном лице.

* *
*

Автопортрета белое пятно
из юных дней в провинциальной раме,
как с занавесками открытое окно
на подоконнике с простыми васильками.
Средь переулков стиснутых домов,
жилем пропахших и сиренью чахлой,
закаты летние московских вечеров
казались мне возведены на плаху.
Еще не знала я всю сладость этих мест,
асфальтного наждачного простора,
и чудился мне заповедный всплеск
речушки темной средь густого бора.
Тогда не знала я, что буду влюблена
в сумятицу бульваров Чистопрудных,
когда зимы сырая пелена
меня облепит кашею простудной.

Из мастерской глухого чердака
увидю стен и крыш нагроможденье,
плывущие на запад облака
и улицы вечернее виденье,
где в сумерках пространных витражей
отражено лицо мое мгновенным,
раздробленное сколами огней
и обрамленьем собранное медным.
И в тех осколках, преломивших свет,
и в мире переменчивом и новом
я возникаю голосом и словом,
как линия, связующая цвет.

НАТАЛЬЯ ГРАЧЕВА

Без названия

Деревья стыли белыми цветами,
Зима легла от глаза к горизонту
Неузнанною долгою равниной
И влажной тенью леса вдалеке...
И я тянулась лесом и равниной
И обрывалась снежными горами,
А черные разломанные ветки
В меня вращали.
Может, оттого
Неузнанной была я и пугливой,
Без имени, без голоса, без слова,
Тянулась только... Не было покоя,
И словно в ожидании чего-то —
Порыва ветра, жалобы, участия —
Я припадала тишиной к реке
И ощущала смутное движенье,
Глубокое и быстрое начало...
А на снегу внезапно голубели
Отчетливые длинные следы.
Все это пребывало без названья.

И вот тогда
Я стала незаметной
(Ты все равно не узнавал меня).
А между тем не раз у светлых стекол
Я опускалась легким снегопадом
И нитью света золотила снег,
Но оставалась верной без названья,
Без имени, без взгляда, без упрека,
Мечтала только именем высоким,
Высокой нотой, звуком, даже словом
Быть названной
(Но ты не называл).

Быть может, странным выгладит обычай
Всему давать какие-то названья,
Но как иначе ощутить пределы?
Как осознать внезапно, обостренно,
Что небом обрывается земля
И вместе льнут к крутому горизонту
Границы листьев и границы тени?
Как в полной мере осознать себя?
Как осознать, не ощутив потери,
Где обрывался ты, где начиналась я?..
Ты не хотел назвать меня — любимой.

СВЕТЛАНА МЕКШЕН

Власть света

Над остротою ощущения —
змеиный яд, пчелиный мед...
Над вечным перевоплощением —
все тот же времени исход.
Еще один рассвет расщедрится.
Еще один закат блеснет.
Но чей-то скорый шаг замедлится.
Но чей-то темный взор хлестнет.
Медовых дней игра бездумная.
Всеядных почестей напасть.
Пока надежда хитроумная
не перестанет пряжу прясть.
По нитке света истонченного
разматывать клубок страстей.
Лица не видеть обреченного.
Не знать печальных новостей.
И как бы судьбы ни коверкало,
судей над властью света нет,
покуда на осколке зеркала
дыхания отчетлив след.



Д. С. ЛИХАЧЕВ



ЗАМЕТКИ О РУССКОМ

Природа, родник, родина, просто доброта

Очень много у нас пишется о наших корнях, корнях русской культуры, но очень мало делается для того, чтобы по-настоящему рассказать широкому читателю об этих корнях, а наши корни — это не только древняя русская литература и русский фольклор, но и вся соседствующая нам культура. У России, как у большого дерева, большая корневая система и большая листовенная крона, соприкасающаяся с кронами других деревьев. Мы не знаем о себе самых простых вещей. И не думаем об этих простых вещах.

Я собрал у себя различные заметки, делавшиеся мной по разному поводу, но все на одну тему — о русском, и решил их предложить читателю.

Естественно, что раз заметки делались по разным поводам, то и характер их различный. Сперва я думал их привести к какому-то единству, придать стройность композиционную и стилистическую, но потом решил: пусть сохранится их нестройность и незаконченность. В нестройности моих заметок отразилась случайность поводов, по которым они писались: то это были ответы на письма, то заметки на полях прочитанных книг или отзывы по поводу прочитанных рукописей, то просто записи в записных книжках. Заметки должны остаться заметками: так в них будет меньше претенциозности. О русском можно писать очень много и все-таки нельзя исчерпать эту тему.

Все, что я пишу далее в своих заметках, это не результат проведенных мною исследований — это «тихая» полемика. Poleмика с чрезвычайно распространившимся и у нас и на Западе представлением о русском национальном характере как о характере крайности и бескомпромиссности, «загадочном» и во всем доходящем до пределов возможного и невозможного (и, в сущности, недобром).

Вы скажете: но и в полемике следует доказывать! Ну а разве распространившееся ныне на Западе, да и частично у нас представление о русском национальном характере, о национальных особенностях русской культуры, и в частности литературы, доказано кем-либо?

Мне мое представление о русском, выросшее на основе многолетних занятий древнерусской литературой (но и не только ею), кажется более убедительным. Конечно, я здесь только коснусь этих своих представлений и лишь для того, чтобы опровергнуть другие — ходячие, ставшие своего рода «исландским мхом», мхом, который осенью отывается от своих корней и «бродит» по лесу, подтолкнутый ногой, смытый дождями или сдвинутый ветром.

Национальное бесконечно богато. И нет ничего удивительного в том, что каждый воспринимает это национальное по-своему. В этих заметках о русском я и говорю именно о своем восприятии того, что может быть названо русским — русским в характере народа, русским в характере природы.

Каждое индивидуальное восприятие национального не противоречит другому его индивидуальному восприятию, а скорее дополняет, углубляет. И ни одно из этих личных восприятий национального не может быть исчерпывающим, бесспорным, даже просто претендовать на то, чтобы быть восприятием главного. Пусть и мое восприятие всего русского не исчерпывает всего главного в национальном русском характере. Я говорю в этих заметках о том, что кажется для меня лично самым драгоценным.

Читатель вправе спросить меня: почему же я считаю свои заметки о русском достойными его внимания, если я сам признаю их субъективность? Во-первых, потому, что во всяком субъективном есть доля объективного, а во-вторых, потому, что в течение всей жизни я занимаюсь русской литературой — древней в особенности — и русским фольклором. Этот мой жизненный опыт, как мне представляется, и заслуживает некоторого внимания.

Природа и доброта

На днях приезжала ко мне в Комарово молодая переводчица из Франции. Она переводит две мои книги — «Поэтику древнерусской литературы» и «Развитие русской литературы X—XVII вв.». Естественно, что у Франсуазы много затруднений с цитатами из древнерусских текстов и русского фольклора. Есть затруднения, так сказать, обычные: как передать все оттенки, которые имеются в русском, разные ласкательные, уменьшительные — всю ту вибрацию чувств, которая так хорошо отражена в русском фольклоре в отношении окружающего — людей и природы? Но вот одно место ее уж очень серьезно затруднило. Арина Федосова говорит в одном из своих причитаний о том, что после смерти своего мужа снова вышла замуж:

Я опять, горе-бедна, кинулась,
За друга сына да за отцовского...

Франсуаза спрашивает: «Что же это значит: она вышла за брата своего мужа? за другого сына отца своего прежнего мужа?» Я говорю: «Да нет, это просто такое выражение, Федосова хочет сказать, что у ее второго мужа тоже был отец». Франсуаза еще больше удивляется: «Но разве не у каждого человека есть или был отец?» Я ей отвечаю: «Да, это так, но когда хочешь вспомнить о человеке с ласкою, то мысль невольно кружится вокруг того, что у него были родные — может быть, дети, может быть, братья и сестры, жена, родители. Зимой я увидел, как погиб под грузовиком человек. В толпе больше всего говорили не о нем, а о том, что, может быть, у него дома остались дети, жена, старики... Жалели их. Это очень русская черта. И приветливость у нас часто выражается в таких словах: родненький, родименький, сынок, бабушка...» Франсуаза вспыхивает: «А, вот что это значит! Я на улице спросила одну пожилую женщину, как найти нужную мне улицу, а она сказала мне „доченька“». «Вот именно, Франсуаза, она хотела обратиться к вам ласково». «Значит, она хотела сказать, что я могла бы быть ее дочерью? Но разве она не заметила, что я иностранка?» Я рассмеялся: «Конечно же, она заметила. Но она именно потому и назвала вас доченькой, что вы иностранка, чужая в этом городе — вы же ее спросили, как пройти куда-то». «Ах!» Франсуаза заинтересована.

Я продолжаю: «Если вы иностранка, вы, значит, одна в Ленинграде. Пожилая женщина, называя вас доченькой, не хотела непременно сказать, что вы ее дочь. Она называла вас так потому, что у вас есть мать или была мать. И именно этим она вас приласкала». «Как это по-русски!»

И дальше разговор пошел о том, где и когда в русской поэзии или в русской литературе ласковость к человеку выражается в том, что у него есть родные. Вот, например, «Повесть о Горе Злочастии». В ней выражается необыкновенная ласка к беспутному ее герою — молодцу, и начинается она с того, что у молодца этого были родители, которые берегли его и холили да жить «научали». А когда молодцу в «Повести о Горе Злочастии» становится особенно худо, то поет он «хорошую напевочку», которая начинается так:

Безпечална мати меня породила,
гребешком кудерцы розчесывала,
драгими порты меня одеяла
и отшед под ручку посмотрела,
хорошо ли мое чадо в драгих портах? —
а в драгих портах чаду и цены нет!

Значит, и красивым-то молодец вспоминает о себе с матерью — как мать на него «отшед под ручку посмотрела».

Франсуаза вспомнила, что в ее родном Безансоне поставлены «Три сестры» Чехова и французы очень любят эту пьесу. Ведь и тут речь идет именно о трех сестрах, а не о трех подругах, трех разных женщинах. То, что героини сестры, это ведь особенно и нужно русскому зрителю, чтобы им сочувствовать, возбудить к ним симпатии. Чехов замечательно угадал эту черту русского читателя, русского зрителя.

И дальше мы стали вспоминать, сколько в русском языке слов с корнем «род»: родной, родник, родинка, народ, природа, родина...

Слова эти как бы сами слагаются вместе — родники родимой природы, прирожденность родникам родной природы. Исповедь земле. Земля — это главное в природе. Земля рождающая. Земля урожайная. И слово «цвет» — от цветов! Цвета цветов! Рублевское сочетание — васильки среди спелой ржи. А может быть, голубое небо над полем спелой ржи? Все-таки васильки — сорняк, и сорняк слишком яркий, густосиний, не такой, как в рублевской «Троице». Крестьянин не признает васильки своими, и рублевский цвет не синий, а скорее небесно-голубой. И у неба сияюще синий цвет, цвет неба, под которым зреют колосистые поля ржи (в этом слове тоже корень, связанный с ростом, урожаем, рождением; рожь — это то, что рождает земля).

Просторы и пространство

Для русских природа всегда была свободой, волей, привольем. Прислушайтесь к языку: погулять на воле, выйти на волю. Воля — это отсутствие забот о завтрашнем дне, это беспечность, блаженная погруженность в настоящее.

Широкое пространство всегда владело сердцами русских. Оно выливалось в понятия и представления, которых нет в других языках. Чем, например, отличается воля от свободы? Тем, что воля вольная — это свобода, соединенная с простором, с ничем не прегражденным пространством. А понятие тоски, напротив, соединено с понятием тесноты, лишением человека пространства. Притеснять человека — это прежде всего лишать его пространства.

Воля вольная! Ощущали эту волю даже бурлаки, которые шли по бечеве, упряженные в лямку, как лошади, а иногда и вместе с лошадьми. Шли по бечеве, узкой прибрежной тропе, а кругом была для них

воля. Труд подневольный, а природа кругом вольная. И природа нужна была человеку большая, открытая, с огромным кругозором. Поэтому так любимо в народной песне полюшко-поле. Воля — это большие пространства, по которым можно идти и идти, брести, плыть по течению больших рек и на большие расстояния, дышать вольным воздухом, воздухом открытых мест, широко вдыхать грудью ветер, чувствовать над головой небо, иметь возможность двигаться в разные стороны — как вздумается.

Что такое воля вольная, хорошо определено в русских лирических песнях, особенно разбойничьих, которые, впрочем, создавались и пелись вовсе не разбойниками, а тоскующими по вольной волюшке и лучшей доле крестьянами. В этих разбойничьих песнях крестьянин мечтал о безопасности и отплате своим обидчикам.

Русское понятие храбрости — это удаль, а удаль — это храбрость в широком движении. Это храбрость, умноженная на простор для выявления этой храбрости. Нельзя быть удалым, храбро отсиживаясь на укреплённом месте. Слово «удаль» очень трудно переводится на иностранные языки. Храбрость неподвижная еще в первой половине XIX века была непонятна. Грибоедов смеется над Скаловубом, вкладывая в его уста такие слова: «На третье в ночь засели мы в траншею. Ему дан с бантом, мне — на шею». Смешно — как это можно «засесть», да еще в «траншею», где уж вовсе не пошевелинешься, и получить за это боевую награду?

Да и в корне слова «подвиг» тоже «застряло движение»: «по-двиг», то есть то, что сделано движением, побуждено желанием сдвинуть с места что-то неподвижное.

В одном из писем Николая Рериха, написанном в мае — июне 1945 года и хранящемся в фонде Славянского антифашистского комитета в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, есть такое место: «Оксфордский словарь узаконил некоторые русские слова, принятые теперь в мире; например, слова «указ» и «совет» упомянуты в этом словаре. Следовало добавить еще одно слово — непереводимое, многозначительное русское слово «подвиг». Как это ни странно, но ни один европейский язык не имеет слова хотя бы приблизительного значения...» И далее: «Героизм, возмещаемый трубными звуками, не в состоянии передать бессмертную, всезавершающую мысль, вложенную в русское слово «подвиг». Героический поступок — это не совсем то, доблесть — его не исчерпывает, самоотречение — опять-таки не то, усовершенствование — не достигает цели, достижение — имеет совсем другое значение, потому что подразумевает некое завершение, между тем как подвиг безграничен. Соберите из разных языков ряд слов, означающих лучшие идеи передвижения, и ни одно из них не будет эквивалентно сжато, но точному русскому термину «подвиг». И как прекрасно это слово: оно означает больше, чем движение вперед, — это „подвиг“...» И еще: «Подвиг не только можно обнаружить у вождей нации. Множество героев есть повсюду. Все они трудятся, все они вечно учатся и двигают вперед истинную культуру. «Подвиг» означает движение, проворство, терпение и знание, знание, знание. И если иностранные словари содержат слова «указ» и «совет», то они обязательно должны включить лучшее русское слово — „подвиг“...»

В дальнейшем мы увидим, насколько глубок Н. Рерих в своем определении оттенков значения слова «подвиг», слова, выражающего какие-то сокровенные черты русского человека.

Но продолжим о движении.

Помню в детстве русскую пляску на волжском пароходе компании «Кавказ и Меркурий». Плясал грузчик (звали их крчунчиками). Он

плясал, выкидывая в разные стороны руки, ноги, и в азарте сорвал с головы шапку, далеко кинув ее в столпившихся зрителей, и кричал: «Порвусь! Порвусь! Ой, порвусь!» Он стремился занять своим телом как можно больше места.

Русская лирическая протяжная песнь — в ней также есть тоска по простору. И поется она лучше всего вне дома, на воле, в поле.

Колокольный звон должен был быть слышен как можно дальше. И когда вешали на колокольную новый колокол, нарочно посылали людей послушать, за сколько верст его слышно.

Быстрая езда — это тоже стремление к простору.

Но то же особое отношение к простору и пространству видно и в былинах. Микула Селянинович идет за плугом из конца в конец поля. Вольге приходится его три дня нагонять на молодых бухарских жеребчиках.

Услыхали они в чистом поли пахаря,
Пахаря-пахарюшка.
Они по день ехали в чистом поли,
Пахаря не наехали,
И по другой день ехали с утра до вечера.
Пахаря не наехали,
И по третий день ехали с утра до вечера,
Пахаря и наехали.

Ощущение пространства есть и в зачинах к былинам, описывающих русскую природу, есть и в желаниях богатырей, Вольги например:

Похотелось Вольги-то много мудрости:
Шукой рыбою ходить Вольги во синих морях,
Птицей соколом летать Вольги под облака,
Волком и рыскать во чистых полях.

Или в зачине былины «Про Соловья Будимировича»:

Высота ли, высота поднебесная,
Глубота, глубота акиян-море,
Широко раздолье по всей земли,
Глубоки омоты днепровския...

Даже описание теремов, которые строит «дружина хоробрая» Соловья Будимировича в саду у Запавы Путятичны, содержит этот же восторг перед огромностью природы:

Хорошо в теремах изукрашено:
На небе солнце — в тереме солнце,
На небе месяц — в тереме месяц,
На небе звезды — в тереме звезды,
На небе заря — в тереме заря
И вся красота поднебесная.

Восторг перед просторами присутствует уже и в древней русской литературе — в летописи, в «Слове о полку Игореве», в «Слове о погибели Русской земли», в житии Александра Невского, да почти в каждом произведении древнейшего периода XI—XIII веков. Всюду события либо охватывают огромные пространства, как в «Слове о полку Игореве», либо происходят среди огромных пространств с откликами в далеких странах, как в житии Александра Невского. Издавна русская культура считала волю и простор величайшим эстетическим и этическим благом для человека.

Еще о доброте

Мне не кажутся правильными банальные характеристики новгородских и псковских церквей как преисполненных только силы и мощи, как грубых и лаконичных в своей простоте. Для этого они прежде всего слишком невелики.

Руки строителей словно вылепили их, а не «вытягивали» кирпичом и не вытесывали их стены. Поставили их на пригорках — где виднее, позволили им заглянуть в глубину рек и озер, приветливо встречать «плавающих и путешествующих». Их строили в единении с природой, не чертили предварительно планы на пергамене или бумаге, а делали чертеж прямо на земле и потом уж вносили поправки и уточнения при самом строительстве, присматриваясь к окружающему пейзажу.

И вовсе не противоположны этим простым и веселым строениям, побеленным и по-своему «приневадившимся», московские церкви. Пестрые и асимметричные, как цветущие кусты, золотоглавые и приветливые, они поставлены точно шутя, с улыбкой, а иногда и с кротким озорством бабушки, дарящей своим внукам радостную игрушку. Недаром в древних памятниках, хваля церкви, говорили: «Храмы веселются». И это замечательно: все русские церкви — это веселые подарки людям, любимой улочке, любимому селу, любимой речке или озеру. И как всякие подарки, сделанные с любовью, они неожиданны: неожиданно возникают среди лесов и полей, на изгибе реки или дороги.

Московские церкви XVI и XVII веков не случайно напоминают игрушку. Недаром у церкви есть глава, шея, плечи, подошва и «очи» — окна с бровками или без них. Церковь — микрокосм, как микромир — игрушечное царство ребенка, а в игрушечном царстве ребенка человек занимает главное место.

Среди многоверстных лесов, в конце длинной дороги возникают северные деревянные церкви — украшение окружающей природы.

Не случайно так любили в древней Руси и некрашеное дерево — теплое и нежное при прикосновении. Деревянная изба и до сих пор полна деревянных вещей — в ней не ушибешься больно и вещь не встретит руки хозяина или гостя неожиданным холодком. Дерево всегда теплое, в нем есть что-то человеческое.

Все это говорит не о легкости жизни, а о той доброте, с которой человек встречал окружающие его трудности. Древнерусское искусство преодолевает окружающую человека косность, преодолевает расстояния между людьми, мирит его с окружающим миром. Оно — доброе.

Стиль барокко, проникший в Россию в XVII веке, особенный. Он стал особенным именно в России. Он лишен глубокой и тяжеловатой трагичности западноевропейского барокко. В русском барокко нет интеллектуальной трагедии. Он более, казалось бы, поверхностный и вместе с тем более веселый, легкий и, может быть, даже чуть легкомысленный. Русское барокко заимствовало у Запада лишь внешние элементы, используя их для разных архитектурных затей и выдумок. Это необычно для церковного искусства, и нигде в мире нет такого радостного и веселого религиозного сознания, такого веселого церковного искусства. Царь Давид Псалмопевец, пляшущий перед ковчегом завета, слишком серьезен сравнительно с этими развеселыми и пестрыми, улыбающимися строениями.

Так было и при барокко и до появления барокко в России. Не надо далеко ходить за примерами: церковь Василия Блаженного. Называлась она сперва церковью Покрова на рву, а потом народ окрестил ее церковью Василия Блаженного — юродивого, святого, в честь которого был создан один из ее приделов. Василий — это святой-глупец. И действительно, стоит зайти внутрь этого храма, чтобы поразиться его дурашливости. Внутри его тесно и можно легко запутаться. Не случайно этот храм не впустили в Кремль, а поставили на посаде, среди торгового балавства, а не храм, но балавство святое и святая радость. Что же касается до дурашливости, то недаром в русском языке «ах ты мой глупецкий», «ах ты мой дурачок» — самые ласковые из ласка-

тельство. И дурак в сказках оказывается умнее самого умного и счастливее самых удачливых: «Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак». Так сказано в ершовском «Коньке-Горбунке», и сказано очень по-народному. Дурак женится в конце концов на царевне, и помогает ему в этом последняя из всех лошадок — нелепый и некрасивый Конек-Горбунок. Но достается Иванушке все же только полцарства, а не целое. И что он с этим полцарством делать будет дальше — неизвестно. Должно быть, бросит, ибо царство, в котором царствуют дураки, — не от мира сего.

Дурашливость архитектуры Василия Блаженного в ее непрактичности. Как будто церковь, а зайти помолиться почти что и некуда. Если зайдешь — запутаешься. И сколько в Василии Блаженном украшений без практических целей, просто так: вздумалось зодчему — и сделал (чуть-чуть не сказал «сделалось», в церкви и в самом деле много того, что получилось как бы само собой).

Спрашивается: почему зодчие делали так, а не иначе? А ответ, должно быть, у зодчих был такой: «Чтобы чуднее было». И стоит эта чудная церковь, чудная и чудная одновременно, и чудесит среди Москвы на самом видном и доступном месте. По-древнерусски доступное место — это то, с которого легче всего достигать, брать крепость приступом. Тут бы врагам и в самом деле достигать — штурмовать Кремль, а церковь веселит собой народ, противореча соседнему Лобному месту, где казнили и объявляли указы.

Во времена Грозного она была построена как своего рода вызов порядку и строгости. Русские дураки и юродивые не столько о своей глупости свидетельствовали, сколько чужую выявляли, а особенно боярскую и царскую.

Место дураков было в древней Руси по соседству с царями, сидели они на ступеньках трона, хотя это царям и не особенно нравилось. Тут на троне царь со скипетром, а рядом дурачок с кнутиком и у народа любовью пользуется. Того и гляди Иванушка-дурачок Иваном-царевичем станет.

Но в Кремле в свое время Василия Блаженного не удалось построить, а Иванушке царством овладеть, хоть и владел он человеческими сердцами, но полцарства, которое он получает в сказке, женившись на царевне, не настоящее царство.

Кажется, сам «батюшка» Иван Грозный завидовал славе Иванушки-дурачка и юродствовал всюю. И женился без конца, и царство надвое делил, чтобы с полцарством остаться, и опричный двор в Александровском заводил со всяким шутовством. Даже от царства отрекался, шапку Мономаха на касимовского царевича Симеона Бекбулатовича надевал, а сам на простых дровнях в оглоблях к нему ездил (то есть проявлял высшее смирение — в простой мужицкой упряжке) и сам челобитные ему униженные писал. Балагурил в своих посланиях боярам и иностранным государям и в монастырь якобы собирался... Но все ж Иванушкой Иван не становился. Шуточки у него были самые людоедские. В своих челобитных царю Симеону просил он разрешения «людишек перебрать», а в оглоблях по Москве не ездил, а носился во весь опор, давая народ на площадях и улицах. Любви народной не заслужил, хотя и пытался его когда-то изображать почти что народным царем.

Зато ходили дураки по всей Руси, странствовали, с дикими зверями и птицами разговаривали, балагурили, учили царя не слушать. Скоморохи подражали дуракам, шутки шутили, будто не понимая, будто над собой смеясь, но учили народ, учили...

Учили они любить волюшку, не принимать чужого важничания и спеси, не копить много добра, легко отрываться от своего, насижен-

ного, легко жить, как и легко странствовать по родной земле, принимать у себя и кормить странников, но не принимать всяческой кривды.

И совершали скоморохи и юродивые подвиг — тот самый подвиг, который делал их почти что святыми, а часто и святыми. Юродивых нередко народная молва объявляла святыми, да и скоморохов тоже. Вспомните замечательнейшую новгородскую былинку «Вавило скоморох»:

А скоморохи люди не простые —
Скоморохи люди святые.

Кое-что из скоморошьей науки откладывалось в сердце народа, ибо народ сам создает себе своих учителей. Идеал существовал еще до того, как он ясно воплотился. В опере Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже» народ обращается к медведю: «Покажи-ка, мишенька, покажи, дурашливый...» Составитель либретто оперы В. Бельский понял здесь эту важную черту народа.

Хороший в русском языке — это прежде всего добрый. «Пришли мне чтение доброго», — пишет своей жене в берестяной грамоте один новгородец. Доброе чтение — хорошее чтение. И товар добрый — это хороший товар, добротный. Доброта — это человеческое качество, ценнейшее из всех. Добрый человек уже самой своей добротой преодолевает все человеческие недостатки. В старое время, в древней Руси, доброго не назовут глупым. Дурак русских сказок добрый, а следовательно, поступает по-умному и свое в жизни получит. Дурачок русских сказок уродливого коня-«горбунка» приласкает и жар-птицу, прилетевшую пшеницу воровать, отпустит. Те за него потом и сделают в трудную минуту все что нужно. Доброта — она всегда умная. Дурак всем правду говорит, потому что для него не существует никаких условностей и нет у него никакого страха.

А в эпоху Грозного, в самый террор, нет-нет да доброта народная скажется. Сколько добрых образов в образах-иконах создали древнерусские иконописцы второй половины XVI века: умудренных философией (то есть любовью к мудрости) отцов церкви, толпы святых; завоженных песнью; сколько нежного материнства и заботы о людях в небольших семейных иконах того же времени! Следовательно, не ожесточалось сердце всех в XVI веке. Были люди и добрые, и человечные, и бесстрашные. Доброта народная торжествовала.

Во фресках Андрея Рублева во владимирском Успенском соборе изображено шествие людей на Страшный суд. На адские муки люди идут с просветленными лицами: возможно, на белом свете еще хуже, чем в преисподней...

Русская природа и русский характер

Я отмечал уже, как сильно воздействует русская равнина на характер русского человека. Мы часто забываем в последнее время о географическом факторе в человеческой истории. Но он существует, и никто никогда его не отрицал.

Сейчас я хочу сказать о другом — о том, как в свою очередь воздействует человек на природу. Это не какое-нибудь открытие с моей стороны, просто я хочу поразмышлять и на эту тему.

Начиная с XVIII и ранее, с XVII, века утвердилось противопоставление человеческой культуры природе. Века эти создали миф о «естественном человеке», близком природе и потому не только не испорченном, но и необразованном. Открыто или скрытно естественным состоянием человека считалось невежество. И это не только глубоко ошибочно, это убеждение повлекло за собой представление о том, что

всякое проявление культуры и цивилизации неорганично, способно испортить человека, а потому надо возвращаться к природе и стыдиться своей цивилизованности.

Это противопоставление человеческой культуры как якобы «протivoестественного» явления «естественной» природе особенно утвердилось после Ж. Ж. Руссо и сказалось в России в особых формах развившегося здесь в XIX веке своеобразного руссоизма: народничестве, толстовских взглядах на «естественного человека» — крестьянина, противопоставляемого «образованному сословию», просто интеллигенции.

Хождения в народ в буквальном и переносном смысле привели в некоторой части нашего общества в XIX и XX веках ко многим заблуждениям в отношении интеллигенции. Появилось и выражение «гнилая интеллигенция», презрение к интеллигенции якобы слабой и нерешительной. Создалось и неправильное представление об «интеллигенте» Гамлете как о человеке, постоянно колеблющемся и нерешительном. А Гамлет вовсе не слаб: он преисполнен чувства ответственности, он колеблется не по слабости, а потому что мыслит, потому что нравственно отвечает за свои поступки.

Образованность и высокое интеллектуальное развитие — это как раз и суть естественные состояния человека, а невежество, неинтеллигентность — состояния ненормальные для человека. Невежество или полужнайство — это почти болезнь. И доказать это легко могут физиологи.

В самом деле, человеческий мозг устроен с огромным запасом. Даже народы с наиболее отсталым образованием имеют мозг «на три Оксфордских университета». Думают иначе только расисты. А всякий орган, который работает не в полную силу, оказывается в ненормальном положении, ослабевает, атрофируется, «заболевает». При этом заболевание мозга перекидывается прежде всего в нравственную область.

Противопоставление природы культуре вообще не годится еще по одной причине. У природы ведь есть своя культура. Хаос вовсе не естественное состояние природы. Напротив, хаос (если только он вообще существует) — состояние природы протivoестественное.

В чем же выражается культура природы? Будем говорить о живой природе. Прежде всего она живет обществом, сообществом. Существуют растительные ассоциации: деревья живут не вперемишку, а известные породы совмещаются с другими, но далеко не всеми. Сосны, например, имеют соседями определенные лишайники, мхи, грибы, кусты и т. д. Это помнит каждый грибник. Известные правила поведения свойственны не только животным (об этом знают все собаководы, кошатники, даже живущие вне природы, в городе), но и растениям. Деревья тянутся к солнцу по-разному — иногда шапками, чтобы не мешать друг другу, а иногда раскидисто, чтобы прикрывать и беречь другую породу деревьев, начинающую подрастать под их покровом. Под покровом ольхи растет сосна. Сосна вырастает, и тогда отмирает сделавшая свое дело ольха. Я наблюдал этот многолетний процесс под Ленинградом в Токсове, где во время первой мировой войны были вырублены все сосны и сосновые леса сменились зарослями ольхи, которая затем прилежала под своими ветвями молоденькие сосенки. Теперь там снова сосны.

Природа по-своему «социальна». «Социальность» ее еще и в том, что она может жить рядом с человеком, соседствовать с ним, если тот, в свою очередь, социален и интеллектуален сам.

Русский крестьянин своим многовековым трудом создавал красоту русской природы. Он пахал землю и тем задавал ей определенные габариты. Он клал меру своей пашне, проходя по ней с плугом. Рубежи в русской природе соразмерны труду человека и лошади, его способности пройти с лошастью за сохой или плугом, прежде чем повернуть назад.

а потом снова вперед. Приглаживая землю, человек убирал в ней все резкие грани, бугры, камни. Русская природа мягкая, она ухожена крестьянином по-своему. Хождения крестьянина за плугом, сохой, бороной не только создавали «полосыньки» ржи, но ровняли границы леса, формировали его опушки, создавали плавные переходы от леса к полю, от поля к реке или озеру.

Русский пейзаж в основном создавался усилиями двух великих культур: культуры человека, смягчающего резкости природы, и культуры природы, в свою очередь смягчавшей все нарушения равновесия, которые невольно создавал в ней человек. Ландшафт создавался, с одной стороны, природой, готовой освоить и прикрыть все, что так или иначе нарушил человек, и с другой — человеком, смягчившим землю своим трудом и смягчавшим пейзаж. Обе культуры как бы поправляли друг друга и создавали ее человечность и приволье.

Природа Восточно-Европейской равнины кроткая, без высоких гор, но и не бессильно плоская, с сетью рек, готовых быть «путями сообщения», и с небом, не заслоненным густыми лесами, с покатыми холмами и бесконечными, плавно обтекающими все возвышенности дорогами.

И с какою тщательностью гладил человек холмы, спуски и подбемы! Здесь опыт пахаря создавал эстетику параллельных линий, линий, идущих в унисон друг с другом и с природой, точно голоса в древнерусских песнопениях. Пахарь укладывал борозду к борозде как причёсывал, как укладывал волосок к волоску. Так лежит в избе бревно к бревну, плаха к плахе, в изгороди — жердь к жерди, а сами избы выстраиваются в ритмичный ряд над рекой или вдоль дороги — как стадо, вышедшее к водопою.

Поэтому отношения природы и человека — это отношения двух культур, каждая из которых по-своему «социальна», общежительна, обладает своими «правилами поведения». И их встреча строится на своеобразных нравственных основаниях. Обе культуры — плод исторического развития, причем развитие человеческой культуры совершается под воздействием природы издавна (с тех пор как существует человечество), а развитие природы сравнительно с ее многомиллионнолетним существованием — сравнительно недавно и не всюду под воздействием человеческой культуры. Одна (культура природы) может существовать без другой (человеческой), а другая (человеческая) не может. Но все же в течение многих минувших веков между природой и человеком существовало равновесие. Казалось бы, оно должно было оставить обе части равными, проходить где-то посередине. Но нет, равновесие всюду свое и всюду на какой-то своей, особой основе, со своей осью. На севере в России было больше природы, а чем ближе к степи, тем больше человека.

Тот, кто бывал в Кижях, видел, вероятно, как вдоль всего острова тянется, точно хребет гигантского животного, каменная гряда. Около этого хребта бежит дорога. Этот хребет образовывался столетиями. Крестьяне освобождали свои поля от камней — валунов и булыжников — и сваливали их здесь, у дороги. Образовался ухоженный рельеф большого острова. Весь дух этого рельефа пронизан ощущением многовековья. И недаром жила здесь на острове из поколения в поколение семья сказителей былин Рябиных.

Пейзаж России на всем ее богатырском пространстве как бы пульсирует, он то разряжается и становится более природным, то сгущается в деревнях, погостах и городах, становится более человеческим. В деревне и в городе продолжается тот же ритм параллельных линий, который начинается с пашни. Борозда к борозде, бревно к бревну, улица к улице. Крупные ритмические деления сочетаются с мелкими, дробными. Одно плавно переходит к другому.

Город не противостоит природе. Он идет к природе через пригород. «Пригород» — это слово, как нарочно созданное, чтобы соединить представление о городе и природе. Пригород — при городе, но он и при природе. Пригород — это деревня с деревьями, с деревянными полудеревенскими домами. Он прильнул огородами и садами к стенам города, к валу и рву, но прильнул и к окружающим полям и лесам, отобрав от них немного деревьев, немного огородов, немного воды в свои пруды и колодцы. И все это в приливах и отливах скрытых и явных ритмов — грядок, улиц, домов, бревнышек, плах мостовых и мостиков¹.

О русской пейзажной живописи

В русской пейзажной живописи очень много произведений, посвященных временам года: осень, весна, зима — любимые темы русской пейзажной живописи на протяжении всего XIX века и позднее. И главное, в ней не неизменные элементы природы, а чаще всего временные: осень ранняя или поздняя, вешние воды, тающий снег, дождь, гроза, зимнее солнце, выглянувшее на мгновение из-за тяжелых зимних облаков, и т. п. В русской природе нет вечных, не меняющихся в разные времена года крупных объектов вроде гор, вечнозеленых деревьев. Все в русской природе непостоянно по окраске и состоянию. Деревья — то с голыми ветвями, создающими своеобразную «графику зимы», то с листвою яркой, весенней, живописной. Разнообразнейший по оттенкам и степени насыщенности цветом осенний лес. Разные состояния воды, принимающей на себя окраску неба и окружающих берегов, меняющихся под действием сильного или слабого ветра («Сиверко» Остроухова), дорожные лужи, различная окраска самого воздуха, туман, роса, иней, снег — сухой и мокрый. Вечный маскарад, вечный праздник красок и линий, вечное движение — в пределах года или суток.

Все эти изменения есть, конечно, и в других странах, но в России они как бы наиболее заметны благодаря русской живописи, начиная с Венецианова и Мартынова. В России континентальный климат, и этот континентальный климат создает особенно суровую зиму и особенно жаркое лето, длинную, переливающуюся всеми оттенками красок весну, в которой каждая неделя приносит с собой что-то новое, затяжную осень, в которой есть и ее самое начало с необыкновенной прозрачностью воздуха, воспетое Тютчевым, и особой тишиной, свойственной только августу, и поздняя осень, которую так любил Пушкин. Но в России в отличие от юга, особенно где-нибудь на берегах Белого моря или Белого озера, необыкновенно длинные вечера с закатным солнцем, которое создает на воде переливы красок, меняющиеся буквально в пятиминутные промежутки времени, целый «балет красок», и замечательные — длинные-длинные — восходы солнца. Бывают моменты (особенно весной), когда солнце «играет», точно его гранил опытный гранильщик. Белые ночи и «черные», темные дни в декабре создают не только многообразную гамму красок, но и чрезвычайно богатую палитру эмоциональную. И русская поэзия откликается на все это многообразие.

Интересно, что русские художники, оказываясь за границей, искали в своих пейзажах эти перемены времени года, времени дня, эти «атмосферические» явления. Таков был, например, великолепный пейзажист, оставшийся русским во всех своих пейзажах Италии именно благодаря этой своей чуткости ко всем изменениям «в воздухе», — Сильвестр Щедрин.

Характерная особенность русского пейзажа есть уже у первого, по

¹ О том, как строились древнерусские города, есть интереснейшая, хотя и сухо названная статья Г. В. Алферовой — «Организация строительства городов в Русском государстве в XVI—XVII веках» («Вопросы истории», 1977, № 7, стр. 50—66).

существо, русского пейзажиста Венецианова. Она есть и в ранней весне Васильева. Она мажорно сказалась в творчестве Левитана. Это непостоянство и зыбкость времени — черта, как бы соединяющая людей России с ее пейзажами.

Но не стоит увлекаться. Национальные черты нельзя преувеличивать, делать их исключительными. Национальные особенности — это только некоторые акценты, а не качества, отсутствующие у других. Национальные особенности сближают людей, заинтересовывают людей других национальностей, а не изымают людей из национального окружения других народов, не замыкают народы в себе. Народы — это не окруженные стенами сообщества, а гармонично согласованные между собой ассоциации. Поэтому если я говорю о том, что свойственно русскому пейзажу или русской поэзии, то эти же свойства, но, правда, в какой-то иной степени, свойственны и другим странам и народам. Национальные черты народа существуют не в себе и для себя, а для других. Они выясняются только при взгляде со стороны и в сравнении, поэтому должны быть понятны для других народов, они в какой-то другой аранжировке должны существовать и у иных.

Если я говорю сейчас о том, что русский художник особенно чуток к изменениям годовым, суточным, к атмосферным условиям и прочему, то сразу же на память приходит великий французский художник К. Моне, писавший лондонский мост в тумане, или Руанский собор, или один и тот же стог сена при разной погоде и в разное время дня. Эти «русские» черты Моне отнюдь не отменяют сделанных мною наблюдений, они лишь говорят, что русские черты в какой-то мере являются чертами общечеловеческими.

Относится ли сказанное только к реалистической живописи XIX и начала XX веков, например к живописцам круга «Мира искусства»? Я очень ценю живопись различных направлений, но должен сказать, что «искусство чистой живописи», какой мне представляется живопись «Бубнового валета», «Ослиного хвоста», «Голубого рыцаря» и прочего, меньше связано с национальными чертами того типа, о котором я только что говорил, и все же так связано с русским «материальным фольклором» — с искусством вышивки, даже вывески, глиняной игрушки и вообще игрушки, поскольку в этой живописи много игрового момента, много выдумки, вымысла. Выверт для этого искусства похвала, потому что оно насквозь озорное и веселое. Не случайно это искусство требовало выставок, было так связано с шумными вернисажами. Его надо было демонстрировать на большой публике, оно должно было поражать и возбуждать толки. В русской культуре начала XX века вообще было много маскарадного и театрального, что так хорошо подчеркнуто Ахматовой в «Поэме без героя».

Природа других стран

Я уже давно чувствую, что пора ответить на вопрос: а разве у других народов нет такого же чувства природы, нет союза с природой? Есть, разумеется! И я пишу не для того, чтобы доказывать превосходство русской природы над природой других народов. Но у каждого народа свой союз с природой.

Для того чтобы провести сравнение разных созданных совместными усилиями людей и стихий ландшафтов, надо, как мне кажется, побывать на Кавказе, в Средней Азии, а также в Испании, Италии, Англии, Шотландии, Норвегии, Болгарии, Турции, Японии, Египте. По фотографии и по пейзажной живописи судить о природе нельзя.

Из всех перечисленных мною краев и стран я смогу поверхностно судить только о Кавказе и еще об Англии, Шотландии, Болгарии. И в

каждой из этих «этноприрод» свои, своеобразные взаимоотношения природы и человека — всегда трогательные, всегда волнующие, свидетельствующие о чем-то очень духовно высоком в человеке, вернее в народе.

Сельскохозяйственный труд, как и в России, формировал собой природу Англии. Но природа эта создавалась не столько земледелием, сколько овцеводством. Поэтому в ней так мало кустов и такие хорошие газоны. Скот «выщипывал» пейзаж, делал его легко обозримым: под пологом деревьев не было кустов и было далеко видно. Англичане сажают деревья по дорогам и дорожкам, а между ними оставляют луга и лужайки. Не случайно скот был неременной принадлежностью пейзажных парков и английской пейзажной живописи. Это заметили и в России. И даже в русских царских пейзажных садах, вкус к которым был принесен в Россию из Англии, ставились молочни и фермы, паслись коровы и овцы.

Англичане любят парки почти без кустов, любят оголенные берега рек и озер, где граница воды и земли создает четкие и плавные линии, любят «уединенные дубы» или группы старых деревьев, боскеты, стоящие среди лужаек как гигантские букеты.

В пейзажах Шотландии, в Хайленде, которые многие считают (признаюсь, и я тоже) красивейшими, поражает необыкновенная лаконичность лирического чувства. Это почти обнаженная поэзия. И не случайно там родилась одна из лучших мировых поэзий — английская «озерная школа». Горы, поднявшие на свои мощные склоны луга, пастбища, овец, а вслед за ними и людей, внушают какое-то особое доверие. И люди доверили себя и свой скот горным полям, оставили скот без хлева и укрытия. В горах пасутся коровы с необыкновенно теплой и густой шерстью, привыкшие к ночному холоду и горной подоблачной сырости, овцы, дающие лучшую в мире шерсть и умеющие ночевать, сбившись в гурты, ходят люди, которые носят простые килты, чтобы их было удобно распрямить и высушить перед кострами, и пледы, которые не менее удобно сушить перед кострами и кутаться в них в сырые ночи. Поля перегороджены хайками — изгородями из камней. Их строили терпеливые руки. Шотландцы не хотели строить их из материала иного, чем родные горы. Поэтому каменные хайки — такая же часть природы, как и наши северные изгороди из жердей. Только ритм в них иной.

В Грузии человек ищет защиты у мощных гор, иногда тянется за ними (в башнях Сванетии), иногда противостоит горным вертикалям горизонталями своих жилищ. Но самое главное — в Грузии природа так огромна, что она уже не в простом союзе с человеком, она мощно ему покровительствует, обнимает его, вдыхает в него богатырский дух.

О Грузии писали многие. Не буду перечислять великих русских поэтов XIX века, но о советских поэтах напомним: П. Антокольский, Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Н. Заболоцкий, О. Мандельштам, А. Межиров, Ю. Мориц, Б. Пастернак, А. Тарковский и другие. Но чтобы представить себе отношения природы и человека в Грузии, приведу одно стихотворение Н. Заболоцкого. Да не посетует на меня читатель за то, что я процитирую это стихотворение полностью. Резать стихи все равно что резать картину, а перечить стихи Н. Заболоцкого всегда большое удовольствие.

НОЧЬ В ПАСАНАУРИ

Сняла ночь, играя на пандури,
Луна плыла в убежище любви,
И снова мне в садах Пасанаури
На двух Арагвах пели соловьи.

С Крестового спустившись перевала,
Где в мае снег и каменный лед,
Я так устал, что не желал нисколько
Ни соловьев, ни песен, ни красот.

Под звуки соловьиного напева
Я взял фонарь, разделся догола,
И вот река, как бешеная дева,
Мое большое тело обняла.

И я лежал, схватившись за камень,
И надо мной, сверкая, выл поток,
И камни шевелились в иступленьи
И бормотали, прыгая у ног.

И я смотрел на бледный свет огарка,
Который колебался вдалеке,
И с берега огромная овчарка
Величественно двигалась к реке.

И вышел я на берег, словно в ин,
Холодный, чистый, сильный и земной,
И гордый пес, как божество, спокоен,
Узнав меня, улегся предо мной.

И в эту ночь в садах Пасанаури,
Изведав холод первобытных струй,
Я принял в сердце первый звук пандури,
Как в отрочестве — первый поцелуй.

Природа Грузии и в самом деле мощно принимает человека и делает его сильным, величественным и рыцарственным.

Свежие впечатления от природы Армении заставляют меня несколько подробнее сказать и о ее пейзажах. Многовековая культура Армении победила даже горы. «Хоровод веков», — пишет Андрей Белый в «Ветре с Кавказа». «Впяны древности в почву; и камни природные — передряхлели скульптуру; и статуи, треснувши, в землю уйдя, поднимают кусты; не поймешь, что ты видишь: природу ль, культуру ль? Вдали голорозовый, желто-белясь и гранный хребетик сквозным колоритом приподнят над Гегаркуником, Севан отделяющим; почвы там храмами выперты, храмы — куски цельных скал»².

Не могу удержаться, чтобы не привести из той же книги отрывок, где Белый описывает свои первые впечатления от Армении, полученные им ранним утром из окна вагона:

«Армения!

Верх полусумерки рвет; расстояние еложилось оттенками угрюмо-синих, сереющих, бирюзоватых ущелий под бледною звездочкой: в дымке слабеющей зелень; но чиркнул под небо кривым лезвием исцарапанный верх, как воткнувшийся нож; и полезла гребенкой обрывки земля, снизу синяя, в диких разрывинах; будто удары ножей, вылезавших из перетресканных камневоротов — в центр неба; мир зазубрин над страшным растаском свисающих глыб, где нет линий без бешенства!»³.

Что это не мимолетное впечатление Белого, показывает тот факт, что на него откликнулся и сам гениальный армянский живописец Мартiros Сарьян, а что может быть авторитетнее именно такого отклика художника. В своем письме Белому, вызванном впечатлением от очерка «Армения», Сарьян пишет, что он хранит воспоминание о тех днях, когда они вместе «разъезжали или расхаживали по этой обожженно-обнаженной нагорной стране, любясь громадзящимися камнями голубовато-фиолетового цвета, ставшими на дыбы в виде высочайших вершин Арарата и Арагаца»⁴.

Я не смею поправлять Сарьяна, и все-таки порой мне кажется, что пейзаж Восточной Армении суровее, чем на картинах Сарьяна. Безлес-

² Цитирую по статье Н. А. Гончар «Путевая проза Андрея Белого и его очерк «Армения» (сб. «Литературные связи», т. 2 — «Русско-армянские литературные связи. Исследования и материалы». Ереван. Издательство Ереванского университета. 1977, стр. 156).

³ Там же, стр. 154.

⁴ Там же, стр. 163.

ные горы, изборожденные дождями, ручьями и полосами виноградников, горы, с которых скатывались камни, густые плотные краски: это природа, точно впитавшая в себя народную кровь. Выше я писал, что для русской природы, очеловеченной крестьянином, очень характерен ритм вспаханной земли, ритм изгородей и бревенчатых стен. Ритм характерен и для пейзажей Армении, но в Армении он другой. Огромное впечатление оставляет картина того же Сарьяна «Земля» (1969). Она вся состоит из полос, но полос ярких, волнистых — совсем других, чем ритм, созданный человеком в России.

Этот же волнообразный ритм схвачен и в картинах замечательнейшего армянского художника Минаса Аветисяна. В его картине «Родители» (1962) отец и мать изображены на фоне армянского пейзажа. Поразительно, что ритм армянской природы как бы повторяется в душевном ритме людей. Даже горы в картине «Родители» стали волнами трудового ритма.

Трудовые ритмы Армении удивительно разнообразны, как разнообразен и труд ее народа. В картине Сарьяна «Полуденная тишина» (1924) на землю как бы наложены квадраты возделанных полей, словно расстелены разноцветные ковры для просушки. Ритмы гор и полей сочетаются и одновременно противостоят друг другу.

Совсем свободен и легок ритм в картине Аюпа Кождояна «Аракатская долина». Горы в ней — волны, полосы долины — только легкая морская зыбь.

О богатстве природы Армении свидетельствует и то, что в живописи она отражена удивительно разнообразно. Один и тот же художник видел ее по-разному. И вместе с тем мы всегда скажем: это Армения.

Я жалею, что мало бывал в республиках нашей страны и не могу написать о каждой. Каждая обладает своей красотой — надо только увидеть. Но и из приведенных примеров ясно следующее: пейзаж страны — это такой же элемент национальной культуры, как и все прочее. Не хранить родную природу — это то же, что не хранить родную культуру. Он выражение души народа.

Ансамбли памятников искусства

Каждая страна — это ансамбль искусств. Грандиозным ансамблем культур или объектов культуры является и Советский Союз. Города в Советском Союзе, сколь бы они ни разнствовали между собой, не обособлены друг от друга. Москва и Ленинград не просто не похожи друг на друга — они контрастируют друг другу и, следовательно, взаимодействуют. Не случайно они связаны железной дорогой столь прямой, что, проехав в поезде ночь без поворотов и только с одной остановкой и попадая на вокзал в Москве или Ленинграде, вы видите почти то же вокзальное здание, которое вас провожало вечером: фасады Московского вокзала в Ленинграде и Ленинградского в Москве одинаковые. Но одинаковость вокзалов подчеркивает резкое несходство городов, несходство не простое, а дополняющее друг друга.

Даже предметы искусства в музеях не просто хранятся, а составляют некоторые культурные ансамбли, связанные с историей городов и страны в целом. Состав музеев далеко не случаен, хотя в истории их собраний и немало отдельных случайностей. Недаром, например, в музеях Ленинграда так много голландской живописи (это Петр I), а также французской (это петербургское дворянство XVIII и начала XIX веков).

А посмотрите в других городах. В Новгороде стоит посмотреть иконы. Это третий по величине и ценности центр древнерусской живописи. В Костроме, Горьком и Ярославле следует смотреть русскую жи-

вопись XVIII и XIX веков (это центры русской дворянской культуры), а в Ярославле еще и «волжскую» XVII века, которая представлена здесь так, как нигде.

Но если вы возьмете всю нашу страну, вы удивитесь разнообразию и своеобразию городов и хранящейся в них культуры: в музеях и частных собраниях, да и просто на улицах ведь почти каждый старый дом — драгоценность. Одни дома и целые города дороги своей деревянной резьбой, другие — удивительной планировкой, набережными, бульварами (Кострома, Ярославль), третьи — каменными особняками, четвертые — затейливыми церквями.

Но многое их объединяет. Одна из самых типичных черт русских городов — их расположение на высоком берегу реки. Город виден издали, а как бы втянут в движение реки: Великий Устюг, волжские города, города по Оке. Есть такие города и на Украине: Киев, Новгород-Северский, Путивль. Это традиции древней Руси — Руси, от которой пошли Россия, Украина, Белоруссия, а потом и Сибирь с Тобольском и Красноярском...

Город на высоком берегу реки в вечном движении. Он «проплывает» мимо реки. И это тоже присущее Руси ощущение родных просторов.

Страна — это единство народа, природы и культуры.

Сохранить разнообразие наших городов и сел, сохранить в них историческую память, их общее национально-историческое своеобразие — одна из важнейших задач наших градостроителей. Вся страна — это грандиозный культурный ансамбль. Он должен быть сохранен в своем поразительном богатстве. Воспитывает не только историческая память в своем городе и в своем селе — воспитывает человека его страна в ее целом. Сейчас люди живут не только в своем «пункте», но во всей стране и не своим веком только, но всеми столетиями своей истории.

Сады и парки

Взаимодействие человека с природой, с ландшафтом не всегда длится столетиями и тысячелетиями и не всегда носит «природно-бессознательный» характер. След в природе остается не только от сельского труда человека, и труд его не только формируется природой: иногда человек сознательно стремится преобразовать окружающий его ландшафт, сооружая сады и парки.

Сады и парки создают своего рода «идеальное» взаимодействие человека и природы, «идеальное» для каждого этапа человеческой истории, для каждого творца садово-паркового произведения.

И здесь мне хотелось бы сказать несколько слов об искусстве садов и парков, которое не всегда до конца понималось в своей основе его истолкователями, специалистами (теоретиками и практиками садоводства).

Садово-парковое искусство — наиболее захватывающее и наиболее воздействующее на человека из всех искусств. Такое утверждение кажется на первый взгляд странным. С ним как будто бы трудно согласиться. Почему, в самом деле, садово-парковое искусство должно быть более действенным, чем поэзия, литература в целом, философия, театр, живопись и т. д.? Но вдумайтесь беспристрастно и вспомните собственные впечатления от посещения наиболее дорогих нам всем исторических парков, пусть даже и запущенных.

Вы идете в парк, чтобы отдохнуть — без сопротивления отдаться впечатлениям, подышать чистым воздухом с его ароматом весны или осени, цветов и трав. Парк окружает вас со всех сторон. Вы и парк обращены друг к другу: парк открывает вам все новые виды — поляны,

боскеты, аллеи, перспективы,— и вы, гуляя, только облегчаете парку его показ самого себя. Вас окружает тишина, и в тишине с особой остротой возникает шум весенней листвы вдали или шуршание опавших осенних листьев под ногами, или слышится пение птиц или легкий треск еучка вблизи, какие-то звуки настагают вас издали и создают особое ощущение пространства и простора. Все чувства ваши раскрыты для восприятия впечатлений, и смена этих впечатлений создает особую симфонию — красок, объемов, звучаний и даже ощущений, которые приносят вам воздух, ветер, туман, роса...

Но при чем же тут человек?—спросят меня. Ведь это то, что приносит вам природа, то, что вы можете воспринять, и даже с большей силой, в лееу, в горах, на берегу моря, а не только в парке.

Нет, сады и парки — это тот важный рубеж, на котором объединяются человек и природа. Сады и парки одинаково важны — и в городе и за пределами города. Не случайно так много чудеснейших парков в родном нашем Подмосковье. И не случайно столько помещиков вконец разорилось, устранивая парки в своих усадьбах. Нет ничего более захватывающего, увлекающего, волнующего, чем вносить человеческое в природу, а природу торжественно, «за руку» вводить в человеческое общество: смотрите, любуйтесь, радуйтесь.

И чем более дика природа, тем острее и глубже ее сообщество с человеком. Вот почему такое огромное впечатление производят Крымский парк в Алушке; устроенный Воронцовым, и Выборгский парк «Мон репо» в типично русском имении баронов Николай. В Алушке над парком гремозятся и «показывают себя» горы, а под парком бьются о гигантские камни волны Черного моря. В парке «Мон репо» на голых красных гранитных скалах растут сосны; открываются бесконечные виды на шхеры с их плывущими в водной голубизне островами. Но и в том и другом парке при всей грандиозности природы всюду видна разумная рука человека и уютные дворцы хозяев приветливо венчают окружающую первозданную дикость ландшафта.

Не случайно и Петр каналами подводил море к своим загородным парковым дворцам — в Новом Петергофе, Стрельне, Ораниенбауме. Каналы соединяли дворцы и парки с морем не только водой, но и воздухом — открывавшейся на море перспективой — и вводили морскую воду в окружение деревьев и любимых Петром душистых цветов.

Есть и еще одна сфера, которую человеку дарит по преимуществу парк, или даже только парк. Это сфера исторического времени, сфера воспоминаний и поэтических ассоциаций.

Исторические воспоминания и поэтические ассоциации — это и есть то, что больше всего очеловечивает природу в парках и садах, что составляет их суть и специфику. Парки ценны не только тем, что в них есть, но и тем, что в них было. Временная перспектива, которая открывается в них, не менее важна, чем перспектива зрительная. «Воспоминания в Царском Селе» — так назвал Пушкин лучшее из наиболее ранних своих стихотворений.

Отношение к прошлому может быть двух родов: как к некоторому зрелищу, театру, представлению, декорации и как к документу. Первое отношение стремится воспроизвести прошлое, возродить его зрительный образ. Второе стремится сохранить прошлое хотя бы в его частичных эстатках. Для первого в садово-парковом искусстве важно воссоздать внешний, зрительный образ парка или сада таким, каким его видели в тот или иной момент его жизни. Для второго важно ощутить свидетельство времени, важна документальность. Первое говорит: таким он выглядел; второе свидетельствует: это тот самый, он был, может быть, не таким, но это подлинно тот, это те липы, те садовые строения, те самые скульптуры. Второе отношение терпимее к перво-

му, чем первое ко второму. Первое отношение к прошлому требует вырубить в аллее старые деревья и насадить новые: так аллея выглядела. Второе отношение сложнее: сохранить все старые деревья, продлить им жизнь и посадить к ним на места погибших молодые. Две-три старые дуплистые липы среди сотни молодых будут свидетельствовать: это та самая аллея — вот они, старожилы. А о молодых деревьях не надо заботиться: они растут быстро и скоро аллея приобретет прежний вид.

Но в двух отношениях к прошлому есть и еще одно существенное различие. Первое будет требовать: только одна эпоха — эпоха создания парка, или его расцвета, или чем-либо знаменательная. Второе скажет: пусть живут все эпохи, так или иначе знаменательные, ценна вся жизнь парка целиком, ценны воспоминания о различных эпохах и о различных поэтах, воспевших эти места, — и от реставрации потребует не восстановления, сохранения. Первое отношение к паркам и садам открыл в России Александр Бенуа с его эстетским культом времени императрицы Елизаветы Петровны и ее Екатерининского парка в Царском. С ним поэтически полемизировала Ахматова, для которой в Царском был важен Пушкин, а не Елизавета: «Здесь лежала его треуголка и растрепанный том Парни».

Да, вы поняли меня правильно: я на стороне второго отношения к памятникам прошлого. И не только потому, что второе отношение шире, терпимее и осторожнее, менее самоуверенно и оставляет больше природы, заставляя уважительно отступать внимательного человека, но и потому еще, что оно требует от человека большего воображения, большей творческой активности. Восприятие памятника искусства только тогда полноценно, когда оно мысленно воссоздает, творит вместе с творцом, исполнено историческими ассоциациями.

Первое отношение к прошлому создает, в общем-то, учебные пособия, учебные макеты: смотрите и знайте. Второе отношение к прошлому требует правды, аналитической способности: надо отделить возраст от объекта, надо вообразить, как тут было, надо в некоторой степени исследовать. Это второе отношение требует большей интеллектуальной дисциплины, больших знаний от самого зрителя: смотрите и воображайте. И это интеллектуальное отношение к памятникам прошлого рано или поздно возникает вновь и вновь. Нельзя убить подлинное прошлое и заменить его театрализованным, даже если театральные реконструкции уничтожили все документы, но место осталось: здесь, на этом месте, на этой почве, в этом географическом пункте, было — он был, оно, что-то памятное, произошло.

Театрализация старины захлестывает собой мемориальные квартиры-музеи. В подлинные места вносят мебель и вещи под стиль эпохи, и среди них теряются и прячутся подлинные предметы. Их не только не узнают посетители, но они часто путаются с вещами того же времени, будь то чернильница или шкаф. Купили книжный шкаф точно такой, как и подлинный, купили для ансамбля, а через некоторое время слутали подлинный с купленным и не знают, какой из двух принадлежал владельцу мемориальной квартиры. Этот случай не выдумка. И кроме того, подбирая для мемориальной квартиры вещи «той эпохи», разве мы не ошибаемся уже в самом принципе такой подборки? Разве обязательно было писателю или политическому деятелю жить среди вещей только своего времени? Разве не могло быть в его доме, в его квартире вещей его детства или просто старых? И кто может ручаться за то, что эпоха восстановлена правильно; кто может ручаться за то, что правильно восстановлены индивидуальная манера расставлять вещи, семьи домашний обиход, характер которого определяется множеством элементов?

Театральность проникает и в реставрации памятников архитектуры. Подлинность теряется среди предположительно восстановленного. Реставраторы доверяют случайным свидетельствам, если эти свидетельства позволяют восстановить этот памятник архитектуры таким, каким он мог бы быть особенно интересным. Так восстановлена в Новгороде Евфимиевская часозвоня: получился маленький храмик на столпе. Нечто совершенно чуждое Новгороду и XV веку.

Сколько памятников было погублено реставраторами в XIX веке вследствие привнесения в них элементов эстетики нового времени. Реставраторы добивались симметрии там, где она была чужда самому духу стиля — романскому или готическому, — пытались заменить живую линию геометрически правильной, высчитанной математически, и т. п. Так засушены и Кельнский собор, и Нотр-Дам в Париже, и аббатство Сен-Дени. Засушены, законсервированы были целые города в Германии — особенно в период идеализации немецкого прошлого.

Все это я пишу не зря. Отношение к прошлому формирует собственный национальный облик. Ибо каждый человек — носитель прошлого и носитель национального характера. Человек — часть общества и часть его истории.

Но ни один принцип не может проводиться бездумно и механически. В пушкинских местах Псковской области — в селе Михайловском, Тригорском, Петровском — частичная театрализация необходима. Исчезнувшие дома и избы были там органическими элементами пейзажа. Без дома Осиповых-Вульф в Тригорском нет Тригорского. И восстановление этого дома, как и домов в Михайловском и Петровском, не уничтожает подлинности. Рубить пришлось лишь кусты и молодые деревья, а не старые. В этом принципиальное различие между восстановлением старых домов в михайловских местах и омоложением парков в Пушкине, выполненным несколько лет назад. В пушкинских местах восстанавливали, в Пушкине вырубали...

В самом себе можно театрализовать ту или иную сторону. Можно носить бороду и поддевку а-ля русс, стричься в кружок, превратить в зрелище самого себя. Но возможно и другое отношение к своей национальности: ценить в себе подлинную связь со своим селом, городом и страной, сохранять и развивать в себе благую сторону, добрые национальные черты своего народа, развивать глубокую ментальность, чутье языка, знание истории, родного искусства и прочее. Вся историческая жизнь своей страны, а на более высоких ступенях — развитие и всего мира должны быть введены в круг духовности человека.

А при чем тут сад и парк, с которых я начал эту заметку? Да при том, что культура прошлого и настоящего — это тоже сад и парк. Недаром «золотой век», «золотое детство» человечества — средневековый рай — всегда ассоциировались с садом. Сад — это идеальная культура, культура, в которой облагороженная природа идеально слита с добрым к ней человеком.

Не случайно Достоевский мечтал превратить самые злые места Петербурга в сад: соединить Юсуповский сад на Садовой улице с Михайловским у Михайловского замка, где он учился, засадить Марсово поле и соединить его с Летним садом, протянуть полосу садов через самый бойкий торговый центр и там, где жили старуха-процентщица и Родион Раскольников, создать своего рода рай на земле. Для Достоевского было два полюса на земле — Петербург у Сенной и природа в духе пейзажей Клода Лоррена, изображающих золотой век, Лоррена, которого он очень любил за райскую идеальность изображаемой жизни.

Заметили ли вы, что самый светлый эпизод «Идиота» Достоевского — свидание князя Мышкина и Аглаи — совершается в Павловском парке утром? Это свидание нигде в ином месте и не могло произойти.

Именно для этого свидания нужен Достоевскому Павловск. Вся эта сцена как бы вплетена в приветливый пейзаж Павловска.

Самый счастливый момент в жизни Обломова — его объяснение в любви — также совершается в саду.

В «Капитанской дочке» у Пушкина радостное завершение хлопот Маши Мироновой также происходит именно в «лорреновской» части Екатерининского парка. Именно там, а не в дворцовых помещениях оно только и могло совершиться.

Природа России и Пушкин

Клод Лоррен? А при чем тут, спросите, русский характер и русская природа?

Потерпите немного — и все нити сойдутся снова.

У нас примитивно представляют себе историю садово-паркового искусства: регулярный парк, пейзажный парк; второй тип парка резко сменяет собой первый где-то в 70-х годах XVIII века в связи с идеями Руссо, а в допетровской Руси были якобы только утилитарные сады: выращивали в них плоды, овощи и ягоды. Вот и все! На самом же деле история садово-паркового искусства гораздо сложнее.

В «Слове о погибели Русской земли» XIII века в числе наиболее значительных красот, которыми была дивно удивлена Русь, упоминаются и монастырские сады. Монастырские сады на Руси в основном были такими же, как и на Западе. Они располагались внутри монастырской ограды и изображали собой земной рай, эдем, а монастырская ограда — ограду райскую. В райском саду должны были быть и райские деревья — яблони или виноградные лозы (в разное время порода «райского дерева познания добра и зла» понималась по-разному), в них должно было быть все прекрасно для глаза, для слуха (пение птиц, журчание воды, эхо), для обоняния (запахи цветов и душистых трав), для вкуса (редкостные плоды). В них должно было быть изобилие всего и великое разнообразие, символизирующее разнообразие и богатство мира. Сады имели свою семантику, свое значение. Вне монастырей существовали священные рощи, частично сохранившиеся еще от языческих времен, но освященные и «христианизированные» каким-нибудь явлением в них иконы или другим церковным чудом.

Мы имеем очень мало сведений о русских садах до XVII века, но ясно одно — что «райские сады» были не только в монастырях, но и в княжеских загородных селах. Были сады в кремлях, у горожан при всей тесноте городской застройки.

В XVII веке под голландским влиянием появляются в России сады барочного типа.

Дело в том, что сады по своему характеру вовсе не разделяются только на сады регулярные и пейзажные. Это старый искусствоведческий миф, который сейчас, в общем, развеян многочисленными исследованиями искусствоведов. Садово-парковое искусство развивается в ногу с другими искусствами и особенно в связи с развитием поэзии. Есть сады ренессансные, сады барокко, сады рококо, сады классицизма, сады романтизма. В пределах каждого великого стиля есть свои национальные особенности, а внутри национального стиля — почерк отдельных садоводов (Джон Эвелин писал в конце XVII века: «Каков садовод, таков и сад»). Есть, например, сады французского классицизма (Версальский сад, созданный Ленотром), есть сады голландского барокко.

Те многочисленные материалы о русских садах XVII века, которые опубликовал в XIX веке, но не сумел искусствоведчески осмыслить историк И. Забелин, отчетливо свидетельствуют, что к нам в Москву с середины XVII века проник в садоводство стиль голландского барокко.

Сады в московском Кремле делались на разных уровнях, террасами, как того требовал голландский вкус, огораживались стенами, украшались беседками и теремами. В садах устраивались пруды в гигантских свинцовых ваннах, также на разных уровнях. В прудах плавали потешные флотилии, в ящиках разводились редкостные растения (в частности, астраханский виноград), в гигантских шелковых клетках пели соловьи и перепелки (пение последних ценилось наравне с соловьиным), росли там душистые травы и цветы, в частности излюбленные голландские тюльпаны (цена на луковицы которых особенно возросла именно в середине XVII века), пытались держать попугаев и т. д. и т. п.

Барочные сады Москвы отличались от ренессансных своим ироническим характером. Их, как и голландские сады, стремились обставлять живописными картинами с обманными перспективными видами (group fœil), местами для уединения и т. д. и т. п.

Все это впоследствии Петр стал устраивать и в Петербурге. Разве что прибавились в петровских садах скульптуры, которых в Москве боялись из «идеологических» соображений: их принимали за идолов. Да прибавились еще эрмитажи — разных типов и различного назначения.

Такие же иронические сады с уклоном к рококо стали строиться в Царском Селе. Перед садовым фасадом Екатерининского дворца был разбит Голландский сад, и это свое определение — голландский — сад сохранял еще в начале XX века (в Голландке начинались свидания). Это было не только название сада, но и определение его типа. Это был сад уединения и разнообразия, сад голландского барокко, а затем и рококо с его склонностью к веселой шутке и уединению, но не философскому, а любовному. Вскоре Голландский сад, сад рококо, был окружен обширным предромантическим парком, в котором «садовая идеология» вновь обрела серьезность, где значительная доля принадлежала уже воспоминаниям — героическим, историческим и чисто личным, — где получила свое право на существование чувствительность (sensitivity of gardens) и была реабилитирована изгнанная из садов барокко или пародированная в них серьезная медитативность.

Если мы обратимся от этого кратчайшего экскурса в область русского садово-паркового искусства к лицейской лирике Пушкина, то мы найдем в ней всю семантику садов рококо и периода предромантизма. Пушкин в своих лицейских стихах культивирует тему своего «иронического монашества» («Знай, Наталья! — я... монах!»), садового уединения — любовного и с товарищами. Лицей для Пушкина был своего рода монастырем, а его комната кельей. Это чуть-чуть всерьез и чуть-чуть с оттенком иронии. Сам Пушкин в своих лицейских стихах выступает как нарушитель монашеского устава (пирушки и любовные утех). Эти темы — дань рококо. Но есть и дань предромантическим паркам — его знаменитые стихи «Воспоминания в Царском Селе», где «воспоминания» — это памятники русским победам и где встречаются оссианические мотивы (скалы, мхи, «седые валы», которых на самом деле на Большом озере в Царском и не бывало).

Открытие русской природы произошло у Пушкина в Михайловском. Михайловское и Тригорское — это места, где Колумб русской поэзии Пушкин открыл русский простой пейзаж. Именно здесь пристали «поэтические каравеллы»⁵ Пушкина. Вот почему Михайловское и Тригорское

⁵ Кстати, каравеллы — это тип двух из трех кораблей, на которых Колумб совершил свое открытие Америки (третий, и главный, корабль Колумба «Санта-Мария» был типа «каракка»), но в XVIII, а тем более в XIX веке каравелл не существовало. Между тем слово это вошло сейчас в моду, и каравеллами называют в Ленинграде корабль Адмиралтейского шпилья, ресторанчики, в которых подают блюда «петровской эпохи», и т. д. Каравелл ни при Петре, ни после Петра уже не могло быть.

кое так же святы для каждого русского человека, как свято было для первых переселенцев в Америку то место берега, на которое впервые ступила нога Колумба и его испанских спутников. Хранить природу Михайловского и Тригорского мы должны со всеми деревьями, лесами, озерами и рекой Соротью с особым вниманием, ибо здесь, повторяю, совершилось поэтическое открытие русской природы.

Пушкин в своем поэтическом отношении к природе прошел путь от Голландского сада в стиле рококо и Екатерининского парка в стиле предромантизма до чисто русского ландшафта Михайловского и Тригорского, не окруженного никакими садовыми стенами и по-русски обжитого, ухоженного, «обласканного» псковичами со времен княгини Ольги, а то и раньше, то есть за целую тысячу лет. И не случайно, что именно в обстановке этой русской «исторической» природы (а история, как вы заметили уже из моих заметок, есть главное слагаемое русской природы) родились подлинно исторические произведения Пушкина — и прежде всего «Борис Годунов».

Хочу привести одну большую и исторически пространную аналогию. Вблизи дворца всегда существовали более или менее обширные регулярные сады. Архитектура связывалась с природой через архитектурную же часть сада. Так было и во времена, когда пришла мода на романтические пейзажные сады. Так было при Павле и в дворянских усадьбах XIX века, в частности и в знаменитых подмосковных. Чем дальше от дворца, тем больше естественной природы. Даже в эпоху Ренессанса в Италии за пределами ренессансных архитектурных садов существовала природная часть владений хозяина для прогулок — природа римской Кампании. Чем длиннее становились маршруты человека для гуляний, чем дальше он уходил от своего дома, тем больше для него открывалась природа его страны, тем шире и ближе к дому — природная, пейзажная часть его парков. Пушкин открыл природу сперва в царскосельских парках вблизи дворца и лицея, но дальше он вышел за пределы «ухоженной природы». Из регулярного лицейского сада он перешел в его парковую часть, а затем в русскую деревню. Таков пейзажный маршрут пушкинской поэзии. От сада к парку и от парка к деревенской русской природе. Соответственно нарастало и национальное видение им природы.

Изменить что-либо в Михайловском и Тригорском, да и вообще в пушкинских местах бывшей Псковской губернии (новое слово Псковщина к этим местам не идет совсем) нельзя, так же как и во всяком дорогом нашему сердцу памятном предмете. Даже и драгоценная оправка здесь не годится, так как пушкинские места — это только центр той обширной части русской природы, которую зовем Россней.

Национальный идеал и национальная действительность

А как же с концепцией русского человека у Достоевского с его, русского человека, безудержностью, метаниями из одной крайности в другую, с его «интеллектуальной истерикой», бескомпромиссностью, легкой для себя и других, и т. д. и т. п.?

Но тут я отвечаю вопросом на вопрос: а откуда вообще взято мнение, что такова концепция русского человека у Достоевского? На том основании, что таковы многие из персонажей у Достоевского? Что так судят о русском человеке отдельные действующие лица его произведений? Так разве можно судить по действующим лицам, по их высказываниям о взглядах автора? Мы бы повторили ошибку многих философов, писавших о мировоззрении Достоевского и отождествлявших высказывания его героев с его собственными взглядами.

Русские люди вроде Мити Карамазова, конечно, были в русской действительности, но идеалом русского человека для Достоевского был Пушкин. Об этом он твердо и ясно заявил в своей знаменитой речи о Пушкине. Для Достоевского русский человек прежде всего «всевропеец» — человек, для которого родная и близкая вся европейская культура. Следовательно, русский для Достоевского — человек высокого интеллекта, высоких духовных запросов, приемлющий все европейские культуры, всю историю Европы и вовсе внутренне не противоречивый и не такой уж загадочный.

Если для Достоевского идеалом русского был гений, и при этом такой гений, как Пушкин, так ведь это и понятно: самое ценное в народе — в его вершинах.

Сказать можно еще многое, многое еще надо обдумать, раскрыть. Идеал ведь вряд ли был один, одинаковый у всех. Для одних, кто меньше задумывался над судьбами и особенностями великого народа, типичный образец всего русского — это ухарь купец Никитина, для других — Стенька Разин (не реальный Степан Разин, а Стенька Разин из известной песни Д. Н. Садовникова «Из-за острова на стрежень»), для третьих — это радщевский молодец из главы «София» его «Путешествия из Петербурга в Москву» и т. д. А я говорю — не надо забывать о русской природе и о человеке в природе: это крестьяне Венецианова, русские пейзажи Мартынова, и Васильева, и Левитана, и Нестерова, бабушка из «Обрыва», гневный и все ж таки добрый Аввакум, милый, умный и удачливый Иванушка-дурачок, а где-то на втором плане картины Нестерова его мерцающие вдаль тонкие белые стволы берез... Все вместе, все вместе: природа и народ.

Мне кажется, следует различать национальный идеал и национальный характер. Идеал не всегда совпадает с действительностью, даже всегда не совпадает. Но национальный идеал тем не менее очень важен. Народ, создающий высокий национальный идеал, создает и гениев, приближающихся к этому идеалу. А мерить культуру, ее высоту мы должны по ее высочайшим достижениям, ибо только вершины гор возвышаются над веками, создают горный хребет культуры.

Русские национальные черты в русских людях стремились найти и воплотить в своих произведениях и Аввакум, и Петр I, и Радищев, и Пушкин, и Достоевский, и Некрасов, и Стасов, и Герцен, и Горький, и многие, многие другие. Находили — и все, кстати, по-разному. Это не умаляет значения их поисков. Потому не умаляет, что все эти писатели, художники, публицисты вели за собой людей, направляли их поступки. Вели иногда в различных направлениях, но уводили всегда от одного общего: от душевной узости и отсутствия широты, от мещанства, от «бескомпромиссной» погруженности в повседневные заботы, от скупости душевной и жадности материальной, от мелкой злости и личной мстительности, от национальной и националистической узости во всех ее проявлениях (но о последней потом).

Если национальный идеал был у нас всегда разнообразен и широк, то национальный антиидеал — то, от чего отталкивались писатели, художники, — всегда в той или иной мере устойчив.

И все-таки я буду говорить о национальном идеале, хоть он и менее определен, чем антиидеал. Это для меня важнее, важнее еще и потому, что вдруг я найду единомышленников, а это так важно! Пусть со мной согласятся хоть двое-трое.

И прежде всего мне хочется говорить об идеале, которым жила древняя Русь.

Чем ближе мы возвращаемся к древней Руси и чем пристальнее начинаем смотреть на нее (не через окно, прорубленное Петром в Ев-

ропу, а теперь, когда мы восприняли Европу как свою, оказавшуюся для нас «окном в древнюю Русь», на которую мы глядим как чужие, извне), тем яснее для нас, что в древней Руси существовала своеобразная и великая культура — культура глубокого озера Светлый Яр, как бы незримая, плохо понятая и плохо изученная, не поддающаяся измерению нашими европейскими мерами высоты культуры и не подчиняющаяся нашим шаблонным представлениям о том, какой должна быть настоящая культура.

В прошлом мы привыкли думать о культуре древней Руси как об отсталой и «китайски замкнутой» в себе. Шутка ли: приходилось «прорубать окно в Европу», чтобы мало-мальски придать русской культуре «приличный» вид, избавить русский народ от его «отсталости», «серости» и «невежества».

Если исходить из современных представлений о высоте культуры, признаки отсталости древней Руси действительно были, но, как неожиданно обнаружилось в XX веке, они сочетались в древней Руси с ценностями самого высокого порядка — в зодчестве, иконописи и стенописи, в декоративном искусстве, в шитье, а теперь стало еще яснее: и в древнерусской хоровой музыке и в древнерусской литературе.

Не вернее ли думать, что те области, где эта отсталость замечается, просто менее характерны для культуры древней Руси и не по ним следует о ней судить?

Для того чтобы яснее представить себе нравственные идеалы древней Руси, большим подспорьем мог бы служить «Измарагд» — одно из любимейших и авторитетнейших чтений в древней Руси, а впоследствии у старообрядцев. «Измарагд» был несомненно более распространен, чем «Домострой». В. П. Адрианова-Перетц тридцать лет назад исследовала нравственные идеалы древней Руси по «Измарагду». Исследование это она почему-то не смогла напечатать.

Я не собираюсь ни повторять выводы этого исследования, ни занимать вас своими. Думаю вообще, что исследование нравственных идеалов древней Руси должно было бы быть сделано на более широких материалах, чем текст одного «Измарагда». Это работа для не одного поколения ученых. Но предваряя выводы будущих исследований, отмечу только, что огромная роль в создании этих идеалов принадлежит литературе исихастов, идеям ухода от мира, самоотречения, удаления от житейских забот, помогавшим русскому народу переносить его лишения, смотреть на мир и действовать с любовью и добротой к людям, отвращаясь от всякого насилия. Именно эти идеи в сильно трансформированном виде заставили Аввакума сопротивляться насилию только словом и убеждением, а не вооруженной силой, идти на неслыханное мученичество, проявляя одновременно и удивительную твердость и незлобивость. В Аввакуме и его писаниях поражает не только его нравственная стойкость, но способность подняться над самим собой, взглянуть с доброй и всепрощающей усмешкой на своих мучителей, которых он, отвлекаясь от ненавистных ему взглядов и действий, готов даже пожалеть, зовет их «горюнами», «бедненькими», «дурачками». Аввакума иногда изображают мрачным фанатиком. Это глубоко неверно, он умел смеяться, с улыбкой смотреть на тщетные усилия своих мучителей. Он мягок и одновременно поразительно силен духовно.

В этих условиях, «в условиях» таких идеалов, у людей древней Руси была удивительная любовь к миру при одновременном признании этого мира греховным, суетным, «мимотекущим» и злым.

Во всякой культуре есть идеал и есть его реализация: действительность, порождая некие идеалы, сама является одновременно попыткой

их осуществления, очень часто их искажающей и обедняющей. Характеризуя и оценивая любую культуру, мы должны оценивать то и другое порознь. Это необходимо потому, что осуществление идеалов в действительности может оказаться в резком диссонансе с самими идеалами. Это расхождение может быть в степени их осуществления или даже в самом характере осуществления. Идеал и действительность могут оказаться при этом типологически различны, этически различны, различны эстетически. Они могут принадлежать, наконец, в одном народе различным географическим странам света: Востоку и Западу, Азии и Европе.

«Двойная жизнь» культуры также обычна, как двойственность человеческой личности, ибо национальная культура тоже личность.

Идеал — мощный регулятор жизни⁶, но при всей мощности далеко не всеисильный, а иногда направляющий культуру в сторону, отличную от той, в которую движет его исторический процесс со всеми его экономическими основами. Силы идеала, пробиваясь к своему осуществлению, встречаются с сопротивлением «культурной материн», которая может заставить большой парусный корабль культуры лечь в бейдевинд.

Именно такой случай мы имеем в культуре древней Руси. Между идеалом культуры и действительностью оказался огромный разрыв. И не только потому, что идеал с самого начала был очень высок и становился все выше, не будучи накрепко привязан к действительности, но и потому, что реальность была порой чересчур низкой и жестокой. В древнерусском идеале была какая-то удивительная свобода от всякого рода претворений в жизнь. Это не значит, что этих претворений не было. Воплощались и высокие идеалы святости и нравственная чистота.

А как все-таки быть с братьями Карамазовыми? Пушкин один, а их все же трое и стоят они перед нами сплоченным рядом. Идеал и должен быть один, а Карамазовы — характеры. Типичные для русских людей? — да, типичные. Это «законные» братья, но есть у них еще и четвертый братец, «незаконный»: Смердяков.

В «законных» Карамазовых смешаны разные черты: и хорошие и плохие. А вот в Смердякове нет хороших черт. Есть только одна черта — черта чёрта. Он сливается с чертом. Они друг друга подменяют в кошмарах Ивана. А черт у каждого народа не то, что для народа характерно или типично, а как раз то, от чего народ отталкивается, отрицается, не признает. Смердяков не тип, а антипод русского.

Карамазовых в русской жизни много, но все-таки не они направляют курс корабля. Матросы важны, но еще важнее для капитана парусника румпель и звезда, на которую ориентируется идеал.

Было у русского народа не только хорошее, но и много дурного, и это дурное было большим, ибо и народ велик, но виноват в этом дурном был не всегда сам народ, а смердяковы, принимавшие обличье государственных деятелей: то Аракчеева, то Победоносцева, то других... Не случайно так много русских людей уходило на север — в леса, на юг — в казаки, на восток — в далекую Сибирь. Искали счастливое Беловодское царство, искали страну без урядников и квартальных надзирателей, без генералов, посылавших их отнимать чужие земли у таких же крестьян, как и они сами. Но оставались все же в армии Тушины, Ковничины и Платоны Каратаевы: это когда войны были оборонительные или освобождать приходилось «братушек» — болгар и сербов.

⁶ См. об этом: Ю. М. Лотман. Статьи по типологии культуры. Тарту. 1970, стр. 40 (об отношениях между культурой и ее моделью).

«Братушки» — слово это придумал народ, и придумал хорошо.

Следовательно, меньше было в русском народе национального эгоизма, чем национальной широты и открытости.

Что делать — каждый предмет отбрасывает в солнечный день тень и каждой доброй черте народа противостоит своя недобрая.

Патриотизм или национализм?

Существуют совершенно неправильные представления о том, что, подчеркивая национальные особенности, пытаюсь определить национальный характер, мы способствуем разъединению народов, потакаем шовинистическим инстинктам.

Великий русский историк С. М. Соловьев в начале седьмой книги своей «Истории России с древнейших времен» писал: «Неприятное восхваление своей национальности... не может увлечь русских...» Это совершенно верно. Восхвалением самих себя по-настоящему русские и никогда не «хворали». Напротив, русские хоть и не всегда, но по большей части жили в мире с соседними народами. Мы можем отметить это уже для древнейших веков существования Руси. Мирное соседство русских и карельских деревень на севере в течение тысячелетия — факт очень показательный. Соседство с русскими мери, веси, ижоры и т. д. не было окрашено кровопролитиями. В Киеве был Чудин двор — какого-то знатного представителя чуди (будущих эстонцев). В Новгороде была Чудинцева улица. Там же в недавние годы найден древнейший памятник финского языка — финская берестяная грамота, лежавшая рядом с написанными по-русски. Несмотря на все войны со степью, иные из которых носили отнюдь не национальный, а сугубо феодальный характер, русские князья женились на знатных половчанках. Не было, значит, расовой отчужденности. Да и вся история русской культуры показывает ее преимущественно открытый характер, восприимчивость и в массе своей отсутствие национальной спеси.

Сразу по взятии Казани в середине XVI века составляется «История Казанского взятия», где рассказывается и о храбрости татарских защитников Казани и с сочувствием передается плач казанской царицы Сююмбеки о потере Казанью своей независимости.

Как будто бы я занялся восхвалением своей национальности? Но нет, ведь то же самое свойство открытости и миролюбия отличало и финские племена, жившие в соседстве с русскими. Эта открытость — черта определенного, донационального, существования народов. Однако на Руси эта черта пережила все временные границы, она утвердилась идеологически, стала сознательным и определенным принципом в жизни лучшей части русской литературы и исторической мысли. Принципы эти были унаследованы восточнославянскими народами у болгар. Кирилл (или Мефодий) говорил в своем споре с триязычниками (сторонниками богослужебной практики только на трех языках — греческом, еврейском и латинском) в Венеции: «Разве не идет дождь для всех равно? Разве не для всех сияет солнце? Не дышим ли мы все единым воздухом?»

Этой мысли вторит в середине XI века русский митрополит Иларий в своем замечательном «Слове о Законе и Благодати», где говорится о том, что все народы равноправны и все совершают общее дело для человечества.

Национальные особенности — достоверный факт. Не существует только каких-то единственных в своем роде особенностей, свойственных только данному народу, только данной нации, только данной стране.

Все дело в некоторой их совокупности и в кристаллически неповторимом строении этих национальных и общенародных черт. Отрицать наличие национального характера, национальной индивидуальности значит делать мир народов очень скучным и серым.

В самом деле, представьте себе, что вы путешествуете в вагоне и видите из окна один и тот же пейзаж. Скучно! Пропадает интерес к путешествию, и исчезает любовь к стране, по которой вы проезжаете. Ребенок не полюбит куклу, если он будет знать, что все куклы совершенно одинаковы и их множество. Надо в своей кукле найти индивидуальные особенности, отличающие ее от других кукол, и надо назвать ее своим именем. Имя как признак индивидуальности, неповторимости играет огромную роль в привязанности к чему бы то ни было и к кому бы то ни было. Если нет индивидуальных особенностей, отличающих одну местность от другой, одно село от другого, один город от другого и ваш собственный дом от соседних,— вся страна превращается в пустыню скучную, неинтересную, а люди в ней в людей, лишенных любви к родным местам.

Именно индивидуальные особенности народов связывают их друг с другом, заставляют нас любить народ, к которому мы даже не принадлежим, но с которым столкнула нас судьба. Следовательно, выявление национальных особенностей характера, знание их, размышления над историческими обстоятельствами, способствовавшими их созданию, помогают нам понять другие народы. Размышление над этими национальными особенностями имеет общественное значение. Оно очень важно.

Осознанная любовь к своему народу не соединима с ненавистью к другим. Любя свой народ, свою семью, скорее будешь любить другие народы и другие семьи и людей. В каждом человеке существует общая настроенность на ненависть или на любовь, на отъединение себя от других или на признание чужого — не всякого чужого, конечно, а лучшего в чужом, — не отделимая от умения заметить это лучшее. Поэтому ненависть к другим народам (шовинизм) рано или поздно переходит и на часть своего народа — хотя бы на тех, кто не признает национализма. Если доминирует в человеке общая настроенность к восприятию чужих культур, то она неизбежно приводит его к ясному осознанию ценности своей собственной. Поэтому в высших, осознанных своих проявлениях национальность всегда миролюбива, а активно миролюбива, а не просто безразлична к другим национальностям.

Национализм — это проявление слабости нации, а не ее силы. Заражаются национализмом по большей части слабые народы, пытающиеся сохранить себя с помощью националистических чувств и идеологии. Но великий народ, народ со своей большой культурой, со своими национальными традициями, обязан быть добрым, особенно если с ним соединена судьба малого народа. Великий народ должен помогать малому сохранить себя, свой язык, свою культуру.

Необязательно сильный народ многочислен, а слабый малочислен. Дело не в числе людей, принадлежащих к данному народу, а в уверенности и в стойкости его национальных традиций.

Лет пятнадцать назад, еще до образования Общества охраны памятников культуры и истории, я встретился с тремя молодыми людьми, которые, как и я, были обеспокоены тем небрежением, в котором находились, особенно тогда, памятники культуры. Вместе мы перечисляли, что мы теряем и что можем еще потерять. Я стал говорить о том, что мы недостаточно заботимся о памятниках малых народов: ижора, вольд исчезают бесследно. И вдруг мои молодые люди насупились: «Нет, мы

будем заботиться только о русских памятниках». «Почему?» — «Мы русские». — «Но разве не долг России помогать тем народам, которые волею истории связали свою судьбу с судьбой России?»

Я говорил, между прочим, и о том, как много ценного для мировой культуры дают народы Поволжья. Поволжья — поймите это! — то есть народов, живущих по великой русской реке Волге. А разве Волга не река и других народов — татар, мордвы, марийцев и прочих? Далеко ли от нее до народа коми или башкир? Сколько мы, русские, получили культурных ценностей от других народов именно потому, что сами давали им много! А культура — это как неразменный рубль: расплачиваешься этим рублем, а он все у тебя в кармане и даже, глядишь, денег становится больше.

Какие крупные русские ученые изучали языки Средней Азии, Сибири, Кавказа! Сколько у нас было выдающихся востоковедов, и как выросла сама русская филология благодаря изучению культур народов Востока, какой авторитет завоевала во всем мире...

А искусствоведение, историческая наука, фольклористика, литературоведение, да и многое другое. Русская наука не проиграла от того, что русские ученые принимали участие в организации национальных научных центров в нашей стране, национальных высших учебных заведений. Она обогатилась и продолжает обогащаться изучением идей, возвращающихся к нам в Россию обогащенными из Еревана, Тарту, Ташкента, Алма-Аты, Тбилиси, Баку, Киева, Минска, Петрозаводска, Вильнюса, Риги...

Вряд ли в этом беспорядочном перечислении научных центров я упомяну всех и вся. Дело не в полноте перечисления, а в полноте осознания той роли, которую играет национальный обмен научным опытом между народами.

Истинный патриотизм в том, чтобы обогащать других, обогащаясь сам духовно. Национализм же, отгораживаясь стеной от других культур, губит свою собственную культуру, иссушает ее.

Культура должна быть открытой.

Несмотря на все уроки XX века, мы не научились по-настоящему различать патриотизм и национализм. Зло маскируется под добро.

Патриотизм — это благороднейшее из чувств. Это даже не чувство — это важнейшая сторона и личной и общественной культуры духа, когда человек и весь народ как бы поднимаются над самими собой, ставят себе сверхлические цели.

Национализм же — это подлейшее из несчастий человеческого рода. Как и всякое зло, оно скрывается, живет во тьме и только делает вид, что порождено любовью к своей стране. А порождено оно на самом деле злобой, ненавистью к другим народам и к той части своего собственного народа, которая не разделяет националистических взглядов.

Национализм порождает неуверенность в самом себе, слабость и сам, в свою очередь, порожден этим же.

Будем любить свой народ, свой город, свою природу, свое село, свою семью.

Если в семье все благополучно, то и в быту к такой семье тянутся другие семьи — навещают, участвуют в семейных праздниках. Благополучные семьи живут социально, гостеприимно, радушно, живут вместе. Это сильные семьи, крепкие семьи.

Так и в жизни народов. Народы, в которых патриотизм не подменяется национальным «приобретательством», жадностью и человеконенавистничеством национализма, живут в дружбе и мире со всеми народами.

Можно только радоваться, ~~живя~~ **живя** в стране, где встречаются и сходятся самые различные народы — различные по обычаям, культурным традициям и национальному характеру.

Как ученый, я занимаюсь древней русской литературой, то есть именно тем периодом русской литературы, в котором ее русскость была выражена с наибольшей отчетливостью. И вот что достойно внимания: в древней русской литературе наряду с русскими писателями выступали болгары (Киприан, Григорий Вамблак), сербы (Пахомий Логофет, Аникита Лев Филолог), греки (Максим Грек и многие другие), хорваты (Юрий Крижанич), поляки (Андрей Белобоцкий), мордвины (по-видимому, «протопоп богатырь» Аввакум и его недооцененный противник — патриарх Никон), белорусы, украинцы (их много в XVII веке, их не перечислишь)... Все они включались в созидательный процесс развития русской литературы.

Мы все граждане своего народа, граждане нашего великого Союза и граждане всего земного шара. Пусть это не звучит напыщенно. Это сказано мною от всего сердца, а то, что сказано от сердца, не может быть пустой фразой.

О национализме, основанном на ненависти к другим народам, и о патриотизме, основанном на любви к своему, хочется сказать словами одной грузинской песни:

То, что ненависть разрушит,
То любовь восстановит...



ТУДОР АРГЕЗИ



КОГДА ВЕНЧАЮТСЯ С ЖЕЛЕЗОМ ЖГУЧИМ КЛЕЩИ

На протяжении семидесяти одного года неутомимой литературной деятельности Тудор Аргези писал стихи, романы, пьесы, яркие памфлеты, многочисленные работы по литературоведению, живописи, музыке, теории театра, книги для детей. Нет такой области художественного творчества, которой не коснулось бы перо Аргези. За несколько дней до смерти он завершил составление своего собрания сочинений из 61 тома. В Бухаресте вышел сейчас 31-й том.

Аргези глубоко любил свой народ, боролся за его освобождение из-под ига помещиков и капиталистов. В то же время его творчество глубоко интернационально. Он горячо любил русскую литературу и перевел на румынский язык произведения Достоевского, Фонвизина, Крылова, Куприна, Гоголя, писал о Толстом, Горьком, Чехове, Маяковском, о людях советского искусства.

Творчество Тудора Аргези глубоко социально. Его ярко выраженную гражданскую позицию во многом определило общение с русскими революционерами в Швейцарии в самом начале нашего века, знакомство с ленинскими трудами. Аргези писал о Ленине как о своем учителе.

21 мая 1980 года исполняется сто лет со дня рождения Тудора Аргези. Эта дата по решению ЮНЕСКО отмечается во всем мире.

Публикация, вступление, перевод «Автобиографии» и «Ленин всюду» — Ф. Видрашку.

ЗАВЕЩАНИЕ

Когда умру, останется на свете
Лишь только имя в книге — буквы эти.
В мятежное грядущее не прямы
К тебе дороги предков: рвы да ямы.
Ползти по ним пришлось на брухе дедам.
И ты, мой сын, пройдешь за ними следом.
И на пути твоём к вершинам света
Одной ступенькой будет книга эта.
Не бойся и себе рукою смелой
Из этой книги изголовье сделай!

Из этой рабьей грамоты. Впервые
 К вам, дети, в ней кричат рабы живые.
 Чтобы в перо их заступ изострился,
 А чернозем в чернила превратился,
 Копили пот веков, терпели беды
 Погонщики волов — отцы и деды.
 Мой прадед разговаривал с волами —
 И завладел я этими словами.
 Из года в год я их месил, как тесто,
 Я на иконах им расчистил место.
 Хлам обратил я в розы песнопенья,
 В мед обратил я старый яд терпенья.
 Я создал, стронув грубый слог немного,
 Крик, помощь, ласку... Каменного бога
 Я создал (посетив дома умерших
 И взяв золы из очагов померкших).
 Бог двух миров, бог и отцу и сыну, —
 Он долга твоего хранит вершину.
 Всю нашу боль на струны скрипки нежной,
 Единственной я взгромоздил как мог.
 Под эту скрипку мой хозяин прежний
 Уколотым козлом пустился вскок!
 Я красоту освободил от грязи,
 От плесени — лучи отмыл в алмазе,
 Удары плети — боль тысячелетий —
 (Хоть медленно, но зреет месть на свете!)
 Вернул с лихвой в жестокой, хлесткой фразе.
 Вон — ветка справедливости — несмело
 На свет из леса выглянуть посмела,
 Но мучает, но жжет ее — прибавок
 Извечностью взращенных бородавок.
 Княжна разнежилась на ложе лени.
 Ей с этой книгой — столько затруднений!
 Ужасные здесь происходят вещи:
 Венчаются с железом жгучим клещи.
 Раб книгу создал. Господин — читает.
 А между тем догадки не хватает,
 Что притаился в недрах книги сей
 Раб, гневный раб — да с родословной всей.

Перевела НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА.

АВТОБИОГРАФИЯ

В двенадцать лет я преподавал математику взрослому человеку и изучал алгебру вместо него. Во время каникул работал учеником каменотеса, расписывал надгробья. В шестнадцать лет был секретарем художественной выставки и печатал первые стихи. В семнадцать был лаборантом на фабрике, а в восемнадцать лет руководил этой лабораторией. В девятнадцать был диаконом и преподавал закон божий в офицерской школе. Во время своих странствий по чужим странам становился то грузчиком, то продавцом стеклянных побрякушек за десять сантимов штука, научился мастерить кольца и крышки для часов. Когда было нечего есть, терпел. Вернувшись на родину, не чурался никакой работы, кроме грязного дела газетного шантажа и торговли своим пером и совестью. Моя совесть и перо ничем не запятнаны. В пятьдесят восемь лет сдал экзамен на аттестат типографского наборщика. В этой деревне, где я живу, выполняю любую работу как настоящий раб земли вместе с женой и со своими детьми, которым не

стыдно делать все, кроме четырех вещей: паразитировать, лгать, красть и попрошайничать.

Если я и обрел литературное имя, то это ночным трудом. Дрожащей от физической усталости рукой я брал ручку и писал. Я не знаю, заслуживаю ли звания писателя, но я заработал это звание жесточайшим трудом и сейчас, в шестьдесят лет, казнюсь над листком бумаги так же, как и в двадцать один.

ПОТЕРЯННЫЕ ЛИСТЯ

Уж полстолетья ты тревожишь неустанно
Чернила и слова, перо томишь в руках,
И все ж, как и тогда, победы нет желанной:
Они всегда с тобой — сомнения и страх.

И для тебя опять как тягостная мука
Страница белая и вид строки твоей,
И первого в душе опять боишься звука,
И буквы для тебя опять всего страшней.

Когда же вновь листки исписаны тобою,
Они уже летят поверх озерных вод,
Летят из сада прочь, как листья под грозой,
Так что и персик сам их проглядел уход.

И в каждом слове ты вновь чуешь содроганье,
Сомненье горькое чернит твои мечты,
Живешь ты как во сне, в своих воспоминаньях.
Кто диктовал тебе — уже не знаешь ты.

Перевела АННА АХМАТОВА.

ЗАТЕРЯВШИЕСЯ ПОСЛЫ

Два белых ангела с небес летели в час ночной
С божественным посланием к Марии пресвятой.

Но заплуталися впотьмах посланцы в стихарях,
Холодную и звездную дорогу потеряв.

Почувствовали сквозь туман: земля внизу цветет...
Остановились подглядеть серебряный восход...

Не знали эти ангелы во глубине времен,
Что первый ангел был — она и что второй был — он.

Но уж на землю с той поры (легенды говорят)
Никто ни разу не послал двух ангелов подряд.

А эти двое — их совсем полет пленил двойной:
Они порхали вокруг луны, игру вели с луной. . .

О, что за музыка неслась, летела им вослед!
(То скрипка, может быть, была? А может быть, и нет?)

Влекла, укачивала их полета колыбель.
Забыли ангелы свою посланческую цель.

Они друг друга обняли, как пропасть и скала.
Пустыня беспредельности под ними замерла.

И замерло дыхание, и звуков хор застыл.
Тогда упали с неба вниз две пары белых крыл.

Перевела НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА.

ДЫБА-ВОЕВОДА

Слава, слава Владу-воеводе,
в мире утвердившему покой и лад!
Слышен лист дрожащий в чистом небосводе.
На земле бояре, как листва, дрожат.

Он большой мыслитель, Влад непобедимый,
гуманист деяньями и душой,
он сажает на кол бояр любимых,
зад соединяя с головой.

Дорогим боярам приготовив свечку,
он от христианства не отошел —
ставит в церкви свечи в честь жизни вечной,
каждому по чину выбирая кол.

Кол из кипариса подобает визирю,
кол из лучшей липы пойдет послу.
Благостный епископ над страной возвысился
на ароматизированном колу!

Чтоб восславить Влада, съезжались гости —
во дворец съезжался совет страны.
Закипали кубки, взвивались тосты:
как все любят Влада и как верны!

И пока оратор говорит: «Спасибо!» —
Влад соображает, припав на стол:
«Какую б тебе, милый, придумать дыбу,
какой бы получше приготовить кол?»

1927.

ХАМЕЛЕОНЬЯ ДУША

Твоя душа — наездник с бандерильей,
торчащий галунами шаровар.

Ты думаешь, что скачешь на кобыле,
но под тобой — колодезный журавль.

Твоя душа — трусливый кот домашний,
хотя вокруг пантерой глядишь.
Ты за мышами носишься бумажными,
чьи тени погромней верблюдищ.

Душа твоя — бездарная пичуга,
завидующая соловью.
В интригах и причудливых потугах
забывшая мелодию свою.

Твоя душа — приبلудный старый заяц,
испробовавший браги, как на грех,
которому с похмелья показалось,
что если пьяный он, то — человек.

Твоя душа — трактирная мадонна,
кормящая грудями без стыда
раскрашенную куклу из картона,
замену подмененного Христа.

Болотная душа хамелеонства!
В ней заблудились, выбившись из сил,
обманутые призраки влюбленных.
Зачем ты, вурдалак, их погубил?

Перевел АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ.

ПЕСНЬ

Статным девушкам и юношам лица
Александру Иона Кузы из Телеормана¹.

Ты наделил меня и златом и дарами,
К которым дух извечно устремлен.
Все силы сердца были врозь рабами,
Теперь сияньем я соединен.
И, как простенок, полон образами.
И стихарем себя я ощутил,
Который соткан был для воеводы
С надеждой в горе, из последних сил
Перстами теплыми всего народа.
И так роятся вокруг меня шелка,
Что слышен шепот тот издалека
В узоре незапамятного года.

22 октября 1964.

Перевел КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ.

¹ Поэт часто бывал в Телеорманском уезде, родине друга всей его жизни писателя Галы Галактиона.

ЛЕНИН ВСЮДУ

За восемьдесят прожитых лет я сосуществовал вместе с огромным количеством людей. Среди них были государственные мужи и полководцы, деятели науки и искусства, императоры, короли, декоративные персонажи, канувшие один за другим в Лету. Что же они оставили после себя? Простые, покинутые бабочками скорлупки. Они исчезли из памяти, как ненужные телефонные номера.

Многие десятки лет я следил в библиотеках и на перекрестках истории, притаившись с карандашом в руках, чтобы из толпы философствующих прорицателей, большинство теорий которых стерлось, как древние разменные монеты, выбрать близкого мне человека — я чувствовал потребность в моральной опоре.

Сколько лиц прошло перед моими глазами! Я не могу с точностью определить секунду, когда я выбрал сразу же его единственного. Меня тянуло к нему с неодолимой силой. Было это пятьдесят пять лет назад в Швейцарии. Молодые русские парни и девушки, с которыми я обедал в женевских народных столовых, знали его и робели перед ним...

В то время, когда фабриковались или сшивались из лоскутков очередные знаменитости, на горизонте появилась и обретала гигантские размеры новая, выдающаяся личность Ленина. Он шел издалека, будто из глубин человеческой истории, преодолевая границы идей и обычных демагогических концепций. Это единственный человек, сумевший за одну жизнь, за очень короткую жизнь осуществить свои идеи с такой полнотой и грандиозностью. Кажется, что для этого не хватило бы и десятка жизней. Ум и ни с чем не сравнимая гениальность Ленина преодолели и перемололи само время.

Кто сказал, что Ленин умер?

Он жив и будет вечно жить среди народов. Его дело на полном развернутом марше. Ленин — единственный в тысячелетиях, прожитых человечеством в бесправии.

22 апреля 1960.



ЮЛИЯ ДРУНИНА

★

«НОЛЬ ТРИ»

Памяти Алексея Каплера.

1

Не проклиная долю вдовью,
Жить не согнувшись буду с ней.
Мне все оплачено любовью
Вперед, до окончанья дней.
Да, той единственной, с которой
Сквозь пламя человек идет,
С которой он сдвигает горы,
С которой — головой об лед...

2

«03» — тревожной созвучья нет.
«03» — мигалки зловещий свет.
«03» — ты, доктор и кислород.
Сирена, как на войне, ревет,
Сирена, как на войне, кричит
В глухой к страданьям людским ночи.

3

Все поняла, хотя еще и не был
Объявлен мне твой смертный приговор...
И не обрушилось на землю небо,
И так же птичий заливался хор.
Держала душу — уходило тело.
Я повторяла про себя:
— Конец...
И за тобою в пустоту летела
И ударялась, как в стекло птенец.
Ты перешел в другое измеренье —
Туда дорогу не нашли врачи,

Туда и мне вовеки не пробиться,
 Хоть головой о стенку, хоть кричи!
 В твоих глазах я свет нездешний вижу,
 Твой голос по-особому звучит.
 И подступает — ближе, ближе, ближе! —
 Тот день, что нас с тобою разлучит.
 А ты..
 Ты строишь планы лет на двадцать —
 Мне остается лишь кивать в ответ..
 Клянусь, тебе не дам я догадаться,
 Что нет тебя — уже на свете нет...

4

В больничной палате угрюмой
 В бессоннице и полусне
 Одну только думаю думу,
 Одно только видится мне.
 Все замки воздушные строю,
 Бессильно и горько любя, —
 Вновь стать фронтовой сестрою
 И вызвать огонь на себя.

5

Твержу я любопытным: извините,
 Все в норме, нету времени, бегу!
 И прячу первые седые нити,
 И крашу губы, улыбаюсь, лгу.
 Людское любопытство так жестоко!
 Совсем не каждому понять дано,
 Что смерти немигающее око
 И на него в упор устремлено...

6

Безнадежность..
 И все ж за тебя буду драться,
 Как во время войны в окруженьи дрались.
 Слышу вновь позывные затухающих раций:
 «Помогите, я — Жизнь!
 Помогите, я — Жизнь!»

Это битва,
 Хоть дымом не тянет и гарью,
 Не строчат пулеметы, не бьет миномет.
 Может, несколько месяцев скальпель подарит!
 Может быть...

В безнадежность
Каталка ~~плывет~~.

Грозно вспыхнула надпись.

«Идет операция!»

Сквозь нее проступает:

«Помогите, я — Жизни!»

...Безнадежность.

И все ж за тебя буду драться,

Как во время войны в окруженьи дрались.

7

Твой слабый голос в телефонной трубке —

Как ниточка, что оборвется вдруг.

Твой слабый голос, непохожий, хрупкий, —

Тобой пройден ада первый круг.

Твой слабый голос в трубке телефонной —

И эхо боли

У меня в груди.

Звонишь ты из реанимационной,

Чтоб успокоить: — Беды позади.

Твой слабый голос. Тишина ночная.

И нет надежды провалиться в сон...

Все выдержу.

Но для чего я знаю,

Что к смертной казни ты приговорен?..

8

Таял ты, становился бесплотною тенью,

В совершенстве науку страданья постиг.

И могла ли терять я хотя бы мгновенье

И могла ли оставить тебя хоть на миг?..

Как солдаты в окопе, отбивались мы вместе.

Умирал ты, как жил, — никого не вина.

До последней минуты был рыцарем чести,

До последней:

Жалел не себя, а меня...

9

Журавлиные эскадрильи,

Агармыш¹, что влывает во тьму,

Не в Москве тебя хоронили —

В тихом-тихом Старом Крыму.

Я твою выполняла волю...

Громко бился об урну ~~шмель~~,

¹ Гора.

Было с кладбища видно поле
И дорога на Коктебель.
Люди плакали, медь рыдала,
Полутьма вытесняла свет.
На дороге лишь я видала
Удалявшийся силуэт.
И ушел ты в слепую темень,
Вслед уплывшему в горы дню.
Я осталась пока что с теми,
С кем потом тебя догоню.

10

Сначала друг, а следом самый близкий
Мне человек ушел в последний путь...
Ну что ж — по крайней мере нету риска,
Что будет мне больней когда-нибудь.

И все-таки поставить на колени
Судьбе меня не удалось опять.
Ведь я из фронтового поколения —
Мы не умеем руки опускать.



ВЛАДИМИР ОРЛОВ



АЛЬТИСТ ДАНИЛОВ*

Роман

Данилов, сам не позвонив Наташе, опечалился оттого, что не позвонила она. Но тут он вспомнил: «А как там Кармадон?» Он перевел себя в демоническое состояние, но не сразу окунулся в мадридскую жизнь. На излете своих земных мыслей он вспомнил, что так и не посмотрел ноты композитора Переслегина. «Экая я безответственная скотина!» — отругал себя Данилов. Но сдвигать пластинку браслета обратно и хвататься за ноты Переслегина было бы теперь неприлично. Данилов сам себя изъясил из людского времени. Если бы Кармадон отдыхал теперь в Москве и веселился бы с Даниловым на глазах у всех, скажем в буфете Дома композиторов, то Данилов, даже и переходя в демоны, оставался бы в людском времени. Но Кармадон был теперь в отъезде. Данилов же ни на секунду не мог исчезнуть из Москвы. Вот в наблюдениях за Кармадоном он и вынужден был втискиваться в демоническое время. Данилов как бы в электричке на ходу разжимал закрытые двери и оказывался между ними, то есть на самом деле он разжимал людское время, был вне его, но и двигался вместе с ним, а потом отпускал двери времени, они сжимались опять, и Данилов возвращался в то самое мгновение, из которого по необходимости вышел.

Но теперь, пока Данилов еще не очутился чувствами в Мадриде, в его кооперативной обители могли появиться известные Данилову личности. В обычные мгновения по условиям договора путь сюда им был заказан. Сейчас же в квартире Данилова произошло знакомое ему сотрясение воздуха, предвещавшее обычно сладкие мгновения удовольствий. Все завертелось, запрыгало, мебель, посуда, книги, в их числе и философские, документы Данилова, страховые листки, связанные с альтом Альбани, — все было вовлечено в сумасшедшее вращение с нарастающим свистящим звуком и оранжевым свечением. Потом что-то грохнуло, зазвенело, все вернулось на свои места, и на письменном столе Данилова возникла демоническая женщина Анастасия, смоленских кровей, кавалерист-девица, жаркая, ликующая, готовая утолить его любую жажду, поправшая теперь конспекты занятий вечерней сети прекрасными босыми ногами.

— Здравствуй, Данилов! — сказала Анастасия и спрыгнула на пол. — Ах ты миленок мой, Данилов, что же ты прячешься-то от меня! Аль другую полюбил? — Она смеялась, но в оранжевых глазах ее Данилов уловил и ужасную.

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 2 с. в.

— Да все дела, — пробормотал Данилов. — Вот теперь с Кармадоном...

— Ах, брось, Данилов! Какие дела! — махнула рукой Анастасия и сверкающими камнями, видно и инопланетными, устроила в воздухе секундный фейерверк. — Ну иди ко мне, Данилов, — сказала Анастасия. — Ведь я так редко вижу тебя, иди скорей...

Однако она сама двинулась к Данилову, не дожидаясь его порыва, обняла его, влекущие оранжевые глаза ее были рядом. Данилов ощущал ее упоительное тело, понимая, что сейчас все опять может пойти прахом, но прахом ничто не пошло.

— То есть как, — отстранилась от него Анастасия, — ты не рад мне? В тебе и желания ко мне никакого нет! Стало быть, и вправду у тебя другая! Мне гадали, да я не верила... — Она замолчала, видно ожидая от Данилова каких-то слов, но не дождалась. — Прощай, Данилов! — сказала Анастасия в гневе. — Прощай, ненаглядный! Уж я тебе припомню измену.

Она топнула ногой, прекрасная, буйная, хорошо, что пол не проломила, и тут же исчезла в гордыне, воздух сотряся и как бы дверью хлопнув.

«Почему я был холоден с ней? — думал Данилов. — Из-за Кармадона... У меня дела с Кармадоном, и я не имел права... — объяснил он себе, но тут же увидел, что это объяснение наивное и фальшивое. — Нет, все из-за Наташи», — понял Данилов.

Это было странно. Прежде Данилову земные женщины вовсе не служили препятствием в демонических отношениях. Явились сейчас же Данилову мысли о том, что с ним случилось. Однако он их отогнал; решив, что раздумья следует отложить до лучших времен. Но что же это за лучшие времена? Откуда они? Их у него или вообще не будет, или они наступили уже теперь. Может, и время «Ч» отменено. А что, подумал Данилов, вот ведь и Кармадона к нему прислали на отдых, и Валентин Сергеевич исчез. Может, и вправду произошло нечто? Скажем, подействовала искупительная жертва Химеко?

Данилов взбодрился. Он уже верил в Химеко и в облегчение своей судьбы. Ему показалось даже, что в комнате его запахло анемонами из нежных рук Химеко. «Вот вернется Кармадон, я с ним поговорю при случае насчет времени «Ч» и Валентина Сергеевича, — в благодушии рассуждал Данилов, — вдруг и альт объявится... сам собой. А что Анастасия грозила — так это она в сердцах...»

15

«Батюшки! — спохватился Данилов. — Я забыл про Кармадона!»

И он отлетел в Мадрид.

Оказалось, что ничто так и не пробудило в Мигуэле корридного бойца! Десятки отборных коров, кровь с молоком, пылких и отзывчивых, пытались увлечь принципского быка, но ни одна из них не смогла стать его подругой. В гневе жестокий Бурнабито пустил этих ни в чем не повинных существ на мясной фарш для консервов «Завтрак странствующего рыцаря». Кормили быка лекарствами, показывали ему редкие фильмы, от каких и слепой бы почувствовал муки любви, ничто не помогло. Дышал принципский бык ровно, а сенажную массу, пахнущую росой, жевал машинально. «Фу ты! Лучше бы тебя взорвали в Нуакшоте!» — свирепел Бурнабито. Впрочем, он полюбил быка Мигуэля.

Грустно было в Мадриде. Среди прочих ездил по городу и переживал на лошади Пржевальского странствующий рыцарь Алонсо Виталио Резниковес, вернувшийся из провинции со странствующим же офици-

антом. К копыю недавнего тореро была привязана проволокой металлическая тарелка со словами: «Отмщенье синему быку!»

На одной из площадей рыцаря окружила толпа. Ждала его слов. И он заявил:

— Синий бык — импотент!

Толпа притихла.

— Отмщенье, сеньоры, отмщенье! — вскричал Резниковьес и потряс копыем с тарелкой.

Все поняли, что нарушитель правил корриды погибнет. Возможно, и сегодня.

Официант протянул рыцарю печеное яблоко в слоеном тесте, присыпанное сахарной пудрой. Рыцарь яблоко проглотил, обдав пудрой соседних дам, но не успокоился.

«Такой наделает дел! — опечалился Данилов. — Изверг, по роже видно, хоть и рыцарь. И что они привязались к Мигуэлю!»

За Мадридом был нужен глаз да глаз. Следовало ждать событий, а каких — неизвестно...

Вернувшись в люди, Данилов стал стелить постель и тут остро захотел сыграть одну из «Песен для сумасшедшего короля» Майкла Девиса, шестую. Сыграл. Один раз. И еще. «Кабы на Альбани...» — подумал Данилов. Но и без Альбани вышло хорошо. «Кабы Наташа тут сидела и слушала...» Но и для самого себя сыграть было приятно. Данилов потянулся, представил Наташу спящей, нежность возникла в нем. Однако он тут же вспомнил Анастасию, снова пожалел ее. «А ведь она грозила. Как бы Наташе не сделала худого... Нет, Анастасия не делает... Она и вообще земную женщину в расчет не возьмет. А вот мне что-нибудь да устроит!..»

Данилов взял ноты Переслегина, думая пробежать их хоть наискосок. Одолел первый лист и впился в бумагу глазами. Скоро он понял, что перед ним музыка. В симфонии было семь частей, альт вел сольную партию, но не так, как у Берлиоза в «Гарольде», а находясь почти всегда в состоянии любви, ненависти или усталого безразличия к кларнету и валторне, причем валторна показалась Данилову выражением прошлого альты или, может быть, даже и не пережитого альтом, а только пригрезившегося ему. В семи частях симфонии Данилов не увидел претензии автора, он решил, что семь частей тут необходимы, хотя и не понял пока, в чем эта необходимость. Он вообще не стал теперь вникать в замысел Переслегина и во все случаи его партитуры, отложив это на свежую голову. Он просто понял, что перед ним вещь. Он захотел сыграть одну тему из третьей части. Но не смог, а тут, у стола, и заснул.

16

Утром опять был звонок. Опять — ожидание услышать голос Наташи. И опять в трубке напор Клавдии.

— Помню, помню... — с досадой пробормотал Данилов и, снятый Клавдией с постели раньше звуков будильника, не смог отказать себе в мелкой мести: — Ну как, достала книги по голографии?

— Пока мне хватит Войнова, — сказала Клавдия. — Он уже мой. Взят. С голографией успеется... Да, помнишь, я говорила тебе насчет синего быка?

— Ну?

— Что ну! Тот был в Мадриде. А теперь у нас свой объявился в северных землях, в Панкратьевском районе.

— Кто объявился?

— Бык.

— Какой бык?

— Такой же, как у них. То есть, конечно, выделка у них, наверное,

лучше и рога небось не те. Но такой же гигантский и синий, как у них. Только у них был принципский, а у нас панкратьевский!

— Какой панкратьевский?

— Данилов, с тобой говорить... У меня маска на лице питательная из томатов и та стечет. Ты ведь газет не читаешь? Я этого принципского быка две ночи во сне видела, а сегодня — нате вам! — у нас нашли...

Данилов быстро закончил разговор, натянул джинсы, накинул на голое тело пальто и в шлепанцах бросился на первый этаж. Вынул газеты и в лифте прочел: «Интересная находка. На скотном дворе артели «Прогресс» Панкратьевского района найден удивительный бык. Он весь синий, а ростом выше членов артели и выше несгораемого шкафа, установленного в конторе. Это сильное и неприхотливое животное, представителей его породы еще не было на наших скотных дворах. Необыкновенный бык — смиренный и откликается на поэтическое имя Васька. На взгляд зоотехника В. Широкова, он ни в чем не уступает знаменитому принципскому быку Мигуэлю, виденному Широковым в телепрограмме „Время“». «Наверное, не уступает», — вздохнул Данилов.

Дома он перечитал заметку, помещенную под рубрикой «Удивительное — рядом», будто в ней могли объявиться новые слова. «Так... Значит, еще и панкратьевский... Что же я тут сиюж-то, — спохватился вдруг Данилов, — когда мне надо в Мадрид! Вдруг этот панкратьевский-то самозванец!» А очень могло быть, что и самозванец.

Тотчас же Данилов ткнулся носом в изумительные ворота особняка, где содержали быка Мигуэля, и обнаружил, что Мигуэля в особняке нет. И во всем Мадриде быка не было. Минут двадцать назад люди Бурнабито имели его в виду, сейчас же потеряли. Переполох еще не начался, в Мадриде было тихо. Странствующий рыцарь Резниковьес, сломавший вчера копые при попытке вытащить кость хека из зубов, спал на сырой брусчатке возле ворот особняка, а верная его кобыла Конкордия стояла привязанная к столбу.

Тут же Данилов перенесся в панкратьевские места. Артель «Прогресс» была уже на ногах. Данилов оглядел шкаф, установленный в конторе, учуял некое волнение в кабинете председателя. Причиной волнения была высокая свойства бумага, прибывшая вертолетом. Бумага указывала: «Немедленно в сопровождении представителей отправить в Москву на Выставку достижений племенного быка Василия. Для показа гостям столицы и обмена опытом». Правлению было жалко теперь не быка, а представителей. То, что бык у них не жилец, понимали все. Большому кораблю большое плавание. Данилов заглянул на скотный двор. Бык, интересовавший его, спал. Здесь было прохладнее, нежели в особняке Мигуэля, дыхание панкратьевского быка отлетало паром. Но он спал. Это Данилова успокоило.

История панкратьевской находки, выяснил Данилов, была простая. Три дня назад в утренних сумерках животноводы колхоза Кукушкин Л. Д. и Кулешов А. В. возле скотного двора наткнулись на незнакомый предмет. Когда они осветили предмет фонарями с жужжанием, то увидели, что перед ними на снегу лежит то ли бык, то ли корова, то ли зверь. «Экая глупая скотина!» — сказал Кукушкин, но другими словами. Стоял мороз, мужики, хоть и были в досаде, все же пожалели животное и, растолкав его подшитыми валенками, повели в помещение. Там при электрическом свете животноводы поняли, что вчера у этой стервы Любки приняли лишнего. Первым их движением было — сейчас же бежать опохмелиться, но ноги не понесли. Тем временем бык тихо прошел к свободному стойлу и устроился там на соломе. «А это ведь не наш», — сказал Кукушкин. «Не наш» — согласился Кулешов. «А чей же?» Кулешов объяснил, что знает чей. «Может, из «Луча» прибред?» — предположил Кукушкин. «Да откуда же он в «Луче» вырос бы такой! — сказал

Кулешов. — Этот из лесу...» Кукушкин усомнился, но Кулешов стоял на своем. Было известно, что где-то рядом бродит медведь-шатун, видно, этот медведь и выгнал быка из леса. Потом и другие склонились к тому, что бык вышел из леса. Быком любовались, жалели его, окликали: «Васька» — и ухо у быка дергалось, будто он все понимал. Случившийся в деревне командировочный человек сказал: «Это будет бык-рекордист!»

Однако теперь быка вызывали в Москву.

«Ну и нечего мне в Панкратьевском районе делать, — решил Данилов. — Выставка от моего дома в двух шагах... Значит, Кармадон еще три дня выгадал... Ловок приятель!» Но вовсе не исключалось, что это и не Кармадон. Может, Кармадона растревожили и он затеял там нечто новое — с исчезновениями, сюрпризами и бенгальскими огнями, а здесь, в Панкратьеве, сразу же проклюнулись недруги Данилова? Накинули на плечи шкуру принцепского быка и тут как тут! На всякий случай Данилов опять искал следы Кармадона в Испании. Но ничего не нашел. «Ладно, — сказал себе Данилов. — Поживем — увидим. Сегодня же небось быка в Москву и привезут».

Однако ни сегодня, ни завтра, ни на третий день быка в Москву не привезли.

Данилов в списке забот Клавдии Петровны поставил последнюю галочку, счастливо вздохнул. «Свобода!» — вскричал он и сыграл на альте «Оду к радости».

Галочка, ликующая, от ликования подпрыгнувшая, возникла возле пункта «купить моющиеся обои под парчу, под сатин, под вельвет, под кирпич, под дворянское гнездо. Или на Колхозной, или у спекулянтов. Где хочешь!».

Вежливо Данилов дал понять Клавдии, что подобные предприятия имели место последний раз. Хотел было и вовсе перейти на заочные с ней отношения, однако душевные слова Клавдии опять смягчили Данилова. «И все же свобода! — подумал Данилов. — Теперь я хоть брюки возьму из химчистки!»

— Ну а с быком-то твоим Васькой что же? — спросил Данилов у Клавдии на прощанье. — Где он?

— Он еще два дня назад должен был прибыть на Выставку! Я туда звонила. Говорят, все в порядке, корм выделен, но быка нет. Ты же знаешь наши скорости!

— А зачем тебе бык-то?

— Как зачем? — удивилась Клавдия Петровна. — Такой бык?

Композитору Переслегину Данилов отправил открытку, хотел было сам сгоряча съездить к нему, но понял, что не хватит времени. Да и надо было почитать ноты внимательнее. Открытка вышла сухим предложением позвонить в указанное время.

Но и бык, и Клавдия, и хлопобуды, и альт Альбани, и композитор Переслегин, и собственные старания в музыке были теперь Данилову словно бы и не важны. А лаковая бумажка с багровыми знаками времени «Ч» казалась и вовсе привидевшейся.

Да и что они!

Данилов при людях в троллейбусе на обледеневшем стекле монеткой выводил — «Наташа».

Наташа была всюду и всегда: и в нотах, и в полетах дирижерской палочки, и на сцене не только в движениях Жизели или трепетной Одетты, но и в шуршании занавеса, в звуках падающих цветов, пусть даже брошенных «сырами» артиста Володина, и дома — в мечтаниях Данилова при жаренье яичницы, и на улицах — в торопливой, схваченной морозом толпе. Данилов всюду, даже в оркестровой яме, то и дело оборачивался — не появилась ли Наташа.

Однако она не появлялась. И не звонила.

И он ей не звонил.

Теперь ему казалось, что он напрасно в последний раз не сказал Наташе, что любит ее. Он как бы забыл, что тогда эти слова сами ему не явились. Это сейчас, по прошествии трех дней, они в нем созрели. «Да что я!.. Вот как она?.. Может, я и вовсе ей не нужен...» Однажды он все-таки позвонил ей на работу, ему отчего-то казалось, что с работы Наташе будет легче говорить с ним. Если он для нее чужой, то служебный телефон сделает естественной сухость ее ответов. Но, как и раньше, Наташа была в походе за химической посудой. «Оно и к лучшему», — решил Данилов. Неделю, чуть больше, оставалось еще гулять на каникулах Кармадону, и Данилов полагал, что лучше держать Наташу подальше от отпускника.

Последние дни Данилов много играл. И в театре и в чужих оркестрах, куда приглашали. Много играл и дома. Он уставал и, как ни звали его Муравлевы, не мог выбраться даже к ним. Лишь однажды встретился с Муравлевым на Страстном бульваре, принял от него в долг пятьсот рублей, вырученные от продажи колонковой шубы. Деньги эти Данилов тут же отнес Добкиным, он и у них брал на Альбани. В собрание домашних на Аргуновскую Данилов последние недели не заглядывал, далеки ему стали его прежние приятели...

17

Наташа Данилову не звонила. А вот Клавдия по утрам звонила. Об услугах она его не просила, что само по себе Данилова пугало, а говорила о всякой чепухе, будто с министерской приятельницей, у какой купила пеньюар. Данилов понимал, что эти звонки неспроста, а имеют непременно дальнюю цель. Придет день, Клавдия свое решение ему и объявит. А теперь она как бы приучает его к своей ежедневной дружбе, чтобы потом его, забывшего об осторожности, размягченного, застичнуть врасплох и проглотить. «Нет уж, дудки!» — опять храбрился Данилов.

Между прочим, Клавдия говорила о синем быке. Она побывала на Выставке и даже справа от фонтана «Каменный цветок» видела помещение для панкратьевского быка. А бык все не ехал.

Данилов однажды чуть было не успокоил ее насчет быка. Сам не понял, как удержался. Он-то кое-что знал про панкратьевского быка Ваську. Бык все еще не расстался с заснеженными просторами Галичской возвышенности. Сначала в артели никак не могли решить, кого посылать представителями и в каком виде. Надо сказать, охотников быть при Ваське, хоть и в Москве, находилось мало. Наконец к ночи определили в поездку для обмена опытом животноводов Кукушкина Л. Д. и Кулешова А. В. При Кукушкине и Кулешове послали непьющего агронома Василькову. На тракторных санях бык Васька доставлен был к станции железной дороги. И здесь народ, стекшийся к саням, уж на что приученный ко всяким чудесам, вслух удивлялся быку. Василькова отчего-то краснела, Кукушкин молчал задумчиво, говорил лишь Кулешов, поскольку был кучерявый, но и то одни и те же слова: «Да, кабыздох будь здоров вымахал!» На станции долго думали, в какой вагон быка сажать — не в товарном же ехать быку на Выставку по приглашению. Потом решили: не Москва Москвой, а у них и своих дел много.

Долго панкратьевский бык Васька ждал на станции. То агроном Василькова ушла в магазин за чулками и архангельский поезд проехал дальше. То животноводы Кукушкин и Кулешов зачитались газет и забыли о представительстве. Начальник станции Курнев мучался, мучался с ними, наконец пошел домой, к семье, поручив отправку гостей столицы диспетчеру Соломатину. «Ты этого, быка-то, — сказал он напоследок, — грузи в багажный вагон...» С северной стороны прибыл скорый.

Диспетчер Соломатин посадил животноводов и агрономшу в купейный вагон, руки им пожал на прощанье, а когда скорый ушел, он увидел, что бык Васька как лежал на тракторных санях, так и теперь лежит. «Что же это ты? — сказал Соломатин бригадиру Первушину с укоризной. — Он же остался!» «Ну остался», — согласился Первушин. «Как же это ты, Николай Иванович!» «А ты его попробуй подыми!» — сказал Первушин. «Да вон ведь вас целая бригада!» «Бригада! — хмыкнул Первушин и сплюнул. — Ну бригада... А может, он буйный, бык-то, леший его разберет...» «Как же быть-то теперь? — покачал головой Соломатин. — Ведь его в Москве ждут!» «Экое дело, ждут...» — сказал Первушин. Закурили. Помолчали минут пять. «Я ведь что... — сказал Первушин, — я ведь не против... Ну поднимем мы этого быка, не беспокойся, экая важность — бык! Да сколько мы таких быков!.. Но я ведь что думаю... Тут ведь другой вопрос... Если взглянуть по-хозяйски... Взять же сейчас какой-нибудь кран, как в порту, с цеплялкой, и этого быка легонько так по воздуху и перенести... Или я вот что думаю — сетку такую большую сделать, как сумку, с мотором и пропеллером, и чтобы она сама этого быка прихватила и доставила... Или вот тележку на воздушной подушке у нас пустить... А потом и на всех станциях...» «Да где ж я тебе такую сетку-то возьму! — расстроился Соломатин. — И подушки...» «Да-а! — раздумчиво протянул Первушин. Потом сказал великодушно: — Ну ладно. Можно взять транспортер из пакгауза и на ленте быка прямо в багажный вагон и пустить». «Ну и возьми транспортер!» — обрадовался Соломатин. «Возьми! — Первушин шапку сдвинул на затылок. — Легко сказать — возьми! Он же сломанный!» Соломатин был тихий человек, а тут опять вскричал: «Так что же ты мне голову морочишь! Чтоб на красноярском он у меня был в багаже!» «Ну ладно, на красноярском, — согласился Первушин, — а то ведь он тут, на морозе, кашлять начнет». Первушину и бригаде стало жалко животное, мерзло оно ни за что, и когда через час показался поезд, пусть и не красноярский, бригада с помощниками из пассажиров как могла сдала быка в багаж. Вышел Соломатин, спросил: «Готова бригада-то?» «Да мы уж его посадили!» — счастливо улыбнулся Первушин. «Куда?» «Да вон на тот поезд!» «Он же в Хабаровск!» — охнул Соломатин. «Ну в Хабаровск... — сказал Первушин. — А-то он тут замерз бы!.. Если надо, так его и обратно отправят... А то окоченел бы...» «Дубина ты еловая...» — только и сказал Соломатин, прежде чем осесть на шпалы.

Лишь на четвертый день бык прибыл в Москву. В первый день быка смотрели эксперты и только руками разводили. Наутро был назначен закрытый просмотр быка для специалистов и передовиков. И лишь на третий день было обещано вывести быка на большой круг выставочного ипподрома. Было известно, что в Москву уже прилетели профессор из Оксфорда Чиверс и один из адвокатов Бурнабито, объявившего, что Василий и есть пропавший Мигуэль.

Профессор Чиверс получил возможность обследовать животное вместе с московскими экспертами. Поздним вечером он сообщил, что санкратевский бык похож на принсипского, однако он выше его на семь сантиметров, опасней рогами, желудок имеет, напротив, объемом меньше, а шерсть у него куда более густая и длинная, что вызвано суровым климатом Севера. Объяснить одновременное появление гигантских быков в дальних точках Земли профессор был не в силах, он сказал, что перед нами одна из загадок века. Адвокат Бурнабито к быку не был допущен. Ему лишь вручили справку, где удостоверялось, что бык Василий имелся в колхозе пять дней назад. То есть еще до пропажи быка Мигуэля.

Клавдия Петровна, естественно, достала приглашение и попала

на закрытый просмотр быка. Взволнованная, она сообщила Данилову, что взглянуть на быка явился самый свет.

— И как только эта стерва Драницына достала приглашение!.. Она куда хочешь пролезет... И вся в бриллиантах...

— Ну а бык-то что? — спросил Данилов.

— Ну! Бык-то! Это потрясающе! Как он стоял!

— Стоял? — удивился Данилов.

На закрытый просмотр Данилов не стал проникать из принципа. А вот на выставочный ипподром он пошел с большим удовольствием. Мороз был крепок, сияло солнце. Данилов легким, но праздничным шагом двинулся на Выставку. Идти-то ему было пятнадцать минут. Уже у касс он увидел очереди. Данилов подумал, что в этих очередях можно замерзнуть, он решительно прошел к служебному входу, вынул удостоверение театра, взмахнул им и пробился.

Возле ипподрома он увидел живопись масляными красками по жести. Выставочный анималист изобразил панкратьевского быка. Цифрами были помечены все стати быка — и холка, и подгузок, и бедра, и бабки, и седалищные бугры, и маклок, и скакательный сустав, и это самое, и все, все, а ниже шли данные в сантиметрах и килограммах. Однако время шло, первый сеанс прогулки быка по большому кругу давно уж должен бы окончиться, а быка все не было.

Данилова толкали, лица вокруг из любопытствующих становились нервными и обиженными. Но вдруг раздалось:

— Вон он! Ведут!

Данилов вытянул шею, увидел — вели Василия. Публика замерла. Бык был гигант и красавец. Девочка лет пяти вскрикнула в восторге:

— Мамонт! Мамонт! Саблезубый!

Но тут бык остановился, лег на снег и, как понял Данилов, забылся во сне. Публика, восхищенная им, стала подзадоривать быка, требовать от него обещанной прогулки по большому кругу. Потом публике стало жалко быка — каково ему на снегу-то! Потом прошла и жалость. Ропот возник в толпе. Публика ревела:

— Давайте прогулку! За что платили! Халтура!

Данилов почувствовал: если сейчас бык не встанет, что-то произойдет. Взволнованный, он стал пробираться к выходу на ипподромное поле. Пуговицы отлетели от его пальто, шарф чуть не остался на одном из зрителей, и все же Данилов вышел к быку. Тут его попридержали милиционеры. Народ ревел, недалеко от себя в толпе Данилов увидел неистовую Клавдию. «Да что же это я! Забылся, что ли? — подумал Данилов. — Что же я действую таким дурацким способом!»

Он сдвинул пластинку браслета и через секунду был уже быком ростом даже и поболее быка Василия, но другой масти — шерсть его вышла зеленая с белыми полосками. Данилов четырьмя ногами пошел на лейтенанта, тот поглядел на него с уважением и пропустил.

Публика опять притихла, а животноводы Кукушкин и Кулешов на всякий случай отошли от синего быка. Данилов приблизился к быку Василию и рогом ткнул его в бок.

— Кармадон, это ты, что ли?

— Ну... — не сразу прохрипел бык Василий.

— Это я, Данилов. Вставай!

— Не хочу... — буркнул Кармадон. — Отстань...

— А я тебе говорю — вставай! — Данилов знал теперь точно, что это не самозванец. Он еще раз, уже сильнее, ткнул Кармадона рогом.

— Отстань...

— Я говорю — вставай!

Бык Василий встал.

— Теперь иди за мной, — приказал Данилов. — И не зевай! Иди, иди, я тебе говорю.

Сначала Данилов подталкивал Кармадона, потом тот пошел сам, и хорошо пошел. Они с Даниловым сделали большой круг, вызвав аплодисменты. Данилов искренне жалел, что принял такой гигантский вид с дурацкой шкурой, как бы теперь и к нему не проявили интерес эксперты. В помещении он шепнул Кармадону:

— У меня больше нет времени. Мне в театр. Увидимся завтра. Ты должен еще три раза пройтись по кругу. Еще три сеанса. Иначе с тебя публика снимет шкуру... Понял?..

Бык Василий кивнул. Но и зевнул при этом. Данилов на всякий случай сам запрограммировал ему еще три большие прогулки. Тут же он вышел в пустынный коридор и превратился сам в себя.

«А сон его уже не такой глубокий, — отметил Данилов. — Впрочем, мне-то что? Бык этот мне порядком надоел».

В час ночи его разбудил звонок. «Наташа!» — опять подскочил Данилов. Он обрадовался, но тут же испугался. Кармадон был в Москве, в любое мгновение мог явиться к Данилову на постой, Наташа не должна была знать о нем, а он о ней. Но звонила опять Клавдия.

— Данилов, — сказала она. — А я тебя видела. Возле быка. О чем это ты милиционера просил?

— Я искал туалет, — хмуро сказал Данилов.

— Это на тебя похоже... Видел быка-то?

— Нет! — Данилов готов был трубкой ударить по аппарату. — Я был в туалете.

— Ты и главного не видел! Наши подпустили к Василию грамотного бычка, нарочно выкрашенного в зеленый цвет с белыми полосками, чтобы Василий принял его за своего и послушался. И этот бычок, жалкий довольно, взял и...

— Хватит. Прощай. У меня зуб болит! — резко сказал Данилов и повесил трубку.

Зуб у него не болел, но от Клавдии мог заболеть. «Зачем я выбрал какую-то идиотскую шкуру! — снова отругал себя Данилов. — Но отчего же — бычок? Да еще жалкий...» Засыпая, он вспомнил, что пройтись гигантским быком по заснеженному кругу ипподрома ему было приятно...

18

Утром он пошел на Ярославский рынок за овощами и у ворот рынка увидел бойкую торговлю леденцами на палочке. Данилов и сам с детства любил прозрачные, тающие во рту петушки и слоники, но сейчас очередь была уж больно длинная. «Синий бык на палочке! Синий бык на палочке!» — по привычке повторял мужик с мешком, хотя зазывать кого-либо и не было нужды. «Синий бык кончился! — услышал Данилов. — Остались петушки и пришельцы в скафандрах!»

«Мистика какая-то!» — подумал Данилов.

Днем, чуть где рядом возникали разговоры о быке, Данилов отходил подальше. Флейтист Садовников признался, что был вчера на Выставке и теперь чувствует себя одураченным. «Подумаешь, показали какого-то синенького... А я-то ждал!» Скрипач Земский заметил, что следовало на ипподроме просто выставить слова: «Прогулка гигантского синего быка». В мозгу каждого из зрителей возник бы бык и его прогулка, и это было бы настоящее искусство, а не шарлатанство, как теперь. Многие сходились на том, что сейчас в Москве — видимо, в связи с синим быком — ощущается явный подъем мужской силы. В антракте «Спящей» Данилов понал к телевизору на последние известия и услышал, что сегодня ночью наш бык Василий посланцем дружбы улетит в

Канаду. Он подарен известному представителю деловых кругов Канады Андре Ришару.

О канадском миллионере Ришаре из Принс-Руперта Данилов слышал. Ришар не раз прилетал в Москву. Он был знаменит и как собиратель, имел прославленные коллекции животных, фарфора и мебели XVI века. В честь деловых переговоров он подарил Торговой палате маньеристское кресло работы ломбардских мастеров, с часами над спинкой. Теперь в ответ ему преподнесли Василия. «И правильно сделали!» — сказал Данилов и пошел доигрывать «Спящую».

Он знал, что Ришар человек деловой, поэтому завтра к утру бык Василий будет в Канаде. А там пусть спит себе до конца каникул. И все же вечером Данилов Наташе звонить не стал. Мало ли что.

Он взял ноты Переслегина. Переслегин мог уже и получить его открытку, однако пока не откликнулся. И опять симфония Данилову понравилась. Теперь она ему не только понравилась, но и взволновала его. Ему показалось, что жизнь альта в этой симфонии — отражение его, Данилова, жизни. Будто себя он ощутил в нервном движении альта по страницам партитуры, свои мучения и свои надежды, свою любовь и свои долги. В четвертой части он обнаружил даже летучее место, где альт, или он, Данилов, останавливается возле химчистки с намерением получить брюки, но сейчас же набежавшая волна жизни подхватывает его и несет дальше, оставив брюки висеть. Лишь изредка альты, как и ему, Данилову, выпадали мгновения для раздумий или просто для тихих чувств, но мгновения эти были недолгие, они тут же срывались в бурю или в суету. Впрочем, все это были мысли литературные. Подобного рода мысли возникали у Данилова обычно лишь при чтении нот. Когда же он играл или слушал чужое исполнение, ему было уже не до видений и слов, тут жила Музыка, она значила для Данилова больше, нежели видения, слова, а порой и сама жизнь. Но пока Данилов читал ноты. «Нет, это можно сыграть! — воодушевлялся Данилов. — Я сыграю это!» Однако тут же он обдавал себя холодной водой — где он сыграет? С кем? «Не важно, где, с кем, а симфонию я приготовлю», — решил Данилов. При этом альт в душе его уже вел тему из пятой части партитуры Переслегина.

Хотя Данилов и положил себе о Кармадоне не думать, он думал о нем. И по привычке и просто из беспокойства. И еще — он все же рассчитывал на один серьезный разговор с Кармадоном. Надо было рассказать ему о времени «Ч» и посоветоваться. А может, кое о чем и попросить... О Кармадоне он узнал вот что.

Деловой человек Ришар обещал пополнить быком Василием свою галерею редких животных. Однако сразу же по прибытии Василия в Принс-Руперт, как Данилов и предполагал, зоологи Ришара взяли быка в оборот. Наверное, Ришару еще в самолете виделись тучные стада синей масти в долине Фрейзера. Бык отогнал настойчивых зоологов Ришара движением ног и покинул галерею редких животных. Как понял Данилов, навсегда.

Сутки Данилов провел в тревоге, все сигналы и шумы принимал в напряжении чувств, в одиннадцать вечера услышал новость: на севере Канады на берегу Гудзонова залива охотником Кеннаном замечено странное явление. Изо льда на тонком стебле торчал невиданный цветок, светившийся в полярной ночи. Кеннан цветок сорвал, а корней не обнаружил. Позже лабораторным путем в диковинном растении было установлено большое содержание молибдена.

Без промедления маршрутом Чкалова Данилов вылетел в Канаду, имея при себе лом и шанцевый инструмент. На месте цветения он понял, что ломом ему не обойтись. Лом заменил отбойным молотком. Подолдом земля была схвачена вечной мерзлотой. Раз на Кармадоне появи-

лись волопасные растения, значит, Кармадон отключился, себе не хозяин и как бы он не замерз на вечные времена. Долго Данилов бился с канадской мерзлотой, пот с лица стирал, наконец откопал Кармадона. Кармадон пребывал чуть ли не в состоянии замороженного, и был он уже не бык, а то странное существо с присосками, проволоками и неизвестно с чем, какое плавало у Данилова в ванне. Данилов пытался разбудить Кармадона, но где уж тут! Данилов выругался, поволок Кармадона в Останкино к себе на квартиру. Там он сунул Кармадона в ванну и пустил горячую воду.

— Где я? — поднял веки Кармадон.

— У меня, — жестко сказал Данилов. — Каникул тебе осталось пять дней. Считай, что быком ты побыл.

— Опять я оброс волопасным... — увидел Кармадон.

Он выпил пилюли и вернул себе человеческое тело.

— Так и не выспался? — спросил Данилов.

— А я спал? — Кармадон ошалело уставился на Данилова.

— Нет, ты разгуливал с гитарой по Испаниям, — сказал Данилов. — Ты ведь ас!

«Это я зря, — подумал Данилов. — Да и чего я злюсь на него! Ну возился я с ним, но я и должен был с ним возиться».

— Я спал! — в отчаянии ударил рукой по воде Кармадон. — Я раски!

— Не расстраивайся, — сказал Данилов уже с некой жалостью к Кармадону. — Ну подумаешь, спал...

— Нет, позор! Стыд-то какой! Разве я ас? Я слаб!

Кармадон чуть ли не стонал, так был расстроен.

— Я не думаю, что теперь, — заметил Данилов, — ты проявляешь сильные стороны своей природы.

— Ты прав, — утихнув, сказал Кармадон. — Теперь я и вовсе нюни распустил.

— Вот полотенце, вот пижама... Неужели ты ничего не чувствовал и ничего не помнишь?..

— Смутно припоминаю что-то. Точно грезы... Водили меня куда-то. Что-то заставляли делать. А я от них шарахался... в разные углы Земли... Какой позор!

Утром Данилову пришлось будить Кармадона. Тот хоть накануне и отказывался прилечь и просил Данилова пожалеть чистое белье, сейчас тихо спал на диване. Разбуженный, он смутился, опять корил себя, спрашивал Данилова, не знает ли тот средств, чтобы вовсе истребить в организме сон. Данилов средств не знал. Зазвонил телефон. Данилов услышал Наташу.

Экая была досада! Хоть бы Кармадон вышел куда на секунду, за сигаретами, что ли, или за почтой, так нет, вялый и сонный, он сидел в кресле. Данилов слушал милый Наташин голос, а сам боялся назвать Наташу по имени, говорил невнятно и коротко, будто хотел отделаться от Наташи.

— Что с тобой, Володя? — спросила Наташа. — Тебе неприятен мой звонок?

— Нет, я так ждал его, — сказал Данилов, но тут же оглянулся на Кармадона. — Видишь ли, я очень спешу...

— Ну извини, — сказала Наташа и положила трубку.

«Подожди!..» — чуть ли не вскричал Данилов.

— Кто это? — спросил Кармадон.

— А-а-а, — хмуро махнул рукой Данилов, — так...

«А впрочем, может быть, оно и к лучшему, что Наташа теперь позвонила, — подумал Данилов, — через пять дней я ее найду и извинюсь...»

— Кофе готов, — сказал Данилов. — Вот бутерброды с сыром. Что ты намерен делать нынче?

— Не знаю, — протянул Кармадон.

— Ну смотри, — сказал Данилов. — Посиди дома. Включи телевизор. Почитай газеты со статьями о быке.

— Что ж, давай, — поморщился Кармадон.

Данилов, как всегда поутру, гладил электрическим утюгом черную бабочку для ямы. Из кухни он услышал громкие стенания Кармадона над ежедневными газетами. Данилов зашел в комнату.

— Мало того что я спал, — поднял голову Кармадон и сказал печально, — но мне еще и спать не давали. Покой нам только снится...

— Это кто тебе сказал?

— Сам понял...

Он чуть ли не плакал. Таким ли он прибыл на Землю из своей волопасной далекой и бурной жизни! Тогда он был устал, но могуч, тогда он верил в себя и верил в свои грядущие подвиги, рискованные, но уж и со страстями, тогда он был вулкан, а теперь он — пластмассовая пепельница с угасшими окурками, тогда он имел своим девизом слова «Ничто не слишком», а теперь ему, наверное, стыдно вспомнить о них, тогда он был бас, а теперь он тенор, лирический и тихий, способный спеть лишь Трике, да и то в народной опере мукомолов. Восемь дней назад, при явлении Кармадона, вышло само собой, что Данилов почувствовал себя стационарным зрителем, принявшим влиятельного камергера, когда-то однокашника. То есть так низко Данилов себя не ставил, но что-то подобное ощутил. Пусть и минутно, но ощутил. Теперь же все было иначе... Данилов гладил брюки, и тут он услышал возглас Кармадона:

— «Синий бык — имп...» Ну это уж слишком! Данилов, разве такое могло быть? Даже и во сне?

— Как тебе сказать... — осторожно начал Данилов.

Кармадон швырнул на пол газету с заметкой о странном поведении принципского синего быка; так швыряют рецензии, отметил Данилов, разобрал только, что рецензия ругательная, и не желая вдаваться в подробности. Из чувства протеста и самосохранения. Кармадон смотрел теперь на Данилова, и Данилов знал: Кармадон надеется, что он, Данилов, сейчас назовет газету бессовестной.

— Значит, было что-то... — сказал Данилов.

— О, ужас! — Кармадон закрыл глаза и откинул голову. — А я так мечтал побыть синим быком!

— Успокойся, — сказал Данилов.

— Нет, после этой газеты я не успокоюсь! Иначе мне хоть и не возвращаться с каникул... У тебя есть гантели?

— Есть, — сказал Данилов, — пятикилограммовые.

— Хорошо. Я начну с зарядки.

— Начни... Потом сходи в парную. В Сандуны или Марьинские.

— И схожу. Я себя пересилю.

«А что, — подумал Данилов, — и пересилит...»

Однако вечером, вернувшись из театра, Данилов опять увидел Кармадона унылым. На кухонном столике он обнаружил чужую газету, грязную, мятую, и на ней следы закуски. И запахи на кухне стояли чужие.

— Пил с кем-нибудь? — спросил Данилов.

— Да. В бане познакомился с двумя.

— Кто такие?

— Из вашего дома. Один водопроводчик. Коля. Другой из твоего театра. Скрипач. Земский. Николай Борисович.

— Да, — кивнул Данилов. — Земский у нас сегодня на больничном. Люмбаго. Зад. что ли, он в бане-то грел?

— Нет, выше.

— И кем же ты им назвался?

— Твой друг. Содержались вместе в детском доме. Теперь живу в Сибири. Специалист по молибдену.

— Сибирь большая.

— Мне старуха, которая у вас внизу сидит, то же самое сказала. На твоём месте я давно бы эту старуху превратил в растение. Я ей объяснил, что я из Иркутска.

— Ты опять не в духе?

— А-а-а! — махнул рукой Кармадон. — А может, это все от познания?

— Что от познания?

— Ну... — смущенно сказал Кармадон, — все эти странные случаи...

— Не понял.

— Может быть, бессилие мое от излишнего познания?

В глазах Кармадона была печаль, будто он открыл в себе болезнь, от какой его дальнейшая жизнь могла выйти лишь сплошным страданием. «А ведь он кроткий сегодня, — подумал Данилов. — Прежде он непременно бы привратницу Полину Терентьевну произвел в кактус или в авоську с большими дырами, а нынче был деликатным и с ней, и с Земским, и с водопроводчиком Колей...» Тихая жалость к Кармадону опять возникла в Данилове. Он простил Кармадону повешенную Наташей трубку.

— Почему же именно от познания? — спросил Данилов, спросил не для себя, а как бы давая Кармадону возможность усомниться в истории собственной болезни.

— Данилов, ты наблюдал наших знатоков и теоретиков? Они лысы, беззубы и бессильны от познания!

— Зубы-то тут при чем? — искренне удивился Данилов. — Потом, ты... то есть такие, как мы с тобой, и не слишком удручали себя познанием. Да нам и не надо. Мы практики, у нас дела, катаклизмы, чувства, нам в этой суеде некогда... Теоретики, мыслители, знатоки, они оттого и теоретики, что они изначально бессильны. Или успели обессилеть, вот и пошли в мыслители... Об облысении я не говорю. Это другой вопрос... Наконец, мыслителям и знатокам нужно познавать и мыслить и по долгу службы. Им отведено время и пространство, все мгновения для них остановлены, а тут... — Данилов чуть было не добавил, что эти теоретики-мыслители, наверное, и обедать с горячими блюдами успевают каждый день, но удержался.

— Ты не прав, — сказал Кармадон, и опять с печалью. — Это в нас уже не истребить. Это в нас профессиональное, демоническое. Мы ведь, к несчастью, духи познания. Ты что, забыл? Да, я практик, демон действия, я реалист и презираю мыслителей и знатоков, но я жаден. До всего жаден. И, сам того не желая, впитываю в себя чувственные и деловые познания! А они, может, меня и погубят! Может быть, они для меня окажутся больше открытий аналитических натур! Ты прав, те и начинали с того, что были бессильны. А если обессилю я! Если я иссякну!

— Просто ты не спал у волопасов. Вот и вся причина.

— Нет, Данилов, это от познания. От познания!

Данилов понял, что Кармадона не сдвинешь. Данилов был спорщик, порой и отчаянный, спорить мог о всяких предметах, в том числе и ему незнакомых, в особенности с Муравлевым и духовиками из оркестра. Но сейчас он не хотел спорить. Много в его жизни скопилось болезненного, важного, такого, что Данилов обещал себе обдумать или решить. Однако в житейской суеде он то и дело откладывал обдумывания и решения до лучших времен, посчитав, что уж пусть пока все идет как идет.

И сегодня Данилов не желал раздувать спор, какой мог привести неизвестно к чему. И еще Данилову вдруг показалось, что он холоден к волнениям Кармадона, что эти демонические сомнения его, Данилова, как будто бы и не касаются, словно сетования москвичей на толкотню в троллейбусах — погонщика оленей.

Данилов принес коньяк и ликер «Северное сияние», купленный им в бенефисный день синего быка на мадридской корриде. На всякий случай предложил Кармадону коньяк, но вкус у того не изменился.

— Да, Данилов, — сказал Кармадон, — мы с тобой жили чувствами! Мы не из тех, кто обожает точные науки и умствования сухих голов, Любомудров, кто готов с лупой обползывать взглядом все закоулки изловленных душ! Ты знаешь, я люблю вихри, наваждения, напасти, буйное лихо, тут моя стихия, тут я деятель решительный и рискованный. Тут я жаден, оттого и взял девизом «Ничто не слишком».

Данилов чуть было не признался, что у него свои взгляды на зло, наваждения, лихо, но промолчал.

— Но действовать, — сказал Кармадон, — это ведь не стекла бить, не кровь высасывать на манер вурдалака, не править бал! Да и стал бы я уважать себя, если бы к волопасам меня послали пробки выкручивать в подворотнях! Там нет пробок и нет подворотен, это я так, для земной ясности. Нет, мне поручили всю цивилизацию. Я должен был смутить цивилизацию, и я ее смутил. Я повернул ее ход и сам не понял еще куда. Повернул мягко и даже изящно, ничто не скрипнуло и не сломалось! Как мастер я был доволен. Но чего мне это стоило!

Тут Данилов чуть было не дал Кармадону понять, что он забылся и говорит о вещах, которые ему следовало бы держать за зубами. В дружеской беседе тем более.

— Я вынужден был изучить всю их цивилизацию насквозь, понять ее, а у них ведь и философия есть, да объемистее и рискованней земных, и привычки покрепче философий! Я путал их сновидения, но не с насюлка и не подпуская соблазнов — они от них устали! Нет, я должен был как бы создать свежую философию, оснастив ее новейшими данными точных наук, чтобы глиры ей поверили. И этой философией пропитать их сны! Каково! Но ведь я и сам отравлялся знанием. Я от него уставал и мучался. От него, а не от бессонницы! А что дальше? Ведь эдак такое узнаешь, что не только обессилишь навсегда и обретешь равнодушие, но и спросишь: а зачем? Зачем я путал волопасам сны? Зачем я? Зачем мне бессмертие?

Кармадон замолчал. Данилов хотел было сказать Кармадону, что какие уж, мол, у них такие познания! Но смолчал, понял, что слукавит. Да, излишних знаний сам он, Данилов, избегал. Но каких? Тех, что могли бы войти в него, словно программа с перфокарты в математическую машину, сами собой и без его, Данилова, усилий и мучений. Кому что. Данилов говорил себе, что если он будет знать все вширь и вглубь до бесконечности, жить ему станет скучно. Все о прошлом знать он, пожалуй, был согласен, однако тут не все архивы были ему доступны. Ну ладно... Иному человеку, прилежному читателю журнала «Здоровье», доставляет удовольствие ежесекундно чувствовать, в какой из его кишок и в каком виде находится сейчас пища и какая из костей его скелета куда движется. Данилову однажды любопытно было изучить, что у человека внутри, но помнить всегда о своих капиллярах, брыжейке, артериях, венах, седалищном нерве ему было бы противно. Тогда он был бы не Данилов, а мешок с кровеносными сосудами и костями. Он знал, что музыка любит счет. Он жил этим. Он брал ноты и в каждой вещи первым делом видел ее арматуру, ее опорные балки, ее перекрытия и ложные своды. Но это его профессиональное знание тут же уходило куда-то далеко-далеко, было таким же естественным, как и умение паль-

цев Данилова иметь дело со смычком и струнами. Если бы вся математика была для него главным в музыке, Данилов давно бы разбил инструмент — не Альбани, конечно. Музыка была его любовь. Любовь он мог принять только по вдохновению, а не по расчету. И жизнь его была — любовь. Любовь же требует тайн, преувеличений, фантазий, удивления, считал Данилов, на кой ему нужна любовь холодного ума! Холодный ум чаще всего и обманывается. И уж, как правило, своего не получает. Что-то получает, но не свое.

Как известно, Данилов еще в лицейские годы имел возможность все знать, все чувствовать, все видеть. Возможностью этой он пренебрег, прикинулся легкомысленным простаком с малым числом чувствительных линий. Медицинская комиссия Данилова не раскусила, и он был освобожден от Большого Откровения. Освобожден без томительных волокит: в ту пору вышел циркуляр неписанный, но разъясненный — не всех лицейстов одаривать Откровением, дабы не принести вреда ни им, ни общему делу. Данилов сохранил в себе это умение в единое мгновение все знать, все чувствовать, все видеть, но он и специальное-то аппаратом познания средних возможностей (ПСВ-20), врученным ему с лицейским дипломом, пользовался редко. И то в служебных целях. А не для себя. Для себя он все открывал сам, будто человек. Но уж зато какую радость доставляли эти открытия ему! Сейчас он вдруг подумал, что Кармадон, наверное, прав, ведь и в самом деле разумом и чувствами и он, Данилов, впитал в себя столько знания, что и представить трудно! И чужие открытия вошли в него — мелодией, словом, линией, цветом, знаком препинания. Но вошли в него не сами собой, а словно бы притянутые его натурой! И пока они нисколько не пугали его. Напротив, они входили в его радости, в его страдания, в его любовь и его музыку! Они делали их звучнее и ярче. Однако теперь слова Кармадона расстроили Данилова: а вдруг печали Кармадона имеют основания? и наступит время, когда он, Данилов, устанет от жизни и музыки, как скрипач Земский? вдруг в познании — погибель?

— Новый Маргарит, — сказал Кармадон, — пошел в мыслители, и ты бы видел, на кого он стал похож!

Кармадон поморщился. Новый Маргарит, брат Кармадона, прежде выглядел вполне спортсменом.

— Он мне жалок... А Новый Маргарит говорит, что ему сладко ощущение вечности. Что, по-твоему, вечность?

— Ну... — задумался Данилов. — Ощущение вечности... наверное, это когда для тебя свершившееся не исчезает, а будущее уже свершилось...

— Ну хотя бы! Сладко ли тебе было бы это ощущение?

— Свершившееся-то пусть не исчезает, — сказал Данилов. — А в том, чтобы будущее уже свершилось, для меня никакой нужды нет.

— Так на кой нам с тобой ощущение вечности?

— Что зарекаться заранее? — сказал Данилов. — А вдруг когда-нибудь захочется ощутить вечность?

— Ну и ощущай! — обиделся Кармадон.

«О чем это я! — подумал Данилов. — Захочется вечность ощутить! В последние мгновения перед временем „Ч“! Пусть Кармадон выговорится, — решил Данилов, — душу отведет, я уж как-нибудь вставлю словечко о времени „Ч“».

— Эх, Данилов, — сказал Кармадон, — что же мне теперь — и девиз менять? Ничто не слишком! Кабы так! Вот тебе и ничто не слишком! А ведь я был спокоен в уверенности, что эти слова мои... Неужели я стану мелким? А может, крамола заведется у меня в голове? Ужас-то какой!

— Пройдет все, — махнул рукой Данилов.

Кармадон опустил голову, притянул к себе бутылку «Северного сияния», опять выпил из горла весь напиток. Жидкость в бутылке тут же восстановилась. Данилов, понимая, что улавливает мгновение не бескорыстно, все же поддался слабости и, спеша, но и смущаясь, рассказал Кармадону о лаковой бумажке со временем «Ч» и ловком порученце Валентине Сергеевиче. Инструмент работы Альбани в рассказ не вошел. При этом Данилов отдавал себе отчет в том, что, если бы Кармадон сидел сейчас перед ним смелым асом со спецзаданием, каким явился в первый день каникул, он, Данилов, ни единого слова о времени «Ч» произнести бы не мог.

— Что-что? — переспросил Кармадон, подняв голову.

Данилов повторил.

— Эко тебя, — выговорил Кармадон. — Кто же этот Валентин Сергеевич? Вошь, наверное, какая-нибудь... Ты в ведомстве Канцелярии от Того Света, так... — думал вслух Кармадон, — там у меня... — Он бровь сдвинул, обозначив напряжение мысли. Спросил: — А ты, часом, ничего не натворил?

— Да нет, — пожал плечами Данилов, — ничего эдакого... Если только мелочи какие...

— Честно? — строго спросил Кармадон.

— Честно, — кивнул Данилов, но не слишком решительно.

— Ладно, — кивнул Кармадон. — Не отчаивайся... Ведь ты же способный демон! Я-то тебя знаю... И Новый Маргарит... Он теперь на вершине...

Кармадон опять откусал «Северного сияния». Он был сейчас добр к Данилову, он жалел его, как жалел себя, приняв Данилова за жертву познания.

— Выручим! — Ребром ладони Кармадон ударил по столу.



Проснувшись, Данилов обнаружил Кармадона, занимающегося с гантелями. Кармадон был гол до пояса.

В шесть вечера, когда Данилов вернулся из театра, он и вовсе не узнал Кармадона. Данилов почувствовал, что Кармадон уже нуждается в присмотре. Вечернего спектакля у Данилова не было, завтра он имел выходной. Это было кстати.

Завтра каникулам Кармадона наступал конец. Данилов снова мог жить сам по себе. Естественно, при условии, что усердиями Кармадона время «Ч» ему, Данилову, будет отменено. Или отложено на долгие годы. Данилов верил в благополучный исход нынешней затеи. Хотел верить и верил.

Кармадон, выяснилось, для бодрости духа утром не только упражнялся с гантелями, но и бегал трусцой в направлении дворца Шереметевых, ныне Музея творчества крепостных. Был он и в банях, уже не Марьинских, а Селезневских, опять со скрипачом Земским и водопроводчиком Колей, к которым привык. В бане не зяб и не зевал, парился от души и из шайки швырял на раскаленные камни исключительно пиво. И Земский и водопроводчик Коля, будучи в голом виде, очень хвалили Кармадону фильм «Семнадцать мгновений весны». Кармадон, выйдя в предбанник подышать тихим воздухом и накрывшись простыней, взятой у пространника, тут же устроил себе просмотр всех двенадцати серий. Просмотр прошел сносно, лишь соседи в мокрых простынях, спорившие о стерляди, помешали Кармадону внимательно выслушать музыку. Впрочем, Земский музыку бранил. А слова песен Коля Кармадону на-

пел в парной. Потом Кармадон вместе с Колей и Земским еще гуляли, имели и приключения, правда мелкие. Теперь же Коля и Земский сидели дома у Данилова и пили, разложив жареную рыбу хек на нотных листах. Данилов отправился прямо на кухню с намерением подать закуску на тарелках. Однако остановился, охваченный колебаниями. В холодильнике у него была лишь банка скумбрии курильской в собственном соку. Он хотел было угостить Кармадона в последние дни каникул, как следовало бы московскому хлебосолу, но вряд ли имел право тратить представительские средства на скрипача Земского и в особенности на водопроводчика Колю. Тут Кармадон явился на кухню, рассеял сомнения Данилова, сказав:

— Что ты крутишься с тарелками? Сегодня угощаю!

— У нас так не делается... — начал было Данилов.

— И молчи! — заявил Кармадон.

— Ну смотри...

— Я ведь теперь знаю, кто ты! — сказал Кармадон и пальцем ткнул Данилова в бок. — Я в театр к тебе заглянул, в яме твоей посидел за барабанами и тарелками, еще кое-чем интересовался... Я справки запросил о тебе в Канцеляриях... И получил их... Вот и знаю, кто ты...

Кармадон улыбался чуть ли не благодушно, но в благодушии его Данилов уловил и нечто металлическое, возможно молибденовое. «Стало быть, все проверил...»

— Ну и кто же я? — спросил Данилов.

— Как тебе сказать. Ты вроде этого... Штирлица... Ты тут свой... Туземец. Ты и думаешь по-здешнему. И пиликаешь по-ихнему... Ты здешний, ты земной...

Тут Кармадон остановился, как бы желая поддержать Данилова в напряжении и уж потом либо одобрить его, либо разоблачить. Одобрил, похлопал Данилова по плечу:

— Так и надо!

Кармадон включил на всякий случай все три программы приемника «Аврора», стоявшего на кухне, разом, пустил воду в мойке на полный звук. Он подошел к Данилову и зашептал:

— Нам такие нужны! Я устрою тебе перевод в нашу Канцелярию от Нравственных Переустройств. Наша-то Канцелярия примет тебя и отцепит от твоей теперешней... И уж они тебя тогда шиш достанут со временем «Ч»... Только тебе придется подписать наши условия... Соглашешься ли ты?

«А вдруг приемник и вода в мойке не помешают подслушать Кармадона? — подумал Данилов. — Надо было еще в туалете воду спустить!»

— Завтра, — шепнул Данилов. — Завтра все и решим.

— Ладно, — кивнул Кармадон.

— Андрей Иванович, где вы? — крикнули из комнаты.

— Пошли к ним, — сказал Кармадон. — Тебе нужно будет еще подписать все мои каникулярные документы. И уж помоги мне приобрести сувениры.

— Как же мы с тобой раньше о сувенирах не вспомнили! — всполошился Данилов. — Завтра магазины будут закрыты!

«Голова моя садовая! — сразу же подумал он. — Я впрямь соображаю лишь по-здешнему! При чем тут магазины?» Но Кармадон, казалось, не заметил его оплошных слов.

— Впрочем, в магазинах одна дрянь, — сказал Данилов. — Придумаем что-нибудь...

Он готов был сейчас угодить Кармадону. И из-за стечения обстоятельств. И просто так, от души. Знал он и какие сувениры будут иметь успех в каждом из Девяти Слоев.

— Андрей Иванович! — пробасил из комнаты Земский.

— Андрей Иванович — это я, — объяснил Кармадон. — Андрей Иванович Сомов. Из Иркутска. Твой гость. Пошли.

— Здорово, Данилов! — обрадовался хозяину Земский, но тут же отчего-то и смутился.

— Здравствуй, Володя! — сказал водопроводчик Коля. При встречах, даже и в трезвом виде, он всегда улыбался Данилову, уважая его: Данилов ни разу не засорял туалет и сам спускал черный воздух из батарей, когда давали горячую воду.

— Николай Борисович, — обратился Данилов к Земскому, — как вы чувствуете себя?

— Спасибо, ничего. Сегодня хворые места веничком проработывал в бане. Но и музыку не забыл. Недавно вот Андрею Ивановичу исполнил свои новые сочинения...

— Ну и как, Андрей Иванович?

— Забавно, — сказал Кармадон. — Как это ваше направление, Николай Борисович, называется?

— Тишизм, — сказал Земский. — Тишизм.

— Чтой-то краны течь хотят, — вставил водопроводчик Коля.

— Действительно! — хохотнул Земский.

— Сейчас, — сказал Кармадон.

Он сходил на кухню и принес три запотевшие бутылки водки и две «Северного сияния». К кускам жареной рыбы хек добавились шпроты на черном хлебе, банка килек и, Данилов обратил на это особое внимание, банка скумбрии курильской в собственном соку из его холодильника. «Что это он? — удивился Данилов. — Или все истратил вчистую?» Данилов захотел улучшить стол, в воображении его тотчас возникли цыплята табака и седло барашка, однако Данилов подумал, что своими угощениями он будет неделикатен по отношению к Кармадону. И он вернул горячие блюда в рестораны, местные и балканские, лишь некий аромат жареной баранины остался над рыбным столом.

Тут Коля разлил. И понеслось. И покатилося.

Данилов пить не хотел. Однако пришлось.

Улучив мгновение в бестолковой, шумной беседе, Кармадон отозвал Данилова в прихожую, открыл встроенный шкаф, достал меховые ушанки и поинтересовался, сгодятся ли они в сувениры.

— Где ты их достал? — спросил Данилов.

Оказывается, белым днем, когда Кармадон с Земским и водопроводчиком Колей шли из бани подземным переходом и беседовали, дурной подросток снял на ходу с Кармадона теплую шапку и побежал. Кармадон хотел было догнать подростка, но Земский и Коля сказали, что этого делать не надо, а надо идти в милицию. Кармадон и пошел, а Земский с Колей возле отделения сразу же вспомнили, что их дома ждут дела. Колю — затопленная Герасимовыми квартира Головановых, Земского — птица Феникс, о которой он собирался сочинять ораторию. Кармадон в милиции рассказал про шапку, предъявил иркутские документы, написал заявление и стал ждать. Ему удивились, спросили: «Чего вы сидите тут, гражданин?» Кармадон объяснил, что он ждет шапку, не резон ему с голой головой идти на мороз. Все сотрудники сошлись поглядеть на Кармадона, кто-то сказал, что он, верно, пьяный и сам небось шапку потерял или подарил; другой, более вежливый, посоветовал Кармадону идти домой. «Не пойду», — сказал Кармадон. Куда ж он мог идти? По возвращении с каникул ему бы пришлось отчитываться в хозяйственной

части за шапку, она ведь возникла на нем из казенных флюидов. Тогда Кармадону предъявили одиннадцать его шапок. Среди них, как теперь увидел Данилов, были две пыжиковые, одна из ондатры, олимпийского фасона, четыре кроличьих, свежих, одна лисья, одна из меха секача, одна каракулевая, одна из верблюжьей шерсти. Кармадон сказал, что он не может точно определить, какая шапка его, а какая нет. Тогда ему предложили отвезти домой все шапки на опознание жене или знакомым, а после, когда представится случай, ложные шапки вернуть. Вот Кармадон, поколебавшись, забрал их и теперь думает, не сгодятся ли они в сувениры.

— Сувениры это прекрасные! — сказал Данилов. — Но ты же обещал вернуть десять шапок...

— У меня нет времени, — сказал Кармадон.

— Значит, кто-то будет ходить без шапок. Или родственники твоих спасителей. Или еще кто...

— Ну и что! С меня-то вон сняли шапку! — Тут Кармадон взглянул на Данилова холодно. — И потом, ты говоришь странные вещи... Ты что, Данилов?

«Действительно, — подумал Данилов, — что это я?..»

— У меня своя роль, — со значением сказал Данилов.

— Ах, ну да... — спохватился Кармадон. — Но ты не беспокойся, следов я не оставил. Они не знают, где я гощу и к кому увез шапки на опознание...

— Вот и хорошо, — сказал Данилов. — А завтра мы присмотрим другие сувениры.

В дверь позвонили.

Гостем явился Кудасов. Данилов Кудасова впустил, однако был удивлен его прибытием. Кудасов и сам чувствовал себя неловко, бормотал, что вот, мол, Данилов не раз приглашал его в гости, он все не мог, а тут шел мимо и подумал: «Дай загляну...»

— И прекрасно сделали, — сказал Данилов. Хотя и готов был погнать этого Кудасова в шею.

«Однако что это Кудасов-то прибрел?..» И тут Данилов понял. Кудасову ехать из дома к Данилову было минут сорок. Сорок минут назад в воображении Данилова возникли цыплята табака и седло барашка с Балканского полуострова, ароматом наполнив его холостяцкое жилье, вот Кудасов и уловил то сладостное мгновение. Его можно было понять: Данилов не обедал у Муравлевых и Кудасов три недели напрасно шевелил усами, ловившими запахи муравьевской кухни.

Данилов и сам был не прочь поесть нынче сытно. Он шепнул Кармадону:

— У меня есть на представительство...

— Ну валяй, — сказал Кармадон.

Данилов ввел Кудасова в комнату, представил его гостям-ветеранам.

— Кудасов Валерий Степанович, лектор по существенным вопросам.

Земский отчего-то хохотнул, а водопроводчик Коля Кудасову очень обрадовался.

Данилов, наблюдавший за ноздрями и усами Кудасова, сострадал гостю. Кудасов учуял аромат жаренной на углях баранины, а предположить мог одно: она уже съедена, он опоздал. Данилов пошел на кухню, получил заказ из двенадцати предметов, выписал — по слабости и легкомыслию — еще и ресторанный столик на колесиках.

— Андрей Иванович угощает, — сказал Данилов.

Кудасов оборвал умные слова. Усы его приняли стойку.

Потом по кудасовским усам текло. Но и в рот попадало.

— А вот, Валерий Степанович. — сказал водопроводчик Коля, закусывая жареным хеком, — насчет синего быка что вы объясните?

— Насчет синего быка, — кивнул Кудасов и подцепил вилкой новый кусок баранины.

— Да, насчет синего быка, — поддержал Колю Данилов.

— Ну что же, — сказал Кудасов, — сейчас ясно одно. Родиной исполинского быка являются скорее костромские леса, нежели принспиские хинные рощи.

— Да куда им, хинным рощам-то! — сказал Земский.

— А он не от пришельцев? — в упор спросил Коля.

— Каких еще пришельцев? — Кудасов поглядел на Колю.

— Все говорят, — сказал Коля, — это пришельцы их сюда завезли. Три тысячи лет назад. А когда уехали, законсервировали их до поры до времени в спячке. А эти две штуки из спячки вышли.

— Консервируют быков, — засмеялся Земский, — на мясокомбинатах!

Андрею Ивановичу из Иркутска слушать про быков такие слова было неприятно, он поморщился и сказал:

— Да что вы все про быков и про быков! Про этого синего в Москве стали забывать, а вы вспомнили! Теперь в Москву стоматологи приехали, про них говорят.

Андрей Иванович был прав. Два дня как отбыл бык Василий в Канаду, а казалось, что прошла вечность. Панкратьевские страсти и разговоры словно забылись. О зеленом быке в белую полоску в Москве совсем не помнили. О быстротечность московской жизни! Будто и нет в тебе неводов!.. Собрался в Москве конгресс стоматологов, вот о нем теперь и рядили. Клавдия Петровна уже отсидела на открытии конгресса с гостевым билетом, теперь желала попасть на пленарное заседание. В публике шли слухи, что в последний день работы конгресс специальным решением запретит бормашины. Отныне зубы станут лечить без всякой боли технической водой и сжатым воздухом. Множество чудесных событий летело своей чередой, где уж тут было удержаться в центре внимания синему быку!

Выпили за съезд стоматологов. Данилов дважды прикатывал из кухни на столике сменные блюда с напитками, не раз компания впадала в хоровое пение. Еще в бане водопроводчик Коля напомнил Андрею Ивановичу песню «Ромашки спрятались, увяли лютики...», и теперь Андрей Иванович ее с удовольствием пел. Песня их была услышана находившимся за стеной духовиком из детской оперы Клементьевым. Тот сейчас же — и зычно — заиграл про лютики на электрооргане.

— Да что он шумит-то! Этак рыбу в реке глушить можно! — рассердился Кармадон. — Он и ночью гремел!

И в электрооргане за стеной что-то взорвалось.

В разгар застолья позвонила Клавдия.

— Данилов, ты мне нужен, — сказала она. — Сейчас я за тобой заеду.

— Извини, — сказал Данилов. — У меня гости...

— Бабы или мужики?

— Мужчины, — сказал Данилов.

— Сколько вас?

— Пятеро...

— Вот и хорошо, — сказала Клавдия. — Один лишний. А четверых я заберу...

— Куда заберешь?

— Тяжести таскать! Надеюсь, настоящие мужчины не откажут даме в помощи...

— При тебе есть Войнов...

— Войнов! Войнов создан для науки. Турки у него... Ладно. Жди меня, — сказала Клавдия Петровна и повесила трубку.

Через полчаса Клавдия прибыла. Вид имела спортивный, будто собралась на лыжную прогулку. Она оглядела гостей Данилова, осталась ими довольна, присела на минуту, давая мужчинам время на сборы. Николай Борисович Земский сейчас же сослался на больничный лист и люмбаго, вызвался сторожить квартиру Данилова, пока гости и хозяин будут на деле.

— Ну и ладно, — сказала Клавдия. — Такие огромные мужчины, как вы, они ведь самые бесполезные.

Земский кивнул, согласившись.

Клавдия спешила к машине, шагала коридором и на улице быстро, не оглядываясь, уверенная в своих помощниках, а те старались от нее не отставать. Данилов-то — по привычке, водопроводчику Коле было все равно, где теперь исполнять песню «Прошу меня не узнавать, когда во сне я к вам приду», но спешили, втянутые в движение Клавдиной энергией, и Кудасов, кому подобное движение прежде было бы чуждо, и Кармадон, вот что примечательно. И потом ехали в войновской «Волге» в некоем напряжении, куда — неизвестно. Но все — в готовности сейчас же исполнить просьбы Клавдии. Или требования. Было темно, и Данилов не понял, куда их завезли. Выскочили из машины возле забора товарного двора какого-то вокзала, скорее всего Ярославского. Клавдия раздвинула коричневые доски забора, пропихнула в щель водопроводчика Колю, Кармадона, Данилова, сама пролезла на товарный двор, а Кудасова оставила возле щели в дозоре. Во дворе возле кирпичной стены стояли сбитые из досок ящики, присыпанные снегом.

— Два берем! — сказала Клавдия. — Ты, Данилов, с этим! А я — с этим!

У Данилова «этим» был водопроводчик Коля, у Клавдии — Кармадон. Ящики оказались тяжелыми, килограммов по семьдесят. Пыхтя, нервничая, пропихнули ящики в щель, оторвали еще доску. Возле машины при свете фонарей Данилов разобрал на ящиках надписи: «Камчатская экспедиция. Вулкан Шивелуч». За вагонами в тревоге, но и с удалью засвистел сторож. Один из ящиков сунули в багажник, другой — на заднее сиденье, сами вмялись в машину и, словно бы чувствуя погоню, помчались в автомобиле улицами с редкими фонарями. Коле опять стало тепло в машине, и он запел, хоть и был придавлен Кудасовым: «Шапки прочь! В лесу поют дрозды-ы-ы, певчие избранники России...»

Подъехали не к войновскому дому, а к дому Клавдии, когда-то и даниловскому, кооперативному. Клавдию с ящиками пустили лифтом, сами поднялись пешком. Кудасов дрожал, усы его дергались, но Клавдия успокоила лектора, сказав, что за эти ящики судить его никто не будет, они забытые и, видно, никому не нужные. Но, впрочем, нынешней поездкой она попросила не хвастаться.

Как и было обещано, Клавдия отвезла мужчин к Данилову. И сама посидела с ними полчаса. Квартиру Данилова она, возможно, и украсила, но отчего-то прежней душевности в компании не возникло. Кудасов, обзрев пустые уже тарелки, нашел, что ему следует вернуться к конспектам. Земский вблизи Клавдии затих, хотя и считался бузотером и охальником. Водопроводчик Коля был весь в песнях. Один Кармадон неожиданно для Данилова проявил интерес к даме. Нечто давнее, зна-

кое Данилову зажглось в его глазах. «Наваждение какое-то! — подумал Данилов. — Вот ведь неистовая баба! И неумная к тому же! И как это Войнов, автор книг о Турции, на ней женился, не пойму!» Впрочем, он тут же вспомнил, что и сам был женат на Клавдии.

Галантный Кармадон вызвался проводить Клавдию. Та кавалером была довольна, на шутки Кармадона отвечала искренним громким смехом. В дверях Кармадон подмигнул Данилову со значением. «Ну, проводи, проводи...» — подумал Данилов.

20

К любезностям Клавдии с Кармадоном Данилов решил не проявлять интереса. Их дело! Чего от Кармадона он не ожидал, так это подмигивания в дверях. Кармадон был из рода с традициями, имел приличные манеры, а тут — какое-то балаганное подмигивание! И явная нагловатость во взгляде, будто Кармадон — соблазнитель из Мытищ.

Путешествие на товарный двор не выходило из головы Данилова. Он гадал — совершили они уголовное деяние или же нет? Или же проучили Камчатскую экспедицию, беззаботно оставившую мерзнуть у стены ящики от вулкана Шивелуч? Гадал Данилов, гадал, потом вздохнул, и на глазах сторожа, бдевшего в тулупе и со свистком во рту, возле кирпичной стены возникли исчезнувшие было ящики с присыпавшим их снежком. Сторож тут же кивнул и задремал, пустив слюну в свисток. В стараниях ради науки Данилов поспешил и в спешке забыл, какие ящики с содержимым подлиннее, а какие дубликаты. То ли наука получила на товарном дворе свою собственность, то ли Клавдия осталась при истинных научных ценностях. «А-а! Ладно! Потом разберемся!» — махнул рукой Данилов.

Кармадон вернулся в полночь. Был он мрачен, не имел аппетита. Молча разделся, лег на диван лицом к стене, притих.

Упрямец Клементьев, починив к ночи электроорган, заиграл за стеной как бы целым оркестром: «Зачем вы, девушки, красивых любите?..» Кармадон проскрипел зубами, и инструмент Клементьева, похоже, рассыпался.

«День завтра будет не из легких», — подумал Данилов.

Встал Кармадон с утренними сигналами радио, сорок минут трудился с гантелями. Потрудившись, предложил Данилову оформить его каникулярные бумаги, отпускное удостоверение и прогонные грамоты.

— Теперь же мы составим и список сувениров, — сказал Кармадон, — чтобы потом не забыть...

— Во сколько ты отбываешь?

— В двадцать четыре ноль-ноль...

— Под петухов? — уточнил Данилов.

— Да, — кивнул Кармадон. — Под петухов.

Говорил Кармадон деловито и как пан писарю, а глаза у него стали холодные и, уж точно, металлические. На замшевой куртке Кармадона появился круглый, с шоколадную медаль, значок — синий бык на черном фоне и слова «Ничто не слишком!». За чашкой кофе Данилов, еще не привыкший к сегодняшнему Кармадону, спросил, не излечился ли Кармадон от ран, нанесенных ему познавьем. Кармадон жестко сказал, что этот разговор следует оставить. И вообще он попросил Данилова о событиях последних двух недель забыть. И забыть о его, Кармадона, разговорах, вызванных минутной слабостью.

— Хорошо, — сказал Данилов, став серьезным.

Тут Кармадон добавил, видно для того, чтобы развеять все сомнения Данилова: каникулы для него, Кармадона, не прошли даром, он стал сильнее, переступил в себе через нечто важное и созрел для дел более значительных, нежели забавы с цивилизацией волопасов.

— Да, я чувствую в себе явный прилив сил, — сказал Кармадон.

Было похоже, что на этом его откровенность с Даниловым закончилась. Данилов опять ощутил себя чуть ли не стационарным смотрителем, которому шубу следовало накидывать на плечи заезжего сановника. Он теперь и не знал, был у них с Кармадоном разговор о времени «Ч» или не был.

Данилов вдруг подумал, что Кармадон, возможно, и приезжал вовсе не на каникулы, а инспектором по его, Данилова, делу. От этой мысли он сначала затрепетал, но тут же стал воинственным.

Данилов сел за письменный стол, принялся оформлять каникулярные бумаги Кармадона. Тут гость опять стал простым и, даже несколько заискивая перед Даниловым, попросил его все отметить как надо. А в кратком донесении о каникулах быть справедливым.

— Хорошо, — сухо сказал Данилов.

Кармадон — сначала на островах Сан-Томе и Принсипи, а затем в Панкратьевском районе — прихватил пять лишних земных суток, теперь из документов со словами «убыл», «прибыл» они исчезли. Синий бык вышел в донесении Данилова если не геройским, то, во всяком случае, достойным репутации Кармадона животным. Расписался Данилов на бумагах школьной ручкой сороковых годов, деревянной, тонкой, с пером рондо, бухгалтерия пасту и синие чернила не признавала. К местам для печати Данилов приложился разогретой над газовой плитой пластинкой браслета с буквой «Н». В прогонных грамотах Данилов подчеркнул вид топлива и систему ускорения. Теперь бумаги Кармадона были в порядке. Кармадон завернул их в негоряемый платок и прикрепил к штанам английской булавкой — плохо выправленные или потерянные отчетные документы не одному из знакомых Данилова и Кармадона стоили карьеры.

— А если ты решил перейти к нам, — сказал Кармадон, — то расписываться тебе придется не чернилами...

— Я знаю... — Данилов быстро взглянул на Кармадона.

— Ты сегодня обещал объявить решение...

— Хорошо, — сказал Данилов, — но давай сначала закончим с твоими делами, а уж потом займемся моими...

«Значит, о моем деле он не забыл, — подумал Данилов. — Значит, и не инспектор он, а и вправду был на каникулах». На душе у Данилова стало спокойнее. И чувства его к Кармадону потеплели. «Он ничего, — решил Данилов, — а мрачный и важный — это потому, что с женщиной ему не повезло». Данилов чувствовал, что желает оттянуть решение своего дела хоть до вечера: мало ли какие условия будут ему предложены, что огорчаться заранее?

— Теперь сувениры, — сказал Данилов.

— Да, сувениры...

Сейчас же составили их список. Отобранные вещи и явления в упакованном виде Данилов брался отправить Кармадону вдогонку. Или же параллельным с Кармадоном курсом. Список открыли девять меховых шапок и одна из верблюжьей шерсти. Попросил гость восемь ящиков с бутылками минеральной воды осетинского курорта Кармадон — для стариков. Затем в список внесли тепловоз Людиновского завода, Данилов хотел было выяснить, зачем он Кармадону, но тот замаялся и покраснел.

— Ладно, — сказал Данилов.

Внесли в список пять тонн жевательной резинки, Данилов прикинул, в каких странах брать ему резинку, подумал, что несколько пачек он непременно прикарманит и угостит Мишу Муравлева и еще кого-нибудь из детей. Кармадон настаивал на том, чтобы сувениром был отправлен любившийся ему комментатор фигурного катания, однако Данилов предположил, что тот уцепится за микрофон и никуда не улетит. Кармадон расстроился, но тут Данилов уговорил его заменить комментатора пространщиком из Марьинских бань дядей Нариком, подававшим Кармадону простыню, однако вспомнил, что дядя Нарик — мусульманин, а они с Кармадоном вовсе не джины. В конце концов комментатор был компенсирован кометой Когоутека и леденцами на палочке «Синий бык». Кармадон попросил записать что-нибудь для демонических дам, и тут уж Данилов расстарался! Секциям, любезным женскому глазу, в парижских магазинах «Самаритен», «Монопри», «Призюник» предстояло оскудеть! И сгореть! «Надо бы и мне, — подумал Данилов, — при случае послать кое-что и кое-кому... Химеко и Анастасии — непременно! Хотя Анастасия от меня теперь ничего и не примет...» Данилов вздохнул. Еще в список вошли марки с олимпийским гашением, извержение вулкана Тятя, лекция Кудасова, распространенная в сети и с ответами на записки, ломбардское кресло делового человека Ришара, вызвавшее отъезд панкратьевского быка Василия, веселый памятник Гоголю с бульвара, морская капуста в банках, четыре электрооргана, очередь за коврами у Москворецкого универмага, ростокинский акведук. Список протянулся еще на пятнадцать пунктов.

Впрочем, Данилов подумал, что ростокинским акведуком он распорядился напрасно. Его следует оставить на месте. И вид он имеет красивый. И заслуги перед городом. Как-никак стоит двести лет. Захотел он заменить акведук открытым бассейном «Москва», от коего мокнут и тухнут картины и книги, но и бассейн ему стало жалко.

Сувенирами Кармадон, казалось, был доволен. Данилова это порадовало. Тут он сообразил, что не мешало бы в список сувениров вставить альт Альбани, вставить и забыть его отправить вместе с Кармадоном... «Нет, никогда, — сейчас же остановил себя Данилов. — Ишь хитрец какой!» — пригрозил он себе пальцем.

А Кармадон опять стал серьезным и надменным. Как и полагалось демону седьмой статьи.

— У нас день впереди, — сказал Данилов. — Как ты предполагаешь провести его?

— В разгуле, — сказал Кармадон.

Но без предвкушения удовольствия сказал, а холодно, твердо, будто под разгулом понимал не персидские пляски и не битье зеркал, а прием снадобий и чтение источников. Или желал показать, что он сам нынче себе хозяин и обойдется без провожатых и сотрапезников. Данилов опять почувствовал расстояние между ним и Кармадоном, пожалел о своей душевной простоте. «Ну и пусть гуляет, — подумал он, — хоть один, хоть с кем... Хоть с Клавдией!»

— Сейчас придут Земский и водопроводчик, — сказал Кармадон, — и мы двинемся...

— Куда это? — спросил Данилов.

— На Павелецкий вокзал.

Однако первым пришел не Земский и не Коля, а Кудасов. Данилов полагал, что теперь Кудасов отсиживается где-нибудь в укрытии и уж его дом намерен обходить за пять верст. Усы Кудасова шевелились. Было видно, что Кудасов притянут на квартиру Данилова большими, хоть и смутными надеждами, вызванными сегодняшними затеями Кармадона. «Как он их почувствовал?» — удивился Данилов. Робок был Кудасов.

сов, нервен, что-то настораживало его и пугало, а вот словно какая страсть помимо воли Кудасова подхватила его и принесла сюда.

К двенадцати явились Земский и водопроводчик Коля.

В ресторане Павелецкого вокзала взяли столик с шестью стульями. Распоряжался Кармадон. Его как бы провожали, пили за Иркутск и сибирские просторы. Хотя на этом вокзале пить полагалось бы за Тамбов и Саратов. После первых рюмок приبلудные друзья Кармадона захмелели быстрее, чем следовало бы, то ли от вчерашнего основания, то ли от воздуха Павелецкого вокзала. Данилов и вообще пить не желал, а тут, наблюдая некий неприятный холод в глазах Кармадона, намерен был держать себя в руках. Кармадон шепнул на ухо, властно шепнул:

— Данилов, не передергивай карты! Не старайся быть постнее других... Или я посчитаю, что ты мне не доверяешь, и обижусь!

Данилов сейчас и вправду не доверял Кармадону. Однако и не хотел, чтобы Кармадон был им недоволен. «Ну и ладно! — думал Данилов. — Ну угрожу ему в его последний нынешний денечек, желания его исполню, и ладно... И условия их приму... Мне что эта Канцелярия, что, та!» Данилов давно считал: следует всегда оставаться самим собой в главном, а в мелочах можно и уступить, мелочей много, они на виду, оттого-то и кажутся существенными, главное же одно и оно в глубине. Пусть считают, что он послушный. Но он-то как был Даниловым, так и будет им.

Потом сидели в ресторане Рижского вокзала, потом Курского. Когда и как увлекся Кармадон железнодорожной кухней, Данилов не знал, спросить же теперь об этом Кармадона было неудобно. Дальше от чего-то кушали стоя в желтом буфете при станции Бутово. Кушали много с легких тарелочек из фольги, все больше варенные вкрутую яйца и селедку на черном хлебе. Запивали «Северным сиянием» и тремя шестьюдесятью двумя. Бутылки Кармадон брал с пола и будто бы из-под штанин. Бутовские любители интересовались, откуда водка в воскресный день. Данилов объяснял, что с платформы Катуар Савеловской дороги, там нынче торгуют. Любители тотчас бежали к электричкам, имея в виду платформу Катуар... И тут Данилов понял, что они жуют шпроты уже не в Бутове, а в буфете станции Львовская.

В глазах Кармадона и в его губах, когда он задумывался и не жевал, было что-то разбойничье, затаенное, было и высокомерное и беззастенчивость была. Данилов понимал — следовало ждать от Кармадона каких-то выходов, уже не ухарских, а расчетливых, и как бы эти выходы кого не погубили!

Пил Данилов поневоле, пил, но все же замечал, какими глазами Кармадон нынче глядел на женщин. Голодные это были глаза, жаждущие. В иные мгновения, особенно когда буфетчица плыла над пивной пеной положительной грудью, глаза Кармадона отражали страсти волнение в кипучей крови. Многие женщины, попадавшие в поле зрения Кармадона, трогали его, но, пожалуй, буфетчицы и официантки более всех. Все в натуре Кармадона, видно, так и требовало нынче упоения и реванша. Земский, казалось, был уже не здесь, а неизвестно где, но и то обратил внимание на это.

— Андрей Иванович, — толкнул в бок он Кармадона в буфете платформы Шарапова Охота, — да вы не теряйтесь! И она на вас глазищи пялит! Вон уже и сыру лишний ломоть вам на блюде положила... Вы не робейте, а прямо на штурм!

— Нет, — тихо сказал Кармадон, — она хороша... Но у меня нынче есть дама сердца. Она одна и более никто... Но это потом!

Отчего-то Данилову стало тревожно.

Однако тут же в их прогулке началась такая кутерьма, такая полька-кадриль, такая катавасия, что и мыслям о женщинах в голове Данилова места не осталось. Может, именно это и был Кармадонов разгул — опять пили, опять кушали, опять пели и то куда-то ехали, а то стояли на месте. Один вагон-ресторан прекратил прием гостей из-за их компании, а продуктов в нем было захвачено до станции Минеральные Воды. Закрылись и два «Голубых Дуная» на Казанской дороге. Данилову было удивительно: «Куда же это в него-то? Да и в нас? Ну ладно, Кармадон пусть... Дорвался заяц до капусты... Ему и надо... А мы-то что?» Данилов покачал головой, но тут же проглотил вареное яйцо. А Кудасов два. Мимо их буфета прошел приписанный к Подольскому мясокомбинату состав со свиньями. «Ну, сейчас одного вагона недосчитаются!» — подумал Данилов. Видно, догадка его была справедливой, в буфете тотчас же возникло множество тарелок с корейкой в черных и рыжих точках — явно от прошедшего состава.

— Мне бы тут жить! — сказал вдруг Кармадон.

— Где тут?

— Вот здесь, — сказал Кармадон, обвел взглядом стены буфета, — на Земле. Хоть бы и водопроводчиком Колей...

Коля поблизости тут же встрепенулся и запел: «Березовым соком, березовым соком...»

— То есть как? — удивился Данилов.

— А так, — сказал Кармадон и вздохнул.

Был он прост теперь и печален. И печаль-то его совсем иная была, нежели четыре дня назад, после пребывания Кармадона синим быком. Тогда Кармадон страдал от собственной слабости, теперь же он был в силе, а вот чуть ли не плакал.

Данилову стало жалко однокашника. Он сказал ему:

— Брось! Это пройдет... — Глупость сказал, хотя и не совсем глупость. Но что он мог сказать теперь умного? Пьян был...

И гулянье опять закрутило их...

Но вдруг тишина ватой заткнула Данилову уши. Движение прекратилось... Данилов на лыжах стоял в парке или в лесу. Далеко впереди виднелись под деревьями лыжники. Рядом возник Кармадон. И он был на лыжах.

— Все, — сказал Кармадон. — Трапеза окончена. Сыт я. И надолго. Ты-то сыт?

— Сыт... — пробормотал Данилов.

Голова его была тяжелой, однако ноги могли двигать лыжами.

— Теперь пришла пора свидания, — сказал Кармадон. — Здесь мы ее и увидим...

— Я поеду, — сказал Данилов, — я тут буду лишней...

— Подожди, — попросил Кармадон.

«Робеет, что ли, он? — подумал Данилов. — Сыт ведь уже, а все робеет...» Теперь Данилов понял, что они с Кармадоном в Сокольниках... Данилов в эту зиму встал на лыжи впервые, шел по лыжне скверно. Да и лыжня была нехороша, обледенела, ночью снег чуть присыпал ее, но все равно лыжи скользили словно в ледяных желобах.

— Сейчас мы ее увидим... — прошептал Кармадон.

Данилов почувствовал, что Кармадон волнуется. Кармадон взял и свернул влево, пошел по насту не спеша, явно оттягивая мгновение встречи.

— Ты хоть свидание-то ей назначил? — спросил Данилов.

— Нет, — сказал Кармадон. — Да это и не суть важно... Кстати, она твоя знакомая... Ты на меня не обижайся...

— Что уж тут обижаться-то... — пробормотал Данилов.

— В последние дни я ее вечерами то у театра видел, то у твоего дома, наверное, она искала встречи с тобой... — сказал Кармадон.

— Что? — поднял голову Данилов.

— А вон и она. — Кармадон ткнул палкой вперед. — На горке... На горке стояла Наташа.

— Представь меня ей, — сказал Кармадон. Сказал как приказал.

Редко Данилов терялся, а тут растерялся. Сердить Кармадона он никак не хотел. Данилов неловко подъехал к Наташе, стал говорить ей шуточные глупые слова, и, что удивительно, она ответила на них с улыбкой и беспечно, будто никаких недоразумений между нею и Даниловым не было. Подкатил Андрей Иванович Сомов из Иркутска, был представлен Наташе, и ему Наташа улыбнулась.

Андрей Иванович выразил сомнение, что вряд ли такая очаровательная девушка сумеет съехать с такой опасной горки. И Наташа тут же съехала. Ловко съехала и красиво, позволила себе сделать крутые виражи, будто спускалась на горных лыжах, эластичный костюм сидел на ней хорошо, и было видно, что тело у Наташи не только музыкальное, но спортивное и сильное. «Неужели и вправду, — подумал Данилов, — она искала встречи со мной у театра и в Останкине? Что же я, дурень, ждал-то?»

Однако сегодняшняя Наташа Данилова удивляла. Он привык видеть ее серьезной, порой печальной, теперь же она была веселой, даже озорной. Да Наташа ли это? Как ни стыдно было Данилову, он все же скосил глаза на индикатор. Выходило, что Наташа. И будто бы не играла она сейчас, не дразнила его, Данилова, а находилась в состоянии естественном для себя. Неужели явление Кармадона так подействовало на нее? Данилов нахмурился. «Она ведь кокетничает с ним, а на меня смотрит как на пустое место! Он мил ей!» — думал Данилов. С возмущением думал и с яростью, будто был мавр, а не останкинский житель.

Тут ему явилась мысль. А пусть Кармадон уходит с Наташей, он же отстанет. Так будет лучше для всех. И для Кармадона. И для него, Данилова. И для Наташи. Давно следовало бы прекратить их с Наташей отношения. Наташина судьба из-за него, Данилова, была под угрозой. Лишь по слабости Данилов дружбу с Наташей оборвать не мог. Теперь был случай... На мгновение Данилов подумал, что он боится не угодить Кармадону, вот и принял его мысли этокое направление. Но опять он взглянул на лыжников и опять взъярился: «Нет, она любезничает с ним, до меня ей нет дела! Ну и пусть! Ну и хорошо! Я и отстану... Скажу, что пойду кормить белок, и все...»

— Данилов, — окликнул его Кармадон, — ты все отстаешь!

— Отдача сильная, — сказал Данилов.

— Ты в мазь не попал! — рассмеялся Кармадон, и, как показалось Данилову, со значением.

— Что же вы так, Володя, с мазью-то! — лукаво улыбнулась Наташа. — А говорили, что лыжи любите, что в Сокольники часто ходили. Вот я и решила в Сокольники приехать...

— Это я раньше сюда ходил, когда у меня время было...

«Она уже со мной и на вы!» — подумал Данилов. Однако в словах о Сокольниках он уловил некий намек на то, что Наташа, возможно, нынче здесь из-за него.

— Наташа, извините нас, пожалуйста, — сказал Кармадон. — Деловой разговор вам будет неинтересен, а я сегодня уезжаю и мне кое-что нужно обсудить с Володей.

Они отошли в сторону.

— Я думаю, — сказал Кармадон, и была в его голосе некая деликатность, — что теперь ты точно лишний...

— Нет, — сказал Данилов твердо, — ты ошибаешься.

— Неужели ты решил чинить мне препятствия? — удивился Кармадон. — Ты должен понять, как нужна мне теперь она... Именно она.

— Это исключено, — сказал Данилов.

— Да ты что! Я ведь серьезен сейчас. Я три дня как присмотрел ее. А вышло, будто она мне была нужна давно... Другие женщины мне теперь не нужны... Я уже не слаб, я уверен в себе...

— И я серьезен, — сказал Данилов.

— Что же нам, силой, что ли, придется мериться? — усмехнулся Кармадон.

— Как пожелаешь, — сказал Данилов. — Я не отступлю.

Глаза у Кармадона стали злые и зеленые. Только что он разговаривал с Даниловым как с приятелем, чье упямство раздражало, но не давало поводов для ссоры. Теперь же Кармадон был холодным исполнителем, такому что чувства в жизни мелких тварей! Все же Кармадон пока не буйствовал, держал себя в руках, а ведь соки в нем бурлили после трапез на вокзалах и в придорожных буфетах.

— Ты что, Данилов, — сказал Кармадон, — забыл, кто ты, кто я, забыл о своих обстоятельствах?

— Я ни о чем не забыл, — угрюмо сказал Данилов.

— Ну смотри...

Данилов мог предположить, что намерения Кармадона относительно Наташи искренни, но он подумал, что, помимо всего прочего, Кармадону интересно теперь испытать его, Данилова, унижить его и подчинить себе, оттого-то любопытство нет-нет и возникало в злых Кармадоновых глазах. Это было мерзко. Данилов чуть было не ударил Кармадона. Но пощечина привела бы к поединку...

— Хорошо, — сказал Кармадон. — Объяснение считаю законченным. Ты не отступишь. Но и я ее не уступлю.

— Если так, — тихо сказал Данилов, — то ты... то вы бесчестный соблазнитель. И просто скотина...

Данилов снял с правой руки перчатку, насадил ее на алюминиевое острие лыжной палки и подал перчатку Кармадону. Собственно говоря, это была и не перчатка, а вязаная варежка, но Кармадон, подумав, принял варежку. Он был бледен, Данилов слышал скрежет зубов Кармадона, хотя челюсти его и были сжаты, а в глазах Кармадона то и дело возникало фиолетовое мерцание. Данилов боялся теперь, как бы Кармадон не бросил его перчатку — каково тому было ставить под угрозу не только свое существование, но и свою карьеру! — однако жили все же в Кармадоне понятия о чести, варежку Данилова он положил в карман.

— Завтра утром, — произнес Кармадон и указал вверх, — там. Условия обговорим с помощью секундантов. Теперь разрешите откланяться и покинуть Землю.

И Данилов поклонился Кармадону.

Наташа спустилась с горки, подъехала к Данилову с Кармадоном и поинтересовалась, не кончили ли они секретничать.

— Кончили, — сказал Кармадон. — Мне следует отправляться домой и на вокзал. Иначе опоздаю. Прощайте.

— А я провожу гостя, — сухо сказал Наташе Данилов.

Молча отъехали они от Наташи метров на двести, и тут Андрей Иванович, приезжий из Иркутска, не дождавшись петухов, рассеялся в воздухе.

Данилов побрел к выходу из парка.

Возле хоккейного дворца в группе пожилых лыжников он увидел честолюбивого порученца Валентина Сергеевича.

Валентин Сергеевич ел мороженое и хихикал.

21

В четыре часа утра Данилов сел к письменному столу. Он намерен был писать завещание. Однако, оглядев стены и потолок, понял, что завещать, кроме долгов, нечего. Тогда он собрался писать распоряжение. Но «распоряжение» звучало словно бы приказание или требование, а приказывать он никому не мог, да и не собирался.

Ночью на встрече секундантов было условлено, что ежели не повезет Данилову и он в ходе поединка потеряет свою сущность, его земное существование закончится как бы в результате несчастного случая. Для людей Данилов то ли попадет под трамвай, то ли большая сосулька свалится на него на проспекте Мира.

Данилову было грустно. Порой, когда он глядел на книги, на папки с нотами, когда он думал о милых его сердцу людях, о Музыке, глаза его становились влажными, и Данилов тер переносицу. Однако Данилов помнил, что в поединке он может рассчитывать лишь на собственную волю, а потому элегическое состояние, кроме вреда, ничего не принесет. Он еще не остыл, был сердит и воинствен и совсем не желал быть стрелой пронзенным. Но холодным умом он имел в виду и собственную гибель как одну из реальных возможностей сегодняшнего утра. Он не хотел, чтобы его исчезновение нанесло ущерб кому-либо из людей. Особенно тем, кому он был должен. Вот он и сел писать завещание. Или не завещание, а неизвестно что. Наличных денег у Данилова не было, драгоценностей тоже, не имел он ни машины, ни дачи. Он рассчитывал на совесть страховых учреждений. И Альбани был застрахован, и жизнь Данилова была застрахована. На бумажке Данилов написал теперь, сколько он кому должен и что деньги эти — тут Данилов обращался неизвестно куда — следует из страховых сумм благодетелям возвратить. Он подумал: а вдруг милиция отыщет альти Альбани? Кому его-то оставить? Если бы Муравлевы играли на альте, он бы им оставил... Из Муравлевых одна надежда была на пятиклассника Мишу, он и осетинский танец синд на носках разучивал вместе с классом, и исполнял в школьном хоре песню Пахмутовой «Пейте, дети, молоко, будете здоровы!». Мише Данилов и решил определить инструмент, вдруг подарок проймает мальчика и обратит к музыке! Если бы у самого Данилова был сын... Данилов опять опечалился, но сейчас же, не желая раскисать, изгнал из себя грустные чувства. А они вернулись. Теперь из-за книг. Данилов распределял, кому отойдут какие книги, книги были редкие, прекрасные книги, Данилову сознание того, что он, может быть, никогда уже не прикоснется к этим книгам, причинило боль. Часть своей страховки Данилов отписал на Клавдию, она привыкла к его взносам за кооперативную квартиру, Данилов не хотел обижать и ее. Клавдия насколько не была виновата в перемене его судьбы.

На всякий случай Данилов привел в порядок и демонические отчетные документы. Вполне возможно, что вчерашние кутежи могли поставить в вину Данилову. Данилов постарался учесть расходы на них до копейки. Когда учел, удивился. Сколько они съели-то всего! Литры Данилова не изумили, жидкость сейчас здесь — и тут же ее нет, но куда вместились десятки килограммов пищевых продуктов? Да что там десятки килограммов! Центнеры! Тонны!

Селедки в ломтях, оказывается, было принято Кармадоном и товарищами — 746 кг, не считая невесомых хвостов. Яиц вкрутую и недоваренных — 412 тысяч штук, из них, как выяснил Данилов, 82 тысячи

порченных. На шпроты, удовлетворившие компанию, ушел улов двух сейнеров. Узнал Данилов и о продуктах, о принятии которых он не помнил. В частности, выходило, что Данилов вместе с другими скушал вчера четыре килограмма сушеного мотыля. Да и о двадцати килограммах столового маргарина он думал теперь со свирепым урчанием в желудке. «Эко Кармадон нас увлек!..»

Данилов понимал, что Валентин Сергеевич в Сокольниках лишь физиономию показал. Почувствовал, что дело его выгорает, и показал. В дни каникул Кармадона на глаза он старался не попадаться, но куда не сбежал, а был тут как тут. Ждал своей минуты. И дождался. И к Наташе, возможно, Кармадона вывел именно Валентин Сергеевич. Возможно. Ну и что из того! В иной день Данилов непременно доказал бы себе, что он погорячился, что Кармадон не виноват, а Валентин Сергеевич его попутал. Теперь, перед поединком, Данилов отводил всякие оправдания. Валентин Сергеевич, наверное, и думал своим явлением смутить Данилова, вызвать в его душе сто голосов один виноватей другого, тогда Данилов прибыл бы к месту поединка слабым и безвольным, неуверенным в своей правоте. Мишенью, попросту говоря, прибыл бы. Теперь же он думал: Валентин Сергеевич — ладно, но ведь Кармадон не младенец, не отрок, у него своя голова на плечах, что же он дает себя попутать! Да так уж и дает? Он ас, он игрок, он мог и сам ради игры, учуяв Наташу, пойти на риск. Он и пошел.. А Наташа... Впрочем, о Наташе Данилов запретил себе думать из чувства самосохранения. Он знал одно: не вызови он Кармадона на поединок, случилась бы беда. Даже если Наташе и было приятно пойти с Кармадоном, кончилось бы все для нее скверно. Как хотел Данилов обойтись без поединка!. Однако не обошелся...

Данилов вздохнул и стал писать письма. Двум хорошим композиторам и одному хорошему альтисту. Альтиста он просил познакомиться с симфонией Переслегина и, в случае если она ему понравится, исполнить ее. Композиторам, звавшим Данилова, он рекомендовал Переслегина как человека талантливого, но, видимо, робкого и неудачливого. Он хвалил симфонию и полагал, что доброе отношение таких авторитетов к Переслегину могло бы принести пользу музыке...

Тихо откуда-то снизу постучали по системе водяного отопления. Секундант обращал внимание Данилова на то, что до поединка осталось два часа.

С секундантом у Данилова были трудности. Откуда брать-то его? А Кармадон желал соблюсти все требования протокола. По правилам своего договора Данилов на Земле ни с кем из демонов знаться не мог. Он был прикреплен к домовым. Ну что ж, домовый так домовый, передал на Землю Кармадон, при этом Данилов ощутил, как Кармадон скривился.

А кого брать из домовых? Годились ли они в секунданты? «Ба, да у нас в строении тоже есть домовый!» — вспомнил Данилов. Домовой этот, называли его Бекон Леоновичем, появлялся в собрании на Аргунской улице редко, вел себя тихо, не задирался, лампочек не выкручивал. В умных разговорах его занимала судьба Фанских гор. Когда же в окно смотрела полная луна, он вздыхал и говорил: «Луна полная!» Но отчего-то его считали личностью отчаянной. Было известно, что Бек Леонович восточного происхождения. Однако уже давно поменял веру. Прежнее имя свое он не помнил, а теперешнее получил в тридцатых годах. В Останкине на Выставке среди прочих построили павильон южной республики, белый и голубой, кружевной, с фонтанами и колоннами. Стоять без домового, естественно, он не мог. Вот и был найден в Коканде во дворце Худояр-Хана местный дух, согласившийся перебраться в Москву. Имя ему присудили **Узбек Павильонович. Узбек Павильонович**

был сознательный доброволец, понимал, куда ехал, однако не смог удержаться и тайно привез с собой восемь жен, или восемь поклонниц, а может просто подруг. Любопытным он объяснял, что они нужны в павильоне для колорита. Никто их не видел, а только все говорили, что они глиняные. Лет пятнадцать назад павильон перекрасили, посвятили его культуре, и Узбек Павильонович оказался в нем лишним. Его перевели в жилой дом по соседству, в Останкино. Потом — в другой. Потом — в третий. Этим третьим был дом Данилова, кооперативный. Здесь Бек Леонович был незаметен, лишь сильно грустил по женам. Уходя с Выставки, из кружевного павильона, забрать с собой он их не смог, а замуровал в колоннах. Данилов знал, что Бек Леонович по ночам бродит возле павильона культуры, гладит колонны, его подруги стонут, зовут его, а Бек Леонович плачет. Чувства Бека Леоновича трогали Данилова, к тому же Бек Леонович был молчалником, вот к нему и обратился Данилов с просьбой послужить секундантом. Даже как бы приказал послужить, чтобы потом Бека Леоновича ни в чем не смогли счесть виновным.

Секундантом Кармадона стал Синезуд, старый демон, чином мелкий. Но он славился как охотник и летун. Известен был также коллекцией значков разных миров. Часть коллекции, в том числе и значок ворошиловского стрелка, носил на груди. Домовому летать в пространствах не полагалось, да и с непривычки у Бека Леоновича могла закружиться голова, оттого Синезуд и прибыл для переговоров с Беком Леоновичем в Останкино.

Дольше всего обсуждали вид оружия. Поединок мог быть словесный, на шпагах, на кулаках, на пистолетах, на картах, на карабинах, случались поединки, когда противники швыряли друг в друга камни, овощи. Всего и не припомнишь. Данилов и Кармадон уговорились вести поединок из ракетных установок средней мощности, с радиусом действия до шестисот километров. Огневые рубежи секунданты обязаны были начертить мелом в пустынном месте, подальше от Земли, куда и метеориты не заглядывали без нужды. Карту звездного неба Бек Леонович взял для практических действий со стола моего сына, тогда еще морочившего головы родителям мечтой об астрономии.

В пять часов, когда Данилов все еще сидел с деловыми посланиями, зазвонил телефон. Данилов оторопел. Неужели Наташа учуяла беду! Хотя какая это для нее беда... Нет, ее звонок был бы теперь лишним. Звонил пайщик с четвертого этажа Подковыров, солист танцевального ансамбля.

— Володя, — сказал Подковыров, — извините меня, но я так и думал, что вы не спите.

— Чем обязан? — спросил Данилов.

— Еще вчера сочинил! — обрадовался Подковыров.

Подковыров хоть и был солистом, но лелеял в себе литератора. Он сочинял короткие мысли, афоризмы и строки из ненапечатанного. Их печатали.

— Ну читайте, — сказал Данилов.

— Вот. Для «Рогов и копыт». «Объявление. Любителям автографов. В городе Париже в Соборе Инвалидов в двенадцать часов по ночам из гроба встает император». А? Смешно?

— А что смешного?

— Как же...

— Он ведь и вправду встает.

— Кто?

— Император.

— Когда?

— В двенадцать часов.

— Где?

— В Соборе Инвалидов. Садится на воздушный корабль...

— Вы шутите?

— Нет. Не шучу. Я сам встречал корабль, — сказал Данилов и повесил трубку.

«Были бы у меня иные обстоятельства, — подумал Данилов, — я этому болвану как-нибудь устроил бы встречу с императором. Вставшим из гроба...» Хотя что было на Подковырова злиться? Счастливые часов не наблюдают...

«Так, — сказал себе Данилов, — что нужно — написал. Неужели все дела сделаны?» Он даже испугался. У него была примета. Отправляясь в какое-либо опасное путешествие, он хоть одно, хоть и маленькое дело, но как бы не успевал исполнить. Чтобы чувствовать себя обязанным вернуться. «Я же брюки из химчистки не взял!» — обрадовался Данилов.

Брюки брюками, однако он так ни разу не сыграл сочинение Переслегина от начала до конца. А ведь хотел. Данилов взял альт. Открыл ноты Переслегина. И минуты через две забыл обо всем. И звучала в нем музыка. И была в ней воля и была в ней печаль, и солнечные блики разбивались в невиданные цвета на гранях хрусталя, и ветер бил оторванным куском железа по крыше, и кружева вязались на коклюшках, и кашель рвал грудь, и тормоза скрипели, и дождь теплыми каплями скатывался за шиворот, и женское лицо светилось, и была гармония... Сосед Клементьев возмущенно забарабанил по стене, разбуженный и злой...

Данилов опустил альт и смычок, притих.

Он устал и был грустен.

Вдруг он вспомнил о времени и понял, что играл сорок минут. Клементьеву следовало сказать спасибо. Надо было собираться и надо было истребить в себе слабость.

Впрочем, отчего же слабость? Неужто музыка дала ему одну слабость? Нет, подумал Данилов, она дала ему и силу. Хотя бы потому, что он ощущал теперь необходимость исполнить музыку Переслегина и для себя и для публики. А для этого следовало победить и вернуться. То обстоятельство, что и победив он мог не вернуться, Данилов словно бы не принимал в расчет.

Данилов перевел пластинку на браслете, вызвал домового Бека Леоновича. Бек Леонович явился и был бледен. Из Коканда в Москву когда-то он перебрался поездом, на верблюдах и на ишаках, но теперь-то Данилов, беря грех на себя, вынуждал его летать жутко куда. Да нынче им предстоял и не полет, а перенесение. Зубы у Бека Леоновича стучали.

— Вы глаза закройте, — сказал Данилов, — за мою руку уцепитесь, и мы сейчас же будем там. Если со мной что случится, вас вернет домой мой соперник... Ну все... В путь!

И оказались на месте поединка. «О Земля! О жизнь! О любовь! О музыка! Неужели — все?...» — возникло в Данилове, словно бы он находился еще в дороге. Пальцы Бека Леоновича, вцепившиеся в левую руку Данилова, вернули его к заботам.

— Успокойтесь, Бек Леонович, — сказал Данилов. — Вот мы и здесь. Будьте как на Третьей Ново-Останкинской... Можете ходить, можете парить, можете плавать...

Было черно, безвоздушно, холодно и отчего-то сыро. Бек Леонович расцепил пальцы, стал ходить, рукой тычась в пространство как в стену. Потом он открыл глаза.

— Их нет, — сказал.

— Еще пять минут, — успокоил его Данилов. — Карта при вас?

— При мне, — сказал Бек Леонович.

Имелась в виду карта звездного неба, составленная моим сыном, предмет зависти Миши Муравлева. Данилов посмотрел на сплетение желтых, синих и зеленых линий, на кружочки звездных систем, ткнул пальцем:

— Мы вот здесь. — И добавил: — Может быть... А мел захвати-ли? — спросил он Бека Леоновича.

— Захватил... А вот и фонарик...

В шесть Кармадон с секундантом не явился. Что-то было не так. Данилов чувствовал, что Кармадон где-то рядом, но где? «А вдруг он перенесся невидимым?» — подумал Данилов. Поединки вот уже семьдесят лет как были запрещены, дуэлянтов строго наказывали, может быть, Кармадон в целях безопасности и затуманился? Однако в шесть часов он обязан был явиться к барьеру во плоти. Да и место они подыскали отдаленное, на самой окраине бесконечного мира. Данилов осветил фонариком карту звездного неба. Вон что! Зеленая линия в их секторе, наткнувшись на желтую, пропадала вовсе. «Ох уж эти мне московские троечники, — в сердцах подумал Данилов. — А я-то что же, растрепай, смотрел раньше!» Конечно, и Кармадона с секундантом по этой карте могло занести в желтую точку. А то и в синюю! Наконец Данилов обнаружил телескопом две мрачные фигуры в плащах. Стояли они далеко отсюда!

Данилов с секундантом перенесся к ним. На небе тюльпаном висела угасающая звезда, розовый свет ее был томен и зловещ. Кармадон нервно махнул рукой:

— Быстрее!

Секунданты взялись устраивать барьер. Барьер вышел какой требовалось, световой и звуковой одновременно, при этом он был обозначен и палашами — на палашах Синезуд укрепил варежки Данилова, связанные ему к прошлой зиме Муравлевой. Между палашами Бек Леонович провел мелом роковую черту. Синезуд был важен, высокомерен, значки разных миров, в том числе и ворошиловского стрелка, вынес на плащ, и теперь они отражали зловещий и томный свет умирающей звезды. Бек Леонович с Синезудом двинулись осматривать ракетные установки, при этом Бек Леонович вел себя достойно, не дрожал и даже заметил огрех в системе наведения установки Кармадона. Затем Синезуд и Бек Леонович проверили укрытие, из которого им предстояло следить за поединком. И тут останкинский житель держался молодцом.

Наконец все было проверено и устроено. Секунданты встали между палашами на меловой черте спинами друг к другу.

— Марш! — скомандовал Синезуд.

Тут же он и Бек Леонович сделали каждый по одиннадцать шагов и в местах, где остановились, воткнули в пространство еще по палашу. При этом Синезуду показалось, что шаги Бека Леоновича были шире его шагов и, стало быть, интересы Кармадона ущемлены. Он сам сделал одиннадцать шагов от черты и до палаша Данилова. Вышло, что пространство отмерено честно.

— Сходитесь! — сурово скомандовал Синезуд.

Данилов и Кармадон — каждый от своего палаша — двинулись друг другу навстречу.

У меловой черты они встали. Барьер отделял их. Данилов и Кармадон взглядом пытались испепелить противника. Кармадон был грозен и нетерпелив, ни мира, ни пощады ждать от него не следовало. Данилов и не ждал ни мира, ни пощады. Он чувствовал: все в нем могло сейчас вспыхнуть, как березовая кора под огненным шилом увеличительного стекла, до того свирепым был взгляд Кармадона! Но выдержал Дани-

лов, выдержал, еще и сам чуть было не вызвал свечение голубых углей, однако отчего-то не отдал взгляду последней силы.

— Расходитесь! — услышал Данилов.

Бек Леонович дрожал, на розовой угасающей звезде вспыхнули желтые волдыри — то Кармадон скользнул по звезде взглядом. Горло у Данилова пересохло, в кончиках пальцев колело, надо было успокоиться и свежим бойцом выйти на огневой рубеж.

Синезуд взмахнул рукой, и они с Бекком Леоновичем отправились в укрытие. Данилов и Кармадон прибыли к своим установкам, еще раз оглядели системы и щиты, включили экраны систем слежения и сообщили о готовности.

— Начинайте, пожалуй! — прозвучала из укрытия команда Синезуда.

Первым стрелять должен был Кармадон. Шестьсот километров отделяло его теперь от Данилова. «Будь что будет! — отчаянно сказал Данилов, кураж напуская на себя. — Что же он медлит-то?..» И тут Данилов увидел, что прямо перед ним стоит огромный Кармадон. Данилову стало страшно. И зябко. Нет, Кармадон стоял не перед ним, он был на своем огневом рубеже, но он вырос, он увеличил себя, он стал верст в сто ростом, глаза прикрыл мертвыми веками, холодным великаном готов был раздавить мелкую тварь! «Да что он пугает меня? — подумал Данилов. — Что он ужасы-то рисует? Будто я младенец или трус какой...» Белое пятно возникло на экране системы слежения, ракета пошла в сторону Данилова, Данилов быстро выдвинул вперед летучий щит с сетью, челюсти сжал, все теперь зависело от его воли, окажись она слабая, в ничто, в пустоту превратилась бы сущность Данилова. Но нет, воля еще была в нем, и не слабей Кармадоновой, она-то и бросила щит навстречу ракете, уперлась на лету в нее или в Кармадонову волю, а потом, когда Кармадон устал и отчаялся, сетью захватила ракету и унесла ее в сторону угасающей звезды. Потом вдали что-то зашипело, и новый волдырь вздулся на розовом теле звезды.

«Ну и как Кармадон? — подумал Данилов. — Все еще великан или опять сравнялся со мной?» Нет, Кармадон не уменьшился, стоял, голову гордо подняв, глаза открыл и теперь с некой усмешкой смотрел на Данилова. «Ну-ну! — подумал Данилов. — Гусарит!» Важно было то, что он, Данилов, не спустил Кармадону пошлости, уберег от него Наташу, а вот гибели ему он уже не желал.

Данилов уселся на жесткое зеленое сиденье, отвел глаза от Кармадона, включил систему наведения, проверил, не изъят ли из ракеты заряд, и нажал на кнопку. Огненные вихри обдали Данилова. Он почувствовал — шла ракета трудно, как бур в гранитных породах, и были мгновения, когда ракета застревала в сопротивлении Кармадона. Однако остались в Данилове еще силы, остались в нем еще соки, и он гнал, гнал ракету, толкал, оберегая заряд, и вдруг почувствовал, что Кармадон ослаб, что он, Данилов, победил, одолел Кармадона, что Кармадон теперь висит над бездной, вцепившись рукой в корень или камень, и пальцы его вот-вот разожмутся. Следовало еще одним напряжением воли вмять, вдавить ракету в сущность Кармадона, кончить все разом, и тут Данилову стало жалко Кармадона, он выпрямился, челюсти разжал и позволил Кармадону дрожащим щитом отвести ракету в сторону. И опять на розовой звезде вздулся желтый волдырь.

Взмокший, расслабленный, утих Данилов. Дышал тяжело. Чувствовал: Кармадон понял, что он, Данилов, пощадил его. Ему казалось, что теперь поединок мог быть и прекращен. Он свои отношения с Кармадоном выяснил, и довольно.

Зашуршало в аппарате связи с секундантами. И у них в укрытии, видно, возникли мысли о примирении.

Раздался хохот. Страшный хохот, словно орудийный. Данилов увидел: Кармадон вырос еще, вовсе стал гигантом. Волосы его посинели, он весь покрылся оранжевыми пятнами, когти отросли у него на руках и десятью мечами висели в черно-розовом пространстве.

Но страшнее всего был взгляд Кармадона. Надменный, огненный, мертвящий. Данилов растерялся. Значит, Кармадон движение его души посчитал слабостью, пощаду воспринял как оскорбление и был уверен, что теперь его снаряд получит убойную силу. «За кого же он меня принимает? — думал Данилов. — Что он вырядился монстром или вурдалаком?..» Но Кармадон действовал не так уж наивно, он имел некое представление о земных суевериях и поэтических чувствах, — смотреть на него теперь было Данилову неприятно. Жутко было смотреть.

Кармадон нажал на кнопку пуска.

Еле-еле Данилов отвел от себя ракету Кармадона. Жизнь его на этот раз висела на волоске... Об этом Данилов подумал мгновением позже и похолодел. Он расстегнул пуговицу воротника. Хотелось пить... И не было никакого желания продолжать поединок. Но что оставалось? Данилов чувствовал, что и Кармадон сейчас еле дышит, клыки и когти его исчезли. А потом Кармадон вдруг стал металлический, строгих линий, будто броневик или робот...

На подготовку к выстрелу Данилов имел десять земных минут. Они истекли. Данилов надавил пальцем на кнопку.

Он думал, что, наверное, не сможет поразить Кармадона и нужно чуть-чуть расслабиться, чтобы, когда придет очередь соперника, уберечься от его ракеты. А потом, может быть, и силы восстановятся... Ракета его шла тихо, но ровно. И вдруг Данилов скосил глаза на экран системы слежения. Белое пятно дрожало и увеличивалось на нем! Значит, вот как! Прежде чем Данилов нажал на кнопку, Кармадон послал в него ракету, не имея на это права, и ракета его была с куда более страшным зарядом, с куда более совершенной системой ускорения, нежели полагалось по условиям поединка! «Это же подлость!» — мысленно вскричал Данилов. И опять жутко, победителем захохотал Кармадон. Данилов понял, что сейчас все кончится. Но и он доведет ракету до цели, не простит подлости, последнее усилие воли, последние усилия своей сущности вложит, вместит в движение ракеты и ее удар! И тут что-то оглушило Данилова, стало взрываться в нем, потекли цветные видения, и чьи-то лица были и женские, сначала будто бы Наташино, а потом Анастасии, музыка мучила Данилова болью, или это была просто боль, но тут все потеряло цвет и звук и исчезло...

22

— Данилов, извините, пожалуйста, это опять я вам звоню. Подковыров.

— Я слушаю, — вздохнул Данилов.

— А если мы изменим текст?

— Какой текст?

— Насчет императора.

— И что?

— Ну а если он не в двенадцать будет вставать из гроба, а в час ночи? Так смешнее?

— Смешнее, — сказал Данилов и повесил трубку.

Данилов чувствовал себя скверно. Еле был жив. Болела голова, ныло тело, пальцы дрожали. И вдобавок ко всему была в Данилове, на правом его плече, черная дыра. Дыра потихоньку уменьшалась, шелковые нитки, оставленные ловкой иглой, стягивали ее. Поначалу черная

дыра была размером с будильник, теперь же ее можно было закрыть и двугривенной монетой. Дыра не болела, а только тяготила Данилова. Она была в нем, но и как бы сама по себе. Сверху дыру заклеили прозрачным пластырем. Данилов на кухне, задумав рассмотреть дыру, осторожно оттянул пластырь. Тут все пришло в движение, все потянулось в дыру. Данилов быстро приклеил пластырь, однако одна из кухонных табуреток успела подлететь к его плечу, рассыпалась в воздухе и крошками со свистом исчезла в черной дыре. Туда же последовали и вилки, не убранные со стола. Прочие вещи удалось сохранить. «Ну ладно, — успокоил себя Данилов, — она сама превратится в точку, а потом и вовсе затянется... Известное дело — гравитационный коллапс...» Все же ему было не по себе оттого, что на его плече начинался тоннель во вселенную неизвестно какую, на нашу не похожую. Но каков Кармадон, коли так постарался!

Данилову стало известно и то, что исчезли совсем Синезуд и Бек Леонович. Данилов решил, что Кармадон, прежде чем совершить подлость, убрал свидетелей — секундантов. Он был уверен, что и Данилов исчезнет, вот и убрал их. Погиб домовой Бек Леонович, и выходило, что Данилов погубил его. Напрасно станут теперь ждать Бека Леоновича замурованные им жены. И восточных подруг Данилов жалел, но в них ли было дело! Эх, Кармадон, Кармадон!..

Однако как ни слаб был теперь Данилов, что бы ни ожидало его в ближайшие мгновения, он понимал, что ему следует приниматься за житейские дела. Случай спас его, случай вернул его в существование, что ж, надо было благодарить случай — или Анастасию — и жить дальше.

Данилов решил пересмотреть бумаги, написанные им утром. Думал порвать их или предать огню, но подумал: а зачем? Еще пригодятся... Все его распоряжения были уместны, ни от чего он не желал отказываться, даже от отписок в пользу Клавдии. Лишь письма о симфонии Переслегина Данилов положил задержать. Он ведь мог и по телефону позвонить адресатам. Зато самому Переслегину Данилов написал новую открытку и решительно попросил композитора зайти к нему в ближайшее время.

«Ах, как нелепо! Как я виноват!» — вспомнил опять Данилов о невинно погубленном домовом Беке Леоновиче. Ведь обещал ему, что все обойдется хорошо, беды не случится. «Лучше бы уж меня, — думал Данилов. — А его бы и пальцем не тронули...» Однако он существовал, и черная дыра затягивалась на его плече.

По вечным условиям поединков, нынче пусть и запрещенных, победитель мог не только ранить побежденного, но и совсем погубить его. Бессмертную по положению натуру ни болезни, ни стихия, ни люди, ни женщины погубить не могли, а вот именно свои на поединке могли, так уж повелось. И Данилова разрушил предательский снаряд Кармадона, он уж почти забылся и потерял свою сущность. Однако демоническая женщина Анастасия спасла его. Как она провела на поединке и где притаилась во время стрельбы, Данилов не знал, да и не старался узнать. Узнал он лишь, что с ним произошло в последние мгновения поединка.

Ракета Кармадона совсем уж было разнесла в клочья сущность Данилова и его оболочку, но караулившая поблизости Анастасия бросилась Данилову на помощь, голыми руками, не боясь ожогов, гибельную для Данилова массу вещества сгребла в кучу, превратила все в полную свою противоположность и сделала черной дырой. Вещества было так много, что оно могло бы обернуться и звездой первой величины. Потому черная дыра вышла в Данилове большая. Анастасия сразу же стала стягивать ее края шелковыми нитками, тут Данилов очнулся, и Анастасия отлетела. Видно, все еще была сердита на него гордая и прекрасная Анастасия!

Неизвестно, с каким намерением она явилась к месту поединка. Разве теперь это было важно! Не имела она права оказывать помощь Данилову, а Данилов не имел права эту помощь принимать. Однако Кармадон первым нарушил правила чести, и стерпеть его подлость Анастасия не смогла. Отлетая от Данилова, она все же успела заклеить черную дыру прозрачным пластырем, а прежде смазать ее каким-то темным знахарским снадобьем, и теперь черная дыра уменьшалась быстрее, чем следовало бы, истекала веществом куда-то вдаль, в пустые углы чужой вселенной.

«Раз Анастасия, — подумал Данилов, — сумела пробраться к месту поединка, были у нас и другие зрители...»

Следовало ждать дурных последствий. Ох, недаром Данилов не хотел вызывать Кармадона на поединок...

Теперь Данилов рассчитывал лишь вот на что. Влиятельным родственникам и друзьям Кармадона дело о поединке выгоднее было замять. Как случай ни крути, а Кармадон и его друзья тоже все равно были при конфузе. Последней своей ракетой Данилов свернул Кармадону челюсть, что-то повредил в шее, пока Кармадону не помогли ни ученые механики, ни лекари, они опасались, как бы он вовсе не остался скособоченным. Это ас-то! По всем правилам Кармадон поединок проиграл, и даже тайные разговоры о дуэли могли ему только навредить.

«Ну посмотрим, что будет», — вздохнул Данилов.

Данилов включил утюг и положил на гладильную доску бабочку для вечернего спектакля.

«Что мне с Переслегиным устроить? — думал Данилов. — Как исполнить его симфонию? Где и с кем? Надо сегодня же отыскать Переслегина. К нему, что ли, съездить?»

Левая рука Данилова опять словно нечаянно потянулась к черной дыре. «Брось! — сказал себе Данилов. — Хватит!» Пластырь был крепок.

Позвонила Клавдия Петровна.

— Данилов, ну и как?

— А что? — спросил Данилов.

— Неужели тебе нечего мне сказать?

— А что я должен сказать?

— После того, что произошло?..

— А что произошло?

— Ну хорошо, — сказала Клавдия, помолчав, — а неужели тебе не о чем меня спросить?

— А о чем я должен тебя спросить?

— Ладно, я сейчас приеду к тебе.

«Экая баба! — рассердился Данилов. — Даже не поинтересовалась, есть ли у меня время...»

Тут же телефон опять зазвонил. «Сейчас я ей выскажу!» — пообещал Данилов. Однако он услышал голос Наташи.

— Володя, вы извините, — сказала Наташа, — мне показалось, что у вас неприятности, что вчера между вами и вашим гостем что-то произошло... Вот я отважилась вам позвонить...

— Это все мелочи, — сказал Данилов мрачно.

Он растерялся, оттого и сказал мрачно.

— Я напрасно вам позвонила?

— Нет, отчего же... — пробормотал Данилов. — Вы где?

— Знаете, Володя, я ведь брожу в вашем районе... С утра взяла и поехала в Останкино...

— А сейчас-то вы где?

Наташа назвала место. Оказалось, это в двух минутах ходьбы от Данилова.

— Я выхожу, -- сказал Данилов.

Уже в лифте он вспомнил о Клавдии. «А-а-а, пусть прокатится!» — решил Данилов.

Наташу он нашел на улице Цандера, возле аптеки.

— Здравствуйте, Наташа, — сказал Данилов.

— Здравствуйте, Володя.

— Вас интересует мой приятель? — спросил Данилов.

— Нет, — сказала Наташа. — А что, мы на вы перешли?

— Это вышло самой собой. Но не я начал...

— А если мне опять начать на ты?

— Я согласен.

— А я, Володя, испугалась за тебя... Что-то случилось вчера, да?

— Было... Мелкое недоразумение... Все уж и забыто.

— Ты не обиделся на меня?

— За что?

— Я не знаю... Я просто заснуть не могла, и все. Чего-то боялась... Мне казалось, что я должна от чего-то тебя спасти... Я не знаю... Я даже приехала сюда утром и все ходила возле твоего дома, будто у тебя во мне была нужда. Дурь какая-то! Нервная я, что ли, стала... От такой, наверное, надо держаться подальше...

— Ну что ты! — растроганно сказал Данилов. — Ты не выспалась?

— По мне видно? — расстроилась Наташа. — Я страшная?

— Нет, нет, что ты? — сказал Данилов. — Видно, ночью давление менялось, вот и не шел к тебе сон.

Наташа как-то странно поглядела на Данилова, будто в словах его было нечто обидное для нее, сказала тихо:

— Нет... Что мне давление...

«Ну да, что ей давление, — подумал Данилов. — Ведь она из-за меня приходила и к театру, и в Сокольники, и к дому моему! А я размышляю о чем-то! Но как быть? Анастасия, Наташа, эта дура Клавдия — все перемешалось, и как тут разобраться? Что — истинное, необходимое, а что — призрак, мираж, суета... То есть разобраться легко... Но что выбрать? Да так, чтобы никому не принести беды?..»

— Володя, я люблю тебя, — сказала Наташа.

— И я тебя, Наташа, люблю, — сказал Данилов.

И все. Шли вокруг люди, их было пока мало, но они шли. Что еще надо было сказать? Ничего и не надо...

Остановилась машина возле Данилова с Наташей. Машина Данилову знакомая, приобретенная на средства профессора Войнова. Клавдия Петровна распахнула дверцу.

— Что же, Данилов! — сказала Клавдия с обидой. — Я спешу к тебе домой, а ты гуляешь по улицам!

— Здравствуй, Клавдия, — сказал Данилов.

— Здравствуй, — кивнула Клавдия. — У тебя нет совести. А если бы я ехала не по Цандера?

— Я тебя вовсе и не ждал.

— То есть как?

— А так. Ты не поинтересовалась, есть ли у меня время для встречи с тобой. А у меня времени нет.

— Ты что, Данилов! — удивилась Клавдия. Потом она словно бы заметила Наташу. — А это кто?

— Это Наташа, — сказал Данилов. — Наташа, а это вот моя бывшая жена Клавдия Петровна.

Должна бы Клавдия была понять, что они с Наташей — близкие, брат с сестрой, муж с женой, а она тут чужая...

— И все же, — сказала Клавдия, взглядом пытаюсь удалить Наташу из здешних мест, — ты мне нужен.

— Возможно, я тебе и нужен, — сказал Данилов, — но ты мне никак не нужна.

— Данилов, — робко произнесла Клавдия, — ты всегда с уважением относился к женщинам...

Данилов ощутил, что в отношении к нему Клавдии вместе с прежними чувствами превосходства и несомненной власти появилось и нечто новое — тревога какая-то, или догадка безумная, или подозрение, или даже страх...

— У меня есть тайна, — тихо сказала Клавдия.

— Хорошо, — кивнул Данилов, — но в другой раз.

Обида опять придала Клавдии сил. Она спросила:

— Наташа, а вы у Данилова новая симпатия?

Наташа посмотрела на Данилова.

— Наташа моя вечная симпатия, — сказал Данилов.

— Вы с ним будьте строже. Он человек распушенный.

Тут и Данилов не нашел слов.

— А я вас где-то видела. Вы не портниха?

— Я не портниха, — сказала Наташа. — Но я шью.

— А Гавриловой не вышили по моделям Гагариной?

— Шила.

— Вот у Гавриловой я вас и видела! И шапочки вы шьете?

— И шапочки.

Тут Клавдия Петровна выскочила из машины, захлопнула дверцу, о Данилове она забыла сразу же.

— Мне непременно и быстро надо сшить шапочку из черного бархата, знаете, чалму, чтобы на ней хорошо смотрелись и бриллианты и жемчуга. Мы с мужем, возможно, поедem на три года в Англию. А туда без чалмы лучше и не ездим совсем. На прием к королеве можно явиться только в вечернем наряде. Моя приятельница жила в Англии, получила однажды приглашение на прием к королеве, а ее без шапочки не пустили. Теперь она вернулась в Москву, места себе не находит, подругам стыдится показаться, жизнь испорчена, я ее понимаю. А уж если эту дуру к королеве звали, то нас-то с Войновым позовут, и не раз. Вы возьметесь? У меня фасон есть. Я заплачу как следует.

— Сошью, — сказала Наташа, — деньги ваши будут мне сейчас не лишние...

Женщины тут же стали договариваться о времени встречи, записывать адреса и телефоны, а Данилов чуть было не вскипел, до того он был на улице посторонний.

Наташа почувствовала его досаду, обернулась тут же и глазами успокоила Данилова.

— Одно дело сделано, и ладно, — сказала Клавдия, открывая дверцу, — с тебя, Данилов, хоть шерсти клок.

Однако в машину она все еще не садилась, теперь, когда головной убор был обговорен, Клавдия Петровна смотрела на Наташу без прязни и без заискивания, а холодно, даже с презрением, как дама на швею. Что-то и Данилову она, видно, хотела заявить, чтобы показать и швее и самому Данилову, что имеет на него особенные права. Но и робела...

— Ладно, — сказала Клавдия. — Я тебя разыщу.

И укатила.

Во все время суety с Клавдией Данилов с Наташей вели разговор между собой, в их разговоре не было слов, а было то, что они назвали четверть часа назад. Этот разговор шел как бы поверх разговора с

Клавдией, оттого в нем была игра, волновавшая Данилова и Наташу. Что им была теперь Клавдия и ее тайны, что им была улица Цандера с восемьдесят пятым автобусом и аптекой! Однако когда речь зашла о чалме, Данилову показалось, что их с Наташей разговор прервался и он, Данилов, остался один. «Впрочем, нашел к кому ревновать! — подумал Данилов. — Женщины — они и есть женщины...» Он досадовал и на себя. Экие пошлые слова явились ему: «Наташа — моя вечная симпатия...» Но теперь, когда Клавдия уехала, они с Наташей вернулись к своим главным словам, и Данилов почувствовал, что на сегодня их хватит, дальнейшее может только испортить все.

- Мне на работу, — сказала Наташа.
- А мне скоро в театр. Я позвоню тебе.
- Ты приходи...

23

Дома Данилов расстегнул пуговицы рубашки. Оголил плечо. Черной дыры не было. Данилов отклеил прозрачный пластырь и ножницами потихоньку высвободил шелковые нитки. Кожа стянулась, ничто не напоминало о гравитационном коллапсе. А ведь где-то, подумал Данилов, в соседней вселенной открылась нынче белая дыра. Все вещество, словленное Кармадоном для губельного снаряда, уткло туда. Да и табуретка Данилова и вилки с кухонного стола явились, видно, в ту вселенную подарком. Тут Данилов с некой надеждой подумал, что, может быть, он напрасно грешил на Кармадона, что вдруг и Бек Леонович с Синезудом были затянуты в черную дыру и сейчас пришельцами вынырнули из белой дыры в неизвестной Данилову вселенной? Хорошо бы так, уж потом Данилов нашел бы способ вызволить их.

Какой способ?! Когда потом?!

Что он Наташе морочит голову, если сам живет под дамокловым мечом и время его последними крупинками истекает в песочных часах! В особенности теперь, после поединка!

В дверь позвонили. На пороге стоял Переслегин.

— Здравствуйте, — сказал Переслегин. — Извините, что надолго исчез. Был в командировке в Саратове.

Тут бы им сразу сказать друг другу о главном, а они замолчали. Данилов даже засуетился, будто давая Переслегину понять, что времени у него мало.

- Я к вам ненадолго, — сказал Переслегин.
- Да нет, что вы... — смутился Данилов.
- Вы посмотрели? — спросил Переслегин.
- Да, — кивнул Данилов.
- И как?..
- Мне понравилось... Я ведь вам так и написал...
- Да, да, — согласился Переслегин.

Он замолчал, смотрел на Данилова, ждал, видно, еще каких-то добрых слов о своем сочинении, а у Данилова все ощущения от музыки Переслегина будто пропали.

- Я бы исполнил вашу симфонию, — сказал Данилов.
- Вот и исполните! — обрадовался Переслегин.
- Кто же меня выпустит на сцену? Где?
- Это все можно устроить! — махнул рукой Переслегин. — Главное, что вам понравилась партитура!

Данилов посмотрел на Переслегина с удивлением. Экий пряткий! Совсем иное мнение он составил о натуре композитора в прошлый раз.

- А отчего вы дали главную партию в симфонии альту?
- Я и сам не знаю отчего, — сказал Переслегин. — Ведь когда начинаешь творить... Простите за пышное слово... Когда на-

чинаешь сочинять музыку, разве делаешь это холодным умом? Уж потом, после, можешь объяснить себе, как возник этот звук, эта мелодия и как эта... Со мной так, с другими, возможно, иначе... Значит, к альту лежала моя душа... В скрипке, уверен, женское начало... Озорная девчонка, печальная женщина, трагическая старуха — это все для меня скрипка... А в альте больше твердости, больше драмы, альт — мужчина... Я не знаю... Я стал писать музыку, и во мне зазвучал альт... Вот и все...

— Но альт-то, согласитесь, нынче не солист, он инструмент вспомогательный, он у скрипки, у голоса человеческого в слугах!

— Нет, нет и нет! Инструментов-слуг быть не должно! И не может быть! В музыке все великое и все может прозвучать! Надо только дать звук! Надо уметь найти этот звук! А что до альта, то для него и Берлиоз писал симфонию.

— Берлиоз писал «Гарольда» для альта Паганини! — воскликнул Данилов.

— Ну и что же?

— Как и что же! А теперь-то кто сыграет?

— Вы и сыграете, — сказал Переслегин.

— Я... Но что выйдет? Почему вы пришли ко мне?

— Я слышал, как вы играли в НИИ. Потому я к вам и пришел. Я знаю многих альтистов, а пришел к вам...

«Каким рохлей показался он мне в прошлый раз, — подумал Данилов, — а в нем есть сила, он упрямый и знает, чего хочет. А если знает, чего хочет, и тем не менее верит в себя, значит, он и смелый...»

— Вам понравилось, как я играл? — спросил Данилов.

— Да, — сказал Переслегин. — И я счастлив, если вы поняли мою музыку. Я хотел бы показать вам другие свои сочинения... Там вещи для небольших составов... Квартеты, есть секстеты... С темами для импровизаций... Все великие музыканты прошлого были импровизаторами. Ведь так? А нынче выходит, что музыканты могут свободно выражать себя лишь в джазе... Я написал вещи и для вашего альта...

— Моего альта нет, — сказал Данилов.

— То есть как?

— Того альта, что вы слышали в НИИ, нет, его украли.

— Это грустно, — сказал Переслегин, печально взглянул на Данилова, и Данилов ощутил, что Переслегин понимает, какими были его муки. — Это грустно, — повторил Переслегин. — Но это ничего не меняет. Вы музыкант вовсе не потому, что имели Альбани.

Данилову оттого, что он своими словами о пропавшем альте чуть было не разжалобил самого себя, стало неловко, он поднялся и подошел к окну. Переслегин расценил движение Данилова как напоминание о ходе времени. Он тоже встал. А Данилову и вправду следовало отправляться в театр.

— Принесите мне свои новые сочинения, — сказал Данилов. — Я пока не столь уверен в себе, чтобы мечтать о сольных выступлениях. И не так молод, чтобы получить их. Но ваши вещи я погляжу с удовольствием.

— Вы говорите, где и с каким оркестром? — сказал Переслегин. — Есть один молодежный оркестр. Есть у меня и один дирижер. Я сведу вас с ним, если вы согласитесь...

Переслегин ушел, а Данилов, проводив его к лифту, почувствовал досаду. Он ждал разговора с Переслегиным, готовился к нему, бог весть что возлагал на этот разговор, а все вышло так, будто они с Переслегиным дело обсудили. Вроде покупки мебели или на крайний случай устройства левого концерта на клубных задворках. Он, Данилов, намерен был сказать Переслегину горячие и добрые слова, до того Переслегин их стоил, а сказал дурно и небрежно, будто подобные симфонии ему, Данилову, каждый день приносили с почтой. И его душа жаждала те-

перь высокой беседы о музыке, не о бойкой, шумной и пустячной даме, а об истинной музыке, о какой древние говорили, что она второй разум человеческого естества, что она любовь и наука, познающая согласованность во всем, что она ненависть ко злу, но ненависть, являющаяся благом для людей. Вот так бы сели они с Переслегиным друг против друга и согласились бы, что в мире все — музыка и гармония или поиски гармонии и что им вдвоем в этих поисках следует быть смелыми, идти рискуя и без оглядки... Нужен, нужен был такой разговор Данилову, нужно было ощущение поддержки собрата по искусству, умиление тем, что он, Данилов, не один, что его понимают. К малодушным Данилов отнести себя не мог, но не был он уверен в себе, не был, а ждал теперь от себя в музыке многого! Наверное, Переслегин ушел от него расстроенный, не утоливший жажды. Вот всю жизнь так! И не поговоришь как следует с человеком, не откроешь ему душу, его душу не обрадуешь, а в суете коснешься лишь случайным словом и унесешься дальше по пустячным делам!

Все эти мысли посетили Данилова в мгновения, когда он спешно одевался на работу. Они были прерваны приходом водопроводчика Коли. Коля раскланялся в дверях и цепким взглядом, вытянув шею, попытался с порога обнаружить нечто в квартире Данилова.

— Коля, я бегу, — сказал Данилов.

— Случайно, Володя, инструменты мои у тебя не лежат?

— Нет, — сказал Данилов, — вы, Коля, их и не приносили.

— А я был у тебя вчера? — робко спросил Коля.

— Были. Но недолго...

— А где же я еще-то был?

— Не знаю.

— А не на вокзале?

— Да, были с нами и на вокзале. На Павелецком.

— А не на Курском?

— Не помню, — сказал Данилов. — Возможно, что и на Курском.

Вы у Земского спросите, вы с ним вместе держались...

— А я ел чего? Отчего у меня дым изо рта идет?

— Табачный?

— Нет, паровозный!

Коля дыхнул, и из его рта действительно повалил тяжелый антрацитовый дым.

— Не знаю, — сказал Данилов. — Теперь и паровозов-то нет... Вы, Коля, бесалол примите, у вас все и пройдет...

— Я уж это принимал, а то бесалол!

Глаза у Коли стали вдруг хитрые.

— Знаешь что, Володь, — сказал Коля, — дай мне два раза по четыре рубля — и я буду молчать.

— Денег, Коля, у меня нет. А о чем молчать-то?

— О приятеле твоём, Андрее Ивановиче из Иркутска.

— Да говори о нем сколько хочешь!

— Ну смотри, — сказал Коля со значением. — А он мне шапку из белож обещал прислать. Он пришлет?

— Раз обещал — жди. А я побегу!

С этими словами Данилов вытолкал Колю в коридор, запер дверь и направился к лифту. Тут Коля закашлялся, и лестничную клетку заволочло дымом.

Проезжая Сретенку в троллейбусе, Данилов заметил, что по тротуару со скоростью машины, но и не спеша за ним идет румяный Ростовцев. Круглыми глазами из-под очков Ростовцев поглядывал на Данилова, будто исследователь-натуралист. На голове его был черный котелок, каких уж лет восемьдесят не видели на Сретенке, в руке Ростовцев дер-

жал дорожную трость с желтой костяной ручкой, увенчанной фигуркой двугорбого верблюда-бактриана, а на левом боку его, там, где военные люди должны были бы иметь кобуру, прямо поверх пальто висел на ремне метровый турецкий кальян. Ростовцев шел, шел, а увидев, что Данилов заметил его, приподнял котелок и поклонился Данилову.

Однако выражение лица у него при этом было самое злодейское...

24

Не успел Данилов в театре сдать пальто и шапку на вешалку, как его осторожно взял под руку скрипач Николай Борисович Земский. Данилов все еще думал о Ростовцеве — что он, следил за ним? А Земский непривычно для себя тихо поманил Данилова в буфет. Данилов взял бутылку «Байкала». Земский — три жигулевского.

— Ну, как люмбаго, Николай Борисович? — спросил Данилов. — Вижу, выписали вас.

— Люмбаго вчера — как рукой! Видно, после парилки... А вот... смута какая-то в организме...

— Что так?

— Сам не знаю...

Тут Николай Борисович в некоем беспокойстве посмотрел на Данилова. И надежда была в его взгляде и была просьба, словно он облегчение душе желал теперь получить у Данилова.

— Я не безобразничал вчера? — спросил Земский.

— Много пили, вот и все...

— А разве не закусывали?

— Закусывали, — сказал Данилов, — но — мало.

— Странно все, — покачал головой Земский, — странно... Какие-то сны дурные... Какие-то видения... — Земский замолчал и поглядел на Данилова испуганно. — И вот квитанция... Штраф... Будто я без билета в Минск ехал...

Данилов развел руками.

— А у тебя ничего не пропало? — спросил вдруг Земский.

— Откуда?

— Из кухни?

— Не обратил внимания...

— Это не твой?

Земский из-под фрака, будто из недр своей басовой груди, извлек длинный предмет, запеленатый в полотенце. Положил предмет на колени так, чтобы в буфете его никто не видел, и распеленал. Обнаружился нож, пригодный для разделки окорока. Данилов повертел нож и на деревянной ручке его разглядел маленькие чернильные слова: «Буфет станции Моршанск-II. Тоня Солонцова. Кто сопрет — зарежется!» Данилову стало жалко Земского, он сказал:

— Да, это мой нож. Мне его Муравлев как-то привез.

— Никогда клептоманом не был, — сказал Земский, — а прямо перед пенсией — нате вам!

— Хотите, я подарю вам его? — сказал Данилов.

— Нет, нет, что ты! — со страхом отодвинулся от ножа Земский.

Пиво он допил вяло, был в напряжении, все ждал, как бы Данилов не огоршил его нечаянным воспоминанием. Но и любопытство возникало иногда в его глазах.

— А твой приятель Андрей Иванович, — наконец начал Земский, — он...

Тут же он замолчал, испуганно осмотрел буфет. Никогда не видел Данилов громогласного бузотера Земского таким сконфуженным и неслышным.

— Пора нам с вами в яму идти, — сказал Данилов.

— Ты, Володя, обещал зайти ко мне домой. Сочинения мои послушать. Ты бы зашел... Вот хоть бы и завтра с утра. Я бы и о Мише Кореневе рассказал...

— Я вам позвоню, — сказал Данилов.

«Теперь еще Кудасов явится за объяснениями, — подумал Данилов. — Ну, Кармадон...»

Данилову хотелось думать о Наташе и музыке композитора Переслегина. Слова Переслегина об альте казались ему справедливыми, хотя и не во всем, а что касается исполнения его симфонии на публике, то теперь Данилов оробел. Раньше об этом исполнении у Данилова были лишь грезы, и в тех грезах Данилов вел себя решительно, как Суворов в Альпах. Сейчас же открылась реальность с оркестром и дирижером, вот Данилов и заробел. «Да выйдет ли у меня? Да где уж мне...» И чем больше думал он о симфонии, тем крепче и крепче забирали его сомнения. Данилов совсем расстроился. Он боялся, что и сегодня сыграет скверно — давали «Коппелию», — дирижер почувствует это и опять поездка в Италию на гастроли окажется для Данилова фантазией. «В Италию! — подумал он. — А доживешь ли ты до Италии?»

Но пришла пора спектакля, и опасения Данилова рассеялись. Играл он с жадностью. Да и как не быть жадности после утренних приключений! К тому же и при мыслях, что больше никакого спектакля у него может и не быть! Душевно Данилов играл. Большим артистом сидел он в яме.

Успокоился и застыл над оркестром занавес после первого акта. Данилов вспомнил слова Переслегина об импровизации, у него были мысли об этом. Но поднял голову и увидел над барьером оркестровой ямы Кудасова. «А пошел бы он подальше! — с досадой подумал Данилов. — Пусть к Земскому пристаает за разъяснениями! И ведь на билет потратился. Да и билет-то с рук, наверное, брал...» Данилов отвернулся с надеждой, что сейчас в голове его снова возникнут мысли о музыке. Однако мысли не явились. Видно, Кудасов спугнул их. А часто ли Данилову выпадали минуты именно для мыслей? И во втором и в третьем антрактах Кудасов подходил к барьеру, смотрел на Данилова, лишь усы его шевелились в волнении. Однако Данилов был суров.

После спектакля он вышел из театра и возле служебного подъезда наткнулся на Кудасова. Данилов строго взглянул на Кудасова, сказал:

— Ничего не помню, был нетрезв. В доме моем ничто не пропало. Вы не бузили, законов не нарушали. Да, чуть не забыл. Земский просил передать вам нож. Вот он.

Данилов протянул Кудасову нож в полотенце, и Кудасов его без раздумий принял.

— Какой нож? — спросил Кудасов.

— Вот этот. Резать окорок.

— Я вас провожу, — сказал Кудасов.

— Нет, — сказал Данилов, — не вижу нужды. И иду я сейчас в дом, где в холодильнике пусто.

Данилов лукавил, он-то надеялся, что в том доме в холодильнике самая малость чего-нибудь, но имеется. Хоть печеночный паштет в банке, пусть и на дне. Или кусок колбасы. Много вчера ели, но к ночи Данилов опять проголодался. Значит, совсем выздоровел после утреннего взрыва. А может, в черную дыру все же улетели кое-какие калории из его организма. Или вышло так, что к человеческой сущности Данилова взрыв вовсе не имел отношения...

До Покровских ворот он доехал троллейбусом, совсем уж было свернул в Хохловский переулок, но тут почувствовал, что за ним кто-то крадется. «Экий Кудасов гусь!» — опечалился Данилов. Но когда, остановившись, изучил в темноте силуэт преследователя, понял, что это не

Кудасов, а кормленный злодей Ростовцев. Данилов достал индикатор, голая рубенсовская женщина от близости Ростовцева не засветилась, стало быть, это Ростовцев и был, а не переодетый Валентин Сергеевич или какой его агент. «Что ему-то от меня надо? Что он-то за мной ходит?» Данилов захотел подойти тут же к Ростовцеву и прямо его спросить, что это он играет в сыщика. Однако время было позднее, а Данилов торопился.

Наташа открыла ему сразу, будто ждала его за дверью.

Потом было время любви и время спокойствия.

Время исчезновения забот...

Много сказали Данилов и Наташа друг другу слов, хотя в словах у них никакой необходимости сегодня не было... Еще ночью Данилов и думать не хотел о Наташе, ссора с Кармадоном, Наташины любезности с Андреем Ивановичем из Иркутска, казалось, отделили его от Наташи, может быть, навсегда. Однако теперь, вернувшись в жизнь, Данилов понял, как он любит Наташу. И как она любит его.

Все, что не касалось сейчас их с Наташей, Данилова не трогало, хотя он и слушал Наташины рассказы и сам говорил что-то. И даже история Миши Коренева, совсем недавно волновавшая Данилова, мучившая его своей тайной, нынче была воспринята им словно бы история литературного персонажа, какой на Земле никогда не существовал. Данилов понимал, что завтра в нем опять возникнет интерес к судьбе погибшего скрипача. Но что теперь ему было до Миши Коренева! Да, Миша в последнем своем послании писал Наташе о прежней своей любви, но ведь Наташа уже не любила его! Не любила! Это и было для Данилова главным.

Впрочем, Данилов попросил у Наташи письмо Миши Коренева для внимательного чтения.

25

Утром, вернувшись в Останкино, Данилов достал из конверта письмо Коренева. Места про чувства к Наташе он не перечитывал, хотя глаза его забегали и в те места. Трижды Миша повторял слова, слышанные от него и Даниловым: «Боящийся несовершен в любви». Данилов со дня смерти Коренева не забывал их ни на мгновение. Вот что Корнев писал: «Чем погасить мой душевный мятеж? Чем утолить его? Успокоением в славе? Или в любви? Славы не будет. Любить женщину, как она того достойна, я, видно, уже не способен. Боящийся несовершен в любви. Любить жизнь, людей? Но я в ознобе перед натиском мира... Я — зябнувший от его жестокого напора... Пожалуй, одна музыка мне и осталась. Но в последние месяцы я и от музыки зябнувший. Это страшно! Неужели прав З (фамилия была написана полностью, но потом зачеркнута) и надо признать, что важнее тишины ничего в жизни нет? Неужели в тишине сладость и утоление всего душевного мятежа? Неужели лишь в тишине гармония? Нет, нет, нет! Я еще не сдался, я еще люблю звук! Я еще попытаюсь одолеть музыку... Но боюсь, что еще разорвет, расщепит, растопчет меня... И тогда — тишина. Тишина! Вершина всего. И тогда тайна М. Ф. К.»...

Было восемь часов, Данилов знал, что Земский встает рано, и позвонил ему.

— Здравствуйте, Николай Борисович, — сказал Данилов. — Извините за беспокойство. Вчера вы звали меня...

— Конечно, Володя, — сказал Земский, — через пятнадцать минут я тебя жду.

Через пятнадцать минут Николай Борисович Земский открыл Данилову дверь и, поклонившись, будто приглашая к менюэту, провел Данилова в большую комнату. Данилов поглядел на свои джинсы и стертые домашние туфли, смутился. Николай Борисович надел прекрасный кон-

цертный фрак, рубашка его и черный бант под кадыком были свежи, праздничны, будто только для сегодняшнего утра их шили и утюжили.

— Ты, Володя, садись, — загремел Николай Борисович, — вот кресло!

Бас у Земского, как всегда, был богатырский, раскатистый, но звучал этот бас нынче серьезно, строго, забыв о том, что привык озорничать, охальничать, а в случае нужды и раскалывать тонкие стаканы.

— Коньяк, Володя, будешь? — спросил Земский.

— Нет, что вы! Нам же на работу! Да и желания нет.

— Я коньяк не пью, ты знаешь. Предпочитаю водку. Или... Но нынче... Я ведь так... По рюмке для утренней бодрости и остроты восприятия.

— Ну если для остроты восприятия, — сказал Данилов и выпил рюмку коньяка.

Сидел он в огромном мягком кресле с высокой уютной спинкой, обтянутой черным бархатом. К подлокотникам спинка спускалась овальными боками, похожими на уши слона. Креслу этому Данилов чрезвычайно завидовал, грустил о нем. Вот бы сидеть в таком кресле, мечтал Данилов, а за окном вьюга, ноги накрыть пледом и сидеть, книгу держать в руках или думать о чем-то... Или ни о чем не думать... Дремать. Славно... И вот сегодня Николай Борисович дозволил ему занять почетное место. Данилов блаженствовал. И понимал: жест Николая Борисовича значит многое.

— Времени у нас с тобой, Володя, действительно мало, — сказал Земский. — Поэтому я сразу исполню свои сочинения. Я пишу и в традиционных формах, тебе привычных, есть у меня и симфонии, и балет, и оратории, есть пьесы инструментальные, не только для скрипки, но и для органа, фортепьяно, флейты-пикколо и прочего... Есть другие вещи... Но поначалу ты можешь их не понять, а то и рассердиться... Я сыграю две простые пьесы для скрипки. Кстати, я их играл и твоему приятелю Андрею Ивановичу, вторая вещь понравилась ему больше...

— Я весь внимание, — сказал Данилов.

Земский, наверное, не расслышал слов гостя, он был уже в своей музыке, она волновала и мучала его, Данилов видел это. Сам же Данилов чувствовал себя неловко, минут через десять ему предстояло говорить Земскому какие-то слова, а вполне возможно, сочинения Земского были скверные. К тому же Данилов пришел к Земскому вовсе не ради его музыки. Но, впрочем, и музыку Земского услышать ему было интересно.

Земский взял скрипку, встал возле пианино (рояли в доме Данилова многим были бы нужны, да как затаскивать их, рояли-то? И где держать?). Данилов смотрел на Земского снизу вверх, и виделся Земский ему огромным, величественным, но отчего-то и пугал Данилова. Он совсем не походил на обычного Николая Борисовича Земского, бесцеремонного озорника и оратора, имевшего в коллективе прозвище Карабас. Какой уж тут Карабас! Такого баса наряди Варлаамом, или князем Галицким, или половецким ханом и выпусти его на сцену — публика тут же бы обмерла. Да что Варлаамом, что Галицким! Он мог бы в костюме и гриме явиться теперь и царем Иваном Васильевичем из «Псковитянки»! Было величие в Николае Борисовиче! «Хорош, хорош!» — думал Данилов. Но отчего-то ему было не по себе.

Николай Борисович поднял смычок.

— Первая вещь называется «Прощание с номером гостиницы в Тамбове», — объявил Николай Борисович так, словно имел в виду не только Данилова, но и невидимых слушателей, возможно притихших где-то рядом. — Вторая — «Утренние страдания в окрестностях Коринфа».

Он стал играть, но никаких звуков Данилов не услышал. Прощание с гостиницей, видно, было элегическое, что-то произошло у Земского в Тамбове, смычок проплывал мимо струн на малом от них расстоянии в задумчивости и грусти. Поначалу Данилов с любопытством следил за смычком, намереваясь, как глухой по движениям губ собеседника — слова, угадать музыку, сочиненную Николаем Борисовичем. Не угадал. Музыка, верно, была новая и Данилову недоступная. Внимание Данилова рассеялось, он, слушая Николая Борисовича и наблюдая за ним, стал краем глаза оглядывать комнату, но так, чтобы Николай Борисович не заметил его досужего интереса. Впрочем, что мог заметить сейчас Николай Борисович! Он был само вдохновение. Он творил. Он печалился об исходе своей тамбовской жизни...

Николай Борисович закончил первую вещь, опустил смычок, голову склонил на мгновение. Но сразу же будто востроился и вскинул смычок, обратившись мыслями и чувствами к утренним страданиям. Страдания — кому? может быть, кентавру? — выдались вблизи Коринфа серьезные. Полеты смычка были теперь нервными и стремительными. Данилов любовался артистическими движениями рук и бровей Николая Борисовича.

Но вот Земский замер.

Данилов молчал.

Николай Борисович положил скрипку на стол, нервно взглянул на Данилова, налил коньяк, протянул рюмку гостю, быстро выпил свою, сел.

— Как? — спросил Земский.

— Несколько непривычно, — сказал Данилов.

— Я так и думал, — проговорил Земский расстроенно. — Знал, что ты поначалу будешь обескуражен... Хотя и надеялся... Н-да... А вот твой приятель из Иркутска, он сразу многое почувствовал... И Миша Корнев... покойный...

— Николай Борисович, — осторожно спросил Данилов, — как ваше направление в искусстве называется — тишизм?

— Тишизм, — тяжело кивнул Земский.

— Тишина — ты лучшее из того, что слышал... От этого вы шли?

— Поэт выразился удачно. Но меня вело иное движение мысли...

Николай Борисович встал. Прошелся по комнате.

— Впрочем, Володя, я и думал прежде объяснить суть своего направления. Но взял и ударился в авантюру: а вдруг ты сразу все почувствуешь...

— Я кое-что почувствовал, — робко сказал Данилов.

— Раз уж явился ты ко мне, — сказал Земский, не обращая внимания на слова Данилова, — придется тебе выслушать лекцию. Надеюсь, что короткую. А потом я исполню еще одно сочинение. Оно сложнее первых двух...

Тут Николай Борисович извинился, предупредив Данилова, что объяснения будет вести житейскими словами. В терминах он не силен, хотя и согласен с необходимостью оснащать любую новую теорию научной терминологией. В письменном трактате о тишизме он и попытался сделать это. Однако не все термины ему нравятся.

Свои объяснения Николай Борисович начал издали. От самых истоков традиционной музыки. Той самой, какой служит теперь Данилов и какой он, Земский, служил тридцать с лишним лет. Музыка эта возникла скорее всего из-за того, что, как догадались еще древние, слух наш по сравнению с другими чувствами куда меньше облагодетельствован естественными наслаждениями. Глаза видят много безобразного. Но и прекрасного перед ними много. А что, по мнению людей и ушедших и нынешних, слышат уши? Да одни безобразия. выхолит. и слышат! Дур-

ные крики, карканье ворон, визг циркулярной пилы, лязг мечей, шипенье кухонных плит и перебранку их хозяек, урчание в желудке, свист летящих бомб, вытье собак, не говоря уж о матерных ругательствах. Шумы и звуки раздражают человека все больше и больше, они вреднее для него, чем загрязнение среды. А как мало приятного слышат люди: пение птиц, шум леса, ласковый плеск воды, смех младенцев. И все, пожалуй. Ну и, естественно, тишина. Однако о ней разговор особый. Вот человек себе в утешение и создал музыку. Расположил звуки с помощью тонов, ладов, ритмов и прочего в приятные ему сочетания и десятки веков старается возместить музыкой скарденность природы. И возник особый мир музыки, мир этот безграничен и всемогущ. Впрочем, так думают люди. Но так ли на самом деле? Нет, нет и нет! Музыка, как и любое другое искусство или, скажем, как и любая наука, отражает уровень развития человечества, представлений людей о мире и самих себе. Представления эти меняются, но и теперь они наивные и детские. Ничего толком не знают люди ни о себе, ни о мире! Так, для облегчения жизни оснастили себя некими условностями. И потихоньку одну условность заменяют другой. Каким уж открытием казалась когда-то перспективная живопись, а теперь, если принять во внимание забавы естественных наук, перспективная живопись Леонардо или Рафаэля ничуть не меньшая условность, нежели плоскостность или обратная перспектива иконы. Да что там, куда большая условность! И традиционная музыка, естественно, условность и частность!

Нет, он, Николай Борисович Земский, вовсе не предлагает уничтожить и забыть традиционную музыку, инструменты изломать, а ноты сжечь. При этом бы и сотни тысяч музыкантов пришлось куда-то девать, а им ведь надо кушать и кормить детей. Бог с ними, пусть себе дуют в трубы и барабанят по клавишам! Хотя они и шарлатаны. Но следует открыть людям глаза на то, что традиционная музыка — явление частное и никак не может претендовать на всеобщность. В этой ее претензии есть и нечто ущербное. Как в претензии на любовь мужчин семидесятилетней дамы, скукоженной, но все еще в красках и горящих камнях. В особенности теперь, когда так называемые точные науки пригоршнями выбрасывают новые условные знания. Может, в чем-то и верные. Теперь, когда совершенно изменились способы информации и средства общения людей. Да что говорить! Что дальше-то будет! Века человек плелся потихоньку, а теперь побежал, да еще и вприпрыжку. Раньше он жил в замкнутом мире, в своей избе, а теперь выходит во вселенную, и кто знает, с чем он встретится там, какие истины развернутся перед ним, от каких бездн он поседет, к каким чувствам и каким звукам привыкнет, какие инструменты изобретет и полюбит. А вдруг люди и вообще откажутся от всех звуков и шумов, поберегут здоровье. Им надоедят разговоры, а станут они общаться друг с другом, скажем, способом телепатическим. Или каким иным. Да и надо бы! Разве слова способны передать движения мыслей и чувств? Нет. Они — служебные сигналы, они жалки и убоги, как знаки азбуки Морзе. Стало быть, и искусство будет иным.

И еще. Вся старая музыка так или иначе отражение какой-никакой, а гармонии. Но разве мир — гармония? Разве жизнь — гармония? Ах, Володя, не криви губы. Уволь! Где уж тут гармония. Лев терзает лань, жирные злаки растут на братских могилах, женщина торгует телом, пьяная рука калечит ребенка, альтист Чехонин лижет штиблеты главному дирижеру, чтобы именно он, а не ты, Данилов, поехал на гастроли в Италию! Гармония!

— Но, может быть, Чехонин и поступает так, — сказал Данилов, — в поисках гармонии. Хотя бы для себя.

Земский только рукой махнул.

Нет, сказал он, мир — черт-те что, но только не гармония. Значит, традиционная музыка жжет. Для того она и звуки отобрала, приятные человеку, сносные, выдрессировала их и строго следит за их порядком. Она — ложь и побрякушка. Конечно, и старая музыка заставляет людей страдать и плакать. Но это оттого, что у них есть потребность страдать и плакать, а иной музыки они не знают. Он, Николай Борисович Земский, уважает и творцов прошлого, в иных из них, скажем в Бетховене, видит родственную себе натуру и жалеет их, шедших ложным путем. Да и пусть их сочинения останутся, пусть исполняют их для гурманов в звуковых антиквариях и через двести лет. Это ничего не меняет... Но настоящей-то музыке, чтобы соответствовать миру, следует не извлекать из природы лакомые звуки, а быть честной и всеми звуками, пусть и страшными, пусть и кошунственными, потчевать людей, терзать их души правдой жизни. Дал ли наш век новую музыку? Нет. Да, музыка нашего века нервнее и злее сочинений прошлого. Но вся она — и с джазовыми открытиями, и с атональным направлением, и с находками поп-артистов, и прочим и прочим, — вся она та же самая традиционная музыка, только что с заплатами и надставленными рукавами. Вся она частность и условность!

Тут Николай Борисович остановился и замолчал.

— Стало быть, — сказал Данилов, — ваше направление, тишизм, претендует на некую всеобщность? И вы создали систему всеобщих звуков?

— Ничего я не создавал, — недовольно заявил Земский, — все необходимые для истинной музыки звуки есть внутри каждого из нас. И они так же богаты и верны по сравнению со звуками внешними, как богаты и верны наши мысли и чувства по сравнению со словами и жестами.

И дальше он объяснял... Итак, пока еще никто не знает, какая музыка людям нужна и какая музыка, в конце концов, возникнет для них. И он, Николай Борисович, точно не знает, хотя о многом догадывается и многое предчувствует. Вот он и открыл, что нужно писать такую музыку, которая будет звучать лишь внутри каждого из слушателей. Эта музыка никогда не устареет и в момент исполнения будет точно соответствовать уровню представлений людей о мире и уровню развития музыки. Естественно, Николай Борисович имеет в виду лишь слушателей, какие способны его сочинения воспринять и воссоздать. Сочинения эти нет необходимости записывать нотными знаками. Нотные знаки должны устареть, как устарело крюковое письмо. Никаких знаков вообще не надо. Сочинениям необходимы лишь точные словесные обозначения. Впрочем, потом и слова будут заменены чем-то более совершенным. Главное сообщить предполагаемому слушателю идею произведения, а уж он услышит его своим внутренним существом. Какие его натуре в сию минуту нужны голоса, мелодии или диссонансы, такие в нем и зазвучат. Ведь и традиционную музыку каждый человек слышит по-своему. Да и летуча она! Звуки здесь — и вот уж их нет, зато остались неудовлетворенные желания. А сочинение Земского любитель может проиграть сейчас же снова сам, не пользуясь никаким инструментом. Оттого-то тишизм универсален и всеобщ. С одной стороны, он тишина, а с другой стороны, самая что ни на есть истинная внутренняя музыка с полной свободой выбора мыслей, звуков, чувств.

Для облегчения подступа к его музыке Николай Борисович написал много вещей в формах музыки традиционной. И инструменты использовал, знакомые людям. Чтобы вызвать у слушателей точные ассоциации, а стало быть, и привычные им голоса. Позже, когда люди освоят музыку Земского, они поймут и услышат более сложные его сочинения,

написанные без всяких уступок старым вкусам, а значит, и в себе открывают нечто высокое, пока неизвестное им.

— Все это надо было объяснить тебе сразу, — сказал Николай Борисович. — Теперь я исполню еще одну вещь. И она для скрипки. То есть тоже уступка... Но что мне делать, если даже ты не почувствовал мою музыку... Эта вещь сложнее. Называется она — «Гололед в апреле на площади Коммуны». В ней три части — «Антициклон», «Лед на асфальте» и «Разбитие стекол троллейбуса».

Земский, видимо, и впрямь не верил в возможность гармонии мироздания, его сочинение опять, судя по нервным движениям смычка, отражало трагические столкновения стихий и судеб. Данилов следил за игрой Земского в напряжении, силился услышать что-то. Ему вдруг стало казаться, что он действительно слышит какую-то музыку или хотя бы ночной вой ветра или шуршанье газетных обрывков, влекомых ветром по замерзшим лужам, а когда Николай Борисович дошел до третьей части, Данилов закрыл глаза и ясно представил себе, как прямо перед входом в парк ЦДСА грузовик с молочной цистерной врежется в бок тринадцатого троллейбуса — и стекла бьются.

— Что-то услышал, — сказал Данилов Земскому, убравшему скрипку в футляр. — Что-то во мне прозвучало.

— Необязательно должно звучать, — сказал Земский. — Должно возникнуть...

— Нет, точно, — как бы уверяя самого себя, сказал Данилов, — было, было что-то!

Ему сейчас уже казалось, что он и впрямь слышал не только вой ветра, шуршание бумаги, звон стекла, скрип тормозов, но и еще что-то особенное, музыкальное, тронувшее его душу. И теперь он явно ощущал сочувствие к водителю разбитого троллейбуса. Но сказать об этом Николаю Борисовичу Данилов не решался, тот, возможно, полагал вызвать своим сочинением совсем иные эффекты.

— Перешагнуть предрассудки доступно немногим, — сказал Николай Борисович. — Но потом люди привыкнут к музыке Земского. Хорошо хоть ты сразу не ринулся в бой со мной. Это и мне приятно. И тебе делает честь.

— С инструментальной музыкой ладно, — сказал Данилов, — а с балетами как?

— Сам понимаешь, и балет — дань прошлому. А принцип тот же. Необходимо сообщить зрителям идею. И исполнителям, если в них обнаружится нужда. Для менее способных к творчеству придется разработать и либретто, но короткое, как в программке. Потом, думаю, нужда в исполнителях отпадет. Каждый будет смотреть и слушать балет внутри самого себя. Кто по привычке собираясь в театр, кто у себя дома вот в этакое кресле, закрыв глаза...

— Значит, и Чайковский, — сказал Данилов, — мог сообщить нам идею «Лебединого озера» или «Спящей» и дать возможность для трактовок своих вещей? Трактовок куда более глубоких и личностных, нежели мы имеем теперь.

Николай Борисович то ли иронию расслышал в словах Данилова, то ли противопоставление ему Петра Ильича показалось Земскому намеренным, но только он обиделся.

— А вот не мог Чайковский, не мог! — произнес он с горячностью. Потом утих и добавил вяло, словно потеряв интерес к предмету затеянной им беседы: — Ты, брат Данилов, весь в оковах старой музыки. И разбивать их пока не намерен. Нравятся они тебе. Это печально, но и понятно. Ты молод, стал хорошо играть, стал блестяще порой играть, ждешь от старой музыки многого для себя. И я когда-то был такой, вон там у меня, во встроенном шкафу, лежат и призы и дипломы. Я далеко

мог пойти. Но сомнения стали грызть меня, совершенства я жаждал, совершенства! Однако понял, что совершенства не будет. И тогда мне все стало скучно. Но я не сложил руки. И победил. В тишизме я и как исполнитель, и как творец, и как мыслитель найду совершенство. Или уже нашел... А ты играй, играй, звучи, пока звучишь! Ты пока еще молодой.

— Где уж молодой... — печально сказал Данилов.

— Хотя, конечно... Миша Коренев в твои годы был уже поверженный...

— Миша приходил к вам?

— Он стал мне как сын.

Николай Борисович поднялся резко и принялся ходить по комнате. Данилов отругал себя за бестактность, решил молчать. Но любопытен был Данилов...

— Коренев принял тишизм? — спросил он.

— Миша понял меня. Но тишизм его напугал. И сильно. Очень сильно... Однако его последний поступок говорит о том, что он принял тишизм.

— Разве?

— Да, — сказал Земский. — Ты узнал сегодня об азах тишизма... А Миша ушел в высшую тишину. Да что ушел! Прыгнул туда... Или вознесся...

— Стало быть, для вас высшая тишина — исчезновение личности, смерть? Так, что ли?

— Нет, — горячо сказал Земский, — для меня — нет! Я — творец! Для меня моя музыка — продолжение жизни. Или ее воплощение. Даже если эта жизнь и состоит из одних скорбей и грехов. А для слабых натур Мишин прыжок в тишину — благодать...

— Миша ушел в тишину и унес с собой тайну М. Ф. К.

— М. Ф. К.? — сразу остановился Земский. — Откуда ты о ней знаешь?

— Прочел в одном письме... М. Ф. К. Это его инициалы, видимо, Михаил Федорович Коренев... Так, наверное?

— Он всего стал бояться, — сказал Земский. — Всего. Однако и со всем, что его пугало, был намерен вести бой. И первым делом с самим собой... А когда узнал от меня, что старая музыка рано или поздно должна исчезнуть или отмереть, он и от этого пришел в ужас, оцепенел, словно на краю пропасти. Но потом решил доказать и мне и самому себе, что нет, что старая музыка не ошибка и не частность, а что и она может быть великой. Как и он в ней. А вот не доказал...

— А мог доказать?

— Не знаю. Он, наверное, и не мог... Он был ветрен, жил весело и сыто. Но вдруг словно прозрел. Спросил себя: «А зачем живу?» Хорошо, что спросил, мне он потому и стал приятен. Но лучше бы не спрашивал... Пришел в ужас. И от самого себя и от мира. Себя собрался изменить рывком, да где уж тут! Решил бунтовать. Чтобы оправдать свое существование, намерен был в музыке, старой, понятно, устроить чуть ли не пожар: Или фейерверк. Но почувствовал, что и сам-то как музыкант за годы веселий потихоньку истлел. Да он и вообще, я тебе скажу, особо одаренным не был...

— Я знаю, — кивнул Данилов.

— Не был, увы, не был... Но то впадал в ярость, думал, что одолеет музыку, а то скисал... Считал, что ему стоит сейчас же уйти в шоферы или еще куда. Я смотрел на него и понимал, что уйти-то он уйдет, но совсем не в шоферы...

— И не пытались его остановить?

— Нет.

— Он же стал вам как сын...

— Каждому свой жребий... Если бы он утих, если б перестал думать о высоком, лучше б было? Нет. Я открывал ему высоты все новые и новые. Я не желал заливать его пламя водой. А он все больше и больше пугался... Узнал, что машина стала писать вещи не хуже композиторов-шарлатанов, и опять — в озноб... Нет, я его не успокаивал, наоборот. И со мной было такое, но я не сдался. Тут или — или. Иного быть не может. Он не выдержал. Да, значит, и не мог выдержать...

— Вы его искушали... И подталкивали к обрыву...

— Пусть будет к обрыву... Можно посчитать, что к окну, и тут нынче не ошибешься... Да, искушал. Да, подталкивал. И не жалею об этом... Но подталкивал я его не к обрыву, а к выбору и решению... Он выбрал тишину... Он ничего иного уже и не мог выбрать...

— Все это жестоко по отношению к нему.

— Пусть жестоко. Но и честно... А по отношению ко мне все это не жестоко? Ведь я привязался к Мише... А на похороны не смог пойти... Не было сил...

— Однако вы живы. А он погиб.

— Он ушел в тишину. В высшую тишину. А я страдал... Я не оставивал его, я должен был испытать потрясение, чтобы написать лучшую свою вещь... Я написал ее... Памяти утихшего скрипача... Это сочинение еще потрясет людей...

— Выходит, что Мишина гибель — благо для вас, для музыки и для людей?

— Я не говорю, что благо. Необходимость — да. В мире разлад, и не скрипачу Кореневу суждено было его вынести. Творец же обязан не холодным умом представить смертельную схватку личности с миром, а отцом увидеть страдания сына и самому отстрадать... Кровью и сединой оплатить великое сочинение... А я знаю, что сочинил!

Земский стоял над Даниловым исполином. Тот ли Земский еще вчера в смятении чувств шарахался в буфете от моршанского ножа? Нет. Этот был словно пророк, знающий, что его пророчества сбудутся. В глазах Земского горело торжество. Над всем человечеством возвышался сейчас Николай Борисович Земский.

— И все же, Николай Борисович, — строго сказал Данилов, — это жестоко.

— Истинный художник и должен быть жесток! — воскликнул Земский. — Иначе он превратится в скрипача Шитова, раскатывающего колясочки с детьми да стирающего жене белье! А ведь Шитов был талант! Талант! Нынче же он — никто, домашний хозяин. Ремесленник в яме. И все потому, что дрожал о ближних. И дрожит о них. Стал нянькой. Сиделкой. И слугой. Большому художнику все в природе должно быть подсобным материалом, ниткой и иголкой, а женщины в особенности... Сострадать человечеству мы можем, но уж ни слугой, ни нянькой, ни сиделкой никому — ни отцу, ни матери, ни сыну — становиться не имеем права!

Данилов сидеть под Земским уже не мог, встал. Движение Данилова было резким, как бы протестующим. Николай Борисович заметил это, будто опомнился, заговорил тише:

— Оттого-то истинный художник и бывает одинок. Я — одинок. И ты — одинок.

— Я одинок? — удивился Данилов.

— Ты одинок, — кивнул Земский. — Я тебе скажу: ты можешь стать большим музыкантом. В старом, естественно, понимании. Я слушаю тебя лет семь, а то и больше. Ты играешь все лучше и лучше. Да и одарен ты куда щедрее, чем покойный Коренев. У тебя пропал Альбани, а ты стал играть на простом инструменте еще ярче.

— Откуда вы знаете о пропаже Альбани?

— Я знаю... — сказал Земский. — И у тебя есть многое, чтобы стать блестящим артистом. Ты одинок. И ни у кого ты ни в няньках, ни в сиделках. Но пока ты не жесток, а просто легок. Но коли захочешь выйти в большие художники, то станешь и жестоким. И пошагаешь по плечам и спинам... Так и будет. Не напоминай мне слов о гении и злодействе, они красивы, но в них желание неосуществимого, в них желание мира-гармонии. А его нет. Сколько видели мы гениев-злодеев. Но я тебе пока и не о злодействе говорю, а о жестокости... Житейской жестокости и ни о какой другой...

— Неужели и вы, Николай Борисович, были злодей? — спросил Данилов.

— Не про это сейчас речь, — засмутился Земский, — мало ли кто кем был... Многие бы не отказались пойти и на злодейство, чтобы стать гением... Или чтобы их посчитали гениями... Другие бы и за малый успех, за крохотную славу не поскупились бы заплатить ой-ей-ей как... А Миша Коренев?.. Он ведь и душу дьяволу готов был заложить в минуты отчаяния... Пробовал играть Паганини, не выходило, он и думал: а вдруг и верно Паганини заключил сделку с дьяволом...

— Не было этого! — сказал Данилов.

— Отчего же не было?! — воскликнул Николай Борисович тонко и нервно. — У Миши были минуты, когда он очень хотел поверить в возможность этой сделки! Да что Миша! И у меня бывают мгновения...

— Вы это серьезно? — спросил Данилов.

— Уж куда серьезнее! Такая тоска иногда находит, что я, Николай Борисович Земской, на колени готов рухнуть все равно перед кем — сверхъестественным существом или пришельцем из обогнавшей нас цивилизации, уж не знаю перед кем, — рухнуть на колени и молить его сейчас же сделать меня всемогущим хотя бы в искусстве и прославленным, а уж плату он волен потребовать с меня любую!

И тут Земский упал перед Даниловым на колени.

— Я любую расписку дам, самую страшную, кровью так кровью, — воскликнул Николай Борисович, — душа моя нужна, так возьмите душу, жизнь — так жизнь, муки я должен потом претерпеть или дело какое исполнить, извольте, я согласен! Только утолите мои желания!

— Встаньте, Николай Борисович, что же вы передо мной-то на колени грохнулись!

— А перед кем же еще? — спросил Земский.

— Сейчас же встаньте, Николай Борисович, — сухо сказал Данилов. — Право, это неприятно.

На колени Николай Борисович падал, а вставал с усилием, словно теперь дало знать о себе люмбаго. К креслу он двинулся разбитым стариком и когда утвердился в нем, Данилов увидел, что в глазах Николая Борисовича пламени более нет. И нет надежды.

— Я понимаю, Николай Борисович, — покачал головой Данилов, — вы шутник и артист, но я ведь к вам пришел не ради мистерий пятнадцатого века.

— Ты прав, — сказал Земский.

Он быстро взглянул Данилову в глаза. Но тут же опустил голову. Потом, помолчав, спросил:

— А приятель твой из Иркутска, он что — не появится больше?

— Не знаю, — сказал Данилов, — но думаю, что и перед ним падать на колени было бы неразумно.

— Может быть, — прошептал Земский, — может быть. Это я так... На всякий случай...

— Да и как же вдруг? — спросил Данилов. — Зачем чья-то помощь? Вы что же — не уверены в тишизме?

— Уверен! Уверен! — горячо произнес Николай Борисович. — Но кто бы узнал о Золушке, если бы она туфлю в двенадцать часов не потеряла!

— То есть?

— Кто поймет теперь мой тишизм? Никто. Кто узнает о моих сочинениях через сто лет? Никто. Я сдохну, и пионеры сейчас же отнесут мои бумаги в макулатуру — кому нужен утиль какого-то Земского? Чтобы к моим мыслям и сочинениям был интерес, чтобы в моих бумагах копались умные люди через сто лет, я теперь, теперь должен стать известным. Пусть и в этой ложной старой музыке. Пусть и со скандалом. Со скандалом-то вернее! Имя мое должно застрять в умах людей! Туфелька Золушки мне нужна. Даже и похожая на равный сапог. Ради этого я готов поставить подпись где угодно. И кровью!

— Ничем не могу вам помочь, — сказал Данилов.

— Ой ли?

— Николай Борисович, вы смотрите на меня как-то странно. Не думаете ли вы и меня напугать, как напугали Мишу Коренева?

— Тебя не пугаешь, — угрюмо сказал Земский. — Ты сам скоро напугаешься, коли и впрямь ринулся в большие музыканты. Так напугаешься, что однажды подойдешь к окну и подумаешь: «А не прав ли Миша Коренев?»... Если ты, конечно, тот, за кого себя выдаешь...

— Я себя ни за кого не выдаю, — сказал Данилов. — Однако у меня создается впечатление, что вы меня за кого-то принимаете. За кого же?

— Мало ли за кого...

— Вы, — сердито сказал Данилов, — видно, уверили себя в каком-то детском вздоре... Это и смешно и неприятно...

— Извини, Володя, — быстро заговорил Земский, — это все шутки... Но ведь как шутник, сам знаешь, я не всем нравлюсь... Извини... И забудь о моих словах... Нам и в театр пора. Я тебе сейчас напоследок налью коньяка. Себе же вина, фирменного.

Николай Борисович наполнил рюмку Данилова, а сам отправился в соседнюю комнату и вернулся с большой чашей, сделанной, как разглядел Данилов, из черепа и опоясанной сверху и снизу полосками серебра. На серебре имелась чеканка. Вино в чаше было вишневого цвета чуть прозрачное. «Экий печенег!» — подумал Данилов.

— Это все шутки, Володя! Может, и не поверил я ни в какой вздор. Я пока в свою силу верю! Родись я веков на пять раньше, был бы я Васькой Буслаевым и дружины б крушил. Помнишь, что Васька говорил: «Не верю я, Васенька, ни в сон, ни в чох, а верю я в свой червленый вяз!»

Тут Николай Борисович рассмеялся, из перстня, украшавшего средний палец его левой руки, высыпал в чашу красный порошок, отчего вишневая жидкость будто вскипела, забулькала и пошла вверх сизым паром. Чашу Николай Борисович поднял рывком и осушил, как граненый стакан. Данилов коньяк пить не хотел, однако теперь выпил. «Мистика какая-то», подумал Данилов.

В прихожей Данилов сказал Земскому:

— Червленый вяз пусть при вас остается, это ваше дело, однако Кореневу жизнь вы укоротили напрасно.

— Может, и укоротил, а может быть, и нет! — рассмеялся Земский.

Был он теперь в кураже, вишневая жидкость из чаши взбудрила его. Словно бы радость распирала Николая Борисовича. В прихожей обширным животом он вдруг придавил Данилова к стене, оглушил его:

— А ты, Данилов, не храбрись! Что ты знаешь? Да ничего! Вот Миша-то унес с собой тайну. Тайну М. Ф. К. Разгадай-ка ее. Слабо будет!

Выходя к лифту, Данилов все же поклонился Земскому, и тот шумно закрыл за ним дверь.

26

«За кого же он принимает меня? — думал Данилов, собираясь на работу. — Если за пришельца или еще за кого, куда ни шло. А если за жулика или за какого агента? Еще настроит бумаги куда следует, людей зряшным делом заставит заняться...» Данилов решил, что надо истребить из памяти Земского даже и мельчайшие впечатления от знакомства с Андреем Ивановичем из Иркутска, их сидений и прогулок. Словно бы и не было ни Андрея Ивановича, ни моршанского ножа. И о его, Данилова, оплошностях во время гуляний с Кармадоном Земский должен был забыть! Николай Борисович в ту же секунду и забыл... В театре был смирный, к Данилову не приставал.

Дня два или три Данилов провел в суете, в беготне из оркестра в оркестр, по ночам готовил дома симфонию Переслегина. С трудом выкраивал время для встреч с Наташей. То и дело — и даже в театр — ему звонила Клавдия, говорила обиженно, просила посетить ее Монплезир. Под Монплезиром она имела в виду квартиру, из какой Данилов ушел и за какую платил. На четвертый день ее просьбы он поехал в гости.

Клавдия одета была тщательно, словно бы Данилов стал интересен ей как мужчина. Краску и тушь на веки и на ресницы она наложила под девизом «а лес стоит загадочный...». И точно, некая загадочность была и в облике хозяйки и в ее словах. Однако Данилов чувствовал, что тайны в Клавдии долго не удержатся. А потому ни о чем ее и не спрашивал.

— Не кажется ли тебе, Данилов, — сказала Клавдия, расставляя на кухонном столе чашки для чая, — что по отношению ко мне ты ведешь себя неблагородно?

— Нет, не кажется, — сказал Данилов.

Клавдия посмотрела на него удивленно.

— Отчего ты так переменялся? Вот ты мне и хамишь...

Клавдия чашки оставила, опустила на табуретку.

— Ах, Данилов, — сказала она, — я вижу в тебе друга. Ты нужен мне для душевных общений.

— Для душевных общений тебе могло хватить и Войнова... Он профессор и автор книг...

— Войнов, конечно, профессор... — согласилась Клавдия. — Но ведь есть у меня в душе и тайные уголки.

«Ну вот, дело дошло и до тайных уголков», — расстроился Данилов.

— А что касается твоей Наташи, — сказала Клавдия, — то мы с ней подружились. Она сшила мне чалму. Быстро сшила. Я довольна. Сейчас я покажу тебе. Только одевать ее следует с вечерним платьем... Я сейчас...

Клавдия направилась в соседнюю комнату, Данилов крикнул ей, что не надо вечернего платья, что ему через полчаса бежать. Что было толку! А увидеть чалму, сшитую Наташей, он желал.

К удивлению Данилова, Клавдия позвала его через пятнадцать минут. На чалме ее играли бриллианты.

— А что, — сказал Данилов, — хорошо.

Он искренне радовался за Клавдию.

Ему показалось, что и чалма хороша, хотя игра бриллиантов мешала ему разглядеть чалму внимательно.

— Для вечернего приема у королевы, — сказала Клавдия, — я сшила еще и тюрбан из горностаев. Но к нему у меня другое платье. Белое. Оно на той квартире. У Войнова. И тюрбан там.

— Жаль, — сказал на всякий случай Данилов. — Тюрбан тоже Наташа шила?

— Нет, она не скорняк. Чалма вышла у нее безупречная. Но берет она дорого. И так решительно с меня запрсила, будто я миллионщица. Это со своей-то!

— А ты уж и своя?

— Данилов, какой ты, право! Ты думаешь, эта Наташа простая? Ой нет! Поверь женщине. Мы с ней и вправду подружились, о чем только не переболтали... И я тебе скажу...

— Если ты шьешь наряды для королевы, — сухо сказал Данилов, — стало быть, вы с Войновым скоро уедете в Англию?

— Ах, Данилов, — вздохнула Клавдия, — никуда мы пока не едем. Войнов, правда, старается получить командировку в Англию на три года, но до самой поездки далеко...

— Почему именно в Англию?

— Англию нам припрогнозировали, — сказала Клавдия и сразу же словно бы в испуге посмотрела по сторонам.

— Хлопобуды?

— Хлопобуды, — прошептала Клавдия.

— Но наряды устареют, что же их теперь было шить?

— Чалма и тюрбан не устареют. Платья я заменю.

— И это все твои тайны? Из-за них ты вызывала меня?

— А ящики тебя совсем не интересуют? Те, что мы с твоими приятелями тащили...

— Да... Действительно. И что же с ящиками?

— Пошли! — приказала Клавдия.

Шли недолго, из кухни коридором и до кладовки. Ящики занимали половину кладовки, надписи на их боках, удостоверявшие принадлежность ценностей Камчатской экспедиции, были замазаны синей краской. Крышку верхнего ящика отодрали, и Данилов увидел в ящике большой камень.

— Камень какой-то, — сказал Данилов.

— Ну и какой камень? — спросила Клавдия, в глазах ее теперь были и торжество, и тайна, и предчувствие будущих радостей.

— Я не знаю.

— А ты посмотри внимательно.

Данилов осмотрел камень и обшупал его и запахи камня уловил, только что не попробовал его на зуб.

— Лава, что ли? — вспомнил Данилов о вулкане Шивелуч.

— Лава! — рассмеялась Клавдия.

Минуты две она любовалась камнем, потом закрыла дверь кладовки и повела Данилова на кухню. Платье для королевы она не испачкала и не помяла, носить его, да и чалму, ей нравилось. Бриллианты с двойным внутренним отражением по-прежнему играли на Клавдии тут и там. «Да, она красивая женщина», — словно бы согласился с кем-то Данилов. На кухне Клавдия закурила и сказала:

— Это лава. А через четыре года будут изумруды.

— Два ящика изумрудов?

— Два не два, а шкатулку заполнят.

Данилов промолчал.

— Сейчас бриллианты в моде,— сказала Клавдия,— а через семь лет, после одного события, в моду войдут изумруды. В такую моду, в какой они не были последних три столетия.

Данилов опять молчал.

— А у меня их будут десятки, около сорока, точнее тридцать семь, крупные, будто с шапки Мономаха, если мне надоеет их носить, я их продам по хорошей цене.

Данилов молчал.

— Это реальные деньги, — сказала Клавдия так, будто Данилов с ней спорил.

Данилов молчал.

— И в том, как они возникнут из лавы, не будет ничего нечестного, никакого волшебства, а все выйдет по науке... Один ученый из одного НИИ... Озямов... — Тут Клавдия стала смотреть по сторонам, но вряд ли кто, кроме Данилова и мелких бытовых муравьев, гулявших по столу, мог ее услышать.

Объяснить своими словами открытие Озямова было для Клавдии делом непосильным, она принесла записную книжку, показала Данилову сделанный ею собственноручно рисунок разреза Земли. Показала, где именно пекутся из магмы, а потом и остывают изумруды. Рядом на страничке был график движения температуры и давления.

— Ты тут все не поймешь,— заметила Клавдия.— В общем, кавитация... Схлопывание пузырьков газа... А в газ надо перевести магму, то есть в наших условиях остывшую лаву... Температура порядка полторы тысячи градусов... давление — миллион атмосфер, а то и два... И пожалуйста — изумруд!

— Откуда же твой Озямов,— удивился Данилов,— возьмет давление в два миллиона атмосфер?

— Давление у нас найдется, — махнула рукой Клавдия.

— А зачем тебе лава именно от Шивелуча?

— Озямов бьется, бьется, сделал открытие, выбил оборудование для опытной установки, но подходящей магмы не нашел. Какую лаву брать — не знает. А я знаю.

— Откуда? Ах да... хлопобуды...

— Да, хлопобуды, — прошептала Клавдия, и обреченные бриллианты взблеснули на черной чалме, — они. Ясно, что не в порядке очереди, а... Они и моду на изумруды мне предсказали, и открытие Озямова учли, и на машинах из всех вариантов выбрали лаву от Шивелуча. А Озямов о ней пока не знает... Я через верного человека наведу его мысль на эту лаву, вот и получу тридцать семь изумрудов — материал-то мой!

— Начнут делать искусственные изумруды — они появятся у всех и станут стоить копейки, как стекляшки.

— Свои изумруды я получу через четыре года. Все решат, что они из горных пород. Но у Озямова-то это будут опытные изумруды!..

Данилова вся история с изумрудами очень заинтересовала, объяснения Клавдии его не удовлетворили, даже и с высоты технических знаний Данилова слова Клавдии показались ему подозрительными. А может, она и передала все верно, да ученый Озямов бродил по ложным тропам. Так или иначе Данилов решил выяснить, каким образом появляются изумруды и имеет ли к ним отношение лава от вулкана Шивелуч. Ведь ящиками с лавой Шивелуча владела не только Клавдия, но и Камчатская экспедиция, а какие из них подлинные, какие сотворенные им, Даниловым, он не знал, не запомнил в спешке. Камчатские экспедиторы тоже небось могли затеять опыты с лавой. С ящиками следовало разобратся, и сейчас же. Но Клавдия взяла его за руку.

— Данилов, изумруды ладно! Я добыла еще один долговременный прогноз! Подожди тут!

Она моментально принесла из комнаты сувенирный настольный сейф, новенький, с никелированной ручкой. Сейф был как настоящий. «Бутылки три в него войдет», — отметил про себя Данилов. Ключом Клавдия отворила бронированную дверцу сувенира и пригласила Данилова заглянуть в его недра. Там стопкой лежали документы. Изнутри к дверце был приклеен лист белой бумаги со словами: «Операция «Лишние дипломы». Документы и были дипломами. По большей части синими, лишь два из них, от отличников, имели коричневые обложки. Данилов несколько дипломов осмотрел. Верхний принадлежал Казематову Игорю Платоновичу, получившему в 1960 году профессию врача-стоматолога. Другой — инженеру-металловеду Ципскому Олегу Николаевичу. Узнал Данилов и о дипломной работе третьего специалиста Думного Виктора Петровича — «Плетение словес в житийном творчестве последователей Епифания Премудрого». Виктор Петрович был учителем литературы.

— Отдел кадров на дому? — осторожно спросил Данилов.

— Эти картонки мои. Я имею и расписки... Все написавшие их откладываются не только от дипломов, но и вообще от прежних своих профессий. Честное слово дают.

— Зачем тебе все это?

— А-а-а! — протянула Клавдия.

Молчать она уже не могла, и, по ее словам, с дипломами выходило так. По точным исследованиям хлопобудов, лет через пятнадцать — семнадцать разведется у нас столько разных выпускников и так станет не хватать всяких необходимых людей — санитаров, продавцов, мозолистов, мусорщиков, полотеров, клейщиков обоев и афиш, садовников, домработниц, — что общество вынуждено будет просить лиц с дипломами, особенно не уверенных в своем призвании, пойти в санитары, домработницы, садовники. Государство якобы даже решит добротам платить компенсацию за годы учений.

— Какую компенсацию? — не понял Данилов.

— А такую... Кому девять тысяч, а кому и все четырнадцать. В зависимости от затрат. Только чтобы пошли в санитары и в раздатчики пищи.

— Разве мы тратили деньги на образование?

— Государство и тратило. Ну и что? Если обществу так потребуются люди в обслугу, оно хоть и свои затраты решит компенсировать. Сколько диплом стоил, столько с учетом школьного воспитания и заплатят человеку, лишь бы он согласился сдать диплом.

— Странно все это... — покачал головой Данилов.

— Так и будет... Припрет — и будет... И теперь ведь... Сколько людей, что учились, изнуряли себя, спокойно работают, и вовсе не по специальности. И не нужны им никакие дипломы... Вот я уже сколько приобрела... У кого за пятерку, у кого за двадцатку, у кого подороже, у кого бесплатно... А придет срок, я по этим дипломам и по распискам их владельцев соберу всю компенсацию!

— Нет, что-то тут не так.

— Что не так? Что? Ты, Данилов, далек от социальных проблем. Ты бы лучше мне помог. Есть у тебя люди на примете, кому не нужны дипломы? Только не старые и не больные, чтобы могли тянуть и через двадцать лет?

— Надо подумать... Один есть. Кончил консерваторию, был контрабасистом... Теперь он пробочник.

— То есть?

— Люди, не имеющие штопора, обычно проталкивают пробки в бутылку. Бутылка емкостью ноль-семь стоит семнадцать копеек, а с пробкой внутри ее берут на пунктах приема по десять копеек. И то как бы из жалости к хозяину. А там у них за ящиками сидит пробочник и леской с петлей вылавливает пробки, имеет за пробку две копейки. Мой знакомый играл скверно, а пробочник, говорят, вышел из него виртуоз. Делом доволен, живет хорошо.

Было похоже, что Клавдию заинтересовал не диплом пробочника, а способ добывания им пробок.

— Надо запомнить, — сказала она. — Именно леской?

— Можно и не леской. Можно веревкой. Или проволокой.

— У тебя один такой знакомый?

— Не знаю... У твоего приятеля Ростовцева, — вспомнил Данилов, — два диплома, ты обратись к нему.

— Ладно, — быстро сказала Клавдия. — Ты займешься переговорами по моему списку. Там много кандидатов.

— Откуда я время найду? — жалобно произнес Данилов.

«Опять я ей поддаюсь, — подумал он, — опять малодушничая. Эко ловко она меня приручила снова...»

— Я пошел. Это и были твои сумасшедшие идеи?

— Нет. Главная моя идея иная.

— Она есть? Ты ее уже получила от хлопобудов?

— Сегодня я тебе ничего не скажу.

— Ну смотри, — сухо произнес Данилов и направился в прихожую.

Клавдия то ли подумала, что Данилов обиделся, то ли вообще не хотела отпускать его, пошла за ним и заговорила так, словно в чем-то была перед ним виновата:

— Володенька, я не могу все сразу... Ты и сам знаешь, что у хлопобудов строгие порядки... И есть очередь. Я уж и так все время норовлю заскочить вперед... Да и все хотят с черного хода... С черного-то хода вся очередь перемешалась... Я имею лишь косвенные данные о главной своей идее... Но мне сейчас хватит и не главных...

Клавдия не лукавила, была искренней, говорила с полным к Данилову доверием. Словно сейчас считала его равным себе. Это Данилова растрогало. «Да нет, — тут же подумал он, — это она так, со сверхзадачей... Ей нужны помощники в ее затеях, ящики таскать или выкупать дипломы, вот она и желает меня, любопытного дурака, подцепить... А впрочем, ей надо и выговориться перед каким-нибудь одушевленным предметом...» Но при всем при этом отчего-то возникли вдруг у Данилова и некие теплые чувства к Клавдии. Давно с ним не было такого. Будто старое время вернулось, когда Данилов находился относительно Клавдии в заблуждении. Ее затеи были для Данилова чужие и странные, но все же к чему-то стремилась женщина, пламенем пылала ее нетерпеливая натура! А это для Данилова многое значило. Он ощущал, что и его бывшая жена смотрит на него сейчас если не с прежним интересом, то, во всяком случае, как бы сожалела о чем-то. Клавдия и сказала:

— А может, зря у нас с тобой тогда так все вышло?

Данилов пожал плечами.

— Ты приятный человек... Если бы ты еще был таким, как твой приятель из Иркутска Сомов...

— Сомов?

— Да... В нем было что-то демоническое...

— В Андрее Ивановиче?

— Да.

— Однако он вернулся от тебя подавленный.

— Он мог бы вести себя тогда и как джентльмен... Он не появится еще в Москве?

— Не знаю, — сказал Данилов. — Мне надо идти. Меня ждет музыка.

— Ах, эта твоя оркестровая музыка! — с досадой сказала Клавдия. — Был бы ты хоть по натуре солистом!

— Я пошел.

— Иди... Но ты запомни: твоя Наташа совсем не простая. Хочешь, я расскажу тебе...

— Я пошел, — сказал Данилов и закрыл за собой дверь.

Он нажал кнопку лифта, однако кабина вверх не поехала. Лишь через минуту возник знакомый звук, кабина поднялась, и в то мгновение, когда она проходила пятым этажом, Данилов увидел в кабине румяного злодея Ростовцева. И Ростовцев заметил Данилова. Возможно, он был намерен выйти на пятом этаже, но при виде Данилова раздумал и поехал выше. Данилов махнул рукой, пошел вниз по лестнице. Когда он был на первом этаже, кабина с Ростовцевым опустилась туда же. Данилов остановился, и тут кабина понеслась вверх. «Ну ладно, его дело, — подумал Данилов. — Пусть катается».

27

В театре Данилов узнал, что привезли нескороаемые шкафы для инструментов оркестра. Трубоч Тартаковер исполнил «Славься» в честь администрации и профсоюзов. Не один Данилов имел дорогой инструмент. Были в оркестре замечательные скрипки, деревянные духовые, да и медные, редких свойств и судеб. И их стоило холить и беречь, как Альбани. Данилов получил ключ от именного шкафа, вбил гвоздь для плечиков фрака, подумал, как было бы хорошо, если бы он устраивал теперь в нескороаемом шкафу и свой Альбани. Данилов так и присел возле шкафа. В суете последних дней он почти не вспоминал об Альбани. А вот теперь ему стало худо. Будто пропажа только что обнаружилась. Данилов захотел сейчас же пойти позвонить в отделение милиции. Он пошел и позвонил. Ему ответили, что пока альт найти не удалось, но розыски ведутся, сейчас они поручены старшему лейтенанту Несынову.

«Да зачем я! — спохватился Данилов. — Опять будто дитя малое! Что я занятых людей обременяю пустыми хлопотами! Теперь еще и лейтенанта Несынова! Ведь известно: не было Альбани и не будет! И не должно быть! Переслегина я обязан сыграть на простом инструменте. Или меня следует держать подальше от музыки!»

Однако Данилову было тоскливо. Звуки Альбани опять возникли в его душе...

— Хорош шкаф-то? — услышал он голос Земского.

— Хорош, — согласился Данилов.

— Хорош... Я думаю свой обить сукном... Черным... Могут ведь профсоюзы, если захотят...

— Могут...

— Этот Туруканов напорист, — сказал Земский, имея в виду виолончелиста Туруканова, месткомовского удалца, — ему бы работать директором магазина или снабжением ведать на заводе. Но нынче эта скотина хороша!

И Данилов считал Туруканова порядочной скотиной, однако за шкафы следовало ему поклониться в ноги.

— Тайну М. Ф. К., — спросил Земский, — не разгадал?

— Не разгадал, — сказал Данилов.

— Говорят, у тебя скоро будет сольное выступление. В клубе завода «Прожектор».

— У меня?

— У тебя. С молодежным оркестром. Будто вы исполните симфонию какого-то начинающего...

— Откуда вы знаете?

— Знаю, — сказал Земский. — Стало быть, рискуешь начать в твоём-то возрасте? Ну что ж... Коли будет провал, так уж с грохотом... Не бойшься?

— Боюсь, — сказал Данилов и отвернулся от Земского.

«При чем тут «Прожектор»?» — подумал Данилов. Впрочем, он знал, что Земский подрабатывает в оркестрах заводских народных опер, там уж он водит смычком по струнам как следует, добиваясь громких звуков, какие и в бухгалтериях были бы слышны. Вот откуда Земский мог иметь сведения о клубе завода «Прожектор».

Следом Данилов вспомнил о своем интересе к происхождению изумрудов. В библиотеке театра книг по минералогии не оказалось, хотя у них на основной сцене и шел когда-то «Каменный цветок». Данилов взял энциклопедию. Мнение энциклопедии его озадачило. То ли опиралось оно на устаревшие теории, то ли хлопобуды морочили наивную Клавдию. Так или иначе, но любопытство Данилова обострилось, теперь и не в хлопотах Клавдии было дело. Данилов решил зайти в научную библиотеку, там познакомиться с последними суждениями об изумрудах. В чем их тайна? Данилов даже напел тему белки из вступления к третьему акту «Царя Салтана». Как там у Александра Сергеевича: «Ядра — чистый изумруд...» Однако пошла работа, репетиции и спектакль, потом была Наташа, только утром у себя в Останкине Данилов вспомнил об изумрудах.

Но тут же и забыл о них. Позвонил Переслегин.

Звонил он откуда-то из автомата. Данилов слышал звуки трамваев. Переслегин сказал, что все складывается удачно, Данилову надо завтра же встретиться с Юрием Чудецким, дирижером молодежного оркестра, оркестр хороший, полный состав, все профессионалы, пусть Данилов не волнуется. А исполнять симфонию, если Данилов, конечно, не раздумал, ему придется через недели три.

— В клубе завода «Прожектор»? — спросил Данилов.

— Нет, — сказал Переслегин, — во Дворце энергетиков. Мы договорились сначала с «Прожектором», но они передумали. И это хорошо. Клуб у них для оркестра маленький, у энергетиков куда больше.

— Я завтра свободен утром в девять.

— Хорошо. Чудецкий к вам завтра зайдет в девять... Владимир Алексеевич, рад был услышать вас. Я бегу. Хлопоты. Да и барабанят уже в стекло...

— Погодите... — произнес Данилов, но Переслегин, верно, сел в трамвай.

«Экая досада, — подумал Данилов, — я ведь так хотел поговорить с ним и о симфонии, и о музыке, и о жизни, и о выступлении... Да что же это мы! Будто не музыкой заняты, а мылом торгуем...» И были люди, которым Данилов хотел бы открыть душу, да со временем не выходило. Вот ведь как. Петр Ильич, тот в письмах к благотельнице фон Мекк высказывал свои соображения о музыке и искусстве, изливал душу, а как быть при телефонах? Данилову остро захотелось вступить в переписку с Переслегиным. Он тут же нашел большой лист бумаги. Вспомнил известного композитора. Тот встретит тебя, поговорит, а через два дня случается получить от него письмо. А зачем, спрашивается, письмо, когда и при встрече можно было все сказать? Над тем композитором смеялись: эка, пишет письма для истории, для томов музыкального наследства! Но теперь-то Данилову стало ясно, что композитор писал послания прежде всего для самого себя — какие сейчас при встречах на бегу душевные беседы! Вот Данилов и взялся за письмо к Переслегиному.

Однако скоро понял, что послание у него не выйдет — то ли разучился он писать длинные письма, то ли вообще не умел писать их. Открытки еще с дороги, из аэропортов в непогоду с любезными и пустыми словами отправлял приятелям и приятельницам. Вот и все. И теперь записка кое-как могла у него выйти, но в записке он бы сказал Переслегину не больше, чем пять минут назад по телефону. Данилов расстроился и дал себе слово в свободные часы поучиться писать письма. Чтобы были протяжные и неспешные. Как в девятнадцатом веке. Или еще раньше.

«Три недели! — спохватился Данилов. — А время «Ч»? Они на меня понадеются, а меня — раз! — и след простыл». Однако тут же Данилов запретил себе думать о времени «Ч». Как будто бы оно касалось не его, а другого Данилова.

Данилов убрал ручку и бумагу, решил: «Вот завтра придет дирижер Чудецкий, с ним мы и поговорим о музыке. Я его сразу не отпущу». Данилов даже купил бутылку коньяка. Однако в девять утра Чудецкий не пришел, а позвонил. Условился с Даниловым о часах репетиций, извинился, сказал, что спешит, и повесил трубку. Теперь Данилов и Чудецкому желал написать письмо.

Он вздохнул, убрал бутылку коньяка, пошел в автомат на улицу Королева выпить пива.

Мужчины возле автомата стояли всегда, но нынче их было больше обычного. Данилов заметил знакомого оператора с телецентра, спросил:

— Что это?

— А Коля, водопроводчик, — сказал оператор, — за двадцать копеек показывает дым.

Тут же мужчин, то ли выпивших пива, то ли еще не пивших, окутало паровозным дымом.

«Про дым-то я забыл!» — ужаснулся Данилов.

— Вова! — Водопроводчик Коля, выйдя из восхищенной толпы, направился к Данилову. — Я тебя пивом угошу!

— У меня есть, — сказал Данилов. — Я рубль разменяю.

— Что менять-то! — Коля чуть ли не обиделся. — Вон сколько двугривенных для автомата. За дым. Дыхнешь — дают двадцать копеек. А кто и с сухками.

— А не тяготит вас дым? — осторожно спросил Данилов. — Вы к врачам не обращались? Вдруг бы они и вылечили...

— Зачем мне врачи? От чего мне лечиться? Мне дым не мешает. Я когда дышу и говорю, он не идет. Могу петь. — Тут Коля остановился и запел: «Стою на полустаночке в цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда» — и верно, дыма из него не вышло. — И ем я хорошо. Иногда только мясо пахнет костром. Вроде шашлыка. Это когда я из глубины дыхну, то дым. А людям нравится. Просят. Как-то я три раза подряд дыхнул — дали воблу.

— Но, может, вы хотите от него отделаться? Не мучит он вас?

— Да ты что! — Коля поглядел на Данилова с укором. — У меня жизнь стала интересная.

«Ну коли так, — подумал Данилов, — что ж я его буду дыма лишать... Пусть дышит как хочет». Данилов опустил в щель автомата двугривенный, подаренный Колей, наполнил кружку, но, отпив два глотка, о пиве забыл. В нем возникли вдруг слова и чувства, какие он хотел бы передать и Переслегину и Чудецкому. Явились бы к нему сейчас листы бумаги, он бы их все исписал. «Пойду домой, напишу им письма! О музыке. Обо всем». Он пошел. Однако дома его намерениям помешал телефонный звонок.

У звонившего был лирический бас, годный, если бы собеседник Данилова пел, и на баритональные партии — князя Игоря или Мазепы.

Вроде бы Данилов его где-то слышал, но где? Говорил незнакомец тихо, таинственно и вместе с тем так, будто Данилов сидел у него дома в клетке. Данилов проверил голос индикатором — нет, звонивший был местной личностью.

— Мне любопытна ваша таинственность, — сказал Данилов. — Однако вы даете понять, что вам многое обо мне известно, стало быть, вы знаете, что у меня мало времени, поэтому прошу вас перейти к сути дела.

— Пока и дела-то никакого нет, — сказал незнакомец, — а есть предложение.

— Какое же?

— Сотрудничать с нами.

— А кто вы такие?

— Ну как вам сказать...

— Так и скажите.

— Настасьинский переулок, квартира Ростовцева...

— Хлопобуды, что ли?

— Это несерьезное слово... Но пусть хлопобуды...

Теперь Данилов узнал. Говорил с ним пегий человек с бакенбардами, возможно секретарь хлопобудов, заполнявший обычно их вахтенный журнал, или конторскую книгу. Но, возможно, и не секретарь.

— Вы секретарь с бакенбардами, — сказал Данилов.

— Как вы узнали?

— Я музыкант. Должен иметь слух.

— Звонок мой как бы официальный.

— Вас Клавдия Петровна надоумила?

— При чем тут Клавдия Петровна! Клавдия Петровна — из очереди! Мы вышли на вас сами. А Клавдии Петровне вовсе и не следует знать о моем звонке.

— И чем же вызван ваш официальный звонок?

— Наша инициативная группа особая, экспериментальная, впрочем, вы имеете о ней некоторое представление. Мы пока самодеятельная группа, но то, что мы делаем, хотя бы своими анализами и прогнозами должно принести несомненную пользу обществу...

Тут Данилов чуть было не сказал о сомнительности затей хлопобудов с изумрудами и дипломами, но сообразил, что подведет Клавдию. Промолчал. Он вспомнил о пятнадцати рублях и солидных людях, стоявших с чернильными номерами на ладонях в прихожей у Ростовцева. Сказал:

— Неужели люди из вашей очереди и есть общество?

— Идет эксперимент, и мы можем охватить лишь определенную группу людей, наиболее восприимчивых к условиям нашего опыта.

— Хорошо, — сказал Данилов. — А я вам зачем?

— У нас много трудностей. Особенно в области научного прогнозирования. Нам нужна ваша помощь. Естественно, она будет вознаграждена.

— Моя помощь? — удивился Данилов.

— Да, — сказал пегий человек. — Мы знаем о ваших возможностях.

— Я артист оркестра. Какие у меня возможности!

— Речь идет не о ваших музыкальных возможностях.

— А о каких?

— Вы сами знаете о каких...

— Вы меня с кем-то спутали.

— Нет. Мы о вас знаем все.

— Откуда же?

— У нас есть люди.

— Эти люди сами ошиблись и вас ввели в заблуждение.

— Значит, наше предложение вы принять не хотите? — угрюмо спросил пегий человек.

— Ваш звонок я расцениваю как шутку, какую я оценить не могу из-за отсутствия чувства юмора.

— Печально. И для нас. И для вас. Мне хотелось бы дать вам время подумать, чтобы потом вам не пришлось жалеть о своем легкомысленном отношении к важному делу.

— Вы говорите таким тоном, будто угрожаете мне.

— Возможно, что и угрожаю. Безрассудное упрямство следует наказывать... Потом, вы, видимо, не верите в нашу серьезность и в нашу силу, вот вы их и почувствуете...

— И что же будет?

— Будут и мелкие неприятности. Скажем, в театре... Ну, предположим, на гастроли в Италию вы не поедете...

— Еще что?

— Вряд ли отыщет милиция алыт Альбани...

— Так... Далее...

— Через три недели должно состояться ваше выступление в Доме культуры медицинских работников...

— Отчего же не во Дворце энергетиков?

— Во Дворце энергетиков срочно устроят конкурс балльных танцев, оркестру придется искать другой зал...

— Ну хорошо, в Доме культуры медицинских работников... И что же?

— Так ваше выступление не состоится... Оно, возможно, и нигде не состоится...

— Хватит! И меня можно рассердить.

— Это как вам будет угодно.

— Вы ведь себе противоречите. Вы приписываете мне какие-то особенные возможности и пугаете меня мелкими неприятностями. Но если у меня возможности, что мне ваши угрозы! Не подумайте ли вам в таком случае, как самих себя обезопасить от неприятностей?

Секретарь хлопобудов, видно, растерялся. Молчал, дышал в трубку. Потом сказал, но не слишком решительно:

— Видите ли, тут особый случай, мы, наверное, не нашли подхода к вам, а потому разрешите считать наш разговор предварительным... Мы к вам по-земному... А вы, возможно, на своих высоких ступенях полны иных чувств... Возможно, вас обидели слова о вознаграждении... Это чуждо вам... Я понимаю... Мы шли здесь на ощупь... Но и вы нас поймите... Мы пытаемся заглянуть в будущее, и отчего же... существу... предположим, попавшему к нам из более высокой цивилизации, пусть и занятому своими целями, нам неведомыми, не помочь хоть капелькой своего богатства энтузиастам приближения будущего на Земле?

— Вы меня, что ли, под существом имеете в виду?

— Нет, это я в теоретическом плане...

— Вы меня прищельцем, что ли, считаете? Тогда дальнейший разговор излишен.

— Печально. У нас ведь есть земные возможности, и как бы вам все же не пришлось сожалеть...

Договорить секретарю хлопобудов Данилов не дал, повесил трубку.

— Жулики вы и будохлопы! — произнес он вслух. — Еще вздумали угрожать!

Он храбрился, но ему было худо. Мерзко было. Откуда они столько узнали о нем? И почему стали подозревать, что он пришелец? Кто им поставил сведения? Клавдия? Ростовцев? Или, может быть, хлопобудный компьютер?

Не хватало еще и хлопобудов! «И так носишься,— думал Данилов, — а теперь еще и хлопобуды! Но, может, и зря, может быть, они и вправду полезные и умные люди, а деньги берут лишь на карманные расходы?..» Данилов опять вспомнил людей, стоявших в прихожей Ростовцева, и почувствовал, что они ему чужие. К дельцам, доставалам, пронырам душа у него не лежала. Нет, сказал себе Данилов, даже если хлопобуды узнают, что в музыке и в любви к Наташе он может быть только человеком, а стало быть, уязвим, и тогда он их не устрасит, ни в какое сотрудничество с ними вступать не будет.

28

Теперь Данилов спал часа по четыре в сутки.

Его просили зайти в милицию к следователю Несынову, он не выбрался.

Он позвонил в оркестр на радио и сказал, что не сможет пока играть с ними. А ведь деньги были ему нужны.

Он играл в театре, играл дома, ездил на репетиции с оркестром Чудецкого. Когда играл, ему было хорошо. Когда отдыхал и думал о своей игре, сидел мрачный. Репетировали в утренние часы в зале Дворца энергетиков. Оркестранты были люди молодые, Данилов пришелся бы им старшим братом, по вечерам они работали кто где — кто в театрах, в том числе и драматических, кто в Москонцерте, кто в ресторанных ансамблях. Все они были недовольны своим теперешним положением, и то, что они были вынуждены исполнять на службе, им не нравилось. Душа их рвалась к большой музыке. Пусть за эту музыку и не платили. Все они, если разобраться, были юнцы, еще не утихшие, жаждающие простора и признания, уверенные в своих шансах сравняться с Ойстрахом, Рихтером, а кто и с Бетховеном. Первый раз на репетицию Данилов ехал в ознобе, в ознобе он вышел и на сцену. Чувствовал, как смотрят на него оркестранты. Друг другу они уже знали цену. Данилов играл старательно, но, наверное, хуже, чем дома, да и не наверное, а точно хуже. Однако в оркестре лиц недовольных он не заметил. Но, естественно, и по пюпитрам стучать никто не стал. Отношение к нему было спокойное, как бы деловое. Ну, сыграл — и ладно. Данилов отошел в сторону, присел на стул, опустил инструмент. Чудецкий с Переслегиным стояли метрах в пяти от него, говорили озабоченно, но не о его игре и не о игре оркестра и других солистов — валторны и кларнета, — а о том, что симфония звучала сорок четыре минуты. Это много, считали они.

Данилов почувствовал себя одиноким на сцене, да и на всем свете. Яма в театре представилась сейчас Данилову местом спасения. «Что я лезу-то в калашный ряд?» — отругал себя Данилов.

Композитор Переслегин сказал ему: «Как будто бы ничего...» И все. Имел он в виду то ли игру Данилова, то ли свою музыку. То ли успокаивал Данилова, то ли успокаивал себя. Переслегин тут же ушел куда-то, и Данилов решил, что Переслегин им недоволен. «Да и когда автор был доволен исполнителем?» — сказал себе Данилов, однако ему не стало легче. Дирижер Чудецкий подошел к нему. Чудецкий был Данилову ровесник, манеры имел мягкие, выглядел скорее дипломатом, нежели дирижером. Но было в нем и нечто твердое, значительное, словно он уже получил звание, да и не заслуженного, а народного. Чудецкий вежливо высказал Данилову замечания, уточнил время новой репетиции и добавил: «Думаю, что симфония прозвучит...» Но как-то вяло добавил.

«Прозвучит-то прозвучит, — говорил себе Данилов, сидя ночью над партитурой, — весь вопрос — как...» Теперь он понимал: утром музыка оркестра смяла его, раздавила, подчинила себе голос его альты. Да и

был ли слышен этот голос, этот слабый писк? Выходило, что Данилов явился неготовым к репетиции. Дома он играл музыку Переслегина с удовольствием, радовался и ей и себе, но симфония превратилась для него как бы в концерт для альта, он словно бы забыл, что его альт существует в партитуре не сам по себе, а в вечных столкновениях или перемириях с валторной и кларнетом и, уж конечно, со всем оркестром. Нынче утром его альт был как будто бы удивлен тем, что на него обрушились звуки оркестра, что они терзают его, требуют от него чего-то, зовут куда-то или успокаивают с материнской нежностью, альт Данилова растерялся от всего этого, как растерялся и сам Данилов, а потому звучал лишь старательно. Стало быть, и посредственно. Да, Данилов внимательно читал партитуру Переслегина, но оркестр звучал в нем, видно, не так, как следовало ему звучать. А потом и вовсе затих, пропал куда-то, оставив инструмент Данилова в одиночестве. Сегодня же музыка Переслегина удивила Данилова. Она была мощная, нервная, широкая, порой трагическая, порой нежная, порой ехидная и ломкая, порой яростная. Альт в ней жил человеком, личностью, возможно, Переслегиным, или нет, им, Даниловым, с его прошлым и его вторым «я» — валторной и кларнетом, оркестр же был толпой, жизнью, веком, Землей, вселенной, в них и существовал альт. То есть должен был бы существовать. Утром Данилов был на сцене, но будто бы сидел в своей комнате и там музицировал сам для себя, а жизнь и век шумели за стенами дома в Останкине. Только услышав оркестр, Данилов понял, как велик мир, переданный звуками симфонии, и как важен в этом мире голос альта. Симфония была не о мелкой личности, нет. Личность эта как будто бы соответствовала веку и вселенной. Но соответствовал ли этой личности голос альта? «Отчего он взял альт? — думал теперь Данилов. — Разве можно альтом передать сущность современного человека, деятельного причем? В особенности мужчину. А впрочем, и женщину тоже. Тут нужна труба, или ударные, или саксофон. Или рояль, на худой конец. А то — альт! С его тихим голосом, с его изысканными манерами. Он свое отзвучал в воздушные времена Ватто...» Но эти мысли тут же вызвали у Данилова обиду за альт. Он объяснял себе, что Переслегин намерен был рассказать о натуре тонкой, душевной, не трубой же и не ударными тонкую-то натуру передавать! Другое дело, что Переслегиноу был нужен иной альт. А главное — иной исполнитель.

Так терзался Данилов. И день, и два, и три. После четвертой репетиции он осторожно сказал Переслегиноу, что еще не поздно пригласить другого альтиста. «Нет, нет!» — решительно возразил Переслегин. И опять ушел куда-то. Впрочем, Данилову казалось, что Переслегин и Чудецкий смотрят на него теперь благосклоннее. Да и в глазах оркестрантов к нему как будто бы появилось больше любопытства. Но Данилов был мрачный.

Теперь он, казалось ему, понимал, как следует играть музыку Переслегина. И оттого, что понимал, еще больше расстраивался. Разве он так сыграет? А ему хотелось сыграть хорошо, и уже не для себя, а для Переслегина, для музыкантов, составивших молодежный оркестр, для людей, которые, возможно, через пятнадцать дней придут во Дворец энергетиков. День выступления казался ему черным пределом. Хорошо ему было жить прежде с одними упованиями о своем будущем в большой музыке. Вот оно, будущее, и наступало. Реальное, жестокое. Всем упованиям Данилова оно могло положить конец. Да что могло! Должно было!

Иногда Данилов злился на свой инструмент, вздыхал: «Вот бы Альбани...» Но разве дело было в Альбани! Кабы в Альбани! Данилов осунулся, а и так был худ. Случались минуты, когда он у себя в квар-

тире, оставив инструмент и ноты, подходил к окну, пытался представить, какие чувства испытывал в последние мгновения жизни Миша Коренев, о чем он размышлял и намечал ли раньше себе это окно. Стояли холода, рамы были заклеены бумагой, и когда Миша прыгнул, пришлось с силой рвануть створку...

Не сразу Данилов отходил от окна... Мысли о тишине были соблазнительны. Вдруг Земский прав? Данилов чувствовал в себе симфонию Переслегина, все ее звуки и звуки своего альта, но он знал, что не сможет передать людям их так, как он их чувствовал. С трудом Данилов заставлял себя брать инструмент. Окончив какую-либо часть симфонии, говорил себе: «Да нет, ведь неплохо, лучше, чем в прошлый раз, не такая я уж и бездарность...» Однако проходили минуты, возвращались мысли о собственном несовершенстве, чуть ли не плакать Данилову хотелось... Он стал раздражительным. Вещи, не слушавшиеся Данилова, злили его. Он готов был их разбить или сломать. В театре коллеги удивлялись Данилову, для них он был ровный, мягкий человек, вежливый, как старый петербуржец, а тут словно преобразился. Он и на репетициях во Дворце энергетиков нервничал, и не раз. Однажды чуть было не поругался с Переслегиным. Переслегин тоже был в раздражении, ему не нравилась и его музыка, и оркестр, и игра Данилова, и, наверное, то, что альт солировал у него в симфонии. Он ходил по сцене дровосеком, явись ему сейчас топор в руки, он порубил бы в ярости и пюпитры и инструменты, в том числе и медные. Походив, он бросил оркестру, а потом и Данилову обидные слова. Данилов, как будто бы готовый принять любой упрек в свой адрес, все же не выдержал и тоже обидел словом композитора. Про себя подумал: «Тоже мне! Чайковский! Вагнер! Сочинил симфонию в семи частях, не знает почему, а думает, что гений!»

Только в вестибюле Данилов пришел в себя. «Что я — базарная баба, что ли? Да пусть в семи частях и есть претензия, так что же, от этого музыка вышла плохая? Ведь нет! А Успенский, тот симфонию написал в двадцати с лишком частях, и как написал! Что взъяряться-то! Скажи спасибо, что за тебя все хлопоты произвели и пригласили на готовое». Действительно, ведь другой в его возрасте долго бы бился, чтобы ни с того ни с сего получить выступление, а он получил! Да и что иронизировать по поводу семи частей, ведь играя Переслегина, он, Данилов, не чувствовал искусственности построения симфонии, наоборот, выходило, что именно семь частей и были нужны. Им бы с Переслегиным быть теперь как одно, слиться мыслями и чувствами, а они смотрели друг на друга врагами. Переслегин, похоже, теперь его, Данилова, лишь терпел. И Данилов вел себя так, будто был не рад, что связался с Переслегиным и его музыкой. А ведь оба они были взрослыми мужчинами!

«Хоть бы Земскому, что ли, душу излить?» — думал Данилов. К Земскому его тянуло. Но опять бы он услышал слова о спасительной тишине. Данилов же и без Земского, перелистывая книгу о Хиросиге, наткнулся на слова учения «юген»: «Истина — вне слов». А истина музыки, стало быть, вне звуков? Во всяком случае, она вне звуков его бездарного альта! Лучше уж тишина как исход и успокоение. Лучше уж распахнутое окно и прыжок в тишину...

Нет! Это было не для Данилова. Теперь при мыслях об окне Миши Коренева Данилов приходил в ярость, сразу же брал альт и смычок.

В этой своей ярости он поссорился с Наташей. Дважды он обещал Наташе приехать к ней, и все не получалось. Наконец она позвонила ему, он играл, не сразу вернулся в реальность, сказал Наташе что-то нескладное, резкое, она обиделась. В другой раз он сразу бы нашел Наташу, повел бы себя дипломатом и все бы уладил в мгновение. А тут он и сам обиделся. «Она и понять меня не может, — думал Данилов, — что

ей моя музыка!» На следующий день после спектакля он все же бросился к Покровским воротам и по дороге к знакомому дому встретил Наташу, она прогуливалась под руку с молодым человеком. Наташа Данилову сухо кивнула и пошла дальше. Она была красива, отчего же не прогуливаться с ней молодому человеку? Данилов вначале рассвирепел. Но что было свирепеть и возмущаться? Какие он имел права на ее свободу и симпатии! Да и был в ее судьбе уже человек со скрипкой, много ли радости мог принести ей еще один неуравновешенный музыкант? Тут же пришли на ум и слова Клавдии: «Наташа совсем не простая...» Значит, и не простая. Для успокоения Данилов убедил себя в том, что не только он Наташе не нужен, но и она ему не нужна. Убедил без труда. Он так уставал сейчас от музыки, что на женщин не глядел. Да и что общего, думал Данилов, может быть у них с Наташей? Что ей до его дела, до его переживаний! Эта мысль была сладкая. Но тут же явилась и мысль неприятная. А он-то знает, что сейчас на душе у Наташи? Страдает она или нет? Похоже, это его и не интересовало... Не говорил ли ему Земский, что он обречен на одиночество? И на жестокость. То есть не он, а Большой Артист. Но ведь Данилов и был намерен стать Большим Артистом...

«Нет, наверное, я и есть одинокий себялюбец,— сокрушался Данилов. — Много ли я думал о людях, мне дорогих? Вот я и одинок...» Тут же он вступал с собой в спор. Отчего же он одинок? У него много приятелей, Муравлевы в частности, им интересны и близки его порывы, его дело, они готовы выслушать любые его излияния, а если возникнет нужда, тут же бросятся ему помогать. Пустому себялюбцу стали бы они помогать? Вряд ли... Другое дело, что сам он из-за тайной своей жизни старается быть на неком расстоянии от людей, ему приятных. Чтобы не навредить им. Быть одиноким он не хотел, и жестокость вовсе не в его натуре. Он желал любить и жалеть. Он бы и сейчас ради дорогого друга, бросив альт, побежал с авоськой в магазин или в аптеку за горчишками и кислородной подушкой... Да и теперь он не то чтобы проявляет себя эгоистом, просто в суете и хлопотах он успевает заниматься лишь своими делами, на чужие у него не остается ни времени, ни сил... Но в искусстве он, и верно, будет всегда одинок, творцы одиноки, кто же вместо него, Данилова, создаст музыку? Тут он один. Он да альт...

Так Данилов размышлял, то ругал себя, то оправдывал. То давал себе слово стать иным. А каким — он и сам не знал. При всем при этом мириться с Наташей он не был намерен. Данилов дулся на Наташу. Он бьется с музыкой Переслегина, а она гуляет с молодым человеком...

Наконец на репетиции Данилов остался доволен своей игрой. Он даже улыбался в то утро. Явившись в театр, узнал, что на гастроли в Италию поедет не он, а альтист Чехонин. «Ну что же, — успокаивал себя Данилов, — и Чехонин достоин поездки». Хотя и знал, что Чехонин музыкант скверный. И другие знали это. В антрактах Данилов ходил скучный. Было обидно, следовало сейчас же идти в кабинеты, требовать, упрашивать. Однако Данилов и прежде никуда бы не пошел... Он вспомнил о звонке пегого хлопобуда. «Вот оно, старца проклять!..» Может, конечно, и не оно... Наутро Данилов осторожно поинтересовался у дирижера Чудецкого, не будет ли каких затруднений с залом Дворца энергетиков.

— А что такое? — удивился Чудецкий.

— Да нет, я так... Я к тому, не замышляется ли тут конкурс балльных танцев?..

— Сейчас узнаю, — сказал Чудецкий.

Ушел он легким маэстро, судьбой предназначенным для вальсов и

полек Штрауса, вернулся серьезным музыкантом, готовым к Шестой симфонии Петра Ильича.

— Действительно, затеяли конкурс бальных танцев, — сказал Чудецкий. — Опять у нас начнется беготня... Досадно...

Данилов хотел было намекнуть насчет клуба медицинских работников, но удержался. «Ну спасибо, хлопобуды! — подумал Данилов. — Я ведь и рассержусь...»

Ночью у Данилова зазвонил телефон. Данилов поднялся медленно, трубку взял нехотя. Звонила Клавдия. Она страдала, ей было плохо, она хотела увидеть Данилова, умоляла его зайти к ней завтра.

— Извини, у меня нет времени, — сказал Данилов.

— Володенька, я тебя никогда ни о чем не прошу, а теперь прошу... Ты должен мне помочь...

«А ну ее!» — подумал Данилов. Однако он смутился. Голос Клавдии звучал непривычно жалко. Будто и впрямь с ней что-то стряслось. Позавчера Данилов корил себя за эгоизм, а теперь вот отказывается помочь человеку в беде! Да и тянуло теперь Данилова узнать от Клавдии нечто новое о хлопобудях, этих смельчаках и умницах... И про Наташу что-то пыталась рассказать ему Клавдия.

Клавдия в квартире Войнова встретила Данилова в шелковом халате, с платком на голове, укрывшим бигуди. А Данилов шел к ней в тревоге, думал, что Клавдия выйдет в слезах, бросится к нему на грудь за утешениями. «Опять морочила голову», — обиделся Данилов.

Был дома и профессор Войнов. Данилову он пожал руку. Данилов заметил, что живот у Войнова убавился. Войнов последние недели бегал трусцой. Он и сейчас, крупный, широкий в кости, в синем тренировочном костюме с белыми лампасами, ходил на спортсмена, готового бежать. Но нет, похоже, ему было определено занятие дома.

На полу большой комнаты стояли четыре бутылки из-под вина «Старый замок» с пробками внутри. Войнов сразу же вернулся к бутылкам. Сел на стул, шнурком от ботинок стал ловить пробку в ближней бутылке, язык высунул. Данилов взволновался, присел возле бутылки на корточки, готов был помочь Войнову.

— Пошли, пошли, — резко сказала Клавдия.

— Вчера выходило, — как бы извиняясь перед Даниловым, произнес Войнов, — а сегодня петля соскакивает.

— Зачем это он? — спросил Данилов в коридоре.

— На всякий случай, — сказала Клавдия Петровна.

— Надо леской...

— Мы пробовали. Шнурком надежнее. Да и обойдется шнурок дешевле.

Клавдия провела Данилова в свою комнату, спросила:

— Ну ты что?

— Как что? Ты мне звонила ночью...

— Ах да... — вспомнила Клавдия. — Ну ладно. Посиди...

Она уселась за стол, то ли письменный, то ли туалетный, и на листе хорошей бумаги принялась что-то решительно писать. Ручка ее двигалась, словно Пегги Флеминг по льду во время обязательной программы, росчерки пера получались какие-то особенные и красивые, на листе бумаги возникали вензеля. В комнате Клавдии у Войнова Данилов был впервые. Здесь над столом в рамке и под стеклом группой, «под деревню», разместились портреты женщин. Портреты были черно-белыми репродукциями с гравюр, живописных портретов и кинокадров. Всего из общей рамки на Данилова глядели девять дам. Маргарита Наваррская. Жанна д'Арк. Екатерина Дашкова на лошади. Зинаида Волконская. Софья Ковалевская. Александра Коллонтай. Софи Лорен. Сама Клавдия, юная и хорошенькая. Девятую даму Данилов узнал не сразу. Потом

понял, что это миледи из «Трех мушкетеров». То есть Милен Демонжо, игравшая миледи. «Что же это она их в рамку?» — удивился Данилов.

— У тебя срочное дело? — на выдержал Данилов.

— Да... То есть не дело, а упражнение. За королеву Елизавету пишу королеве Бельгии. По образцу.

Клавдия протянула Данилову серую книгу «Дипломатический церемониал и протокол», а сама продолжила выведение вензелей. Книгу Данилов листал с любопытством. Он и сам был не прочь иметь такую. Чуть ли не наизусть запомнил параграфы о бутоньерке, планы рассадки почетных гостей на завтраках с женщинами и без женщин, узнал, что в представительских экипажах с расположением мест друг против друга почетным местом является место на заднем сиденье справа по ходу движения. Шелковой лентой в книге была заложена страница с разделом «Переписка между монархами». Здесь предлагались образцы комплиментов и обращений к монаршим особам. Клавдия, видно следуя советам «Протокола», и сочиняла сейчас письмо бельгийской королеве.

— Господи, зачем это тебе?

— Ну мало ли зачем... — уклончиво сказала Клавдия.

— Все-таки едешь в Англию?

— Пока нет. Да тут и не только английские правила, тут французские, прочие... Я, может, и без всякой перспективы. А так... Просто интересно...

— И что же ты написала бельгийской королеве?

— Это наш с ней секрет, — строго сказала Клавдия.

— Извини, я пошел, — встал Данилов. Он был сердит.

За стеной упала бутылка.

— Ну прости, — чуть ли не взмолилась Клавдия. — Я тебе вчера не лгала. Мне и вправду было тошно.

И тут она расплакалась.

Данилов поначалу смотрел на Клавдию с недоверием — не новая ли это уловка удерживать его при себе? Он хорошо знал, какие у Клавдии бывают глаза и какие губы, когда она фальшивит. Нет, выходило — страдания ее были искренними.

— Было тошно, не хотелось жить... Я нуждалась в тебе!

— Что-нибудь случилось? — спросил Данилов.

— Ничего не случилось... А так... Тошно, и все... Бегаешь, крутишься, а зачем? Все мелкое... И все пустое!

Полчаса назад Данилов думал сказать Клавдии о сомнительности ее предприятия с изумрудами и дипломами, теперь он был готов расхвалить эти же изумруды и дипломы. Давно он не видел Клавдию такой — беззащитной, смятой жизнью. Куда девалась ее победная уверенность в себе?

— Данилов, ушло бы все это! А жить бы просто и для чего-то и чтобы кто-то верный был рядом! Хоть бы и ты!

Данилов сидел растроганный, думал: «Может, и вправду стоило быть рядом с ней, а все остальное — ошибка?»

— Это со всеми случается, — сказал Данилов, — находит тоска, и все... Что же отчаиваться? Надо жить. У тебя ведь с будущим связаны большие надежды...

— Какие? — нервно спросила Клавдия.

Однако слезы уже высохли на ее щеках.

— Ну какие... — осторожно сказал Данилов, — ты знаешь о них лучше меня... Или хлопобуды... Наконец, у тебя будет главная идея... Эта... достаточно сумасшедшая...

— А она осуществима?

— Не знаю... Я и о самой идее не знаю. Не знаю, что тебе на двадцать лет вперед припрогнозировали хлопобуды...

— Независимость! — горячо сказала Клавдия. — Вот моя главная идея!

— От чего независимость? От кого?

— Просто независимость! Независимость с большой буквы!

— Ну знаешь... — развел руками Данилов.

Больше он ничего не мог сказать.

Клавдия была в печали, но уже и энергия появилась в ее взгляде. Значит, она отошла от ночных тревог. Наверное, и отошла, раз писала письма королеве Бельгии. Слезы ее были, видно, явлением остаточным...

— А отчего эти женщины оказались вместе? — спросил Данилов, имея в виду портреты в рамке.

— Подумай...

— Странный набор...

— Стало быть, ты плохо знаешь меня...

— Теперешнюю, возможно, что и плохо.

— Если все их свойства перемешать и слить в одной! Что было бы! Я б перевернула весь мир!

— У тебя вселенские масштабы?

— Данилов, какие во мне энергии и порывы! Если б ты знал! Но ведь это попусту... Все сгорит во мне... А я бы... Может, конечно, еще и выйдет что...

— Независимость тебе определили хлопобуды?

— Да.

— Хлопобуды — серьезные люди?

— Они очень серьезные люди.

— Я уже чувствую, — вздохнул Данилов.

— С чего бы вдруг? Ты им не вредил?

— Пока нет.

— Не вздумай вставать у них на дороге. Сметут!

— Не пугайся. Я хожу по другой дороге.

— Но если они позовут в очередь, соглашайся немедля!

— Зачем?

— Из вашего театра люди стоят. Знают зачем.

— Кто же это?

Данилову очень захотелось, чтобы Клавдия назвала альтиста Чехонина. Она его и назвала. Еще, по ее словам, в очереди стояли виолончелист Туруканов и один из дирижеров, фамилию его Клавдия не помнила, но знала, что он дирижер.

— Надо подумать, — сказал Данилов.

— Тут и думать нечего! Ты хоть мне будешь помогать!

— Но откуда брать деньги на взносы?

— Приработаешь!

При воспоминании о пятнадцати рублях разговор об очереди стал Данилову неинтересным. Да и не собирался он вставать ни в какую очередь! Ему бы теперь вести разговоры с Переслегиным и Чудецким, а он занимался пустой болтовней с Клавдией. Эко Клавдия умеет его прихватывать! А главное — он сам при всех своих попытках освободиться из-под ее власти, при всех своих горячих внутренних монологах является и является к ней! Конечно, она напугала его своим ночным звонком. Но что пугаться! Есть у нее утешители. Да, наконец, и дамы, собранные в рамке, способны, видно, развеивать сомнения Клавдии. Что он ринулся сюда? Неужели у него и вправду есть потребность во встречах с ней? Или он стал больше уважать ее, в особенности теперь, когда узнал о ее страстях и вселенских намерениях? А ведь она ни разу не заговорила ни о его заботах, ни о его музыке. Но, может, оно и хорошо, что, встречаясь с Клавдией, он на время забывал о музыке? Может, в этих

забвениях есть нечто необходимое и целительное? «Не знаю, — сказал себе Данилов, — не знаю...» Но пора б ему было и знать.

— Это у тебя золото? — спросил Данилов, имея в виду медальон, висевший на гвоздике под портретами замечательных женщин.

— Золото, — сказала Клавдия. — К счастью, есть у меня друзья, способные делать и такие подарки.

В словах ее был упрек, но Данилов упрек не принял. Он пошел было к двери, однако Клавдия сняла с гвоздика медальон, открыла его, протянула Данилову. К задней стенке медальона была приклеена фотография попугая с плеча Ростовцева, да и локон, лежавший в медальоне, был определенно от Ростовцева.

В соседней комнате упала бутылка, покатила по полу.

Клавдия проводила Данилова к двери. Заметила вдруг:

— Ба! Да я не заставила тебя снять ботинки! Ты наследил! В следующий раз снимай сразу!

Данилов поглядел на пол, но не обнаружил никаких следов. «Снимай, — подумал он, — как же! Нашла дурака. Этак при увлечениях Войнова останешься без шнурков».

Уже в лифте Данилов вспомнил, что не спросил Клавдию о Наташе. То есть о том, что имела в виду Клавдия в прошлый раз, когда говорила о Наташе. Ну и хорошо, что не спросил, решил Данилов.

29

Переслегина Данилов, похоже, перестал раздражать. А Чудецкий однажды сказал Данилову и приятные слова.

Играл Данилов лучше. И меньше мучался от своих несовершенств. Хотя и мучался.

Во Дворце энергетиков круто взяли за конкурс балльных танцев, и молодежный оркестр Чудецкого перебрался в Дом культуры медицинских работников. При этом Данилов почувствовал, какие Переслегин и Чудецкий деловые люди. Хотя, впрочем, они, как и он сам, были застенчивые артисты. Но предприятие требовало отваги. И он обязан был по-давить в себе жалкие голоса.

Впрочем, теперь, когда дело как будто бы пошло и не как будто, а хорошо пошло, Данилов это чувствовал, жалкие голоса в нем затихали. Да и когда им было звучать! Если только в общественном транспорте. Но и тут Данилов доставал из кармана «Культуру» или «Советский спорт» и забывал о многом, читая необъективные отчеты об игре хоккеистов «Динамо». В «Спорте» явно сидели спартаковцы. Нередко в троллейбусах и такси Данилов засыпал, а газеты вынужден был дочитывать в лифте. И все же иногда что-то в нем вздрагивало: «Ну сыграешь. И опустишь смычок. И будет — тишина...» «Кыш!» — говорил тогда Данилов.

Однако на него нашло другое. Теперь Данилову стали являться страхи — как бы ему что не помешало. Хлопобудов он в расчет при этом не брал. И время «Ч» тоже. Время «Ч» ему сейчас и в голову не приходило. Он думал, что вдруг погибнет или умрет накануне выступления. Он смеялся над своими страхами, но смех получался нервный, а страхи не проходили. И не за свою жизнь было ему в этих страхах обидно (хотя и за нее тоже), главным образом досаду и печаль вызывали в нем мысли о том, что он не успеет сказать людям то, что может и обязан им сказать. То есть не сказать, а звуками своего альта открыть им нечто такое, чего они не знали, но о чем догадывались. Никогда Данилов не болел, ни разу не бюллетенил, а сейчас то будто в лопатку отдавало, то ломило затылок, то ныл зуб, то в животе случались рези.

Иногда кто-то жаловался в присутствии Данилова тоже на затылок или на лопатку, все кивали на погоду, экая дрянь на улице, тут Данилов успокаивался. Однако ненадолго. Вскоре страхи возвращались, и Данилов был уже уверен, что болезнь у него смертельная. Он бегал в поликлинику, но там у него нашли лишь нервную усталость и начальные явления катара желудка. Данилов даже расстроился, что так мало нашли. «Э нет, — решил он, — они мне всего не говорят...» Одно было хорошо: впервые в жизни Данилов схватил простуду и получил на три дня больничный. Он выпался. Но в свободную минуту, поразмыслив, удивился тому, что вообще может болеть. Неужели его организм перестраивался?

Утром он почувствовал себя мерзко, на репетицию пришел в дурном настроении. Репетировали они вдвоем с Переслегиным, тот, сев к роялю, играл за оркестр. Кончили, обменялись словами, замолчали, и тут Переслегин спросил:

— Что это вы сегодня выглядите неважно? — И, не дождавшись ответа Данилова, сказал: — Я себя мерзко чувствую. Хоть бы до концерта дожить.

Данилов взглянул на Переслегина удивленно, но и обрадованно: неужели у Переслегина те же страхи? Он открылся Переслегину. И Переслегин обрадовался.

— Так все и есть! — сказал он. — Со мной это не впервые. Когда писал симфонию и дело шло к концу, вдруг испугался: а закончу ли? Уверен был, что вот-вот околуюсь. Потом прошло... И сейчас перед самой премьерой опять...

Тут они посмеялись над своими страхами, пожурили друг друга, а когда расстались, каждый из них подумал: «С ним-то, верно, что может случиться? А вот со мной еще неизвестно как...»

Впрочем, в тот день колик в желудке Данилов уже не испытывал.

От театра он был еще на один вечер свободен. Сидел дома, ничего не делал. О Наташе приказал себе не думать. Музыка опять занимала его.

Данилов вспоминал секунды скверной игры на репетициях, секунды отчаяния, когда его подмывало сдвинуть пластинку браслета. Но это мальчишеское желание могло привести лишь к минутному триумфу или потрясению, а ничего бы не изменилось. Просто он, Данилов, был бы в те мгновения не творцом, не артистом, не личностью, а патефонной иглой. И в лицее и позже, находясь в демоническом состоянии, Данилов любил играть на многих инструментах. И тогда, конечно, требовались для музыки некие навыки и способности. Но главным были не возможности его, Данилова, личности, а возможности его демонического положения. В любой миг он мог бы ощутить вечную музыку от ее простейших звуков до ее пределов, понять все ее изгибы, все ее законы и не только ощутить и понять, а и услышать ее звуки и волны или почувствовать их в себе. Мог при желании любую музыку, и прошлую и будущую, исполнить на любом инструменте. Но чужое откровение ему наскучило. И принимать его стало для него унизительно. Он был проигрыватель музыки. А Данилов во всем желал своего, то есть того, что бы делало его личность личностью. Вот как человек он постигал музыку с удовольствием. Все открывал сам. Чаще мучался и страдал, но уж и радовался иногда как творец. Увлекала его и неизвестность. Что дальше-то будет с музыкой и с ним в музыке? Вдруг он достигнет такого совершенства, осмелеет до такой дерзости, что и сам эдак плечиком хоть чуть-чуть, но подтолкнет музыку... куда?.. вперед?.. выше?.. Что значит — вперед, выше, дальше?.. Куда-то, он еще и не ведает куда, на новое место...

В эти дни Данилов думал о Земском. Земский, наверное, прошел многое из того, что ему, Данилову, еще предстоит пройти. То есть доро-

ги у них разные. Но муки и сомнения одинаковы на всех дорогах художников. И ведь Земский не скис, не пал духом, а хлопочет о вечном. Претензия у него большая. Однако Земский полагает, что выстрадал на эту претензию право... Что ж, пусть полагает...

Мысли Данилова о Земском были прерваны звонком Муравлева. Муравлев приглашал Данилова в гости, жена его уже готовила плов и жарила баранью ногу, купленную на Бутырском рынке. Данилов быстро собрался и поехал на Нижнюю Масловку.

Данилов расцеловался с Муравлевым, поздоровался с их сыном Мишей и взятой недавно на воспитание грамотной собакой Салютом дворовой породы. Какие запахи текли из кухни! Собака Салют и та облизывалась. В прихожей Данилов заметил жокейские сапоги. Муравлев увлекся верховой ездой, в свободные часы на кауром жеребце разъезжал по аллеям Пепровского парка. Он и Данилова звал кататься. Данилову дали мягкие домашние туфли Муравлева, отвели в комнату, усадили в кресло возле стола, но так, чтобы Данилов мог видеть телевизор. Хозяйка хлопотала на кухне. Муравлев, читая на ходу газеты, протирал вилки и ножи, а вокруг Данилова шла жизнь — резвилась собака Салют и обычно задумчивый пионер Миша.

Пришли гости. Были тут и Еремченко, и Кошелев с Ольгиной, и Вильчеки, и Спасские, и Добкины, и Екатерина Ивановна, но одна, ее муж Михаил Анатольевич опять находился в отъезде. Пришел на плов и баранью ногу я с женой.

— Давно тебя, Володя, здесь не было! — сокрушались гости. — Мы по тебе соскучились!

Данилов оправдывался, а сам был растроган и жалел, что не ходил к Муравлевым, действительно лучше бы уж он бывал тут, а не тратил время попусту, скажем на хлопоты Клавдии.

— Вот скоро буду посвободнее, — сказал Данилов, — сыграю одну вещь...

Тут Данилов рассказал о симфонии Переслегина и пригласил всех прийти на концерт в Дом культуры медицинских работников.

Наконец стол был накрыт, начались удовольствия.

— А отчего Кудасова нет? — спросил Данилов.

Ему объяснили, что Кудасов всех удивляет. Он потерял аппетит. Для поддержания семьи Кудасов все же читает лекции, но как-то вяло, умолкает вдруг ни с того ни с сего, словно бы поражаясь ходу собственной лекции и не веря ей. А дома грустно смотрит в цветы на обоях.

И уж то, что Кудасов не почувствовал нынешний плов и в особенности нынешнюю баранью ногу, фаршированную чесноком и политую хозяйкой по золотистой корочке вином «Киндзмараули», было странным. Приязни к Кудасову никто не испытывал, его у Муравлевых терпели, но и привыкли к нему. Впрочем, отсутствие Кудасова не мешало трапезе. Раскрасневшаяся хозяйка влюбленно глядела и на гостей, и на мужа с сыном, и на Данилова, и на бараньи кости, и на грамотную собаку Салют, потихоньку покусывающую свежую монографию о Сергее Судейкине.

Насытившись, Данилов стал задремывать. Когда проснулся, многие из гостей уже ушли, а Муравлев с Кошелевым играли в шахматы. Кошелев был адвокат, но во всех играх кидался в атаки, словно прокурор. Недалеке от себя Данилов увидел Екатерину Ивановну. Вместе с хозяйкой она рассматривала «Бурду», приискивая выкройки для летнего сезона. Данилову стало неловко. Ему показалось, что Екатерина Ивановна взглянула на него с неким укором. Возможно, ей было известно о его разладе с Наташей. И Данилов почувствовал, что ему очень хотелось, чтобы Екатерина Ивановна заговорила с ним о Наташе. Все он

лгал себе! Теперь он понимал, как недоставало ему в последние дни Наташи! Пусть он ей не нужен, но она ему — нужна! И не ему одному, а и его музыке. Ведь и тогда, в НИИ, он играл хорошо оттого, что в зале была Наташа...

Весь следующий день Данилов был грустный и рассеянный. Чудецкий с Переслегиным удивлялись ему.

— Что с вами, Владимир Алексеевич? — говорил Чудецкий. — Все шло удачно, а нынче... У нас ведь через день премьеры...

А у Данилова и на самом деле альт и смычок чуть ли не валялись из рук.

— Я устал, — сказал Данилов.

В театре он отыграл спектакль, приехал в Останкино и в темени возле своего дома увидел Наташу.

— Здравствуй, — сказала Наташа. — Мне необходимо с тобой поговорить. Даже если я и разговор со мной тебе в тягость, все же я прошу выслушать меня...

— Здесь холодно, — сказал Данилов.

Они поднялись к Данилову.

— Володя, — сказала Наташа, — ты можешь считать, что я навязываю тебе в друзья или любовницы, ты можешь презирать меня, это ничего не изменит. Я не могла не увидеть тебя и не выяснить все до конца. Я не стыжусь того, что пришла.

Данилов молчал.

— Нужна я тебе или не нужна, — сказала Наташа, — но я без тебя не могу. Если ты не любишь меня, скажи об этом, я уйду от тебя. И навсегда.

— Мне без тебя было плохо, — сказал Данилов.

Данилов почувствовал, что хотя вчера и сегодня он печалился о Наташе, мечтал о встрече с ней, обида на нее все же не прошла совсем, напротив, теперь она ожила, и его слова значили не только то, что ему без Наташи было плохо, но что ему вообще было плохо, а она, Наташа, этого не ощутила. «Зачем это я? — подумал Данилов. — Ведь все это мелкое и лишнее».

— Я нужна тебе? — спросила Наташа.

— Да, — сказал Данилов.

— У меня нет никого другого. Ухажеры были всегда, я позволила одному из них в тот вечер проводить меня, я чувствовала, что ты придешь в наш переулок, вот я и позволила досады и по женской глупости... Ты прости...

— Мы и не договаривались держать друг друга на цепи. И ты извини меня за обидные слова и невнимание к тебе... Но у меня вся жизнь сейчас на лету.

— Я бы хотела, чтобы все твои обиды, все твои хлопоты стали моими, чтобы тебе стало легче оттого, что я рядом, но я боюсь подойти к тебе. Может быть, все и не так, но я чувствую, что ты скрываешь от меня нечто важное, оттого-то я мучаюсь и мы с тобой не откровенны до конца, а что хорошего может выйти у нас так?

Данилов молчал, был растерян.

— Прости, — сказала Наташа, — возможно, я слишком многого хочу и обидела тебя. Да и какое право я имею на твою откровенность?

Данилов поначалу был намерен произнести легкие слова, возможно и отшутиться, с тем чтобы все у них с Наташей осталось так, как оно было прежде. Но, взглянув на Наташу, он понял, что это невозможно.

— Да, — сказал Данилов, — у меня есть тайна. Открыть ее тебе — и никому — я не могу. И никогда, как бы ни сложились наши отношения с тобой, я не смогу открыть ее.

В глазах Наташи были испуг, нежелание верить ему. «Нет, нет, нет! Все ты выдумал! Этого не должно и не может быть!» — казалось, хотела выкрикнуть она.

— Так все и есть, — сказал Данилов. — Но тайна эта касается только меня, она связана с моим происхождением и нынешним моим положением. В ней нет ничего подлого, бесчестного... И на тебя не упал ни один отсвет от нее.

На всякий случай Данилов добавил:

— Тайна эта не связана с каким-либо вредом отечеству.

Данилову показалось, что его последние слова отчасти успокоили Наташу. Да и легко ли было бы ей узнать, что он какой-нибудь агент или шпион!

— Я открыл тебе значительно более того, что я мог открыть, — сказал Данилов. И подумал: «Я ничего не мог открывать! Мне еще зачтется! И как!» — Это оттого, что наш разговор с тобой последний.

Наташа сделала некое протестующее движение.

«А не подумает ли она теперь, что я сумасшедший? — пришло на ум Данилову. — Пусть бы и подумала, — решил Данилов, — лишь бы легче отошла от меня...» Впрочем, тут же сама возможность того, что Наташа заподозрит его в помешательстве, показалась Данилову непринемлемой.

— При этом, — сказал Данилов, — я прошу не считать меня больным душою. Я здрав рассудком. Хотя, конечно, эти мои слова еще ничего и не доказывают...

— Я знаю, что ты не болен, — тихо сказала Наташа, и Данилов понял, что она говорит правду.

— Я оттого тебе сказал про последний разговор, что теперь, после моих слов, наши отношения с тобой стали бы настолько серьезными, что продолжать их не было бы возможности. Теперь и беды бы стали слишком большими. Со мной возможны странные явления, в любую минуту, да вот хоть бы и сейчас, я могу исчезнуть. И навсегда. Но и не это главное. Главное, что человек, который свяжет свою судьбу с моей, сразу же подвергнется опасностям, какие я ни отвести, ни предотвратить не смогу. И тебе стало бы хуже, и я дрожал бы за каждый твой шаг. Никаких выгод мое положение не дает, напротив, тебя ждали бы напасти, болезни, а возможно, и гибель. Я мечтал, чтобы у меня были сын или дочь, но я не могу иметь ни сына, ни дочери. Моя тайна дала бы их жизни свой поворот.

— Бедный Данилов, — сказала Наташа.

— Нет, я не бедный. Я знаю, что мне дано и чего мне ждать. Но увлечь за собой чужую жизнь и опалить ее я не хочу.

— И что?

— То, что теперь нам следует расстаться.

— Сейчас я нужна тебе?

Данилов промолчал.

— Я буду тебе в тягость, буду обузой?

— Не знаю... — сказал Данилов.

Он и вправду не знал.

— Ты можешь разлюбить меня, я пойму это и уйду. Но сейчас хоть на неделю, хоть на день я тебе нужна? Скажи, что есть на самом деле, оставь в стороне все иные соображения и заботы о моей судьбе, я прошу тебя.

— Нужна, — сказал Данилов.

— Я буду с тобой хоть эту неделю, хоть этот день.

— Наташа, я не могу...

— Ты меня ничем не испугал. Я принимаю все твое. Напасти, болезни, погибель — что они мне, если я с тобой и тебе нужна? Если

что-то будет мне угрожать, значит, что-то угрожает и тебе. Если на тебе вина, если ты закабален тяжким обязательством — я возьму на себя твою вину и твои обязательства. Если нужно заплатить жизнью, я заплачу. Дай мне хоть часть своей ноши. Я знаю, что для тебя музыка, я не могу быть с тобой здесь на равных, но я постараюсь, чтобы мой интерес к твоей музыке не стал для тебя обременительным. Я сделаю все, чтобы не мешать твоей музыке. Не думай, я не стану лишь тенью и прислугой, ты бы сам заскучал со мной, я ни в чем не отрекюсь от себя, но ведь тебе нужна любовь, опора, вот я и буду тебе любовью и опорой:

— Спасибо, Наташа, — сказал Данилов. — Коли так... Но обещать не исчезнуть я не могу...

— Я много наговорила... Но верь всем моим словам. А если ты решишь, что я навязываю себя тебе, что со мной тебе не станет легче, прогони меня.

Теперь Данилов был убежден в том, что им с Наташей следует расстаться навсегда. Он обязан был уберечь ее от своей судьбы. Но ни слова Данилов не произнес. А если бы и произнес — разве мог бы он что-либо изменить? Сейчас Наташа была сильнее его.

— Ты хоть сегодня меня не гони, — робко улыбнулась Наташа.

— Сегодня не прогону, — сказал Данилов.

30

Пришел день выступления.

Наташа отутюжила Данилову фрак и брюки, черную бабочку гладил он сам. Есть Данилов ничего не мог, хотя и был ему предложен горячий завтрак. Выпил лишь кофе.

Звонил Переслегин, нервно спрашивал, получил ли Данилов отгул в театре. Звонил Чудецкий, тоже нервничал, советовал Данилову привести в клуб знакомых, настроенных благожелательно к нему, Данилову, и к музыке, а то вдруг зал окажется пустым. Вчера была суматоха, и сегодня ей предстояло быть. Как и в театре, когда всем кажется, что ничего не готово, еще бы день или два, а теперь все ужасно, и актеры плохи, и декорации вот-вот рассыплются, и провал несомненен. Но суматоха и была Данилову хороша. Надо было действовать, репетировать, нестись куда-то, спорить, ругаться, отчаиваться на мгновения: «Ах, пропади все пропадом!» — и тут же опять играть, играть, чистить ботинки, стричь бороду, звонить знакомым, отговаривать их покупать цветы, «какие еще цветы, обойдетесь порченными яблоками». Нетерпение жгло Данилова. Он был бодр, энергичен, чувствовал себя хорошо, забыл о болезнях и страхе смерти.

В пять часов Данилов поехал в клуб медицинских работников. Наташа полагала прийти туда вместе с Екатериной Ивановной после работы. Данилов почувствовал, что голоден, заскочил в чебуречную на Сретенском бульваре. Чебуреки были скверные. Но Данилов понимал, что эти чебуреки и бульон с фрикадельками, как и все сегодняшнее, он запомнит навсегда. В сквере Данилов оглядел афиши на тумбе. На Переслегина с Чудецким бумаги не хватило.

«Как бы хлопобуды не отменили концерт!» — явилось вдруг Данилову. — Я им тогда покажу!» — грозно пообещал он. Но ехал в клуб в тревоге.

— Не отменили? — не успев поздороваться, спросил у Переслегина и Чудецкого.

— С чего вы вдруг? — удивились те.

— Нет, я так... — сказал Данилов.

Однако он не успокоился. Осмотрел инструмент — целы ли струны. И позже альт не выпускал из рук. Сходил на сцену, все оглядел тщательным образом, словно искал пластиковую бомбу.

Потихоньку стала приходить публика. Лица в фойе поначалу Данилову были незнакомые, видно медики. Но потом появились и известные личности. Преподаватели консерватории, хоть и не вели когда-то занятий в классе Данилова, теперь с ним раскланялись. Четыре музыканта с именем. Музыкальные критики. Всех их у дверей встречали Чудецкий с Переслегиным, стало быть, они их и приглашали. Пришел и еще один человек, вызвавший беспокойство композитора и дирижера.

— Вы его не звали? — спросили они у Данилова.

— Нет, — сказал Данилов. — А кто это?

— Зыбалов, — поморщился Переслегин. — Музыкальный критик и фельетонист...

— Ну и чудно, — сказал Данилов.

Крупный мужчина Зыбалов глядел на всех мрачно. «Да он прямо как фея Карабос, — подумал Данилов, — на дне рождения Спящей...» То, что Зыбалов музыкальный критик, Данилов не знал, но он видел его в очереди к хлопобудам. Чудецкий с Переслегиным ждали еще кого-то, но те пока не приходили. Оно и естественно. Самые необходимые люди всегда опаздывают. Или вообще не являются.

Хотя и было глупо, стыдно даже с альтом в руке стоять в фойе, однако Данилов стоял, пока не пришли его знакомые. Всего человек сорок. Почти все, кто был в последний раз у Муравлевых. И иные. Конечно, пришла Наташа с Екатериной Ивановной, Данилов не знал, как представлять Наташу приятелям. Однако Екатерина Ивановна очень быстро перезнакомила их с Наташей, и Данилов понял, что о Наташе все уже знали или догадывались. Да и не Наташей с Даниловым все были как будто бы заняты. Среди прочих пришла давняя знакомая Данилова Лена Буранова, концертмейстер из Гнесинского, она и отвлекла внимание. Буранова ждала ребенка, да и не одного, если судить по ее видимому состоянию, а двух. Теперь все принялись придумывать близнецам имена, причем мужские. «Да идите вы! — говорила Буранова. — У меня будет девочка Марьяночка...» Данилова просили играть потише, без страстей, а то вдруг Буранова взволнуется и прямо в зале родит, одно хорошо — то, что Данилов играть взялся именно в клубе медицинских работников. Данилов отшучивался, однако был доволен легкомысленным ходом разговора.

Но вот все, кого Данилов ждал, пришли, он побежал за сцену. Кто-то крикнул ему вдогонку: «Банкет-то где будет?» Данилов обернулся с намерением ответить и увидел входящего в клуб румяного злодея Ростовцева. Данилов ничего не сказал о банкете, ушел.

Люди уже сидели в зале, хотя многие толпились еще возле буфета. Кроме симфонии Переслегина, оркестр должен был исполнить Седьмую Прокофьева. Поначалу Переслегиным хотели закончить концерт, но композитор заявил: «Нет!» По мнению Переслегина, Прокофьев мог спасти репутацию оркестра и после провала его симфонии. «Ну и пусть, — решил Данилов. — Быстрее отыграю. И ладно».

Объявили симфонию. Данилов вышел в тишину. Как он играл и что он чувствовал, позже вспоминал он странным образом. Какими-то отрывками, видениями и взблесками. А ведь он привык к сцене, выступал в залах куда более вместительных, чем этот, сопровождал певцам театра в составе ансамблей или просто играл в секстете, но тогда он выходил на сцену спокойный, видел и ощущал все, что было вокруг, — каждую пылинку на досках пола, каждый вздох, каждый кашель в зале. Здесь же он был словно замкнут в себя, он сам себя не слышал. То есть слышал, но так, как слышит себя человек, торопящийся сказать, выкрик-

нуть людям что-то важное, необходимое, разве существенно для него сейчас, красиво ли он произносит звуки, все ли его слова правильны? Данилов и не думал теперь выйти из состояния, в каком оказался, и оценить свой звук как бы со стороны, он просто звучал, и все. Снова альт Данилова, как и Данилов, находился в борьбе, в любви, и в сладком разрыве, в мучительном согласии со звуками оркестра. Он и сам был как оркестр и не желал смириться с металлической поступью труб и ударных, наступавших на него то в марше, то в каком-то визгливом зверином танце, и, заглушенный, исковерканный было ими, возникал вновь и жил, звучал, как жил и звучал прежде. А потом, оказавшись вдруг в нечаянных вихрях скерцо, бросался за сверкающим полетом скрипок, исчезал в их звуках, словно бы купаясь в них, озорником выскакивал вперед, сам манил скрипки куда-то, и тут все стихало, и только альт Данилова, только сам Данилов утончившимся и потеплевшим звуком то ли печалился, то ли радовался в долгожданном покое и сосредоточенности. Но то были короткие мгновения. И снова толпа, Земля, вселенная захватывали Данилова, и ему было хорошо и горько и хотелось плакать. И при всем при этом всегда валторна и кларнет — прошлое и второе «я» — существовали рядом с альтом Данилова, валторна порой грустила, вздрагивала как-то или что-то предсказывала, а порой звучала светло, будто исчезнувшая свежесть юных лет, кларнет был нервен, вцеплялся в мелодию альты, рвал ее, грозил и мучался, и скрипом тяжелой черной двери, впускающей страшного гостя, кларнета опекал контрабас. Потом альт, подавленный памятью и тем, что было в нем, но чему он не мог или не желал дать свободу, выслушивал ехидные голоса, в тягостном напряжении как бы приходил в себя, снова к нему возвращались ярость, жажда любви и жажда жизни, и какой бы скрежет, какие бы обвалы губительных звуков, какие бы механические силы ни обрушивались на него, он пробивался сквозь них, летел, неся дальше иногда суетливо, в лихорадочном движении оркестра, иногда будто сам по себе и опять ненавидел, и опять страдал, и опять любил, движение все убыстрялось, становилось мощным, яростным, ему предстояло быть вечным, но тут — все. Ноты Переслегина кончились, смычок замер и отошел от струн.

Все стихло. И навсегда.

Потом все ожило. Публика аплодировала шумно, благожелательно. Даже цветы бросали на сцену. Данилов раскланивался, дирижер Чудецкий улыбался, пожимал Данилову руку, показывал публике на Данилова; мол, он виноват. Данилов, в свою очередь, показывал на Чудецкого, на валторниста, на кларнетиста, на оркестр. Отыскивали автора, привели. И ему хлопали.

— Неужели все? — спросил Данилов Переслегина.

— Но ведь, Владимир Алексеевич, — как бы извиняясь, сказал Переслегин, — звучало сорок четыре минуты. Куда уж больше!

— Нет, я не про это. Звук у нас как-то обрывается на лету...

— Он не обрывается, — горячо сказал Переслегин. — В том-то и дело. Он не обрывается и не замирает, он должен звучать дальше, вы разве не чувствуете?

— Вы так считаете? — задумался Данилов.

В комнате за сценой Переслегин обнял Данилова, тут же отпрянул от него, сказал серьезно:

— А ведь вы сыграли большее, нежели то, что я написал... Ведь что-то мощное вышло! Ужасное, гордое, высокое...

— Как же я мог сыграть большее, чем у вас есть? — удивился Данилов. — И играл не я, а оркестр, я солировал...

— Вы не спорьте со мной, — сказал Переслегин. — Я все слышал, хоть и дрожал в уголке... На репетициях у вас не так выходило... Ну, впрочем, это и понятно...

Данилов в сомнении и так, чтобы другие не видели, посмотрел на браслет. Нет, он был на сцене вполне человеком. К ним подошел большой музыкант, поздравил и заявил Переслегину:

— Вы, сударь, этак всю музыку перевернете...

— Да что вы! — чуть ли не взвился Переслегин — Отчего же! У меня самая что ни на есть традиционная музыка... Ну отразились какие-то современные ритмы и голоса, вот и все...

— Нет, сударь, — покачал головой большой музыкант, — это вам так кажется. — Тут он поклонился Данилову. — И к вашей игре, молодой человек, надо привыкнуть.

Он сослался на то, что его в фойе ждет дама, и ушел.

— Ну да, привыкнуть! — произнес расстроено Переслегин. — Вежливые слова.

Забегал Чудецкий, спросил, откуда Данилов с Переслегиным будут слушать Прокофьева. Данилов сказал, что из зала. Однако чувствовал, что ничего уже не сможет слушать сегодня, он с удовольствием отправился бы домой, но нехорошо было бы перед музыкантами. Он их любил. дождался третьего звонка и тихонько прошел в зал. Альт оставил за сценой, теперь-то было можно, теперь-то что! Сидел в зале на жестком стуле и приходил в себя. Будто возвращался откуда-то из недр или из высей. Уже не ощущал усталости, а возбуждался все более и более и хотя чувствовал, что сыграл хорошо, теперь желал исполнить симфонию Переслегина снова, тут же бы и исполнил, если б была возможность. Да и не один бы раз, а много раз, пока не утолил бы жажду и не успокоился. Он стал напевать свою партию. На него зашикали в темноте.

— Извините, -- пробормотал Данилов, очнувшись.

Оркестр уже играл Прокофьева. Данилов пытался слушать приятных ему молодых людей, да и Прокофьева он любил, но ничего не смог с собой поделаться. «Если бы меня сейчас снова выпустили на сцену!» — страдал Данилов. А тут уж и Прокофьев кончился.

Данилов побежал за сцену поздравить артистов оркестра и Чудецкого, но слова путного не мог найти. Так, бормотал что-то радостное. Впрочем, никто, казалось, путных слов и не ждал. Чувства были нужны, и все. А чувства у Данилова были.

Потом все стали гадать, а не поехать ли теперь куда-нибудь да и всем вместе. Данилов искал Переслегина, однако тот исчез. Или забился куда-нибудь в угол. В фойе стояли приятели Данилова, они опять принялись говорить ему, как он был хорош на сцене с инструментом и с бабочкой, хоть пиши с него предметную картину. Муравлев все же упрекнул Данилова в недостаточной силе страстей — Буранова хоть и была взволнована его игрой, однако не родила.

— А где Буранова? — спохватился Данилов.

Буранову уже отправили домой в автомобиле.

— Ну так как, к нам, что ли? — спросил Муравлев, потирая руки. — Жена там кое-что приготовила...

— А может, к Володе? И у Володи есть чем угостить... — робко произнесла Наташа.

— Действительно, а давайте ко мне! — сказал Данилов.

Чтобы не обижать жену Муравлева, пошли на компромисс. Муравлев был послан за угощениями и сладостями домой. «Рюкзак возьми, рюкзак!» — молила жена его Тамара, а вся компания на трамваях покатила к Данилову. Сидели за полночь. Данилов был в возбуждении, все вска-

кивал, бегал на кухню, носил какие-то стаканы, какие-то салаты на тарелках, что-то говорил кому-то, мне в частности, и сам слушал всякие слова. Сказаны ему были и слова серьезные о музыке, о его игре, и хотя в компании все были слушателями-дилетантами, Данилову эти слова показались справедливыми и точными. А потом сразу возбужденность Данилова спала, он почувствовал, что сейчас же заснет. Сквозь дрему Данилов слышал чьи-то споры, чей-то смех, стеклянные и металлические звуки посуды, журчанье дамских бесед, милый голос Наташи. Ах, как хорошо ему было! Данилов открыл глаза. Екатерина Ивановна танцевала с Еремченко, снег летел за окнами, Муравлев, размахивая руками, что-то доказывал Костюриной. А рядом стоял Ростовцев. «Откуда он здесь? — удивился Данилов. — Зачем?» Но тут же Данилов заснул. И когда заснул, увидел, что выходит он на сцену клуба медицинских работников. И услышал свой альт.

31

Утром снег растаял.

Данилов, зевая, стоял у окна, потягивался.

В квартире его было чисто, стол поставлен на место, посуда вымыта. Лишь в глиняном горшке на окне в черноземе остался пепел. Видимо, в споре Муравлев тыкал сигаретой в кактус.

Не было и Наташи. Данилов позвонил ей, но, наверное, Наташа уже ушла в свои лаборатории.

Да и играл ли он вчера в клубе медицинских работников? Естественно, играл. И в клубе, и по дороге домой, и во сне. Вот и цветы, нарциссы и лилии стояли в хрустале. Были вечером в руках у Данилова и розы, но он их сразу же раздал дамам.

Данилов спустился на лифте к синим почтовым ящикам, взял газеты. В Анголе бились повстанцы, Карпов мучал Полугаевского, Мальцев по системе «гол плюс пас» набрал двадцать семь очков и вышел на четвертое место. Просмотрев газеты, Данилов несколько опечалился. Ничего он как будто бы и не ждал от газет, однако выходило, что ждал. Ну ладно «Спорт», там и Мальцеву дали мало строк, но вот «Культура»-то или «Московская правда» могли ведь уделить симфонии Переслегина и ее исполнителям хоть абзац. Хоть строчку в «Новостях культурной жизни». А не уделили. «Чем я занимаюсь?» — возмутился Данилов. — И о знаменитостях-то газеты сообщают не сразу, а тут искать про себя, да еще и на следующий день!..» Да и подумаешь, какое событие произошло вчера в клубе медиков! Дрянь, стало быть, а не событие, если Клавдия не сочла нужным явиться в клуб. Данилов вспомнил, как Клавдия рвалась к синему быку...

Внизу на улицах неслись машины, торопились люди, тащили сумки и портфели, ветры мели желтый коммунальный песок по скользким тротуарам, подгалкивали озабоченных граждан — к работам, к службам, к занятиям. Что изменила в судьбах, в душах этих людей музыка Данилова, что она вообще могла изменить? Видимо, ничего... Данилов был утомлен и пуст душой. Музыка стала противна Данилову.

В стеганом халате Данилов сидел на диване. Исходил озябшей душой. И музыка ему была не нужна, и сам себе он не был нужен. Никто не был ему нужен.

Зазвонил телефон.

— Здравствуй, Володя, — сказал Земский, — был, был я вчера на твоём выступлении!

— А была ли нужда, Николай Борисович, коли музыка Переслегина находится в противоречии с вашей?

— А я любопытный. И потом, ведь я пока терпим к иным направлениям. Пусть себе дудят. А ты сыграл сильно.

— Спасибо, Николай Борисович.

— Сильно и дерзко. Будто спорил с кем-то. Не со мной?

— Нет, Николай Борисович, я не спорил с вами. Просто играл, и все. Как мог...

— Теперь ты должен играть не как можешь, а как не можешь. В крайнем случае ты ведь все равно сыграешь как можешь. Ты понял меня?

— Я понял, Николай Борисович.

— Играй, играй, иди дальше... Будешь большим артистом, — сказал Земский. — А потом дойдешь до черты. Спросишь: «А дальше куда?» И некуда дальше. Шагнешь в невозможное, а из невозможного-то прибредешь к тишизму... Вот ведь как... Я тебя не пугаю, не расстраиваю, я без зла... Кстати, много ли гармонии было во вчерашней музыке? Играл ты блестяще, но гармония-то где?

— Я стремился к гармонии.

— Ну и что? — сказал Земский.

— А ваши теории и мечты, Николай Борисович, разве не поиски гармонии, пусть и своеобразной?

— Володя, — вздохнул Земский, — юн ты еще и свеж... Много тебе еще придется по мукам ходить...

На этом Николай Борисович закончил разговор.

Звонок Земского взбудрил Данилова. «Хоть одного-то, но задела наша музыка! Так он и сказал, — вспоминал Данилов, — играл ты сильно...» А ведь Земский — ценитель строгий! Данилов даже встал, в возбуждении ходил по комнате. Теперь он мечтал о новых звонках, в особенности надеялся услышать Переслегина и Чудецкого. «Нет, — говорил себе Данилов, — все же я молодец! Пусть в мире ничего не изменилось. Оно и не могло измениться! Но вдруг что-то изменилось во мне? В музыканте Данилове? Я играл так, как не играл раньше. И на простом альте. Отчего же мне хоть сегодня не быть довольным собой?»

«А что же Наташа мне даже и записки не оставила?» — подумал Данилов. Теперь он досадовал на то, что Наташа уехала вместе с гостями. Данилов понимал, что так оно, наверное, и к лучшему, что Наташа справедливо полагает жить и сама по себе, а не только при нем. Но сейчас Данилов почувствовал себя чуть ли не обиженным. Отчего же в сию минуту Наташи не было рядом?

Зазвонил телефон.

— Здравствуйте, это Валентин Сергеевич.

— Какой Валентин Сергеевич? — спросил Данилов и тут же понял, что растерянностью выдает свою слабость.

— Вот вы и сообразили, какой именно.

— Здравствуйте, — сказал Данилов. — Чем обязан?

— Именно мне вы ничем не обязаны... Так, если одной мелочью... Да что о ней говорить... И сейчас-то я вам звоню вовсе не по делу... Дело-то у вас впереди... Ох и большое!.. Я так... И для собственного успокоения. И для того, чтобы вас из некоего пагубного заблуждения вывести... Мне бы и звонить не следовало, настолько это разговор частный, я и нагоняй, возможно, получу, но вот уж не утерпел...

— И что же? — сказал Данилов.

— Вы ведь теперь торжествуете...

— С чего бы?

— Торжествуете! Этак сыграли! И потому еще торжествуете, что вам кажется, будто вы сыграли вчера как обычный житель Земли. Будто вы не воспользовались никакими нашими возможностями. Действительно, вы пластинку браслета не сдвигали. Ну и что? Что изменилось-то?

Ведь вы сами должны понять — вы весь были вчера в музыке! Весь Данилов! И тот, что существует на Земле как бы человеком, и тот, что является демоном на договоре. Вся ваша натура вчера звучала и с историей своей и с опытом житейским. Где уж тут на равных-то!

— У вас все? — спросил Данилов.

— Конечно, я личность мелкая... — захихикал Валентин Сергеевич, — да и не мое это дело — соваться в музыку... Но вот не утерпел... Слова мои вы можете назвать пустыми, мол, он из неприязни или от зависти... Пожалуйста!

— Вы бы лучше инструмент вернули, — сказал Данилов.

— Какой инструмент?

— Ворованный. Альбани.

— Какой Альбани? Нет у нас никаких Альбани! — взвизгнул Валентин Сергеевич. — В милицию обращайтесь! В милицию! Какие еще Альбани?

И неожиданный, чуть ли не базарный визг Валентина Сергеевича сменился короткими гудками с неким присвистом.

Все возвращалось. Стало быть, никуда не исчезал старательный порученец Валентин Сергеевич. Стало быть, лишь на короткий срок, неизвестно, с какими целями, оставили его, Данилова, в покое, а теперь напомнили ему о том, кто он есть и что его ждет. Отчаяние забрало Данилова. Как все некстати, сокрушался он. Впрочем, а когда было бы это кстати? Но теперь-то Данилову казалось, что месяца два назад он бы легче перенес назначение ему времени «Ч». Да что говорить...

Все же вскоре Данилов стал уговаривать себя не хныкать и не отчаиваться, а жить дальше хоть час, хоть день, вдруг все и обойдется. Ему теперь казалось, что Валентин Сергеевич не слишком нахально или даже не слишком уверенно вел себя, раз обратился к нему с помощью городской телефонной сети. Данилов пытался отыскать в самом факте звонка некий смысл. «А может, это и в самом деле, — думал Данилов, — частный звонок? Не утерпел Валентин Сергеевич, вот и выговорился». Как бы то ни было, но Валентин Сергеевич, эта тварь мелкая, был представлен именно к нему.

«Но что он лезет ко мне с музыкой? — обиделся вдруг на Валентина Сергеевича Данилов. — Какое его собачье дело?» Мысли о времени «Ч» сразу рассеялись. Данилова стали мучать сомнения: а вдруг Валентин Сергеевич прав? Вдруг и верно вопреки своим упованиям и постановлениям он, Данилов, оказался в музыке с людьми не на равных? Однако, поразмыслив, Данилов склонился к тому, что прежней договоренности с самим собой он вчера не нарушил. Да, наверное, его способности, его нынешние умение и понимание музыки были в явной связи с его жизнью, его судьбой, с тем, что он перечувствовал, что открыл для себя и в себе. Но ведь и у любого земного любителя или профессионала существует подобная связь. К тому же на свете встречались люди с куда более сложной судьбой. С куда более богатыми возможностями, нежели были у Данилова. Тут они могли дать ему сто очков вперед. А если разобраться всерьез, музыкальные способности, какие Данилов получил при рождении, совсем не сделали его на Земле вундеркиндом. Предки Данилова по отцовской линии к музыке относились без интереса. Уж если и оказался младенец Данилов при слухе, то из-за матери. Женщины земной. И позже, на Земле, он сам, без помощи всяких чужих сил воспитывал в себе музыканта. Тут Валентин Сергеевич может и помолчать. С людьми Данилов в музыке не шутил и своей вчерашней игрой не ввел их в заблуждение. Вот про Альбани он, наверное, зря вспомнил в разговоре с Валентином Сергеевичем. Требовать у жулика ворованный инструмент было делом пустым и жалким. Но, может, и вправду не было у Валентина Сергеевича Альбани, а следовало на-

помнить об инструменте милиции? Да что напоминать! Ведь на днях Данилова вызывали в милицию, а он не пошел. Сегодня же надо было идти!

Однако Данилов не пошел в милицию.

Все ему стало безразлично. От всего хотелось отдохнуть. От музыки в первую очередь. Пошла бы она куда подальше! Все теперь казалось Данилову суетой и бессмысленностью. Надо же, возрадовался! В свои-то тридцать пять лет вылез на сцену солистом, сыграл пусть и не плохо, ну и что? Дальше-то что? Дальше?

Впрочем, какой смысл было думать о будущем, коли позвонил Валентин Сергеевич?

Данилов сидел разбитый. Мучением было теперь для него думать о том, что он когда-либо опять возьмет инструмент в руки. Но взял альт и отправился в театр. Отыграл и дневной и вечерний спектакли. Когда играл, уже и не вспомнил об утренних своих мыслях.

Коллеги Данилова не говорили о вчерашнем концерте. Да и откуда они могли знать о событиях культурной жизни медицинских работников! Впрочем, виолончелист Туруканов в последнем антракте поинтересовался, хорошо ли платят медики, и был чуть ли не расстроен, узнав, что Данилов, как и оркестранты, играл задаром.

— Ну, Данилов,— покачал головой Туруканов,— вы же не мальчик...

— Не мальчик,— согласился Данилов.

— Ну вот,— добавил Туруканов,— а эти доктора, особенно зубные, деньги вилами гребут...

После спектакля Данилов запер инструмент в несгораемом шкафу, дома Данилову альт был не нужен.

32

А назавтра все пошло, как и в прежние дни. Обнаружилась Клавдия Петровна со своими претензиями. В театре Данилова торопили с выпуском стенной газеты «Камертон». Данилов уже перепечатал заметки о стажерах, прежде всего о меццо Черепниной, получил от трубача Тартаковера дискуссионную статью об ансамблях и солистах, сам описал осенние сахалинские гастроли, но вот с передовой дело у него не шло. Свирели какие-то вились над бумагой, а литавры так и не звучали. Данилов звонил мне, уговаривал сочинить передовую, просил не погубить. Но что я мог? Пришлось Данилову обратиться к помощи отрывного календаря. А за газетой пошли семинары, вновь ожила вечерняя сеть. Данилов хлопотал и по хозяйству, он не хотел вынуждать Наташу таскать продукты в останкинскую квартиру. Сам иногда варил перцы с любительской колбасой.

Естественно, что и спектакли в театре шли один за другим. На основной сцене и на торжественной. Данилов уже не испытывал острой ненависти к музыке. Однако порой она ему была скучна. Иногда Данилов ощущал облегчение. Думал: «Не будет меня теперь тяготить симфония Переслегина, я ею разрешился...» Он опять забыл о Валентине Сергеевиче. Только однажды вдруг Данилова тихонечко что-то толкнуло, будто плеча коснулось. И защемило тогда: «Неужели все? Неужели я больше никогда ничего не сыграю?» Потом прошло.

Встречался Данилов с Переслегиным и Чудецким. Переслегин не желал больше писать, обзывал себя бездарью. «Ну как же,— возражал Чудецкий,— публика приняла вашу вещь хорошо, да и Константин с Вегенером вас хвалили». «Разве хвалили?— оживился Переслегин.— Но я тут при чем? Это вы с Даниловым сделали из моей бумаги музыку! Разве у меня альт так звучал?» Для альтя Переслегин вообще не наме-

рен был теперь писать, он говорил, что альт Данилова испугал его. «Это же царь, а не инструмент, куда мне до его звуков!» Чудецкий посмеивался, уверял, что через месяц Переслегин отойдет и возьмется писать именно для альты. От Чудецкого Данилов узнал, что большие музыканты высказались об его игре с похвалой. Мол, он, Данилов, удивил. Показал, какие у альты возможности. Словно бы напомнил о чем-то забытом. Или, наоборот, предсказал будущее. Однажды и Клавдия Петровна явилась к Данилову с претензией — как это он не пригласил ее в клуб медиков? «Да что было приглашать?» — удивился Данилов с некой долей притворства. «Нет, — сказала Клавдия, — я на тебя в обиде, о вас говорят, а я не была...»

Чудецкий говорил, что, наверное, программу удастся повторить. Если не в клубе медиков, то во Дворце культуры мукомолов. А может быть, и там и там. Тут явился возбужденный Переслегин и стал повторять неистово: «Музыку надо писать без оглядки! Без оглядки! Вы, Данилов, играли дерзко, без оглядки! И музыку надо писать без оглядки!» «Что значит без оглядки?» — спросил Данилов, хотя и сам как-то произносил подобные слова. «А то, что без оглядки!» — сердито сказал Переслегин, как будто бы даже обидевшись на Данилова. И быстро куда-то ушел.

Позже Данилов ходил и повторял про себя: «Без оглядки! Естественно, без оглядки!» Впрочем, без оглядки на что? Может, на что-то и следовало иметь оглядку?

Тут проявил себя критик Зыбалов, выступивший в одной газете, не самой интересной и важной, но все же из тех, что клеют на витринной фанере. Сочинение Зыбалова — или «реплика» — было небольшое, размеры его как бы подчеркивали незначительность концерта в клубе медиков. Название оно имело укоризненное — «Кому предоставили сцену?». Зыбалов напористыми, ехидными словами отчитывал администрацию клуба медиков, безответственно относящуюся к общественному богатству, а именно к сцене и залу. Ей, администрации, пестовать бы и показывать на сцене народные таланты, а она дала пространство и время неким предприимчивым музыкантам, у которых за душой ничего нет. Мимоходом упоминалось сомнительное и претенциозное сочинение некоего Переслегина. Вызывала тревогу Зыбалова культура, в том числе и общая, дирижера Чудецкого. А солист Данилов не был и назван.

Переслегин сразу сник, Чудецкий улыбался, говорил: «Этого следовало ожидать», уверял, что все равно программу оркестр повторит.

Данилова расстроило отсутствие его имени в реплике. Пусть бы и выругали его, но хоть бы упомянули. А так выходило, что он нуль, даже не вызвал и тревоги Зыбалова. На следующий день поутру Данилову позвонил пегий секретарь хлопобудов.

— Владимир Алексеевич, — сказал секретарь, — вы не передумали?

Данилов был намерен наругать секретарю и сейчас же учинить что-либо хлопобудам, но он сдержал себя.

— В последние дни, — мрачно сказал Данилов, — у меня не было времени на подобные раздумья.

— Полагаю, вы оценили деликатность Зыбалова — вашего имени нет в статье.

— Очень признателен.

— Мы ведь и дурного пока вам ничего не причинили, а только даем понять...

— Я и тогда вас понял.

— Но все могло быть иначе. И ваше имя могло бы теперь громко звучать.

— Сразу и громко?

— Ну а что же? Хотя бы в музыкальных кругах... А сейчас мне кажется, что упования Чудецкого повторить программу выглядят наивными...

— Вы уверены?

— Владимир Алексеевич, вы могли бы отметить, что сегодня мы вам совсем не хотим угрожать или там действовать на нервы, мы просто напоминаем о себе.

Пегий человек действительно говорил вежливо, не дерзил.

— Мы ведь вам пока совсем ничего не напортили, так, мелочи, мы решили подождать,— добавил пегий человек, при этом как бы с любовью к Данилову.

— Хорошо,— сказал Данилов.— Я подумаю.

— Когда вам позвонить?

— Через два дня,— сказал Данилов и повесил трубку.

И он решил пока подождать, а не пускаться в поход на хлопобудов. На будохлонов! Смелые, смелые, а его, видите ли, пощадили. Затем выместили зло — или проявили свои возможности — на неповинных Чудецком и Переслегине.

Наташа уже ушла на работу и хорошо, что не слышала разговора. Совсем к Данилову Наташа не переезжала. Не только потому, что не было смысла терять ее площадь, но и потому, что она не хотела перевозить из Хохлов в Останкино швейные машинки — электрическую и ручную. Да и какво было сойтись в однокомнатной квартире альту и швейным машинкам!

Нынче опять лег снег, температура была неожиданно минус восемь, Данилов решил покататься на лыжах. У него было часа три. Снег лежал такой, какого в эту зиму вовсе не было. А ведь дело шло к весне. На этот снег и наступать было приятно, он скрипел.

Данилов прошел километров пятнадцать вдоль заборов Останкинского парка, устал. Было бы со временем посвободнее, он отправился бы в любимые Сокольники. В здешнем парке было тесно, и прямо по лыжне бродили пенсионеры. Но вот снег был хорош и в Останкине. Похоже, что в последние три зимы он так ни разу не скрипел. Когда-то, будучи молодым и беспечным, Данилов ради удовольствия устраивал в Москве прекрасный снег. С сугробами и морозцем. Теперь он как бы стеснялся прежнего озорства. И, может, зря стеснялся, может, оно и сейчас зимой следовало бы ему пользоваться своими возможностями, москвичи соскучились по снегу и морозу, только обрадовались бы им, а в бумагах Канцелярии от Того Света, глядишь, ему, Данилову, поставили бы галочку за то, что его усилиями мороз крепчал. Может, какой-нибудь Валентин Сергеевич, скривившись, эту галочку и вынужден был бы поставить.

При мыслях о Валентине Сергеевиче Данилов расстроился, снял лыжи, связал их сверху и снизу бечевкой.

Хотелось пить. Данилов зашел в автомат на улице Королева, быстро выпил кружку пива, взял вторую и понял, что взял зря. У соседнего стола возились подростки, самые что ни на есть местные щеголи, Данилов дал бы им лет по семнадцать. Все они были навеселе. Парней было пять, а девиц две. Тоненькие, крашенные, в шумном своем возбуждении они были резвы, вертлявы, лезли к парням целоваться. Возможно, что лезли целоваться и не совсем к тем парням, к каким им полагалось лезть по сюжету их гуляния. Один из кавалеров — как и все остальные, под два метра,— с кудрями, вылезавшими из-под пышной лисьей шапки, и в клешах, дернув за рукав розовую подругу, крепко съездил ей по физио-

номии. У Данилова чуть пиво из кружки не вылилось. Но видно было, что, несмотря на некоторые недоразумения, компания дружная и хорошо гуляла. Барышни опять повизгивали от шуток приятелей. Впрочем, мило повизгивали. Мордашки у них были приятные. А приятели их и обнимали, и щипали, и гладили, при этом не искали рыцарских выражений, а говорили слова, какие лучше знали. Вскоре к Данилову подошли двое парней из компании и барышня. Кавалер с барышней в белых варежках остановились чуть поодаль от Данилова, а малый в лисьей шапке доверительно зашептал Данилову прямо в лицо:

— Слушай, мужик, дай три рубля. У нас на вино не осталось. А то купи две бутылки вермута литрового и пойдем с нами. У нас девки добрые.

— Молодой человек, — сказал Данилов, — отчего вы своих дам так дешево цените, всего по три рубля? Что же касается вашей просьбы, то я обойдусь без этой коммерции.

— Что? — двинулся малый на Данилова, чуть ли не схватил его за грудки.

И кавалер с барышней сейчас же нахмурились и шагнули вперед.

— Что! — заорал малый в лисьей шапке, пуговицы его кожаного пальто расстегнулись, белый вязаный шарф болтался по полу. — Да я тебе сейчас!.. Да ты тебе сейчас!.. Пошли на улицу! — приказал он Данилову.

Данилов никуда бы не пошел, но он сам понимал, что если потом возникнет какой-нибудь документ или, скажем, протокол и поплывет своим ходом Данилову на службу, то место действия — пивной автомат — сейчас же поставит под сомнение нравственность Данилова. Пусть даже и поверят, что Данилов прав, но некая мысль отложится. Работник культуры, а где скандалил...

— Пошли, — вздохнул Данилов.

Вышли на улицу — Данилов, а за ним и раззадоренная ватага юнцов, готовая Данилова растерзать.

— А теперь во двор! — опять приказал малый в лисьей шапке.

Данилову было не по себе, казалось, от него теперь ничего не зависело, ватага волокла его куда желала, злые, пьяные глаза пугали и не оставляли надежд, с тремя-четырьмя парнями Данилов еще бы справился, а этих было уже больше десяти, и барышни кричали воинственно. Данилов и нож разглядел справа в лихой руке... А свора сбилась плотнее.

— Ах ты сука!

Лыжи упали из рук Данилова. Данилов оттолкнул от себя парня и сдвинул пластинку браслета.

Прохожие люди и зрительницы из окон, только что ожидавшие увидеть происшествие, удивились повороту событий. Не только не случилось смертоубийства, но, казалось бы, вот-вот должно было начаться взаимное сердце лобызание. Барышням Данилов вернул невинность, и теперь они, ощутив приобретение, стояли печальные, строгие, будто попавшие в чужую жизнь, а на Данилова смотрели глазами Веры Холодной. Парни получили взгляды работников детских комнат, во всем сейчас желали видеть нравственный порядок и совершенство душ. Они с извинениями кинулись подымать лыжи Данилова, но на всех лыж не хватило. Данилов пожалел, что сгоряча лишил парней причесок, это было мелким самоуправством, неостроумным к тому же, хорошо хоть клеши он не обузил, не превратил кримплен в шинельное сукно и не отклеил у барышень ни приставных ресниц, ни дорогих платформ. Да и что он напал на прически-то! Стало быть, растерялся... И как! А надо было держать себя в руках. Если при таком пустяке сплоховал, как же выдержит испытания, какие у него впереди?

— Не буду вас задерживать, — сказал Данилов.

Он шел дальше, ругая себя. Какое он имел право навязывать незнакомым юнцам и девушкам чужую судьбу? Да и при чем тут знакомым или незнакомым! Но что ему оставалось делать? Данилов и ответить себе на это не мог. Положил, что потом во всем разберется.

Подойдя к дому, он вспомнил статью критика Зыбалова. Хорошо еще, что вчера он не погорячился, как нынче с юношами, и не ответил Зыбалову в газете этак же, сдвинув пластинку браслета. Да и в чем виноват Зыбалов? Проявил себя верным движению хлопобудов. И все. А может, он и искренне писал заметку? Может, и впрямь считал, что плохим музыкантам были предоставлены сцена и зал клуба медицинских работников? Впрочем, так оно или не так, но сами хлопобуды раздражали Данилова. Однако следовало пока терпеть...

33

После репетиции альтист Чехонин спросил Данилова, отчего он не едет домой.

— Мне «Свадьбу» играть, — сказал Данилов.

— Да ты что? — удивился Чехонин. — Ты сегодня свободный. Я играю.

Данилов засуетился, побежал к диспетчеру, выяснил, что две недели назад плохо изучил расписание. С ним и прежде случалось такое. Однажды за неявку на утренний «Золотой петушок» он получил выговор и не смог поехать на гастроли в Монголию. Теперь бы Данилову пуститься в Останкино, насладиться домашним уютом, поспать, но он после некоторых колебаний решил послушать «Свадьбу Фигаро» из зала. А когда стал слушать, понял, что он не знал, как следует этой музыки! Был же случай у них в театре. Контрабасист, игравший в оркестре лет сорок и отправившийся на пенсию, достал по знакомству билеты на «Кармен», привел в театр внука. В первом же перерыве он прибежал в яму, чуть ли не закричал: «Музыка-то какая! Увертюра-то какая! Опера-то какая! Я-то всю жизнь думал, что в ней только пум-пум, а в ней, оказывается, и та-ра-ра-ра...» И пропел тему тореадора. В яме Данилов играл «Свадьбу Фигаро» десятки раз, а из зала слушал ее впервые. Поначалу он сидел, открыв рот, потом стал петь. Текст оперы он знал наизусть. Но Данилов не только пел, а и несколько раз, забывшись, обращался со словами: «Музыка-то какая! Ансамбль-то какой!» — к старичку, сидевшему прямо перед ним, при этом чуть ли не за плечо старичка хватался в восторге. Старичок поначалу смотрел на Данилова удивленно, потом стал сердиться, попросил Данилова помолчать, сказав, что люди на сцене поют лучше. Да и другие зрители из ложи с шиканьем оборачивались в сторону Данилова. Данилов смутился, пел он теперь про себя и оркестр поддерживал про себя, однако нет-нет, а срывался и чуть слышно звучал в ложе бенуара. Оркестр моцартовским составом играл хорошо и без него, Данилова, да и можно ли было плохо играть эту музыку! В антрактах Данилов не ходил ни в яму, ни в буфет, он не хотел спускаться в быт. Тихо сидел в ложе на гостевом стуле, устроенном ему капельдинером Риммой Васильевной. Весь был в Моцарте.

После третьего антракта он тем не менее оконфузился. Заснул и проспал минут пять. Лишь при звуках дивного голоса Керубино, не явившегося на военную службу, Данилов проснулся. Как он ругал себя! Но тут же себя и простил. Ну заснул, ну что же делать-то? Ведь устают... Хоть бы отдохнуть недельки две. Покупаться бы в морских волнах...

— Молодой человек, — сказал старичок, сосед по ложе, — вы своим стоном мешаете слушать...

— Извините, — сказал Данилов, — музыка больно за душу берет...

И по дороге домой Данилов пел про себя Моцарта. «Кабы я мог

написать такую музыку! — думал Данилов. — Какой же идиот я был десять дней назад, когда сыграл Переслегина и решил, что все. Кончилось! Ведь было! Было! И отвращение к музыке было! Как дурной сон! Вот тебе и Моцарт! Пусть по нынешним понятиям у Шенберга высшая математика, а у Моцарта, скажем, алгебра, так что же? Нет никакой алгебры и нет никакой высшей математики, нет никакого восемнадцатого века, а есть вечное и великое, есть музыка». Шенберга Данилов в душе вовсе не громил, он относился к Шенбергу с уважением, а Вторую камерную симфонию его и «Пережившего события Варшавы» почитал и держал у себя на магнитофонной пленке. Уроки двенадцатитоновой теории Шенберга чувствовал в симфонии Переслегина. И все же теперь он как бы возвышал Моцарта над Шенбергом, то ли из азарта, то ли пытаясь пересилить мнение о музыке скрипача Земского. Вот тебе традиционная музыка, а что делает! Музыка нужна, нужна, и он, музыкант Данилов, должен играть. Играть и играть! И для себя и для людей. Данилов словно бы исцелился сейчас окончательно от тяжкого недомогания. Словно бы возродился наконец для музыки! Так оно и было.

Данилов все напевал про себя в троллейбусе темы из «Свадьбы», потом испугался, не сочтут ли пассажиры его тронувшимся, поглядел по сторонам. Нет, все были в своих заботах. На всякий случай Данилов достал из кармана пальто вечернюю газету, прочитал «Из зала суда» и «Календарь садового», потом взглянул на первую страницу и увидел заметку «Интересное явление». В заметке описывались опыты геофизиков. Летом эти геофизики были в экспедиции на Камчатке, облазали вулкан Шивелуч. Их лаборатория интересуется теорией ядра Земли. Они привезли в Москву образцы застывшей лавы вулкана Шивелуч... И вдруг совершенно неожиданно при термической обработке из куска лавы вулкана Шивелуч весом семьсот сорок граммов образовались четыре крупных изумруда и живая бабочка Махаон Маака. Руководитель лаборатории член-корреспондент Н. Г. Застылов заявил журналисту: можно предположить, хотя и с некоторыми опасениями совершить серьезную научную ошибку, что ядро Земли состоит целиком из жидкого изумруда. А возможно, что и не жидкого. Или не совсем жидкого. Во всяком случае, геофизики лаборатории находятся на пороге большого открытия. Несколько затрудняет разработку новой теории явление бабочки Махаон Маака, в особенности если принять во внимание то, что размах крыльев у нее на семь сантиметров больше общепринятого и по странной игре природы, кроме хоботка, есть зубы.

«Отчего же изумруды-то? — удивился Данилов. — И бабочка? Что же это за матеря попалась мне тогда под руку?» Сегодня, решил Данилов, он займется камнями Шивелучской экспедиции. Или нет, завтра. Тут он сообразил, как расстроится Клавдия, прочитав заметку. Бедная женщина. И надо же, чтобы именно изумруды! А бабочка оказалась чуть ли не сильнее Моцарта, о ней думал Данилов, направляясь с троллейбусной остановки по улице Цандера к дому. Мелодии «Свадьбы» в нем почти умолкли. Однако тихонечко все-таки звучали.

Данилов открыл свой почтовый ящик. Газет не было. В ящике лежал листок бумаги в клеточку, сложенный вдвое, и на нем рукой Земского (Данилов эту руку знал, Земский иногда приносил заметки в «Камертон»), было написано: «Ну как, Володя, с тайной М.К.Ф.?» «Что он ко мне пристал? — рассердился Данилов. — И тайны небось никакой нет».

Когда Данилов стал открывать дверь, его обожгло предчувствие недоброго. Что-то случилось уже или вот-вот должно было произойти. В квартире его был жар и чем-то воняло. Данилов бросился на кухню и там на столе на фарфоровом блюде, взятом кем-то из серванта, увидел лаковую повестку с багровыми знаками. Остановившись на секунду, Да-

нилов все же решился шагнуть к столу и прочел пылающие слова: «Время «Ч». Сегодня ночью. Без пятнадцати час. Остановка троллейбуса «Баный переулок». Дом номер шестьдесят семь». «Ну вот и все», — подумал Данилов и сел на табуретку. Лаковая повестка тут же исчезла, надобности в ней уже не было. «Ну вот и все», — повторил про себя Данилов.

Времени у него оставалось мало. Полтора часа. Минут двадцать пять из них следовало уделить троллейбусу. А то и больше. Троллейбусы в эту пору ходят редко, минут пятнадцать придется ждать. Такси в подобном случае заказывать не полагалось.

Переодеваться Данилов не стал, в театр он всегда являлся в приличном виде. Данилов просмотрел свои земные распоряжения и письма, приготовленные накануне дуэли с Кармадоном, остался ими доволен. Никого он, кажется, не обидел. Ни тех, кому был должен. Ни тех, кто и ему был чем-то обязан. Ни Клавдию. Может быть, она еще вспомнит о нем с теплыми чувствами. Впрочем, ему-то что...

Вот Наташа... Пожалуй, хорошо, подумал Данилов, что она решила сегодня взяться за шитье дома. Но позвонить ей, наверное, следовало. Данилов никак не мог поднять трубку. Подходил к телефону и уходил от него. Его останавливало не только волнение, не только боязнь причинить боль Наташе. Он боялся, как бы его звонок не стал для Наташи опасным. Впрочем, что добавил бы прощальный звонок к прежним знаниям о Наташе порученца Валентина Сергеевича!

Данилов поднял трубку.

Наташа подошла к телефону не сразу, наверное, от швейной машинки, и, возможно, дело с маркизетовой блузкой, срочно заказанной ей инженершей с «Калибра», приятельницей Муравлевой (Данилов видел начало Наташиной работы), двигалось неважно. Голос у Наташи был усталый.

— Наташа, — сказал Данилов, стараясь быть твердым, однако заикаясь, — наступила минута, о которой я предупреждал. Спасибо за все. И больше — ни слова.

Он повесил трубку.

Альт Данилова остался в театре в несгораемом шкафу. Данилов подошел к фортепьяно, стал играть. Что он играл, он и сам не понимал. Руки его двигались как бы сами собой, музыка была стоном Данилова, отчаянием его и болью.

Без десяти двенадцать Данилов встал, снова просмотрел все свои бумаги, провел рукой по крышке фортепьяно, словно бы погладил его. Прикосновение его было легким, отлетающим, ничто уже не связывало Данилова со старым инструментом, инструмент потерял звук. Данилов надел пальто и шапку, проверил, не включены ли где в квартире электрические приборы, не горит ли, случаем, газ, погасил во всех помещениях свет и, не спеша заперев дверь, вызвал лифт.

34

Троллейбус, как и предполагал Данилов, пришлось ждать. Было зябко и сыро. Снег к ночи опять растаял. Наконец троллейбус подошел. Автомат был в нем новой системы. Данилов опустил пятак, подергал металлическую ручку, билет не выскочил. Данилов обернулся в сторону единственного пассажира, нетрезвого, видимо, задумчивого в своей нетрезвости, сказал виновато, но вместе с тем с осуждением технического новшества:

— Не дает билета...

— А! — махнул рукой пассажир, на Данилова, причем, не глядя.

«Не Ростовцев ли это?» — беспокоился Данилов. Но нет, пассажир был случайный, не Ростовцев, мрачный человек, пивший, наверное, с горя или по привычке. «Я и в милицию не зашел!» — спохватился Данилов. Теперь случай с альтом скорее всего останется среди нераскрытых дел и в отчетную пору будет тяготить пятьдесят восьмое отделение милиции. Впрочем, тут Данилов несколько обрадовался. Теперь как будто бы не музыка, не Наташа, не желание жить и быть самим собой вынуждали его приложить усилия, чтобы уцелеть и вернуться, а именно обязательные мелочи приобретали для него чрезвычайное значение. Надо их доделать-то! Вот Данилов и обрадовался. Понимал — при всем своем легкомыслии, — что нынче особое путешествие, не похожее на прежние, и все же легонько тешил душу. До тех пор, пока троллейбус не одолел Крестовский мост.

«Что я думаю о пустяках! — восторженно воскликнул Данилов. — Ехать-то всего две остановки. Мне бы теперь размышлять о высших смыслах». Но тут же Данилова пронзило соображение — впрочем, оно не могло быть новым для него — о том, что сейчас за ним наблюдают. И всё видят. А главное — им ясны все его мысли, все его порывы, все моментальные и неуловимые даже для самого Данилова движения его души. Как унижительно было ощущать это! Мука-то какая! Даже если бы он теперь волевым усилием заставил себя пребывать в некоем спокойствии, то и это его нравственное напряжение было бы понято и проанализировано. Тут Данилов несколько хитрил. Или полагал, что хитрит. Он-то считал (правда, не без определенных опасений), что все сложности его природы, ход его мыслей и чувства вряд ли до конца понятны и самым чувствительным аппаратам.

Мысли, в особенности в людском обиходе, чаще всего становятся известны благодаря их словесному выражению. Но слово, притом скрываемое привычками языка, примитивно и бедно, оно передает лишь часть мысли, иногда и не самую существенную, а само движение мысли, ее жизнь, ее трепет и вовсе не передает.

Именно музыка, был уверен Данилов, тут куда вернее. Для него, альтиста Данилова, без всяких сомнений.

Передавать свои состояния он стал порой не в виде слов, а в виде музыкальных фраз или коротких звуков. Вышло все само собой. Потребность природы привела к этому. Отчасти озорство. Поначалу его внутренний музыкальный язык был простым. Данилов взял Девятую симфонию Бетховена — в ту пору он очень увлекался Бетховеном — и из ее звуков и выражений составил для себя как бы словарь. Сам термин «словарь» его, естественно, не устраивал, и Данилов заменил его звуками, причем произнесение их доверил гобою. Некоторое время Данилову хватало звукового запаса Девятой симфонии. Но потом пошли в дело фортепьянные концерты Чайковского и «Пиковая дама», Четвертая симфония Брамса, отдельные фразы итальянцев, Вагнера, Малера, Хиндемита, Шенберга, не забыты были Стравинский с Прокофьевым (в особенности его «Огненный ангел») и Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Данилов даже стал себе много позволять. С удовольствием, но и с разбором, как некий гурман, распоряжался он чужими звуками. Частушечные темы Щедрина использовал для передачи хозяйственных наблюдений. Достижениями биг-бита выражал сентиментальные чувства по поводу утраты Альбани. Нидерландские акапельные хоры эпохи Возрождения сгодились для скрытых угроз Данилова превратностям судьбы.

Потом Данилов и сам, увлекшись, принялся создавать звуки и фразы, выражающие его состояния. Чаще всего он думал в суете и спешке, мысли его были скорые, энергичные и как бы рваные, музыкальные средства использовались тут самые скупые, рациональные, было не до укра-

шательство, не до разработок темы, не до ее оркестровки. Музыка возникла инструментальная, часто додекакофоническая или вообще неизвестно какая. Увлечшись самим процессом выражения своих мыслей и чувств, Данилов обратился и к другим музыкальным школам с их особыми законами и сладостями — негритянской, индийской и дальневосточной. И стали звучать в нем маракасы, ситары, рабобы, сямисэны, кото, бамбуковые флейты — сякухати. Для построения целых, пусть и ментальных фраз хороши были и семиступенный диатонический индийский звукоряд и пятиступенные японские лады — миякабуси и инакабуси. Очень часто Данилов самым причудливым образом смешивал европейские звуки с восточными, и нибелунговским медным в нем вторила застенчивая флейта сякухати, из-за спешки мысли Данилова не допуская, правда, привычных для нее мелизматических украшений и опеваания ступеней. Реже других инструментов Данилов использовал альт. Когда же случались минуты покоя — покоя чисто физического, покоя чувств и мыслей не было, — соображения Данилова принимали более или менее правильную форму, фразы повторялись им в разных вариациях, иногда — в радости — с удовольствием, как некое мечтание, иногда в отчаянии и нервно, фуги с их полифонией рождались тогда в Данилове, бывало, что и сонаты. А в общем, музыка была своеобразная, возможно, что и странная, во всяком случае искренняя, именно искренняя. Кабы ее записать и исполнить ради опыта. Но где уж тут записывать... Так или иначе внутренняя музыка увлекла Данилова, он привык к новому языку. Главным для него было теперь творение новых звуко-сочетаний, порой и мелодий. Музыкальная система Данилова, теперь уже его собственная, усложнялась, импровизации его были неожиданные и упоительные, а что касается его предполагаемых исследователей, то для них, считал Данилов, эта его внутренняя музыка могла оказаться и загадкой. Впрочем, теперь ему предстояло проверить, так ли это.

Троллейбус подошел к Банному переулку.

Данилов встал. Сам не зная зачем, в некой нерешительности оглянулся на задумчивого пассажира, будто тот мог его сейчас ободрить или даже удержать. Пассажир не поднял головы. «А не проедет ли он свою остановку?» — обеспокоился Данилов.

— Извините, пожалуйста, — сказал Данилов, — вам где сходить? Вас не увезут в парк?

— Ты не проедь! — с вызовом произнес мужчина. — Это тебе сходить, а мне не надо. А ты сойдешь, и все равно тебя увезут в парк. А там люстры...

Данилов поднял воротник, до того стало ему зябко. Часы на углу Большичного переулка показывали без двадцати четырех час. По соседней Второй Мещанской, ныне Гиляровского, прогремел по металлу трамвай, видимо отправился на отдых в Ростокино. «Неужели этот пьяный мужчина, — с тоской подумал Данилов, — последний человек, которого я видел?...» Оставалось девять минут его земного существования, дом номер шестьдесят семь стоял в ста метрах от Данилова.

Дом шестьдесят семь, как и соседний, продолжавший его дом шестьдесят девятый, был трехэтажный, с высоким проемом въезда во двор в левой своей части. В этом проеме метрах в семи от уличного тротуара и находилась дверь для Данилова. Когда-то и с левой стороны к шестьдесят седьмому примыкал дом, дверь в проеме пускала жильцов на крутую лестницу. Лет пятнадцать назад старый дом сломали, на его месте поставили табачный и квасной киоски, а чуть подалее устроили баскетбольную площадку, правда теперь стойки для корзин были покорежены, кольца погнуты, а посреди площадки утвердился стол для любителей домино и серьезного напитка. Дверь же в сломанный дом осталась, ее не заделали, и, поднявшись на третью ступеньку бывшего крыльца,

можно было открыть дверь и шагнуть в небо. Кто и как присмотрел этот дом, Данилов не знал, но уже двенадцать лет являться в Девять Слоев по чрезвычайным вызовам полагалось исключительно здешним ходом. Прежде Данилов относился к этому указанию с иронией, было в нем нечто нарочитое, театральное, подобные игры могли быть рассчитаны лишь на детей. Но теперь пропала ирония. Ужасен был шестьдесят седьмой дом в ночную пору, жалок был и плох. Днем он не бросался в глаза, люди жили в нем обычные. А теперь этот шестьдесят седьмой наводил тоску. Рядом стоял семьдесят первый дом, огромный и угрюмый, его серые тяжелые полуколонны казались каменными ногами городского чудища. Низкорослых старичков соседей, притулившихся к нему, он держал как бы на поводке, властным присутствием давая понять и им и всем, что они гримасы прошлого и вот-вот должны развалиться и исчезнуть. Но пусть еще стоят, пока точное время им не назначено¹. И на самом деле была теперь какая-то мерзкая гримаса в кривых линиях кирпичных карнизов и межэтажных поясков старых домов, не выдержавших тяжести своего века, в обреченно изогнутой балке проезда во двор. Дом шестьдесят седьмой и вправду вот-вот должен был развалиться и исчезнуть, и каждому, кто являлся к нему, вызванный роковой повесткой с багровыми знаками, не могло не броситься это в глаза, не могла не явиться мысль, что вот и он все время был на поводке у чего-то сильного и властного и теперь и ему предстоит исчезнуть.

В проезде было мрачно, воняло котами и гнилой капустой. Данилов подумал, что, наверное, и на этот мрак, и на гнилье, и на котов-рассчитывали сочинители инструкции. Вызванные повестками в свои последние мгновения на Земле должны были испытать унижение этого пошлого места, запомнить Землю мерзкой, ощутить свою мелкость и беспомощность. Тут было как бы подведение черты, подготовка к переходу в состояние еще более унылое, а возможно, и в никакое. Данилов наступил на что-то скользкое и вонючее, чуть не упал, выругался, ногой пошаркал по асфальту, стараясь оттереть с подошвы грязь. Потом шагнул на ступеньку крыльца. Дернул ручку двери. Дверь не поддавалась. Данилов нагнулся. Три гвоздя, вбитых, видимо, по распоряжению техника-смотрителя, крепко держали дверь. Значит, люди в ЖЭКе сидели все же хозяйственные и углядели наконец, что осиротевшая дверь хлопает без дела. А возможно, дверь и прежде иногда забивали, но находились причины, по каким жэковские гвозди исчезали без следа. Ни гвоздодера, ни кусачек у Данилова не было; сняв перчатки, Данилов попытался раскачать гвозди, но только ободрал до крови пальцы. Он злился, понимал, что может опоздать. И тут вспомнил о браслете. «Что же это я? — подумал Данилов. — Да и каким же манером я собирался пускаться в странствие?» Он подвинул пластинку браслета, гвозди вылетели из досок и исчезли. Данилов открыл дверь. И сейчас же, не дав себе ни секунды на колебания, шагнул в небо.

35

Что-то будто завертело его, сжало, ударило, что-то хрустнуло, возможно хрустнуло в нем самом, какие-то нити рвались, и цепи звякали глухо, вихри обдували Данилова, горы падали на него или он сам падал в раскаленные кратеры. Иными случались его прежние перемещения во времени и пространстве. Больно было Данилову и страшно.

¹ Снесли наконец эти дома-то. Зимой семьдесят шестого года и снесли. Теперь строят новые. (Прим. автора.)

Но прибыл Данилов куда ему следовало прибыть. Он находился теперь невдалеке от Девяти Слоев, в Колодце Ожидания, известном ему с чужих слов. Темень была всюду. Да и не темень, а чернота. Он чувствовал, что с четырех сторон его окружают стены, их нет, но он не сможет сквозь эти несуществующие стены куда-либо уйти. Он знал, что стены продолжают и вверх и вниз и нет при них ни пола, ни потолка, Колодец бесконечен, но ему, Данилову, не дано в нем ни летать, ни плавать. Поначалу Данилов думал, что и позу менять не позволят, но нет, не вытерпев неведения, Данилов чуть выпрямил ноги, опустил руки, ожидая кары, однако никаких запретительных сигналов не последовало. Значит, можно! Его обрадовало обретение пусть и крошечной, но свободы. Или видимости крошечной свободы. В черноте Колодца ничего не происходило. И, по всей вероятности, ничего и не должно было происходить. Сама чернота, сама бездеятельность Данилова, ощущение им собственного бессилия, предчувствие страшного впереди должны были его изнурить. Времени он сейчас не чувствовал, то есть не чувствовал того времени, какое могло течь, разрываться, останавливаться или винтиться в Девяти Слоях. Это удручало Данилова, обрекало на некое безволие, неготовность к неожиданностям, а стало быть, и к мгновенному сопротивлению им. Данилов понял, что если он устроит в самом себе отсчет времени земным способом, ему станет легче укрепить себя. Так и вышло. Теперь он хоть и в мелочи, но был хозяином своего состояния. Он сам установил в Колодце время, привычное для него. И, отсчитывая час за часом, говорил себе: «Ну вот и еще выдержал...» Проходили сутки (в земном измерении, хотя на самой Земле, полагал Данилов, могло не сдвинуться и секунды). Данилов все считал...

И наконец обнаружилось перед Даниловым видение. Явился старательный порученец Валентин Сергеевич в ношеном-переношеном тулупе, в валенках, снабженных галошами, с метлой в руках. Стоял он сейчас в ночной подворотне и имел вид дворника. На нем был темный передник в заплатах и даже дворницкая бляха, давно отмененная в Москве. Валентин Сергеевич опустил метлу, стал сгребать ею воюющие и гнилые предметы, вызвавшие досаду Данилова в последние его мгновения на Земле. Греб Валентин Сергеевич плохо, и выходило так, что он ничего не сгребал. Валентин Сергеевич стоял на месте, и метла его повторяла одно и то же как бы застывшее движение. Данилов услышал и звуки. Сморгание Валентина Сергеевича, его вздохи, шуршание чего-то по асфальту. Валентин Сергеевич, до этого не замечавший Данилова, посмотрел на него с укором, погрозил пальцем. Он и лицо скорчил: ну что, дождался своего, негодяй! Но тут ему, видимо, на что-то указали, Валентин Сергеевич сгорбился и тихонько пошел, его дворницкая бляха стала заметнее, весь его облик как бы говорил: да, конечно, я помню, помню, я мелочь, я ничтожество, я свое дело исполнил, и все... Подворотня исчезла, и Валентин Сергеевич удалился в черноту.

Потом долго ничего не звучало. И Данилов повел про себя партию альта из симфонии Переслегина. Однако перестал. То ли ослаб, то ли отчаялся. В нем сейчас жила обида маленького и слабого ребенка, чуть ли не со слезами глядевшего на взрослых: «За что вы меня? Что я плохого сделал вам?» Данилову хотелось и вправду стать сейчас маленьким, беззащитным (беззащитным он, впрочем, и был) и чтобы кто-нибудь сильный приласкал его или хотя бы пожалел, простил ему капризы и шалости. Данилов и бороду сейчас, пожалуй бы, сбрил. Если бы попросили. Однако никто не увидел в Данилове обиженного ребенка, ни вдоха сочувствия Данилов не услышал.

Он вообще по-прежнему ничего не слышал. Скребки метлы Валентина Сергеевича, его вздохи и сморгания вспоминались нечаянным и бесценным подарком. А вдруг и само время «Ч» уже началось? И, мо-

жет быть, заключалось оно в вечном отлучении Данилова от звуков. «Так нельзя! — взъерепенился Данилов. — Не имеют права! Нужно объяснить мне, почему и что!» Но сразу же он почувствовал, что его возмущение, как и готовность сбрить бороду и желание оказаться на глазах у публики бедным, заблудившимся ребенком, сами по себе бессмысленны и его, Данилова, показывают лишь жалкой личностью.

Он закрыл глаза, но сразу же сквозь сомкнутые веки увидел некое движение где-то рядом. То ли скользили тени, то ли колыхались снятые с чьих-то незаживших ран бинты. Данилов устало и словно бы нехотя открыл глаза.

И сразу же перед Даниловым понеслись световые вихри, и фиолетовые волдыри лопались в них. Вихри эти скоро уже не казались Данилову сообщением о чем-то, они стали реальностью, приобретали мощь и глубину, а глубина их была — в миллиарды земных километров. Данилову даже показалось на мгновение, что стены черного Колодца исчезли, но это было ошибкой. Действительно, глубина его видений была сейчас в миллиарды километров, но и черные стены остались. Вытянув руки, наверное, можно было бы дотронуться до них, впрочем, естественно, ничего не ощутив.

Тут он вспомнил, что какое-то время назад — а счет времени он уже и не вел — он заставил зазвучать в себе музыку Переслегина. Однако музыка тогда же и затихла. Неужели он стал так слаб? Или себе не хозяин? Или засмотрелся на видения? Нет! Данилов решил, что немедленно в его суверенной личности будет восстановлен обычный ход жизни, насколько не зависимый от бытия в Колодце и опытов исследователей. Усилием воли он опять заставил себя вести счет времени, и тут же «Пассакалья» Генделя стала исполняться в нем классическим секстетом. Что касается мыслей и чувств, то они по-прежнему существовали в нем в двух потоках — словесные и музыкальные.

Видения опять напали на него.

Фиолетовые пузыри все разбухали и лопались, яростные свирепые вихри обтекали их, но иногда и налетали на пузыри, и тогда взрывы ослепляли Данилова. И снова огненные языки и осколки от этих взрывов разлетались на миллиарды километров. Вспышки и взрывы продолжались долго, но потом они стали случаться реже, словно бы угомонение происходило в их стихии, и наконец успокоенные, упорядоченные формы и линии стали проступать в начале раскаленных, нервных потоках. Теперь перед Даниловым висел и поворачивался вокруг невидимой оси мутноватый, чуть искривленный мерцающий диск, в нем держались, соблюдая тихое движение, светящиеся спирали, закрученные и взблескивающие на концах. Потом Данилов увидел, что и всюду на разных расстояниях от явившегося ему диска, расстояниях, измеряемых уже не миллиардами километров, а веками и тысячелетиями, висят, вращаются, плавают, копошатся другие диски, спирали, скопления светящихся и черных пылинков — планет и звезд. Данилов почувствовал, что он перед ними великан и может ступить по ним, как по кочкам мокрого торфяного поля где-нибудь под Шатурой или Егорьевском. Ступать по ним и властвовать ими. Не хватало лишь сущей малости. Позволения ему, Данилову, вышагнуть из Колодца Ожидания...

Тут же Данилов ощутил себя никаким не великаном, а жалким существом, растерянным и испуганным. Вошью земной перед этими исполненными дисками, спиралями и сгустками, перед галактиками и вселенными, перед ходом их судеб. Зябко стало Данилову. И инструменты секстета, которые Данилов, противясь напору исследователей, все еще заставлял играть «Пассакалью» Генделя, умолкли. А диски и спирали, известные Данилову и прежде, исчезли, маленькая крупинка блеснула в

черноте. На Земле ни одна электронная установка не смогла бы разглядеть ее или хотя бы дать о ней сведения. Она разрослась, или Данилов был усушен и уменьшен. Данилов уже понимал, что он помещен внутри явленной ему крупинки. Да что крупинки! Внутри ядрышка какого-нибудь захудалого атома, что и науке неинтересен! Или еще унижительнее — внутри простейшей частицы, не знающей на Земле покоя и управы, не словленной там ни одним хитроумным устройством, а здесь, в Колодце, покорной и недвижимой. Но теперь в ней, в этой частице или в этом ядрышке, Данилову представились свои мерцающие диски, свои кристаллические построения, и будто бы шевеление их усмотрел Данилов, и явно полет здешнего космоплана привиделся ему, и отчего-то вспомнился Кармадон, мелькнуло даже злое, надменное лицо Кармадона, какое было у него на лыжне в Сокольниках.

И вдруг что-то случилось, разломились диски, стали крениться кристаллические решетки, посыпались с них ледяные шары и иглы, взрываясь на лету или тая. Перед Даниловым сидел сапожник, курносый мужик лет пятидесяти, из Марьиной Рощи и чинил парусиновые тапочки, какие носили, придавая им белый цвет зубным порошком, шеголи в Москве в конце сороковых годов. На коленях сапожника был черный кожаный фартук, губами он держал гвозди, хотя для починки тапочек они не были нужны. Возле сапожника стала прыгать серая дворняжка, отдаленно напоминавшая Данилову грамотную собаку Муравлевых по кличке Салют. Сапожник с любовью осмотрел починенные им тапочки, остался ими доволен и протянул их собаке. Собака взяла тапочки и съела их. Потом лапой она пододвинула к себе сапожника и съела его. Облизнувшись, она поморщилась, выплюнула черный фартук и сапожные гвозди. Зевнула и ушла. Гвоздей было пять. «А во рту он держал шесть, — вспомнил Данилов. — Ну, шесть! Ну а мне-то что?»

Фартук и гвозди потом долго валялись в пустоте перед Даниловым. Главное же действие производили теперь многочисленные вещи, предметы и машины. Чемодан, платяной шкаф, угольный комбайн, металлические вешалки для брюк, самолетный трап, асфальтоукладчик, совмещенный санузел изумительного голубого цвета, автомобиль «ягуар», игрушечная железная дорога с туннелями и переключателями стрелок, бормашина с плевательницей, скорострельный дырокол для конторских папок... Впрочем, всего разглядеть Данилов не мог и не имел желания, машины и вещи то и дело возникали новые, в столпотворении вытесняли друг друга, толклись, на месте не стояли, а находились в некоем хаотическом движении. И то разбирались на части, то — энергично, но и аккуратно — собирались в прежних своих формах. Но однажды части вещей так и не вернулись в привычные соединения, то ли не смогли, то ли им уже не было в этом нужды. Во всяком случае, движение их стало совсем бешеным. Что-то происходило. Данилов сначала не мог понять, что именно, а потом, когда из досок, щитов, панелей, стекол, металлических суставов и блоков, ламп, фарфоровых полукружий, шестеренок, приводов, свечей зажигания, деревянных ножек, колес образовались чуть ли не живые существа, самые разные, со своими фигурами, походками, осанками, одни гибкие, проворные, словно бы одетые в резиновые обтекаемые костюмы-мешки, другие густые водянистые, тяжелые сонные, с мазутными глазами, — тогда Данилов догадался, в чем дело. Перед ним были сущности вещей и машин, успевших вместиться в Колодец Ожидания, в его, Данилова, пространство и время. Или, может быть, если применить выражение афинского философа, «чтойности» этих вещей и машин. Освобожденные от своих оболочек и функций, они теперь выявляли стывшие в них порывы и страсти, в азарте наступали на что-то, агрессивные, настырные, жадные, лезли, толпились, лягали это что-то. Данилов понял: они мнут и топчут черный фартук сапожника, не убран-

ный после ухода собаки. Данилов был уверен: не убранный случайно, по небрежности исследователей. В их жестах, прыжках и наскоках была и патетика, было и торжество, но была и мелочность.

«Гвозди они, наверное, тоже затоптали», — подумал Данилов. Но разглядеть ни гвозди, ни фартук он сейчас не мог. Темп движений неуравновешенных существ все убыстрялся, их самих становилось все больше и больше, злясь, каждый или каждое из них стремились пробиться к центру толпы, словно забытый фартук был им необходим. Неожиданно над ними взвинтилось и запрыгало кольцо огненных букв: «Вяленая икра минтая, ястычная, 1—150, 1 рубль 80 копеек, Темрюкского рыбозавода». Тут словно бы лампочки стали перегорать в огненном кольце или на пульте управления случился какой-то дефект, некоторые буквы погасли, а потом исчезло и все кольцо. С пляшущей, подпрыгивающей толпой ничего не произошло. Лишь в центре ее, в самой свалке, в самом ее вареве, по всей вероятности, что-то случалось, возможно, какие-либо чересчур скорые и настойчивые фигуры гибли там, разрушенные, раздавленные напором свежих существ, лишь рожденных и желающих сейчас же потенцию самих себя перевести в осуществленное бытие.

Но затем во внешностях топтунов, толкачей и проныр начались преобразования. Возникало нечто новое. Да и само новое тут же преобразовывалось. Отрубленная задняя половина автомобиля «шевроле» была сочленена с крупом и ногами парнокопытной особи, породу которой Данилов определить не решился. Рога оленя украшали миниатюрную пудреницу. В одиноко порхающем крыле бабочки капустницы размером с покрывало Пьеретты серьгой висел амбарный замок. Граммофонная труба устроилась среди щупалец дешевого синтетического осьминога, из трубы выскакивали творожные сырки в унылой коричневой фольге, в трубу же они и попадали.

Следом объявились рожи, знакомые Данилову по земным суеверным страхам и по рассказам людей с воображением. Тут были и вурдалаки, и вампиры, и беззубые людоеды, пугавшие в сытые дни мелких мальчигов, и меланхолическое чудо-юдо с оранжевой пеной на стоматитовых деснах, и фантомасы, и франкенштейны, и недорogie ведьмы-потаскухи с тирольских гор, и синие мертвецы, защекоченные когда-то русалками, а с ними и дохлые русалки, жертвы промышленных вод, и гневные дармапалы, семиликые, двадцатирукые, многоглазые, опоясанные шкурами тигров, в венцах из людских черепов, в ожерельях из отрубленных голов, кто с мангустой в одной из рук, кто с морковью, и белая, трехглазая, с огненными волосами, в зеленом диком шарфе дзамбала, управляющая сумерками, и наглые асуры, и лукавые апсары, танец которых только увидь — жить не захочешь, и какие-то черные истуканы, сладострастные пугала с экватора, нервные от почесухи, и унылые псы из подземелий, чьи глаза как плоски, и летающие упыри с вечной слюной, капающей на галстук, плохо завязанный. Да кто только не объявился!

И теперь один из этих фантомов мрачно, давя соседей, подпрыгивал на мотоцикле. Другой дул в саксофон. Третий обрядился в бикини, сшитое из грачиных гнезд. Кто-то грыз ртутные светильники, кто-то метался в оранжевом плаще от радиационных осадков и противогазе, кто-то размахивал гарпуном для подводной охоты, кто-то поливал толпу из тринадцатиствольного огнемета. Словом, жуть что творилось!

Во все усиливающейся толчее Данилов стал различать видения как будто бы явно посторонние. То тут, то там словно на особых экранах возникали объемные картины-действия, и были в этих картинах сюжеты, одинаково неприятные Данилову. Вот ножом резали ребенка, и

кровь стекала в ведро. Вот на поросшие лесом горы выехал казак на вороном коне, заснувший хлопец, младенец-паж, сидел за его спиной, казак швырнул в пропасть страшного мертвеца, тут же костлявые пальцы желтых скелетов схватили мертвеца и стали душить его, и какой-то огромный почерневший скелет отчаянно старался прогрызться сквозь землю к мертвецу, но тщетно, и он страдал, мучался от своего бессилия, а горы тряслись, и рушились хаты. Вот красивую женщину, совсем юную, замуровали в крепостную башню, она билась, пыталась уйти от гибели, но кирпич за кирпичом закрывал нишу, и серый раствор тут же схватывал швы кладки. Вот в зеленой ложбине падали мины, летели обрубки металла, кровавые куски мяса, живые еще люди куда-то бежали, кололи друг друга, серые дымовые кусты от снарядов и бомб стояли плотные, упругие, будто вечные, черный паук полз по холодной шее уткнувшегося лицом в траву ефрейтора. Вот штормовая волна смысла людей, сбросивших камни за оградой. Вот чудом уцелевшее дерево умирало на черной гари. И тут Данилов почувствовал приближение некоего нового поворота видений. Да и видений ли? Усилились резкие запахи, воцарилось паленым и злой химией.

Черное сменилось багровым, потом огненно-белым, стали взрываться и обрушиваться дальние вершины, не существовавшие прежде. Взрывы продолжались, ударные волны их должны были бы коснуться Данилова, отшвырнуть его неизвестно куда или уничтожить вовсе. Данилов и чувствовал порой сдвиги сферических волн, но висел на месте и не имел никаких повреждений. Толпу же диковинных существ и тварей эти взрывы, извержения, разломы горных хребтов, движения кипящей жидкости тревожили. Будто сбивали их в кастрюле с невидимыми или несуществующими боками. Не хозяевами себе были энергичные существа и твари — они и раньше, видимо, управлялись или хотя бы подталкивались в своих толчеях и оргиях кем-то, а уж теперь их явно мотала, сбивала в кучу, месила жестокими пальцами-крюками холодная, злая по отношению к ним стихия. И снова произошли взрывы, были они сильнее прежних, ужасней прежних. Теперь Данилова трясло. Он понял: сейчас произойдет катастрофа, случится крушение, сейчас — конец всему, что он видел, а может быть, и всему, в чем он существовал. Гибли, пропадали суетившиеся только что существа, твари и фантомы, вспухали фиолетовые волдыри, все мельчало и обращалось в прах, снова во взрывах и сполохах потекли перед Даниловым спирали, диски, скопления звезд и планет, движение их становилось все более тихим или сонным, все вокруг словно бы замрзло в лед или становилось льдом. И Данилов, не ощущая холода, почувствовал себя ледяным и погибшим. Черное, неподвижное вобрало его в себя...

Потом он очнулся. Сколько минут, веков он был неживым, он не знал. Находился он в пустоте. Слева как будто бы брезжил рассвет. «Что это там лежит?» — удивился Данилов. Впрочем, он ясно видел, что лежит. Кожаный фартук сапожника. Данилов захотел подойти или подплыть к нему, но ни единая мышца Данилова не дернулась, не вздрогнула. Фартук же тотчас исчез.

По-прежнему Данилов не слышал ни звука.

«По небрежности они забыли его убрать, — подумал Данилов, опять имея в виду фартук, — или все же оставляли со смыслом? Но какой смысл-то в этом фартуке? И во всем, что тут происходило или мерещилось мне?» Что он мог сказать себе в ответ? Ничего. Чудом придилось считать то, что его существование еще продолжалось. Он опять попытался собрать свою волю, снова начать счет земного времени, возродить в себе музыку, любую, какая вспомнилась бы теперь, и мыслить удобным для себя способом. Данилов напрягся, но тут же что-то подхватило его, завертело, будто в воронке смерча, подняло ввысь, и он

ощутил то, что старался избежать ощутить. Ощутил вечность. Ощущение было мгновенным и пронзительным. Данилов думал, что поседел.

Воронка смерча быстро опала. Данилова кинуло вниз. Тогда Данилов услышал звуки. Звуки были металлические, чем-то стучали и скребли по железу.

И опять черное вобрало в себя Данилова и словно бы растворило его.

36

Данилов лежал на кровати с металлической сеткой, какие встречаются в гостиницах районных городов. Матрац был тонкий, и сетку Данилов чувствовал боками. Сетку, похоже, успели сильно продавить, она провисла и напоминала гамак. Что же касается постельного белья, то его выдали свежее, пахло оно прачечной и имело, где следовало, овальные отметки инвентарных резиновых печатей. Лежал Данилов в голубой пижаме. Рядом с кроватью стоял ореховый платяной шкаф, там, возможно, находились сейчас вещи Данилова, в том числе пальто и нутриевая ушанка. В прежних случаях он имел куда более порядочные помещения, иногда даже апартаменты с королевскими альковами, с зеркалами в серебряных оправах и дюседепортами Буше.

Данилов в обиде натянул на голову шерстяное одеяло. Но тут же как бы и проснулся вконец. Какие нынче могут быть обиды! Что он ропщет! Что прикидывается дураком! Ну не Версаль, не Сансуси, не хьюстонский Хилтон-отель, ну Дом крестьянина, так ведь это после черного Колодца. Хорошо, что живой и белье дали, пусть и бывшее в употреблении, но свежее, отутюженное, и на тумбочке рядом с репродуктором установили графин с жидкостью.

Постельное белье, пижама и графин на тумбочке обнадежили Данилова. Он привстал, притянул графин, хлебнул из горлышка. Жидкость была теплая. Однако Данилов выпил полграфина. Он захотел тут же и есть. И в этом естественном требовании его организма было нечто обнадеживающее. Значит, натурально, жив и желает жить. Меню завтрака (пусть завтрака, посчитал Данилов) могло быть сообщено ему внутренними сигналами или прислано отпечатанным на машинке. Тут Данилов затаил и некую хитрость: из названий блюд он мог узнать степень тяжести своего нынешнего состояния. Как его полагали кормить? Как пленника? Как смертника в одиночной камере? Как гостя? Как утерявшего расположение? Как гуся лапчатого? Как кого?

Данилов поднялся, обнаружил под кроватью стоптанные шлепанцы, отыскал туалет и умывальник, зубы почистил суровой щеткой, причесался. И протянул судьбе руки.

В ладони ему упали листочки папиросной бумаги. Нельзя сказать, что они обрадовали Данилова. Блюд было много, но все они происходили из буфетов железнодорожных станций. «Не перепутали ли они меня с Кармадоном?» — удивился Данилов. Но, может быть, здесь была новая манера в еде?

Данилов решил сначала поесть, а потом гадать. Тем более что в меню значилась вареная курица. А курицу, завернутую в «Спорт», Данилов и сам, отбывая с Земли по вызовам, случалось, брал раньше. Курица явилась холодная, тощая, но Данилов ее проглотил с азартом, перемолов и кости. Данилов потребовал бумажные салфетки, возникли и салфетки. Попросил он зубочистку, и зубочистку ему спустили...

Не было сомнений в том, что вчера (главное — вчера!) в Колодце Ожидания, помимо всего прочего, его не только намерены были утратить или восхитить, ему не только предлагались загадки и задачи. Ис-

следователей бесспорно интересовали и моментальные отклики его личности на видения, катаклизмы, сотрясения, на толчею энергичных фантомов и монстров. Наконец, на открытие ему вечности. (Когда Данилов увидел над умывальником зеркало и увидел в зеркале себя, он удивился тому, что не поседел. Впрочем, проснувшись, он понял, что ощущение вечности из него ушло. Бездны, открытые ему, были им забыты. Мгновенные озарения вычерпнули из него. Он опять знал о себе и о мире не более, чем земной Данилов. К лучшему это или нет, он не мог сказать, Теперь он лишь смутно помнил, что и его будущее было ему открыто. Так что же? Может быть, в вечность его окунули по ошибке? По ошибке ему, Данилову, дали лишние сведения и, спохватившись, поутру стерли их мокрой тряпкой, чтобы он не мог пользоваться никакой лазейкой в будущее? Или им был нужен именно его мгновенный отклик? И все? Сейчас Данилов напрягал память, надеясь возобновить хоть толику знания об уготованном ему. Но тщетно.) Так вот теперь наверняка эти отклики его личности, движения его природы были уже изучены исследователями и лежали в дискотеке.

«Ну и пусть! — отчаянно подумал Данилов. — Пусть! Что они могут узнать обо мне нового? Зачем они еще тратили средства и энергию?» А средств и энергии в Колодце Ожидания было потрачено немало. Сколько там было толчен жизни, сколько крушений миров, галактик, сколько суетни сущностей вещей и явлений! Ему напказывали всякой чепухи и всяких странностей, каких никогда не было в реальной жизни. Скажем, швыряние в пропасть казаком со спящим младенцем за спиной мертвеца заимствовали у Николая Васильевича Гоголя. Интересно, читали ли сами исследователи «Страшную месть» или сведения о ней (возможно, искаженные: Карпатские горы были показаны Данилову довольно приблизительно) попали в их аппараты и камеры косвенным образом? Впрочем, это не имело значения. Значение имело то, что порой исследователи пытались воздействовать на него чуть ли не как Кармадон. Пугали всякими состарившимися ужасами, чудищами и нежитями. Что они теперь готовили ему? «А-а-а!» — махнул рукой Данилов.

Он заказал настенные часы Сердобского завода, причем не удержался и попросил ходики с кукушкой. Время на ходиках сейчас текло к обеду. Режим питания Данилов соблюдал редко. Теперь же, хотя и не нагулял аппетита, проявил себя педантом. Опять в руки ему спустились листочки меню, и в них были названы блюда вагона-ресторана. «Когда же открылась эта мода?» — расстроился Данилов. А ведь прежде его кормили и черепаховым супом, и от устриц в вине он позволял себе отказываться...

Данилов вздохнул. На самом деле, путают его с Кармадоном или напоминают о дуэли? И как сейчас Кармадон? Наказан или поднялся, выправил челюсть, повышен в чинах и теперь сидит рядом с наблюдателями персоны Данилова? Данилову казалось, что, если бы вызов был связан с Кармадоном и дуэлью, его дела могли бы оказаться и не совсем погибельными.

Блюда тем временем уже стояли на столике. «Неужели пива у них нет? Ну хоть бутылку!» — то ли возмутился, то ли взмолился Данилов. Но дело, видно, было не в скудности буфетных ледников, а в том, что клиент не имел права на пиво.

Данилов был в смятении. То он думал о том, какие найти пути спасения. То оценивал прожитое им, искал в этом прожитом смысл и оправдание. Может, и не было смысла-то? Что тогда стремиться к спасению? К продолжению бытия?

И теперь, хотя у Данилова наконец были и время и тишина для того, чтобы в сосредоточенном напряжении все обдумать, все решить, мысли его по-прежнему были нетерпеливы, приходили, как и раньше,

соблазнительные желания об отсрочках и откладываниях. Но откладывать что-либо было уже поздно. Вот и думал Данилов. Пребывал в отчаянии и унынии. Уверен был, что странное его существование смысла имело мало. Был ли Данилов, не был ли Данилов — от этого в мире ничего не менялось. Если только в музыке... Но что там, в музыке, в конце концов улучшилось или просто изменилось? Да, наверное, пока ничего... Что же тогда стремиться к спасению? И в то же время против этих мыслей, против сладостного согласия с ними нарастал в Данилове протест. Целый бунт вскипал.

Вскоре Данилов уже полагал, что в самом пребывании его в пижаме есть нечто не гостиничное, а тюремное, жалкое, будто бы он, Данилов, сдался и голову согласен пристроить на плахе как можно удобнее для палача. Нет, надо было тут же снять пижаму и идти куда-нибудь. Не без страха Данилов подошел к платяному шкафу. Раньше он был уверен, что там висят его земные вещи. Но вдруг их отобрали, определив ему лишь пижаму? Данилов рванул дверцу шкафа воинственно, будто бы ограбленный. Нет, зимняя московская одежда была ему сохранена. Данилов устыдился своего порыва, хорошо хоть дверцу не сорвал в сердцах. Поколебавшись, Данилов пожалел брюки и фрак, попросил снабдить его сейчас же приличным костюмом для встреч в обществе. Костюм Данилову прислали, и, надев его, Данилов понял, что костюм пошит хорошо. Он стоял растроганный, ему казалось, что служба внешнего вида отнеслась к нему куда благосклоннее, нежели служба кормления. Может, были на то причины? Или службы существовали сами по себе? Впрочем, что было гадать.

Данилов взбодрился. Комната его — или гостиничный номер, или одиночная камера — не имела ни окон, ни стен, ни дверей. Но Данилов, привыкший к условностям, постоял там, где, по его понятиям, могла в гостинице находиться дверь. Выйти долго не решался, а когда вышел, готов был держаться за стены, если б были стены. Ноги у него отнялись. Он ждал, что сейчас или кирпич свалится ему на голову, или его накажут каким оружием, или просто затолкают назад к кровати и пижаме. Кирпич не упал, сетью Данилова не словили, никаких мер принято не было. Потоптавшись на месте, Данилов побежал, потом подпрыгнул и стал парить, как парил в юные годы. Но парение скоро наскучило, и он пошел пешком. Куда он шел, он не знал. Шел, и все. Снова неопределенность стала тяготить Данилова. Прогуливаться он уже не мог. Он желал теперь же выйти на своих исследователей и судей и сказать им: «Нате, жрите, только не томите понапрасну!»

В каком из Девяти Слоев он теперь находится, Данилов не знал. Может быть, в Четвертом, Гостеприимства. А может быть, и вблизи Канцелярии от Порядка. На привязи. И это только ему кажется, что он ходит и парит, на самом деле он не ходит и не парит, а пребывает в состоянии козы, привязанной веревкой к колышку.

Никаких примет здешних мест не обнаруживалось. Стояла сплошная пустота. Но не черная, как в Колодце Ожидания, а желто-голубая. И ничто не звучало. Но тут мимо Данилова, чуть ли не сбив его, с гиканьем промчался на самокате толстый тип в панамке с мятыми краями. Тип был пожилой, но толкался азартно, по-ребячьи, левой ногой, и самокат имел самодельный, точно такой, какие московские мальчишки, в том числе и Данилов, мастерили в сороковые годы, — из досок и трех подшипников. Подшипники будто по асфальту крутились — гремели и вышибали искры. Обогнав Данилова, метрах в ста от него тип остановился, погрозил Данилову пальцем, сказал, сокрушаясь, но и с удовольствием: «Фу-ты ну-ты, шины сдуть!» — и укатил дальше. «Он знает, куда ехать, — подумал Данилов. — Надо за ним и идти.»

Этот дачный лихач в панамке даже умилил Данилова. Может, он и самокатом-то наслаждался впервые в жизни и свой облик принял ради него, Данилова, сам же веками выглядел каким-нибудь кристаллическим стручком в созвездии Дивных Тел. Случайным образом пересеклись их с Даниловым жизненные дороги, вот и расстарался тот стручок, обернувшись дачником и надел панамку.

Тут надо заметить, что мир, который Данилов считал когда-то своим, а теперь с некой отчужденностью называл Девятью Слоями, обладал поливариантностью. Мир этот мог иметь много выражений. И существа этого мира могли не только преобразовываться и превращаться (то есть переходить из одного состояния в другое), но и воплощаться. И, стало быть, пребывать сразу хоть бы и в ста различных состояниях, принимая самые подходящие для случая облики.

Когда-то Земля была избрана для Девяти Слоев базовой планетой (Данилов слышал о такой теории происхождения Девяти Слоев). Но с той поры много воды утекло. Много дыма истаяло. Работниками Девяти Слоев были освоены и другие цивилизации. Иные замечательные, но слишком грамотные. Иные недоразвитые. Внедрились работники и в пустынные звездно-планетные системы, где пока корчились и грелись лишь микроорганизмы, а то и просто бушевали в одиночестве и самоедстве бездушные стихии. Хватало занятий и пространств. Земля по-прежнему в хлопотах работников Девяти Слоев занимала важное место. Но и иная микрокосмическая система на элементарной частице порой требовала больших забот. А всякие туманности? Или сложности с двойными звездами? При этом повсюду были свои понятия о смысле бытия, о способах выжить и устроить цивилизацию, наконец, о том, что и как кушать и какие одежды носить. До того в галактиках все было по-своему, до того странно и удивительно! Работники Девяти Слоев старались усилить эту странность и удивительность, прививая там и тут заблуждения. Но им, для того чтобы действовать с толком, надо было знать тьму различных состояний и пребывать во всех освоенных ими цивилизациях и в бездушных системах в надлежащем виде. В общении с землянами и с личностями, занятыми делом лишь на Земле, вроде Данилова, Девять Слоев и их обитатели воплощались в формы, известные именно жителям Земли. Эти формы в Девяти Слоях и любили более всего. Сказывались давние, устойчивые моды на все земное. В земном варианте Валентин Сергеевич сидел сейчас где-то мелким порученцем, похожим на тихого барышника с Птичьего рынка или на артельного счетовода, но это не помешало бы его воплощению, если бы была необходимость, скажем, сотрудничать с Кармадоном, объявиться сейчас на планете Солнечная Моль молибденовым телом. Впрочем, там ли теперь Кармадон? Коли бы знать...

Впереди что-то блеснуло. «Ба, да это же лифт!» — сообразил Данилов.

В Девяти Слоях проживали и постоянные обитатели, каким не было нужды иметь воплощения в иных цивилизациях. Многие из них были заняты и земными проблемами. Они-то, местные жители, и Данилов когда-то был в их числе, и придумывали здесь и нормы приличия, и стили поведения, и просто мелкие привычки. Из Слоя в Слоя демоны всех статей могли перемещаться любыми способами. Однако последние лет сто пользовались исключительно лифтом. И лифт-то были тихий, такой ездил когда-то в гостинице Астора в Филадельфии, ходил он погромыхивая и покачиваясь. Но было в нем много шику. Всякие металлические накладки на кабине и приемных камерах, чудесные зеркала, медные виньетки, лилии из голубого фарфора над зеркалами, кисти с помпонами из золотых нитей. И оставалась на нем печать несомненной солидности.

Проезжий самокатчик то ли уже успел воспользоваться лифтом, то ли укатил дальше.

Данилов нажал кнопку вызова.

«В каком же я Слое?» — опять подумал Данилов. Ни с того ни с сего на память пришло одно из посещений Клавдии Петровны и катание в лифте ее дома румяного пирата Ростовцева. А вдруг и в этом лифте Ростовцев катается?

Пока Данилов вспоминал Ростовцева, кабина лифта проехала мимо. Данилов в возмущении и по привычке стал давить на кнопку вызова, но ничего не достиг. Какие-то личности были в кабине, но кто они, Данилов не успел разглядеть. Да и всех ли он знал в Девяти Слоях? Что же это — кнопка испортилась или он, Данилов, был заперт здесь? Данилов опять нажал на кнопку. Вскоре он услышал звук спускавшейся кабины, невидимые тросы гудели и поскрипывали. «Неужели и эта не остановится?» — испугался Данилов. Остановилась. Данилов не раздумывая устремился в пустую кабину, будто опаздывая куда-то. Испытывать судьбу он не стал — вдруг путь вверх ему заказан! — и нажал на нижнюю кнопку.

В Первый Слой он вышел не сразу. Опять заробел.

Теперь по кнопкам лифта он знал, что его койка с платяным шкафом помещается в Четвертом Слое, Гостеприимства. Значит, он гость. То есть хотя бы вызванный просто по делу. Но Данилов не обольщался. Мало ли где могли его разместить...

Ни навстречу Данилову, ни мимо него никто не шел. Печальная мгла стыла всюду. Данилову было не по себе. Следовало уезжать. И уж никак нельзя ему было идти к памятному месту. А Данилов не смог побороть искушение. И пошел. В том месте до сих пор был завал булыжников, битого цветного стекла и изломанных декоративных костей. Данилов разгреб завал, перламутровая пленка по-прежнему была здесь ободрана, и сквозь открытый бесценный хрусталь нижней сферы Данилов увидел Большого Синего Быка.

Синий Бык стоял смирно, тихо шевеля губами, вздрагивали его верхние веки, однажды дернулось правое ухо, будто на него село насекомое. Большой Синий Бык всегда держал на своей спине Девять Слоев и должен был их держать вечно. Знать о нем полагалось, смотреть на него было запрещено. Однако в юности Данилов из любопытства и озорства нарушал запреты (повзрослев, узнал, что нарушение иных запретов поощряется). Но запрет на Большого Быка был слишком серьезный. Именно своей серьезностью он и подтолкнул Данилова к рискованной проказе. Данилов прослышал, что в нескольких местах перламутровая пленка, покрывавшая изнутри нижнюю хрустальную сферу, обшелушилась и там сквозь хрусталь видно. Данилов, бедовая голова, проник в одно из тех мест, здесь не только облетела перламутровая пленка, но и была в хрустале трещина, чуть ли не щель. Ее даже не заделали, а просто завалили камнями, битым стеклом и декоративными костями. Тогда Данилов и увидел Большого Синего Быка. Бык стоял на самом деле великий, но Данилов по молодости лет был разочарован: «Ну стоит, ну держит, ну и что?» Однако потом вспоминал о Быке с уважением. Теперь Данилов чувствовал, что не одни лишь воспоминания о юношеской проказе привели его сюда. И нечто другое... Щель до сих пор так и не заделали, перламутровую пленку не подклеили. Оставили завал. Данилов стоял и смотрел на Быка. На спине Быка под жесткой и свежей еще шерстью вздрогнули мускулы, какое-то усилие почуял Данилов, возможно, спина животного чесалась. «Бедняга», — подумал Данилов. В завале он отыскал обломок кости потоньше и подлиннее, сунул его в трещину, достал до спины Быка, почесал ее. Веки животного поднялись, видимый Данилову глаз показался ему благодарным, он просил: еще! Данилов

долго почесывал обломком кости Быка. Наконец веко Большого Быка опустилось, и Данилов понял: хватит. Данилов сдвинул камни, стекло и кости, пошел к лифту. По дороге подумал: «А Кармадон-то? Неужели на Земле он хотел побыть синим быком именно из-за этого, Большого, который держит на себе Девять Слоев? Как мне раньше не пришло в голову! Но зачем Кармадону это?.. А зачем тебе твоя музыка?..»

37

В лифте Данилов нажал кнопку Седьмого Слоя.

Нажал не подумав. Седьмой Слой назывался Слоем Удовольствий. И ему ли, Данилову, было являться сейчас на балы и банкеты? Да и прилично ли он был одет для Седьмого Слоя? Но что теперь делать? Нажал кнопку и нажал. Не то чтобы в некотором кураже находился сейчас Данилов, но все же он явно храбрился, чуть ли не вызов бросал кому-то. Или, может быть, просто своему положению. Данилов ехал, нервничал, вспоминал, каким являлся в Седьмой Слой Удовольствий в юные годы.

Тогда он был удачливым повесой, ему прощалось многое. Какими глазами глядели на него дамы! Иные в летах. И в них играла кровь и в нем. Впрочем, сам Данилов не слишком давал разгораться душевному пламени и не искал покровительства, пусть и прелестных дам. Он был горд и самостоятелен. Он служил в Седьмом Слое, устраивал там фейерверки, играл на люте чувствительные пьесы, танцевал на балах. Коли б он остался на службе при Седьмом Слое в Канцелярии от Наслаждений, разве нашелся бы нынче повод назначать ему время «Ч»?

Но тогда бы Данилов не попал на Землю. А о том, что он попал на Землю, Данилов жалеть не мог.

В Седьмом Слое было удивительно тихо. И свет был тусклый. Станные звуки раздавались вдалеке, однако они не имели никакого отношения к музыке. Звуки были деревянные и тряпичные. Будто где-то сдвигали мебель и мокрой шваброй терли пол. Буйствам, гуляниям, танцам и фейерверкам полагалось происходить здесь вечером и ночью. Но, может быть, стрелки ходиков с кукушкой находились вовсе не там, где им следовало бы находиться? По ощущениям Данилова дело шло к ужину, а здесь скорее всего протекало утро. «Надо перестраиваться», — решил Данилов.

Однако все равно. Утро утром. Пусть не гремят оркестры, не шуршат платья по паркетам. Но ведь тяжелым головам и подорванным организмам именно по утрам и необходимо решительное облегчение. Им нужен спасительный рассол! Живительная влага! В прежнюю пору всегда по утрам здесь открывались трапезии, быстро и сосисочные. И голову можно было окунуть хоть в жбан со зменными настойками, хоть в бочку с пивом. А сейчас никакая жидкость поблизости не лилась и не булькала, ни одна буфетчица нигде не бранила иззябшие натуры и не ласкала их словом.

Но Данилов, пожалуй, был рад пустыне Седьмого Слоя. Теперь он понимал, что не был готов к появлению здесь в разгар веселий. Думал Данилов о возможной встрече с Анастасией. Анастасия была ему приятна, но, наверное, он побоялся бы теперь взглянуть ей в глаза. А ведь раньше земное не бралось в расчет в их отношениях. Прекрасная же Химеко, полагал Данилов, в Седьмом Слое вряд ли появилась бы. Она и прежде заглядывала сюда редко. И все же Данилов испытывал беспокойство оттого, что ни один знакомый, ни тем более Анастасия и Химеко, существа ему не безразличные, даже и не попытались пока войти с ним в контакт. А ведь он уже давно впал в демоническое состояние и, стало быть, по правилам договора контакт был дозволен.

— Слушай, парень,— услышал Данилов хриплый голос,— где здесь это?

Данилов обернулся. Лохматый, с трудом продиравший глаза демон стоял перед ним. Был он весь плюшевый, не то чтобы нацепил на себя плюшевое платье, нет, ходил именно с плюшевым телом, и ничего неприличного в этом теле не было. В страданиях пребывал он теперь, но, видно, жила в нем и надежда на освобождение от этих страданий.

— Что — это? — спросил Данилов. И сразу же подумал, что спросил зря. То есть, конечно, собеседник мог иметь в виду туалет. Но все же вернее было предположить, что его мучает иная нужда.

— Вон там,— указал Данилов в направлении, где раньше по утрам бушевали опохмельные.

Плюшевый демон улетел. Данилов хотел было последовать за ним. Однако плюшевый тут же вернулся. Он негодовал. То ли на Данилова, то ли на увиденное им. Вскрикивая, махая руками и крыльями, он сунул Данилову какую-то безобразную картонную табличку, сплюнул и исчез с гневным электрическим звуком. На табличке в восемнадцати смыслах значилось: «Санитарное время». «Ага,— сообразил Данилов,— стало быть, здесь ничего странного нет, а просто новые затеи». На всякий случай Данилов ринулся в опохмельные места. Нет, там на самом деле всюду висели таблички санитарного времени. «Когда же они ввели-то?» — удивился Данилов. Тут он подумал о том, что не знает о многих здешних новостях, ну хотя бы и о мелочах — о кондиционере в лифте или вот о санитарном времени,— а ведь когда-то он во все в Девяти Слоях с охотой совал нос, все ему было интересно. «Какие они чистюли стали...» И он опять отметил, что называет здешних обитателей «они», как бы отстраняя себя от жизни Девяти Слоев.

Не спеша Данилов обошел знакомые места Седьмого Слоя, улыбку умиления не раз вызывала его память. Однако и ирония взрослого была тут как тут. Скучно здесь было сейчас. Лишь где-то стукали ведра об пол и тряпки терли паркет, линолеумы и флорентийские мозаики. Может быть, и Валентин Сергеевич в усердии поблизости скоблил пол. Но в памяти Данилова то и дело возникали чудесные картины, он видел себя юношей, вот здесь он играл на лютне, вот здесь он раскладывал звездчатые ракеты для фейерверков «черный цилиндр» и соединял их шнуром, вот здесь в беседе говорил пустые, но горячие слова голубой прелестнице, а та смеялась и покачивала перламутровым веером. Впрочем, что было теперь умиляться, вспоминая о наивных и легких радостях... Старым чувствовал себя в Седьмом Слое Данилов. «Ну, может быть,— подумал Данилов,— не столько я постарел, сколько я здесь стал чужой?»

«Интересно,— пришло в голову Данилову,— и зоопарк закрыт?» Данилов любил отдыхать в зоопарке. В нем содержались твари, вымершие на Земле. Коллекция зоопарка то и дело пополнялись, территория его была обширная, но часто возникали разговоры о том, что парку следует отвести большие просторы. Ожидалось, что скоро сюда переберутся с Земли очень многие звери, птицы, рыбы и насекомые. Как, скажем, приплыла из вод Тихого океана в здешние водоемы простодушная стеллерова корова. Ни клеток, ни оград с зубьями и башнями в парке не было. Обитатели паслись, резвились, кушали кому кого полагалось, отстаивали свое существование в естественных ириродных обстоятельствах.

Зоопарк был открыт.

Данилов пробыл в зоологическом саду недолго. Все его тянуло к своей постели и платяному шкафу. Будто там его ожидало какое-либо письменное распоряжение. Да и пить хотелось. В парке было два заве-

дения с напитками. И по всему чувствовалось, что нынче они работали. Но на одном из них висела бумага со словами: «Только что ушла на базу», другое было покинуто без объяснений. «Прежде были порядки строже», — подумал Данилов с возмущением.

Снова он поглядел на плавающих ящеров, на динозавров, на мамонтов, на драконов, которые не оставили людям даже костей для исследований, а попали лишь в мифы и легенды. Но и эти животные не надолго отвлекали его от тревожных мыслей. Даже знакомый единорог — Данилов в детстве звал его Клеонтом, — увидевший Данилова, обрадовавшийся ему, и тот Данилова развеселил лишь на минуту. Данилов быстро ушел от Клеонта, а тот расстроился, заревел, задрал рог, бил по грунту копытами.

— Не хватало мне тут еще расчувствоваться, — проворчал Данилов.

38

Данилов вернулся в Четвертый Слой. Ничто здесь не изменилось. Данилов, мучимый жаждой, отважился на дерзость. Решил поискать удачи здесь же. Все-таки это был Слой Гостеприимства и прежде имел достаточно баров, харчевен, трапезных, пабов, забегаловок с музыкальными аппаратами, не говоря уж о буфетах и рюмочных.

Все это и теперь никуда не исчезло. Не истощилось и не было нынче осчастливлено санитарными делами. Данилов не без робости заглянул в знакомые ему заведения. Нет, его не вышвыривали и не прихлопывали. Тогда Данилов стал выбирать. Во-первых, потому, что он мог (так он считал) разрешить себе выбирать. И потому, что многие блюда и бутылки, чьи ароматы, соки, запахи и букеты когда-то привлекали юного Данилова, теперь совсем не нравились ему. В частности, Данилов нынче нос воротил, проходя мимо заведений с историческими кушаньями. Всякие настойки из сушеных мокриц, ядовитые варева, каши из протертых кактусов, булыжники в зеленой простокваше Данилову были чуть ли не противны. К тому же во многих заведениях надо было расплачиваться наличными. В конце концов Данилов выбрал скромный мясной буфет, где можно было тихо посидеть в кредит.

Он вошел в буфет и сразу увидел Кармадона.

Кармадон сидел с тремя незнакомыми Данилову демонами возле самой стойки за тяжелым, грубо отесанным столом. Впрочем, здесь все столы были из пористого туфа, грубо отесанные.

Данилов чуть ли не выскочил из буфета, однако успел подумать: «Что же это я?» Степенно сел за свободный стол, правда достаточно далеко от Кармадона. Сколько заведений он мысленно отклонил, мимо скольких буфетов прошел в сомнениях и вот выбрал именно этот. Но отчего он растерялся, отчего теперь, хотя и вынудил себя присесть за стол, все еще готов был бежать отсюда? Ведь совсем недавно сам искал Кармадона, и вот он, Кармадон. «Сиди! — сказал себе Данилов, — Сиди, раз зашел». И он сидел.

Сидел он (если брать нынешнюю их с Кармадоном ситуацию) удобнее, нежели Кармадон: тот мог его и не заметить. От этого Данилов испытывал чувство неловкости. «Что же теперь с Кармадоном?» — думал он. На некоторые соображения его наводило то обстоятельство, что Кармадон, ас со спецзаданием, прежде выбиравший для отдыха и встреч с друзьями места роскошные, нынче сидел в захудалом мясном буфете. «А вдруг, — испугался Данилов, — здесь теперь железнодорожная кухня? Вот Кармадон и ходит сюда!» Это подозрение Данилова расстроило. Данилов поводил пальцами над розовым камнем, словно над музыкальным аппаратом Термена, вызывая из кухни блюда. Прежде в буфете кормили не только мясом, случалась здесь и рыба, и Дани-

лов заказал: икра минтая вяленая — 1—150, ястычная. Икра поступила. Икра лежала на тарелке твердой плиткой, видно была прессованная. Данилов отгрыз кусок и распорядился насчет «хейнике-бир» и «радебергера». Кружки возникли запотевшие и в пене. Голландское пиво было точно голландское. «Радебергер» же ему подменили пльзенским апольдского завода. «Ну и ладно,— благодушно подумал Данилов.— Может быть, у них и нет на складе «радебергера». Да ведь и «радебергер», если разобраться, типа пльзенского...» Данилов вспомнил, что Апольда под Веймаром. Там Гёте, соскочив с лошади, командовал когда-то тушением пожара. «Хорошо! — умилялся Данилов.— Разве дали бы арестанту, разве дали бы обреченному пиво и икру!» И повторил заказы.

Он как будто бы даже забыл о Кармадоне. Хотя, конечно, все время видел его. Кармадон сидел к Данилову боком тихий и суровый, жевал что-то.

— Можно присесть? — услышал Данилов.

— Пожалуйста,— кивнул Данилов.

— Ба, да это Данилов! — сказал присевший.— Здравствуйте! Какими судьбами?

— Обыкновенными... — замялся Данилов.

Он все соображал, кто это перед ним. Внешность присевшего казалась знакомой. Одет он был в европейский шерстяной костюм, но на голове имел белый капюшон от бедуинского плаща («Бурнуса, что ли,— вспоминал Данилов,— или убруса...»). Лицо присевшего капюшон почти скрывал, но было все же заметно, что части его лица существуют сами по себе и могут меняться местами. Кто же это, думал Данилов, не из лицейских ли знакомых? Ясно, что не из их выпуска, но, может быть, старшего? Или младшего?

— Нет, я не из лицейских, — сказал демон. — Куда мне до лица. Я мельче... Мы с вами встречались на курсах по повышению личных свойств... Вы делились наблюдениями... Я тоже с Земли... Тружусь в аравийских пустынях...

— Ах, да, да,— сказал Данилов.— Я вспомнил вас...

Он вспомнил на самом деле. Даже имя собеседника было когда-то знакомо Данилову, то ли Ураэл, то ли Ураил...

— Уграэль,— сказал демон.

— Да, да,— согласился Данилов,— Уграэль...

— Вы сюда с отчетом или за инструкциями?

— С отчетом,— быстро сказал Данилов и оглянулся.

— Ну да,— кивнул Уграэль и, как показалось Данилову, усмехнулся: мол, знаю, с каким отчетом.

— Вы здесь давно?

— Порядочно,— сказал Уграэль.— Я по вызову.

— И приятный повод, если не секрет?

— Хороший повод,— важно сказал Уграэль.

В это мгновение Кармадон, опустивший на стол бокал с черной жидкостью, повернул голову, и Данилов увидел правую сторону его лица, дотоле от Данилова скрытую, она была перекошена, словно Кармадона хватил паралич, пусть и не самый решительный, да так и не отпустил. «Экая гримаса неприятная!» — удивился Данилов и даже расстроился. Он-то знал, отчего перекошило лицо Кармадона, но полагал, что давно все выправлено. Кармадон опять повернул голову, похоже, так и не заметив Данилова, не ощутив его присутствия.

— Страдает,— сказал Уграэль чуть ли не с удовольствием.

— Кто? — спросил Данилов.

— Кармадон. Вон как его скривило.

— Но, может быть, на задании? — сказал Данилов.

— На задании! — усмехнулся Уграэль. — Если бы на задании, так его бы давно починили! А тут вон куда бросили! Даже стал ходить в этот буфет, бывший-то ас!

— А куда?

— Что куда?

— Куда его бросили?

— Да вы что? — удивился Уграэль. — Вы разыгрываете меня? Все ведь знают. А вы были приятели.

— Я только из Москвы...

— Из Москвы! — опять усмехнулся Уграэль.

— Из Москвы, — хмуро и твердо сказал Данилов.

— И что же, вы не знаете, что Кармадона разжаловали из асов и бросили в микрокосмос на элементарную частицу?

— Нет, не знаю, — искренне сказал Данилов.

— Ну так вот бросили.

— Ну что же, — сказал Данилов, помолчав, — и там работа ответственная, там сложная работа...

— Сложная, — согласился Уграэль. — Просто ювелирная. И все же вы меня разыгрываете!

— Нет, несколько... Мы теперь не так близки с Кармадоном, как в юные годы. И я его только что увидел. Я не думал, что он в Девяти Слоях. Лиц, что сидят с ним, я не знаю, нарушить их беседу было бы неприлично. Но вид его меня поразил. Что произошло с ним?

«Зачем я оправдываюсь?» — отругал себя Данилов. Он понимал, что и не следовало бы расспрашивать (лукавить при этом) случайного собеседника, неизвестно зачем вызванного в Девять Слоев из аравийских пустынь, о несчастье Кармадона, но и удержать в себе вопрос Данилов не смог. В глазах Уграэля опять была усмешка, он словно бы давал понять — мол, я-то знаю, как вы не знаете.

— А я и сам не слишком информирован, — сказал Уграэль. — Кто я? Мелочь... Был.

Он сделал ударение на этом «был» и опять со значением поглядел на Данилова. Может, сюда Уграэль прибыл с надеждой на продвижение, а тут надежду его укрепили, вот ему и не терпелось намекнуть об этом хотя бы Данилову?

— Я знаю обо всем с чужих слов. А что же это? Слухи. Сплетни... Будто имел Кармадон приключение... Этакое... лирическое... Он оконфузился. Тогда его и скривило. А вы сами знаете, что в таких случаях ран и повреждений не отменяют. К тому же, говорят, Кармадон нарушил правила... Стало быть, замарал честь. Покровители и родственники сделать для него ничего не смогли. Проигравший, опозоренный — разве мог он оставаться асом со спецзаданием? Сами посудите. Теперь он демон десятой статьи.

— Десятой? — не поверил Данилов.

— Десятой. И служит на элементарной частице.

Возле Уграэля на столе возникла бутылка имбирной настойки и на тарелке кусочки сухого бамбука словно от распиленной лыжной палки. «Видимо, надоело ему все аравийское», — подумал Данилов. Уграэль пожелал угостить Данилова имбирной, но Данилов, любезно поблагодарив Уграэля, вызвал кружку светлого биржайского пива.

— И говорят, — сказал Уграэль, — он не подавал апелляции. Да и что подавать?.. Обидно! Из-за какой-то юбки...

Тут левый глаз Уграэля опустил к краешку его губ, расширился и уставился на Данилова в некоем ожидании. Откровенности Данилова, может быть, ожидал он?

— Да, — сказал Данилов, — печальная история.

Глаз Уграэля вернулся на место и скромно смотрел теперь в рюмку имбирной. Этот чистенький демон в бедуинском капюшоне, видимо, многое знал. Раз имел сведения насчет юбки, то, наверное, был наслышан и об участии Данилова в приключении Кармадона. Сейчас же он (может, и с намерением) разыгрывал из себя наивного провинциала. Но вдруг Данилов ошибался?

— Ну как у вас в Москве? — спросил Уграэль.

— Что вас интересует?

— Меня многое интересует, — сказал Уграэль. — Климат, условия быта, напитки, курево...

Тут он осекся, словно испугался. Данилов с интересом поглядел на Уграэля. Что далась ему Москва?

— По сравнению с аравийскими пустынями в Москве прохладно, — сказал Данилов, — рядом Ледовитый океан...

— Да, да, я знаю, — быстро сказал Уграэль.

— А насчет курева... Вас что интересует? Сигареты, папиросы, трубочные табаки? Или анаша?

— Нет, я это так, к слову... — смутился Уграэль. — Я не курю... Извините, я спешу по делу... — Он встал. — Желаю вам отчитаться.

— Спасибо, — холодно кивнул Данилов.

— Может, еще и встретимся. А может быть, и нет, — сказал Уграэль, и тут уши его наполнили на глаза. Неприятно, даже зловеще Уграэль смотрел на Данилова. А потом исчез.

«Нет, и вправду он что-то знает? — забеспокоился Данилов. — Он явно валял передо мной дурака. И что он расспрашивал о Москве? Похоже, что не из вежливости... Хорошо хоть мой театр его не занимал». Данилов чувствовал, что своей прощальной гримасой Уграэль испортил ему настроение. В раздражении пребывал теперь Данилов.

Совсем недавно он был готов бежать из мясного буфета, сейчас же он сидел чуть ли не обиженным на Кармадона: тот его не замечал. Раздражение, вызванное Уграэлем, он словно бы перенес на Кармадона. Данилову хотелось выкинуть нечто такое, что привлекло бы внимание Кармадона к нему. Данилов занимался пошлым делом — после принятия ячменных напитков потягивал коньяк (будто протестуя против чего-то). И хмуро смотрел на стол Кармадона.

Кармадон обернулся. Он что-то говорил собеседникам, что-то доказывал им и, обернувшись, замолчал, замер. Потом словно пришел в себя, стул передвинул, спину показал Данилову и, видно, продолжил разговор.

В том, что Кармадон заметил его, Данилов не сомневался. Обратили внимание на Данилова и демоны, сидевшие с Кармадоном. Они то и дело поглядывали теперь на него. Но вряд ли вели с Кармадоном о нем речь.

А Кармадон больше не оборачивался. Данилов нервничал. Он отставил коньяк. Все в буфете раздражало его. «Он меня даже не желает замечать! — горячился Данилов. — Не выказывает ни презрения, ни злобы, ни обиды. Ну как же! Он аристократ, он хоть и пониженный в чине, хоть и ущемленный, а все равно демон главной последовательности!» Что-то распирало Данилова, что-то неприятно мучало его, вот-вот готово было подтолкнуть к скандалу совершенно бессмысленному и, уж конечно, вредному для него, скандалу (Данилов уже предчувствовал это) противоположному, бабьему, возможно истеричному, с битьем посуды. «Я сам подойду к нему! — разжигал себя Данилов. — Я потребую объяснений, где Синезуд и где Бек Леонович...»

Соображение о домовом Беке Леоновиче явилось Данилову на ум (или было подсказано ему) кстати, Данилов ухватился за него. Он теперь уверял себя, что именно из-за Бека Леоновича он и намерен по-

дойти к Кармадону. Судьба Бека Леоновича несомненно волновала Данилова, его не покидало ощущение вины, но сейчас причиной стремления подойти к Кармадону было иное. А что иное, он и сам не мог бы сказать. Будто причина эта существовала независимо от Данилова.

Данилов встал и подошел к столу Кармадона.

— Извините, но я вынужден обратиться к вам...

Кармадон Данилова будто бы не видел, но собеседники его смотрели на Данилова с интересом и, возможно, ждали зрелища.

— К сожалению, мне приходится нарушать приличия...

— Вы к нам ко всем обращаетесь,— спросил демон в берете с рысьими ушами,— или кого-то имеете в виду особенно?

— Я хочу задать вопрос Кармадону, и его право решать, в обществе он желает выслушать меня или в одиночестве.

— Мне все равно,— сказал Кармадон.

— Где Бек Леонович?

— Кто? — удивился Кармадон.

— Бек Леонович. Домовой из Останкина.

— А-а,— вспомнил Кармадон, тут же сказал надменно: — К сожалению, ничем не могу удовлетворить ваш интерес.

— Но он был отправлен в известном лишь вам направлении... Именно вы его и отправили... А я давал ему гарантии безопасности... Его следует вернуть.

— Это мне теперь не под силу, — сказал Кармадон.

— А кому под силу? — не мог унять Данилов.

— Не знаю. Но думаю, что и не вам.

Данилов вдруг почувствовал, что запал его исчез и говорить ему нечего, какой тут скандал, какие решительные выражения, да и зачем они? Жалким он стоял перед столом Кармадона, и с каждой секундой его положение становилось все более нелепым. выходка его превращалась в фарс. А собеседники Кармадона все еще смотрели на него в ожидании пассажа. Но пассаж и так вышел. Кармадон же, хоть и изуродованный, сидел по-прежнему надменный и спокойный и будто бы держал у глаза ледяной монокль.

— Что же,— сказал Данилов,— придется мне хлопотать о возвращении Бека Леоновича.

Тут он откланялся.

Теперь-то ему точно следовало уйти из буфета, а он не смог, вернулся к своему столу, сел спиной к Кармадону. «Какая глупость! — думал Данилов о своем походе к Кармадону.— Вот вам и принял позор. И поделом!» Безрассудным и некорректным по отношению к Кармадону было упоминание при публике имени останкинского домового. И шепотом-то на ухо Кармадону его нельзя было произносить. Ведь он, Данилов, ничего не знал. Ничего, кроме того, что Кармадона разжаловали и следы конфуза оставили на его лице. А как все было сделано, при каких словах, записях и аттестациях, это Данилову было неизвестно. Как он мог проявить себя базарной личностью, крикливой торговкой солеными огурцами, у которой взяли из кадки овощ и ушли не расплатившись! А овощ-то вдруг и не брали... Ему было стыдно и противно.

Так сокрушался Данилов, сидя в буфете. Теперь ему казалось, что намерен был буянить совсем другой, не он. «Может быть, это все подстроили они,— думал Данилов,— исследователи?» Тогда, значит, он потерял самообладание, расслабился и дал возможность исследователям направлять его действия в созданной ими ситуации. В этом тоже было мало приятного. Пусть не вышло крепкого скандала, но кое о чем они узнали. О Беке Леоновиче хотя бы. Нет, и выпив хорошего пива, сказал Данилов себе, он не имел права забывать о волевых напряжениях.

Данилов потягивал пиво и дальше. Нервничал. Эким стал лицейский приятель! Однако держится. Пострадал, разжалован и лицо имеет кривое, а держится! И как! Будто не растерял прежних достоинств и связей и вот-вот получит решительное повышение. Орел, беркут! Пусть и пораненный. А может, знает наперед о своей судьбе такое, что и разрешает себе выглядеть беркутом. И он еще ответит на нынешнюю выходку Данилова. Он и за дуэль заплатит ему по высокому или низкому счету. Как пожелает. «Посмотрим, — подумал Данилов. — Орел, беркут! Он уже пыжился быть синим быком!» Сейчас же Данилов посчитал, что это его ехидное соображение о синем быке дурное, оно как бы мелкая месть, пусть и мысленная...

39

Впрочем, ему стоило идти домой. «Главное — домой, — усмехнулся Данилов. — А что там? Сидеть у платяного шкафа в тоске и рефлексиях? Вот именно там и сидеть! — сказал себе Данилов. — И думать о том, кто ты есть и зачем существуешь. И есть ли смысл в твоём дальнейшем существовании».

— Данилов! — Кто-то положил ему руку на плечо.

Данилов оглянулся. Над ним стоял Кармадон. В буфете было тихо и пустынно.

— Да, — нахмурился Данилов.

— Мне нужно поговорить.

— Я вас слушаю.

— Не здесь, — сказал Кармадон.

— Где же?

— Я знаю одно место. Если ты... Если вы согласитесь отправиться туда, я буду вам признателен.

— Хорошо, — сказал Данилов.

Он встал. Кармадон повернулся и быстро пошел, не проявляя никакого интереса к тому, идет ли за ним Данилов или нет. Он был в синей накидке, хлеставшей по полу, накидка развевалась, слева под ней угадывалась шпага. Данилов шел за Кармадоном в волнении, они свернули в темный переулок, и какой там возник век, Данилов не понял, и какой архитектуры стояли здания, не мог определить, но они стояли. Здесь хозяин был Кармадон, и условия его прогулки Данилов не счел нужным разгадывать. Заскрипела дверь. Кармадон толкнул ее плечом и пригласил за собой Данилова. В руке у него оказалась тонкая свеча, бледный, нервный свет ее освещал узкую лестницу со смелыми изломами, такие лестницы устраивали в крепостных башнях и в стенах замков или каменных палат. По одной из них Данилов поднимался как-то в Соликамске в воеводском доме. Здесь он шел за Кармадоном вниз. Ступени были сухие, из камня, но стертые и оттого как бы наклонные. Ничем не пахло, тени были хотя и живые, но зловещие, летучие мыши с песьюми мордами будто бы таились в них. «Да что мне летучие мыши-то!» — думал Данилов. А сам пугался. Наконец стало чуть светлее, будто бы обнаружился некий погреб или подвал. Кармадон указал Данилову на скамью, стоявшую возле длинного дубового стола. Данилов, помедлив, на скамью сел, но нерешительно, на краешек. Кармадон властно предложил ему подвинуться к центру стола. Данилов повиновался. Кармадон разжал серебряную застежку у горла, сбросил накидку и сел возле Данилова.

— Данилов, — Кармадон положил вдруг руку Данилову на плечо. — Данилов...

И заплакал.

До того как Кармадон заплакал, Данилов хотел сбросить его руку с плеча. Но тут же замер в смущении. Он поглядел по сторонам — не смотрит ли кто на них. Похоже, в погребке никого не было. А смотрел ли кто и откуда на них с Кармадоном, об этом можно было только гадать.

Кармадон опустил руку, положил ее на дубовую доску стола, а потом и голову уронил на руку. «Что он плачет? — думал Данилов. — Играет комедию? Или на самом деле?» На всякий случай он осмотрел уединенное место. Три свечи в аугсбургских шандалах, толстые, с ярким пламенем, стояли на столе, единственном в погребке. Два столба держали своды с распалубкой. Погребок был ранней готики, причем скромной, деревенской. Стены, своды и столбы его были побелены, естество кирпича проявлялось лишь в ровных шнурах нервюр. В углу за дальним столбом Данилов углядел бочки. С вином, с порохом, или еще с каким зельем, или с пиратской добычей — кто знает.

Кармадон поднял голову. Глаза его были сухие.

— Данилов, — сказал Кармадон, — сыграй мне.

— Что? — удивился Данилов.

— Сыграй мне что-нибудь печальное.

— У меня инструмента нет...

— Возьми вон там, — сказал Кармадон.

Он указал на бочки, там что-то появилось. Данилов обмер: неужели Альбани? Он быстро подошел к бочкам и увидел лютню. Лютня была знакомая. Данилов играл на ней в пору лицейской юности и позже, в Седьмом Слое Удовольствий. Лютню он держал с нежностью, чуть ли не умиление испытывал к вечному инструменту.

— Я попробую, — сказал Данилов. — Но я привык к земному. Тебе же надо что-то из тех, юношеских вещей?

— Да, из тех, — кивнул Кармадон.

Данилов, естественно, мог бы сейчас исполнить любое произведение на лютне, даже если бы он взял лютню в руки впервые. Но такими же возможностями располагал и Кармадон. Кармадон желал сейчас не исполнения музыки, а самой музыки и еще чего-то большего, и Данилов стал играть. И в юности у них были минуты высокие и печальные, и тогда звучали элегии. Данилов вспомнил былое, искренне желал своей музыкой облегчить участь давнего знакомца, застывшего рядом, жалел его и себя жалел...

— Спасибо, Данилов, — сказал Кармадон.

— За что же?

— Давай выпьем.

— Давай... — неуверенно сказал Данилов, пить он не желал, а главное, с неохотой опускал на скамью лютню, с печалью отпускал ее от себя, он стосковался по музыке.

Данилов с опаской поглядел на кубки, возникшие на столе, ожидал появления бутылей ликера «Северное сияние», закусок железнодорожных буфетов, уложенных в нетленные тарелочки из гофрированной фольги, но нет, страхи его были напрасными. Выпили, Кармадон пил угрюмо, махом, и Данилов удивился — до того хорош и благороден оказался крепкий напиток. «Что же на Земле Кармадон мучал нас «Северным сиянием» и почему мне суют железнодорожную еду?» — чуть ли не обиделся Данилов.

Кармадон снова наполнил кубок и опрокинул его. Данилов сделал один глоток.

— Тошно, Данилов! — сказал Кармадон. — Тошно!

— Отчего? — скорее из вежливости спросил Данилов.

Кармадон то ли издевку ощутил в его словах, то ли простое непонимание — и этого было достаточно. Он взглянул на Данилова свирепо, но в глазах его была и слабость израненного зверя, однако Данилов за-

робел. И Кармадон, похоже, смутился. Не для ссор, видно, он привел сюда собеседника. Данилов же не знал, как ему сейчас себя вести, они опять перешли на «ты», однако ничего, что между ними произошло, отменить было нельзя.

— Я на самом деле не знаю причин твоего нынешнего состояния, — сухо сказал Данилов.

Кармадон снова взглянул на него.

— Неужели ты ничего не слышал?

— Слышал, — сказал Данилов. — Случайно и совсем недавно. Но это были сведения невинные и, возможно, отдаленные от истины... Может, это просто сплетня...

— Разжалован, разбит и сослан, — сказал Кармадон.

Данилов полагал, что Кармадон, коли у него возникла потребность в нем как в собеседнике, сейчас выговорится, все расскажет, драматизируя подробности, ища сострадания, но Кармадон, произнеся три слова, ударил по столу, как бы ставя точку, и с ревом опрокинул кубок.

— Но и в микрокосмосе, — осторожно сказал Данилов, — своя жизнь.

— Да, — кивнул Кармадон. — И в микрокосмосе.

— Что же отчаиваться? — сказал Данилов. — Мы не юнцы. В наши зрелые годы знаешь, что не в пребывании на вершине дело...

— Данилов, не надо, — сказал Кармадон. — Ты хорошо играешь на лютне, а мыслитель из тебя никакой.

— Наверное, — согласился Данилов.

— Да и не в том дело, что меня посадили на элементарную частицу! — чуть ли не выкрикнул Кармадон. — Не в том! Слабость моя — вот что меня приводит в уныние!

Данилов молчал.

— Имя твое упомянуто не было, — сказал Кармадон. — Можешь быть спокоен.

— Что же, и о дуэли они не знают?

— О дуэли знают.

— Коли знают о дуэли, знают и обо мне.

— Я твоего имени не называл, — прокричал Кармадон, — я!

— И на том спасибо, — сказал Данилов.

— И слово «дуэль» не было произнесено. Все его держали в уме. «А я заявил о Беке Леоновиче в буфете!» — расстроился Данилов.

— Я ни о чем не жалею, — сказал Кармадон. — И не жалею о том, что нарушил правила и выстрелил, упредив тебя. Ты должен это понять.

Данилов хотел было возразить Кармадону, но подумал: а зачем?

— Но надо было стрелять наверняка! — сказал Кармадон. — Тогда бы мне все простили. И никаких разжалований. Все уважали бы меня! И я бы уважал себя. А выстрел вышел жалкий.

— Ничего себе жалкий! — сказал Данилов. — Ты выпалил в меня тысячью солнц, сжатых в пушечное ядро!

— Жалкий, — сказал Кармадон. — Раз ты существуешь, значит, жалкий. А на большее у меня не хватило сил.

— Тебе виднее, — вежливо согласился Данилов. Потом спросил: — А где секунданты?

— Они были свидетелями! — резко сказал Кармадон.

— Это я понимаю, — сказал Данилов. — Однако, прости меня за назойливость, меня волнует судьба Бека Леоновича, за Синезуда не я в ответе, но Бека Леоновича я вовлек в дело и обещал ему, что с ним ничего не случится.

— Я привел тебя сюда вовсе не для того, чтобы заниматься судьбой домового!

— Это ничего не меняет, — твердо сказал Данилов.

— Ну ладно! Сгинули они. И, возможно, они улетели в черную дыру, о которой ты умалчиваешь. Теперь скорее всего они в иной вселенной, с нами никак не связанной. Но если у тебя есть возможности, попробуй вернуть их оттуда.

— Попробую, — сказал Данилов, будто бы не заметив издевку Кармадона.

— А вдруг им там теперь приятнее, чем здесь?

— Может быть, — кивнул Данилов.

— И кончим о них! — сказал Кармадон.

Кубок его опять был полный. Пил Кармадон жадно, жидкость лилась на серый замшевый камзол. Данилов старался не смотреть на Кармадона. Видеть его изуродованное лицо было ему неприятно.

— А та женщина... Как она? — спросил Кармадон.

Данилов был уверен: Кармадон говорил о Наташе. Он все время опасался, что их слова кому-то слышны, хотя и полагал, что Кармадону нет резона иметь свидетелей их беседы и, наверное, он выбрал место действительно укромное и потайное. Но тут Данилов поневоле ошупал глазами все углы готического подвала.

— Не бойся, — громко сказал Кармадон, — нас не слушают. Я знал, куда тебя привесть.

«Может, оно и так, — подумал Данилов, — а может, и нет».

— Я ведь тогда не шутил, — сказал Кармадон. — И тебя я не испытывал. Я думал, у тебя к ней легкое отношение. А мне она была на самом деле необходима.

— Оставим эту тему, — хмуро сказал Данилов.

— Я и теперь думаю о ней, — произнес Кармадон.

— Полагаю, что дальше вести беседу бессмысленно, — сказал Данилов.

Кармадон опять опрокинул кубок.

— Да, я понимаю, — выкрикнул он, — это не по-мужски! Да, я жалок, я слаб! Моим девизом было «Ничто не слишком», но где уж теперь — «Ничто не слишком». Помнишь наш разговор в Останкине?

Данилов сидел напряженный, он думал сейчас лишь о том, не повредит ли их беседа Наташе, слова Кармадона слушал рассеянно, он понял только, что Кармадон спросил его о чем-то, и кивнул на всякий случай.

— Я говорил тогда, — сказал Кармадон, — от познания бессилье. От познания! Ты спорил со мной.

— Я помню, — согласился Данилов. — Но у меня пока не было случая убедиться в твоей правоте. Теории же меня волнуют мало.

— Ты молод!

— Я твой ровесник!

— Ты молод! Асы стареют раньше. Ты тихо сидишь на своей планете. А со сколькими цивилизациями и неживыми системами пришлось столкнуться мне! Чего мне это стоило! Сколько я узнал!

— Но ведь ты и при выпуске из лица был одарен Большим Откровением, — осторожно вставил Данилов.

— В том-то и дело, — выпалил Кармадон, — что многое из того, что я узнал, вовсе не совпадает с Большим Откровением!

Кармадон тут же замолчал, и теперь он, как раньше Данилов, огляделся по сторонам, нет ли кого.

— И забыл я подробности Большого Откровения, — добавил Кармадон уже не столь решительно, как бы даже смиренно.

Но очень скоро он опять стал нервен и громок.

— Я устал от знаний, но ничего не могу с собой поделать. Я жаден по-прежнему. Даже если я перейду в увечные войны и буду разводить

мандрагору, то и тогда, наверное, я не успокоюсь. Вот и сейчас я попал в цивилизацию элементарной частицы — по вашим земным понятиям элементарной — и там кручусь как заведенный. Я должен вернуться в асы со спецзаданием. И кривое лицо мне без нужды! Но мне следует доказать, что я все тот же. Что я тверже прежнего и злее прежнего. Однако попробуй смутить цивилизацию этой мелкоты! Поверни ее ход! Да они, эти невидимые вам крошки, тоньше и педантичнее многих существ, с которыми мне приходилось связываться. И очень может быть, что я опозорюсь в микрокосмосе и не вернусь в асы. Я и теперь опозорен: ты существуешь и не смят мною, а у меня кривая рожа!

Он опять уронил голову на руку и затих.

Секундами раньше Данилов вспомнил о Большом Синем Быке, вспомнил о том, как он, Данилов, просовывал кость в трещину в хрустальном своде и как почесывал ею животному спину, он хотел было узнать, ради чего Кармадон собирался побыть на Земле синим быком, но спросить об этом теперь не решился.

Кармадон почувствовал его мысли, голову поднял.

— Да! Да! Я хотел там влезть в шкуру самого Синего Быка, ощутить себя супердемоном, чтобы знать, как двигаться дальше. А что вышло!

Он замолчал, потом заговорил уже о другом:

— Каждая стихия — первооснова для чего-то другого, с ней связанного, но иного, непохожего. Земля, в смысле почва, — для деревьев и растений, вода — для минералов и камней, эфир — для ветров, снега, дождей. Одно преобразуется в другое. И я стихия. Но для чего первооснова я?

Слова Кармадон произносил Данилову знакомые. Похоже, Данилов когда-то читал их в лицейских научных пособиях. Наверное, тогда. Они казались ему наивными и от его интересов далекими. Но Кармадон имел свои взгляды на мир, и что же было относиться к ним с пренебрежением?

— Для чего первооснова я? — говорил Кармадон. — И я должен рано или поздно преобразоваться в нечто. Но во что?

— Почему вдруг преобразоваться? Вовсе не обязательно...

— А-а-а! Что ты знаешь! — махнул рукой Кармадон.

«Однако, — подумал Данилов, — прежде он так никогда не отчаивался...»

— Это нервы, — сказал он вслух. — Житейские и служебные неприятности, отсюда и нервы...

— Какие у нас нервы, ты что, — поморщился Кармадон. — Это у вас на Земле нервы. Или вот... Порой какой-нибудь цивилизации из-за нетерпения или еще по иной причине устроишь такую встряску, что ужас, с потопами и извержениями, с моровыми поветриями, со взрывами губительных веществ, с кровью, с сжиганием столиц, с ненавистью братьев друг к другу, со страданием мысли, но оставишь жизнь, и потом все не сразу, постепенно, но обязательно расцветает мощно и пышно, как злак на перегное... Будто бы я дал толчок развитию, какое хотел замедлить... Так нужны ли эти встряски? И кому? Мне? Им? Сейчас встряска, огонь и кровь, а потом противные нам плоды, противное нам развитие, цветы и краски, музыка...

— Не преувеличиваешь ли ты возможности Девяти Слоев? — сказал Данилов. — Не сами ли цивилизации обязаны себе встрясками?

— Даже если и преувеличиваю... Зачем мы со своими стараниями и соблазнами? И кто мы? Все эти существа и неживые системы — при нас? Или мы при них? Мы что-то утверждаем или чему-то вредим? Необходимо ли наше присутствие в мире и в чем она, необходимость? Или это все игра и пустая суета? Я запутался...

— Я не смогу, — сказал Данилов, — стать тебе советчиком или оппонентом. У меня свой взгляд на вещи. Ты же в своих мнениях сейчас вряд ли поколеблешься.

— А мне и не нужен ни советчик, ни оппонент, — сказал Кармадон.

— Зачем ты привел меня сюда?

— Я сам не знаю зачем. Я одинок. Родственники мои и мои влиятельные приятели, хотя и сделали все, чтобы слово «дуэль» не было произнесено, холодны теперь ко мне, если не брезгливы. Это деловые демоны. Мой ученый брат Новый Маргарит считает, что меня нет. А ты хоть, по сути дела, и никто, так, демон на договоре и для меня сейчас личность посторонняя, а может быть, именно и потому, что посторонняя, тут вполне уместен. Я пустил слезу, я был жалок, но мне стало легче. Может быть, я скоро забуду об этой слезе. И никто мне о ней не напомнит. Сейчас ты при мне. А скоро сгинешь.

— Ты в этом уверен? — спросил Данилов.

— Уж раз тебя вызвали такой повесткой...

Данилов хотел было возразить Кармадону, сказать, что вызвали-то его вызвали, но держат не в карцере, а в приятной комнате с платяным шкафом и часами-ходиками и гулять дают, может, все обойдется без крайнего исхода... Потом он вспомнил, как Кармадон обещал устроить его при своей Канцелярии и тем спасти от разборов и расправ. Но что было сейчас вспоминать об этом.

— Ты знаешь о моем деле что-либо новое?

— Знаю. И вряд ли бы я смог тебе помочь.

— Я и не стал бы утруждать тебя.

— Твое дело... Твое.

Кармадон поднял кубок, но теперь уже как бы нехотя, как бы неволя себя. Потом сказал:

— Ну все. Прощай. Не будь слишком откровенным с Уграэлем. Его смотрят на твое место. Все. Иди. Прощай.

— Прощай, — сказал Данилов.

Он встал, несколько мгновений стоял в нерешительности, не зная, куда идти. Брать свечу и взбираться по лестнице?

— Данилов, — сказал вдруг Кармадон, — ты хотел бы иметь детей?

— Детей? — удивился Данилов. — Хотел бы.

— А я не хочу.

— Отчего же?

— Я не могу передать им никаких нравственных ценностей!

«Вот тебе и раз!» — только и мог подумать Данилов.

— Да и не будет, видно, уже у меня детей-то, — горестно и тихо произнес Кармадон. Но тут же как бы спохватился и сказал грозно: — Все! Прощай!

Сразу же словно бы взорвалась бочка с порохом, готические своды исчезли в огне и дыму, и Данилов понял, что находится в двух шагах от входа в буфет.

Прошло еще несколько дней, если верить ходикам с кукушкой. Данилова не тревожили. Будто издевались над ним. Или Данилов оказался в хвосте очереди, а у особ, вызвавших его повесткой, не было острых причин гнать очередь галопом. Ездить на лифте из Слоя в Слойд Данилову надоело, зовы прошлого были им удовлетворены, знакомых встречалось мало, да и с теми беседы шли уклончивые и осторожные. Часами Данилов лежал на гостиничной кровати, смотрел неизвестно куда и ни о чем не думал. Обещание горячее и решительное сейчас же, непременно

но обсудить смысл собственного существования и понять, стоит ли отстаивать это существование, Данилов так и не исполнил.

Порой он вспоминал то или иное видение в Колодце Ожидания и пытался его истолковать. Однако уверенности в правильном понимании видений у него не было. По-прежнему вызывал недоумение забытый или намеренно оставленный фартук сапожника... Иногда приходил Данилову на ум разговор с Кармадоном. Были в том разговоре сказаны Кармадоном слова, каким теперь Данилову хотелось возразить. «Что же там не возражал?» — спрашивал себя Данилов. А, впрочем, зачем возражать-то? Кармадон разговаривал с условным собеседником, равным пустоте. Он же, Данилов, в утверждении своих мыслей потребности тогда не имел. Конечно, был соблазн поспорить о тех же встрясках и первоосновах, но они с Кармадоном все равно не поняли бы друг друга, случилась бы путаница в терминологии. Данилов в Девяти Слоях и так не раз ловил себя на том, что употреблял слова в их земном значении. Хорошо хоть собеседники этого не замечали. Впереди был главный разговор, там следовало быть чрезвычайно внимательным, чтобы не навредить себе или что-либо не так понять. И хорошо, что в беседе с Кармадоном он больше молчал. Как бы он стал спорить о тех же нравственных ценностях, какие Кармадон не может передать детям? Ценности это были бы для Данилова? «У них свое, у меня свое», — полагал Данилов. При всем том, что между ними случилось, Данилову порой было жалко Кармадона (однажды он даже сказал про себя «по-человечески жалко», так увлекся). Теперь хоть стал известен Данилову смысл пребывания Кармадона на Земле синим быком (шкуру большого животного, значит, он хотел примерить на себя!). Загадкой же осталось то, почему прежде Кармадон обожал ликер «Северное сияние» и блюда железнодорожных буфетов, а теперь о них не вспомнил.

В Седьмой Слои Удовольствий Данилов больше не ездил. Хотя наверняка там закончилось санитарное время. Не заявлялся пока Данилов и в Пятый Ученый Слой. Он и прежде посещал этот слой редко. Трудно было ему поддерживать умные разговоры с образованными демонами. Себя Данилов считал существом неспособным воспринять ученые мудрости. Хотя по любознательности интересовался всякими научными новостями. Сейчас от нечего делать он был не прочь заехать и в Пятый Слой. Знакомых — и по лицу и по былым развлечениям — у него служило там немало. Давно не встречался Данилов и с однокашником — Новым Маргаритом, братцем Кармадона. Еще в Останкине Кармадон сообщил Данилову, что Новый Маргарит сделал смелую карьеру и попал в козыри. Теперь Данилов узнал, как отнесся Новый Маргарит к дуэли брата и его конфузу. Вряд ли сейчас он стал бы воротить нос от него, Данилова. Впрочем, кто знает... Зачем ему Новый Маргарит, Данилов объяснить себе толком не сумел. Или не захотел. То есть он понимал, что на встречу с Новым Маргаритом толкает его, помимо естественного интереса, и некая корысть...

Так или иначе однажды, испросив у интендантов куртку из свиной кожи и техасские штаны, Данилов сел в лифт и приехал в Пятый Слой.

Там дули ветры и сверкали молнии. В этих молниях Данилов не стал бы купаться. Шли опыты, и молнии сверкали экспериментальные.

Пятый Слой открывался ему то природными полигонами — лесом, черным ущельем, каменистым дном океана (чудища плавали над головой Данилова), — то корпусами и ангарами (правда, без стен и без крыш) с металлической (или какой там) арматурой, переплетениями труб, изломанными прозрачными сферами, исполинскими колбами и сосудами, то коридорами или тоннелями, уходящими неизвестно куда. Там и тут виднелись таблички с названиями учреждений.

По коридорам и тоннелям катились вагонетки, плавали то ли дирижабли, то ли аэростаты, шастали и летали ученые демоны, спешили по своим заботам. Иногда кое-кто кивал Данилову на ходу, попадались среди кивающих и знакомые, но разговоров не возникало. Пора была трудовая.

Некоторые названия пылали огненными буквами: «Лаборатория Отсуцки», «Оранжевая Летающих Тарелок», «Институт Оптимальных Способов Расчесывания Зеленых Волос Русалок» («А еще, что ли, у них есть какие волосы?» — задумался Данилов), «Академия Дурного Глаза», «Склад Искусственных Интеллектов», «Зад Тонких Умствований», «Институт Вывернутого Чудка», «Полигон Исторических Личностей». В этих названиях для Данилова не было ничего неожиданного. Одно его оstanовило: «Комиссия по Использованию Утопших Музыкантов». То, что утопшие музыканты используются, Данилов знал всегда, но вот комиссия была для него новостью. Он сразу же захотел ее посетить. Но как бы он туда зашел? Что бы сказал? Принес, мол, новые сведения по интересующему комиссию вопросу? Но что ее интересует? Именно это Данилов и хотел бы узнать... Он постоял-постоял у двери комиссии, потоптался и пошел дальше.

Мимо него проходил работник, показавшийся Данилову знакомым (они обменялись кивками), и уронил несколько горшков с рассадой. Данилов поднял эти горшки. «Куда он приведет меня?» — гадал Данилов. Оказалось, что в Оранжевую Летающих Тарелок, называемых также на Земле неопознанными летающими объектами. В теплом воздухе под стеклянными сводами они росли на зеленых стеблях и стволах. Малые и большие. И действительно как кухонные тарелки. И размером по-серьезнее. С покойный лайнер «Куин Мэри Элизабет». В ангаре за оранжевой валялись средства доставки тарелок на Землю. Многие в Девяти Слоях к тарелкам относились критически, считали их баловством. Они и были баловством. Но отчего же и не баловаться?

Тарелки особой радости Данилову не доставили. Ну растут, ну и что? Знакомый деловито объяснил Данилову, что недавно устроено шестнадцать новых теплиц, там средние тарелки будут воспитываться в течение семнадцати дней. А раньше им и двадцати двух дней не хватало.

— А качество не пострадает? — спросил на всякий случай Данилов.

— Не должно бы, — ответил работник оранжереи. Правда, не слишком уверенно. Потом он добавил сердито: — Эх, кабы натуральный навоз шел на подкормку, а не эти порошки!

Насчет навоза Данилов выразил полное согласие. С плодами местных теплиц Данилов встречался на Земле. Летали они красиво, таинственно и бесшумно, вызывая у людей противоречивые чувства. Сразу за зимним садом Данилов углядел вывеску «Отдел Бермудского Треугольника». Для Данилова загадкой была судьба самолета «Стар Тайгер», сгнувшего в сорок восьмом году (об остальных случаях Данилов имел понятие). Он подергал ручку двери отдела. Но без толку. Возможно, в отделе никого не было. Возможно, сотрудники находились нынче на объекте.

Запахло пирогами. Данилов оживился, пошел на запах и понял, что приближается к Академии Домашнего Хозяйства. В силу житейской необходимости сам Данилов был кулинар, полотер и посудомойка, в помещении академии он шел с любопытством. Сотрудники академии, хотя их исследования и открытия не совершали переворотов, а могли лишь привести к мелким порчам и отравам, трудились увлеченно. Видно, любили свое дело. Кто писал, кто ставил опыты. Иные стояли у кухонных плит и печей — голландских, русских, занзибарских, газовых, электрических, глиняных, — примусов и керосинок, иные брызгали жидкостью

на паркетные и мозаичные полы, иные поджигали обои, иные старались проглотить пылесосом валандские кружева, иные, накидав на ковры снегу, выбивали из них пыль ружейными шомполами. Работы всюду шли серьезные. Ученые личности составляли для людей мнимые рецепты. На вид рецепты должны были быть как бы подлинными, но один или два компонента их по давней традиции (и фараоны кушали шеничные лепешки, испеченные по тем рецептам) подгадилось вводить ложные. Ложные рецепты отправлялись на Землю и с помощью известных усилий пристраивались потом в серьезные кулинарные книги, в энциклопедии домашних хозяек, на страницы журналов для семейного чтения. На столах сотрудников Данилов видел и филаделфийские издания, и офенбургскую «Бурду», и женский еженедельник из Уагадуа, и тихую «Работницу» (Данилов всегда передистывал ее у Муравлевых).

Завернув за угол, он опять наткнулся на Лабораторию Отсушки. «Заблудился, что ли? — удивился Данилов. — Или тут другая отсушка?» Впрочем, это не имело значения. В лаборатории разрабатывали способы отсушки от любви. (Наверное, где-нибудь по коридорам существовала и Лаборатория Присушки.) Здесь учитывали национальные и племенные традиции, степени силы предполагаемой отсушки. Когда-то отворотное зелье изготавливали в виде порошков, неприятных на вкус, горьких или кислых, на манер тех, какие сбывал лекарь Бомелий. Теперь зелья были сладкие, тянущие, походили на жевательную резинку. Данилов скушал один голубенький шарик, сказал: «Ничего...»

Наверное, он и впрямь сделал круг (или виток? или спираль?) и вернулся в места, им уже пройденные. Опять представлял себя огненными словами Институт Оптимальных Способов Расчесывания Зеленых Волос Русалок. Данилов заглянул в лаборатории института. Все здесь было, как у земных физиков (впрочем, Данилов физиков никогда не посещал). Какие-то пульта, тумблеры и кнопки, экраны, горящие цифры приборов, гул какой-то машинный и треск. И что-то лилось и журчало. На ампирной кушетке, будто из салона мадам Рекамье, сидели четыре русалки (в эластичных костюмах типа «Садко», хвосты в поролоновых чехлах на молниях, волосы лишь у одной зеленые, у других крашенные: рыжие, фиолетовые, серебряные; зонтики в руках), они, увидев Данилова, потянулись к нему...

Опять он заметил напоминание об утопших музыкантах. И тут им отдали целую лабораторию. Логика в этом была. Утопшие музыканты издавна играли в оркестрах при водяных и русалках. Данилов, оглядевшись, понял, что нынче в лаборатории главным образом озабочены репертуаром оркестров. Всюду стояли магнитофоны на кленовых листьях, громоздились стеллажи с кассетами. Звучала музыка. Своей музыки здесь, видимо, не могли создать, пользовались земными достижениями. Данилов услышал ансамбли «Лед Цеппелин», «Эмерсон и Клайд», «Эльдорадо», «Пинк Флойд» и прочие, услышал он колыбельную Моцарта и незабвенную «Стою на полустаночке». Наверное, эту музыку заказывали русалки. А их следовало ублажать. Они работали нынче в отравленных водах. Как еще сохраняли свои зеленые волосы, какие требовалось расчесывать! А может быть, им и нечего было сохранять? Может быть, те четыре приятельницы на ампирной кушетке сидели в париках? «Хватит русалок! — подумал Данилов. — Надо идти к Новому Маргариту». Тут же увидел еще одну табличку: «Отдел Жизнеобеспечения Русалок в Условиях Экологической Войны». «Вот оно что», — отметил про себя Данилов.

До Нового Маргарита было еще шагать и шагать. Тут все теснились учреждения отраслевые, а Новый Маргарит блистал в фундаментальных исследованиях.

Пока же Данилову на глаза попалась Мастерская монструмов. Рядом стоял и колледж монструмов. Одно время в этот колледж был недобор, теперь дела, видно, поправились. Опять гудели аудитории, да и на лавочках возле колледжа хватало монструмов. Монструмы изготавливались теперь чаще всего металлические и пластмассовые, некоторые в виде роботов или инопланетян, лишь малое число монструмов выпускалось в старых формах — вроде заросших шерстью циклопов, семиглавых змиев или горных духов с лукавыми глазами. Да что изготавливались! Многие из натуральных демонов рвались теперь в монструмы, готовы были преобразоваться хоть в кого, до того монструмы пользовались успехом. Особый конкурс — с толкотней и протекцией — был при отборе инопланетян.

Данилов прошмыгнув мимо монструмов, поспешил пройти и мимо Лабораторий Землетрясений, Солнечных Пятен, Начинки Шельфов, Футбольных Волнений, Потерянных Сумок, Ложных Угрызений Совети, Банковских Крахов, Селекции Гриппа, Поломок Осей Вращения Звезд Большой Медведицы, Ссор из-за Премий. Порчи Уравнения Клайперона—Менделеева... Да мог ли Данилов запомнить названия всех лабораторий! Главное, там занимались делами, а он шлялся.

Наконец начались озера, потом пошли бастиионы, подвесные мосты, и серым замком явился Данилову Институт Фундаментальных Знаний. Тут привратники отказались впустить посетителя без пропуска. Данилов рассердился, выругал стражей, обогнул прясло стены, поплевал на ладони и, пачкая техасские штаны, перелез через крепостную стену.

В институте Данилов бывал однажды и помнил, где что находится. Он узнал, что Новый Маргарит задерживается, но скоро будет. Ученые тут были значительные, все больше бакалавры и магистры.

Сидеть в какой-либо приемной Данилов не мог, отправился гулять по институту. Где побеседовал с лицейским однокашником, ныне, естественно, магистром, где послушал громкие споры ученых мужей. Теоретики занимались тут не только глобальными, меж- и внегалактическими проблемами, но и вопросами частными, какие, на взгляд Данилова, могли быть решены в покинутых им лабораториях. Вот, например, целая группа корпела над созданием теории недопущения нейтрино. Было известно, что на Земле в штате Южная Дакота доктор Девис восемь лет в заброшенной шахте пытается поймать в бак с перхлорэтиленом (жутко герметизированный, защищенный от всех излучений) нейтрино от Солнца, чтобы узнать, что там у Солнца в недрах. И никак не поймает. Теперь в горах Кабардино-Балкарии устраивают ловушку для того же нейтрино, пробивают тоннель возле Эльбруса и скоро пробьют. Значит, надо уберечь нейтрино от ловушек и запудрить земным умникам мозги. Впрочем, в Девяти Слоях и сами никогда не ловили никаких нейтрино, очень сомневались в том, что они есть и для чего-нибудь нужны. Но теперь, имея в виду бак в Южной Дакоте и тоннель возле Эльбруса, на всякий случай решили создать теоретическую модель Недопущения Нейтрино в Ловушки.

Та же группа куда удачливее, как понял Данилов, вела исследования под кодовым названием «Медная пуговица». Когда-то во многих местностях лешего, проявившего себя вредным, отогнать можно было, лишь выстрелив в него медной пуговицей. С веками, понятно, в институте нашли кое-что и против пуговицы. Но возникла необходимость обезопасить от людей работников более современного склада, нежели лешие (коли им приходилось охотничать на Земле).

У других проблемы были глобальные. Тут Данилов услышал много новых для Девяти Слоев выражений и словечек. Иные из них давно уже были на слуху на Земле и через популярные издания доходили и до Да-

нилова. В одном ученом споре то и дело выкрикивали: «Гиперпространство! Гиперпутешествие!» Именно гиперпутешествие совершил Данилов, когда он открыл дверь в доме шестьдесят семь по Первой Мещанской и оказался в Девяти Слоях (раньше говорили проще — «перенесся»). Звучали и другие слова: «субъединица», «сцинтилляция», «затравочная волна», «коррелятивная память», «изолированная система» и тому подобные. Смысл нескольких терминов Данилов попытался уяснить и был приятно удивлен, узнав, что демонстрация французской булки называлась нынче эффектом контиллюзионистской коммуникации в заданных параметрах. Тоже неплохо. В институте были внимательны к достижениям иных умов. Всюду Данилов видел множество земных, научных и популяризаторских, изданий, среди прочих отметил свежий номер «Знание—сила».

Данилов выяснил, что нынче обострился интерес к проблеме происхождения самих Девяти Слоев. Тут никогда не было ясности. А теперь вынырнуло много гипотез. Правда, почти все новые гипотезы не слишком далеко ушли от старых. Но были и рискованные, ставившие под сомнение избранность обитателей Девяти Слоев и их превосходство, скажем, над землянами. В частности, гипотеза вывернутого чулка. Будто бы система, похожая на Солнечную, в своем развитии дошла до точки и по всем необходимым законам вывернулась в свою полную противоположность («В черную дыру и нанзанку!»). Вот и получились Девять Слоев. А маятник развития несется теперь в другую сторону. В этой гипотезе виделась некая обреченность, и ее признали порочной. Существовало и несколько крепких и оптимистических гипотез. Но было и в тех гипотезах, узнал Данилов, одно тонкое место. Откуда при Девяти Слоях Большой Синий Бык? Зачем он? (То есть так прямо вопрос не ставился из боязни рассердить Большого Быка, вдруг сомнения дойдут до него, ведь действительно неизвестно, зачем он и что будет без него.) В годы юности Данилова о Большом Быке молчали, признавая его явлением само собой разумеющимся, а теперь заговорили. На самом деле даже и при здешнем знании происхождение Большого Быка было загадочным. Сам ли он встал под Девять Слоев или его поставили? Несет ли он в себе некую основу и причину Девяти Слоев или это просто животное? Прародитель ли он Девяти Слоев или так, неизвестно что? Всегда обходили проблему Большого Быка, но ведь все знали, что он держит на себе Девять Слоев, что он стоит, что он живой и моргает. Конечно, может быть, избранными, вроде бы жрецами, хранилась тайна Большого Быка. А может быть, и нет. Словом, теперь загадка Быка многих волновала. «Вот и Кармадон попробовал быть на Земле синим быком, — подумал Данилов, — ради важных для себя наблюдений и ощущений...»

Потом он стоял в большом холле и, раскрыв рот, внимал спору ученых демонов о трансформации зла. Неприлично было слушать чужой разговор, но ученые чуть ли не кричали друг на друга, не делая из беседы никакой тайны. Напротив, они явно были заинтересованы в публике. «Да вам своими темами, — шумел ученый, размахивавший огромной желтой кожаной папкой, — тешить выживших из ума на сборищах у Брокеновой горы! Вы все еще бредите кинжалами, ядами, чумой. Не костры-то давно отгорели на площадях!..» Его оппонент тоже сердился, однако поглядывал на спорщика несколько свысока, как на модника и пустобреха. «Ну да, — говорил он, — а вы-то далеко ли уехали?»

Тут и появился Новый Маргарит. Был он при свите, и виделось сразу, что это светило. Спор стих, все смотрели на Нового Маргарита, кланялись ему. И он быстро кивал всем. Проходя мимо Данилова, он и его заметил, но так заметил, будто Данилов наконец-то договорился с его секретарем об аудиенции и теперь ждал в приемной.

— Зайдешь ко мне через полчаса. Я вызову, — бросил Новый Маргарит Данилову на ходу и удалился.

41

Через полчаса Данилов действительно ощутил приглашение Нового Маргарита и прибыл к нему в голубую сферу. Сфера эта плавала в высоком замковом зале. Новый Маргарит сидел на диване, обитом голубым бархатом. Оглядевшись, Данилов увидел мягкие овалы книжных стеллажей, заметил слесарные приспособления, лабораторные столы, один с электронными (а может, и не электронными) приборами, другой явно для занятий черной магией. При этом как бы за стеной тихо звучал сверчок.

— Да, — кивнул Новый Маргарит, — я не могу работать без сверчка. Садись. — И он указал Данилову на диван. — Ну что, Данилов, ты все такой же молодежавый и изящный. А как находишь меня? Не узнал, наверное?

В своих словах о Новом Маргарите там, на Земле, Кармадон был несправедлив. Данилов ожидал худшего. Действительно Новый Маргарит постарел и был лыс, как цейлонский жрец, но телом он по-прежнему оставался атлетом. Другое дело, что в юности Новый Маргарит был вечно возбужденный и нервный, сейчас же он находился в состоянии очевидного душевного покоя. Видимо, изведал мысль многое и с этим изведенным был в согласии.

— Ты изменился, — сказал Данилов, решив, что раз «ты», значит, «ты». — Теперь ты серьезный и успокоенный.

— Успокоенный? Ой ли? — улыбнулся Новый Маргарит. Потом спросил: — Ну как, Данилов, жизнь?

— Ничего, — сказал Данилов. — Спасибо. А у тебя?

— У меня, как видишь...

— Да, это конечно, — сказал на всякий случай Данилов.

— Тебя сюда вызвали?

— Вызвали, — сказал Данилов. — То есть вызвали не к вам, а вообще сюда...

— Угу, — согласился Новый Маргарит.

«Идиотский разговор! — подумал Данилов. — Зачем я пришел сюда? Встать, что ли, и уйти?»

— Прежде ты редко заглядывал в Пятый Слой...

— Я многого здесь не понимаю, — сказал Данилов.

— И я многого не понимаю! — обрадовался Новый Маргарит. — И не вижу нужды в понимании многого. А в том, что понимаю, ничего не могу изменить.

— Я думаю, что ты преувеличиваешь, — сказал Данилов.

— Несомненно, — согласился Новый Маргарит. И опять чему-то обрадовался. — А если даже и могу что-либо изменить, то не имею желания изменять.

«Не мои ли заботы вызвали эти его слова?» — подумал Данилов. Сказал, помолчав:

— Я, наверное, потому и нашел тебя успокоенным... Но, может быть, тебе тут наскучило?

Вопрос этот и самого Данилова смутил. Он мог быть задан лишь в случае равенства собеседников и их потребности в откровенности, но разве они были равны и откровенны? Данилова сейчас же могли поставить и на место.

— Нет, — сказал Новый Маргарит, — не наскучило. Тебе вот не наскучила твоя музыка. Я знаю, знаю... И мне пока не скучно. Я уж не говорю о важном... Меня порой занимает и самый нелепый ученый спор. Забавно. Хотя бы и пустая перебранка вроде той, что ты слышал.

— Чью же сторону ты бы принял в этой перебранке?

— Оба правы. И оба не правы. Оба посредственности. При этом один из них более делей.

Произнес это Новый Маргарит, поделившись институтскими секретами, доверительно, как имённому равному и единомышленнику. Новый Маргарит всегда был либерал и, хотя на него часто ворчали, любил проявлять себя либералом. Он и в своем научном движении преуспел отчасти потому, что многие серьезные и строгие личности, от которых зависело его продвижение, тоже в душе считали себя либералами, однако они не могли себе ничего этакое позволить, а Новый Маргарит позволял, выражая тем самым, как им казалось, и их настроения. Они его и поддерживали.

— Оттого, что он делей, — сказал Новый Маргарит, — он и средств выудил на свои темы больше. Но это ясно...

Те два демона представляли разные направления. Тут Новый Маргарит, назвав теорию трансформаций зла, стал объяснять простые вещи. Зло имело в виду в людском понимании. В Девяти Слоях «зло» шло как бы рабочим термином. Неким обязательным для здешних работ компонентом. Естественно, выяснялось, что для тех или иных земель есть зло. И какое зло подходит к тому или иному времени. То есть надо было уметь учитывать спрос. Тот спорщик, что сгоряча поминал гору Брокен, с редким нюхом, модный костюм закажет за год до прихода моды. Стрессы, неврозы, сексуальные и прочие взрывы — все это по линии их отдела. Тут они мастаки. Но ничего старого они не признают. Считают все старое укусами комара.

— А как ты считаешь?

— Я считаю, — сказал Новый Маргарит, — целесообразным одновременное развитие нескольких направлений в исследованиях, даже если большинство из них в конце концов окажутся ошибочными. Отчего же не рисковать? Эти, со стрессами, в своей победной уверенности на самом деле многого добились. Они чутки к ходу земной цивилизации. Они и автомобиль учли, и самолеты, и бомбы, и демографию, и голографию и знают, где в метро легче оторвать каблук и вызвать сотрясение мозга, они прекрасно отличают нынешнего клерка от клерка викторианского, и в фармакологии они доки, загубили в опытах тонны антибиотиков, про героин я уж и не говорю. Ну и молодцы! Пусть и живут при своем заблуждении, что человек настолько меняется или уже изменился, что к нему приложимо лишь какое-то новое зло. Конечно, и свежие средства должны появляться, но надо иметь в виду вечное. А то — стрессы, неврозы, сексуальные взрывы! Нашли чем гордиться.

— Ты всё про того спорщика?

— Я его не осуждаю. Пусть он существует. Он необходим. Но разве памятный тебе Иван Васильевич Грозный не имел стрессов и неврозов? Или, скажем, Людовик Одиннадцатый? Да имели они, только не знали, что это именно стрессы и неврозы. Естественно, способы их управления, их нравы, некоторые их милые штучки нынче на Земле как будто бы неприличны. Однако случаются там вещи и похлестче прежних. Все было, было, было... Не так, но было. Вот потому и тот спорщик, которого желали оскорбить горою Брокен, тоже прав. И его алхимия хороша. Ведь порой нужно лишь обнаженное действие в его вечной сути.

— И все же, — сказал Данилов, — на что вам дались медные пуго-

вицы? И зачем столько средств идет на русалок? Что они делают-то нынче на Земле?

— Относительно русалок ты ошибаешься, — сказал Новый Маргарит.

— Не знаю, — сказал Данилов.

— Человек, как, впрочем, и обитатели иных планет, существо чрезвычайно живучее. И терпеливое. Какие только изменения среды он не выдерживает! Правда, изменениям этим он чаще всего обязан себе. Поболит-поболит от радиаций и химии, а потом и они будут для него, как кислород. А вот какой-нибудь древний и простенький насморк свалит его с ног. Станет очень умный, а на осмеянном и забытом черном коте и поймается. И еще. Чем цивилизация становится образованнее и взрослее — или это ей так кажется, — тем острее становится у нее интерес к собственному босоногому детству. На детские сказки и вовсе мода вспухает. И ностальгия объявится и по русалкам и по ведьмам. Как будто бы и с чувством превосходства над ними, с иронией, без страха, но все-таки... Имеем уже уроки. Пришлось вот устанавливать новую аппаратуру на станциях спиритических ответов. Там, на Земле, все больше и больше любознательных личностей пускают блюдечки по столу, вызывая духов. А у нас не стало хватать мощностей, чтобы двигать всю эту посуду. Мы отстали. Оттого теперь и не экономим на русалках.

— Наверное, и русалки нынче не те?

— Не те, не те, — кивнул Новый Маргарит.

И тут Данилов задал Новому Маргариту вопрос, какой задавать ему было нельзя:

— Усилия велики, старания ощутимы, а толк-то есть от них? Не только нынче. А вообще. Всегда.

— Ну Данилов! — развел руками Новый Маргарит. И было бы логично, если бы он выгнал Данилова из голубой сферы.

Однако Новый Маргарит замолчал.

— Что же, — сказал Новый Маргарит серьезно, — мы вели один разговор. А теперь пойдет другой... Ладно... Есть ли от наших усилий толк? Скажем, на Земле? Да? Ну так вот я тебе скажу. Толку от наших усилий мало. Конечно, есть дела, и существенные, но... Ход земной цивилизации не мы движем и не мы тормозим.

— А кто же? — спросил Данилов. И себе же удивился: о чем спрашивает? Будто не знает!

— Сами земляне, — сказал Новый Маргарит. — И тебе это хорошо известно.

— Да, у меня есть наблюдения, — согласился Данилов.

— Поэтому я и принял твой вопрос. Иному я побоялся бы смутить разум. Или же обеспокоился бы за себя. А ты мне ясен. Я знаю, кто ты.

— Кто же я? — насторожился Данилов.

— Ну, Данилов, это лишнее.

— Нет, кто же я? — сказал Данилов чуть ли не с обидой.

— Данилов, я знаю... Во всяком случае, ты не демон. И оставим это. Ты меня спросил о толке... Так вот. Сам человек куда более энергично, чем что-либо, способствует ходу своей цивилизации. Сам же человек куда более успешно, чем все, — мы, в частности, — этому же ходу и мешает.

— Может, так и должно быть?

— Видишь ли, в некоторых цивилизациях мы на самом деле были ловки и сообразительны и многое перетряхнули. Но человек... Это существо особенное... Он неуправляем. Нашему контролю и влиянию он не подчиняется. Увы. У него своя самостоятельность. Он фантазер и творец. Мы думаем о человеке с чувством превосходства. Но это несправедливо. Наши возможности изначально несравнимы с возможностями

человека. Они для него сказочные. Но голь на выдумку хитра. Многие его открытия и нас соблазнили, сколько его изобретений мы использовали и в быту и в трудах. Мы сами, в конце концов, стали ему подражать. А наши ученые? Они-то всю земную науку рассматривают с лупой в руках. Знают, что в ней много чепухи, а все равно ни макового зернышка не упускают из ее открытий и заблуждений. Считают, что людское знание условно, и тем не менее... Знают, что на Земле обстоятельства заставят так исхитриться и придумать такое, что никакая умная аппаратура в Пятом Слое не догадается придумать. Хоть ты ее снабди земными условиями опыта.

— Я здесь, — сказал Данилов, — видел земные научные издания. И серьезные. И популярные. С картинками. Я один такой в Москве покупаю. «Знание — сила».

— И «Знание — сила»! Конечно! — согласился Новый Маргарит. — А что? Хороший журнал. Ты не находишь?

— Хороший. У вас и словечки в ходу оттуда. Гиперпутешествие. Гиперпространство.

— Так всегда было. Какие термины на Земле в моде, такие и у нас. И соблюдается видимость поспевания науки за ходом времени. И облегчается ученое общение.

— Гиперпутешествие. Слово-то какое скучное. Раньше проще было.

— Но разве чем проще, тем лучше? Ты произносишь «гиперпутешествие» и чувствуешь, как усложняется твое понимание мира. И это хорошо.

— Ты смеешься, — сказал Данилов. — Не надо мной?

— Не над тобой, — сказал Новый Маргарит. — Над теми, кто суется, полагая себя вершителями, с тем и живут...

— А ты с чем живешь?

— Я тебе на это не отвечу... Скажу лишь вот что. Если бы мы только будоражили, злили землян, если бы мы только мешали им, вводили бы их в заблуждения и буйства, если бы у нас были лишь такие хлопоты и в иных цивилизациях, мы бы сами по себе ничего не значили. Носились бы прислугами при Фаустах. Но это скучно. Это унижительно, наконец. Нет, в нас несомненно существует и нечто свое, замкнутое на себя, независимое от иных систем и цивилизаций. И оттого в существовании Девяти Слоев есть свой высокий смысл... Должен быть...

— Ты знаешь, в чем он? — спросил Данилов.

— Я догадываюсь, — сказал Новый Маргарит. — Но не всем дано знать это.

— Но ведь есть Большое Откровение, — как бы изумляясь словам Нового Маргарита, сказал Данилов. — Можно видеть все насквозь и по диагонали. И в прошлом, и в нынешнем, и в грядущем. Можно ощутить вечность. Нас так учили в лицее. Зачем нам вообще науки, коли мы и так располагаем знанием всего? Зачем нам доктрины? И прошлые и будущие? Насчет наук ты меня извини, — спохватился Данилов. — Я не из-за них начал говорить, а из-за твоих слов о высоком смысле...

— Ты, — сказал Новый Маргарит устало и как бы снисходительно, — никогда не отличался большим умом.

— Да, да, это верно, — охотно согласился Данилов.

— Потому ты и был мне приятен. Хотя порой ты, конечно, и лукавил, представляясь наивным и простаком... Ты и сейчас лукавишь... У тебя ведь свое сейчас в голове, и ты тверд в своих понятиях. Что Большое Откровение! Что ощущение вечности! Что видение всего насквозь! Что наши волшебные по сравнению с человеческими возможности! И с ними все равно не знаешь истины.

— Разве они обман?

— Они не обман. И обман. Они еще не истина.

— А она достижима, истина? И она нужна?

— Не знаю... Но ради чего я отрицаю? И ради чего я познаю? Мой разум не утолен. И он мучает меня. Оттого и есть мысль. Моя. Высокая. На какую не способны спорщики из коридора... Большое Откровение, раз оно мне дано просто так и неизвестно зачем, вызывает у меня, личности размышляющей, сомнение. А не морочат ли меня? И мне кажется порой, что морочат. Но, может быть, и не морочат. Вот в чем моя беда. И вот в чем моя улада. Ты не мыслитель, ты чураешься Большого Откровения и ощущения вечности, они тебе только мешали бы жить. Да и чуждо тебе все наше. Не спорь. А я не могу отбросить их или принять просто так. Меня в страданиях и радостях влечет к истине. Как, впрочем, и тебя. Но ты ее стараешься достичь музыкой.

— Так она достижима? Она нужна?

— Я не знаю! Не знаю... Я только вижу, что ты в своей музыке куда ближе к истине, чем я в своей науке...

— Откуда ты знаешь?

— Это я знаю, — сказал Новый Маргарит. Потом добавил: — Что же касается большинства исследований в Пятом Слое, то ты, наверное, сам мог понять, что характер их главным образом прикладной. Там дела практические. Иногда и без сверхзадачи. Но с обязательным истечением из живой нынче доктрины. Отрицание, вред, зло, раздражение, палки в колесах. А зачем? Так надо. Надо — значит, надо... Конечно, люди сами себе вредят. Но и нашего зла стоят. А может быть, они без всего этого и жили бы еще в пещерах на медвежьих шкурах...

— Но ты говорил, что тебя занимают даже перебранки, якобы ученые, в коридорах.

— Занимают! — сказал Новый Маргарит. — Тем не менее занимают! Я еще бодр умом и крепок. Я деятелен, люблю интриги, игру. И рад, пусть и ложным, борениям и стычкам. Мне пока на самом деле немного наскучило. И пусть я с иными делами и темами не согласен, но раз я берусь за них или держу их в поле своего зрения, я увлекаюсь ими, и они уже как бы мои... Однако порой тошно становится... Зачем я суюсь? Куда спешу?... Зачем мы вообще?

«И Кармадон произнес те же слова», — подумал Данилов.

— Боюсь, что я не отвечу на твои сомнения, — сказал Данилов.

Новый Маргарит смотрел на него молча, долго. Сказал:

— А жаль. Я бы послушал твои слова. Хотя бы потому, что ты иной, нежели мы, структуры.

— За кого все же ты меня принимаешь?

— Я знаю за кого.

— Ты заблуждаешься, — сказал на всякий случай Данилов.

— Ну что же, — вздохнул Новый Маргарит, — может быть, и заблуждаюсь. Но и тогда не жалею о высказанном, мне и это облегчение. И ты как собеседник хорош. Сегодня ты меня слушал, а завтра исчезнешь.

«Опять он как Кармадон!» — расстроился Данилов.

— И я обо всем забуду, — сказал Новый Маргарит. — Сомнения не часто будут посещать меня. На бунты я не способен.

— А может быть, тут все от пришельцев?

— Что? — не понял Новый Маргарит.

— Я говорю, — сказал Данилов, — может, Девять Слоев основаны пришельцами? Прибыли сюда выходцы из какой-нибудь развитой цивилизации, возможно и обиженные, и оставили тут рассаду. Все запрограммировали. И Большое Откровение... И видение якобы всего насквозь. И ощущение вечности.

— Ты что-нибудь знаешь? — с подозрением взглянул на Данилова Новый Маргарит.

— Нет, — сказал Данилов. — Я так, предполагаю.
 — Это глупая теория. Но на нее нынче мода.
 — А что же ее не опровергнут?
 — Она не нуждается в опровержении.
 — Слушай, — не смог удержаться Данилов, — а откуда Большой Бык? Он при Девяти Слоях или они при нем?
 — Большого Быка ты не трогай, — строго сказал Новый Маргарит.
 — Стало быть, тайна? Стало быть, Большое Откровение и вправду не вполне откровенно?
 — Оставим это. — Новый Маргарит сидел хмурый. — Не делай себе хуже.

Они долго молчали. И дальше уже вели разговор легкий. «Чего же он ждал от меня?» — думал Данилов. Ведь когда Новый Маргарит говорил о своих сомнениях, он явно смотрел на него с некой надеждой, будто Данилов мог сказать или даже совершить нечто необыкновенное. Что-то его тяготило и будоражило. Но за кого же он принимал Данилова? Хорошо, если за человека. Но вряд ли только за человека. Данилов даже опечалился, что ничем не мог помочь Новому Маргариту.

Они еще поговорили. Данилов интересовался работой озадачивших его лабораторий и мастерских. Новый Маргарит рассказал ему, как хоят нынче монструмов, особенно тех, что определились в монструмы из натуральных демонов. Данилов вспомнил об искусственных интеллектах и спросил, хороши ли они в употреблении. Оказалось, что почти все искусственные интеллекты плесневеют сейчас на складах.

— Отчего так?

— Они слишком ретивые, — сказал Новый Маргарит, — чаще всего с перекосом и, помимо всего прочего, дешевые.

— Ну и что?

— Как что? — удивился Новый Маргарит. — Кто же теперь пользуется дешевыми вещами!

«Наверное, он уже успокоился на мой счет, — подумал Данилов. — И больше от меня ничего не ждет...»

— Ты знаешь, — спросил он, — зачем меня вызвали?

— Знаю, — кивнул Новый Маргарит.

— И как ты находишь мое положение?

— Безнадежным... Если ты тот, за кого себя выдаешь.

При этом Новый Маргарит со значением взглянул на Данилова, будто ожидая от него важного признания.

— Я себя ни за кого не выдаю, — сердито сказал Данилов.

Он встал. И Новый Маргарит встал. Он даже движение сделал к Данилову, будто хотел обнять лицейского приятеля. Однако не обнял, а лишь похлопал по плечу.

— Ну иди, — сказал, — и умири гордыню.

Данилов даже рот открыл от удивления.

— Какую гордыню-то? Гордыня всегда считалась в Девяти Слоях добродетелью. А я этой добродетели был лишен.

— Ты плохо знаешь себя. Ну бывай.

— Бывай... — сказал Данилов.

И он покинул голубую сферу.

«Ведь он знал, что я его хотел о чем-то спросить, — думал Данилов, лежа на своей гостиничной кровати. — Но, может быть, и то, что он принял меня и говорил всерьез, с его стороны — доблесть? Кого он желает видеть во мне? Кого подозревает? Я пришел просителем, но вышло так, будто бы он был заинтересован в моем приходе. Ведь что-то он искал

во мне, на что-то надеялся, полагал даже, что я в силах его поддержать, не слишком надеялся, но какую-то мысль держал в себе... Может, ждал от меня понимания его личности, ждал сочувствия, имел в этом нужду? А может быть, он просто был намерен показать самому себе, что он по-прежнему либерал и не боится бродить в беседах по тонкому льду даже и с ущербной личностью?»

Шли дни. Данилова не тревожили. Он теперь обрадовался бы и Валентину Сергеевичу, если бы тот явился к нему с поручением доставить куда следует. Данилов и в буфете, встретив Валентина Сергеевича, унился бы, спросил бы, не слышно ли, когда ему, Данилову, выйдет пора сгинуть. Но, видимо, слишком мелкой тварью был Валентин Сергеевич, чтобы кушать в мясных буфетах. А вот демон из аравийских пустынь Уграэль Данилову попадался часто. При первой их встрече мысли о Кармадоне помешали Данилову как следует рассмотреть Уграэля. Теперь Уграэль ходил без капюшона и Данилову был хорошо виден. Замечательным оказалось лицо Уграэля. Все его частности — нос, глаза, уши, прочее — действительно существовали сами по себе и могли меняться местами. Уграэль с охотой говорил о Москве, но Данилов его бесед не поддерживал. Порой в разговорах с Уграэлем он даже дерзил, но Уграэль ничего не замечал.

Данилову вообще хотелось теперь дерзить. И не только дерзить, но и протестовать. Хотелось выкинуть нечто такое, что привело бы в бешенство его исследователей. Тогда бы они зашевелились и потребовали бы наконец его к ответу. Но чем вызвать скандал, чем усугубить свою вину, что бы такое учинить, Данилов не знал. И вдруг ему пришло на ум: «А не слетать ли куда?»

Данилов прошел Четвертый Слой до самой хрустальной стены, все оглядывался. Нет, за ним не бежали и не ехали. Данилов открыл хрустальную дверцу, выбрался из Девяти Слоев. Раскинул руки и полетел. Местами он переносился. Но вблизи светил и планет позволял себе и пролетать, любовался видами и снова ощущал радость от собственного парения. Хорошо ему было. Данилов вспомнил, как Кеплер три с лишним века назад, пытаясь доказать гармонию вселенной и вывести закон: «Квадраты времени вращения планет вокруг Солнца относятся как кубы их средних расстояний от Солнца», посчитал, что существует музыкальная гармония планет, он даже выразил нотными знаками мелодии семи известных ему небесных тел. И сейчас Данилов на время согласился с Кеплером. Он и раньше порой соглашался с ним. Ради музыки. Теперь Данилов опустил себя в Кеплеров вариант мира, и небесные тела, мимо которых он пролетал, зазвучали.

Прежде Данилов любил слушать музыку планет Солнечной системы. Он хорошо знал мелодию каждой из них, знал их голоса, в особенности его волновал голос Марса. В нем не было рева воинственных труб, напротив, тот голос был нежно-голубой. Теперь Данилову не все мелодии нравились. Правда, стараясь быть объективным, он говорил себе, что сразу и на лету он может что-то и не понять и надо эти мелодии послушать еще раз. Возможно, тогда он их примет и полюбит. Однако, вспомнил он, парение его во вселенной вряд ли могло повториться. Тут же мелодии планет и светил стали казаться Данилову печальными, а то и трагическими. Вселенная словно бы просталась с ним. «Нет, глупость! — строго сказал себе Данилов. — Мелодии они меняют редко, только при катаклизмах. Не станут же они звучать иначе из-за какого-то пролетающего мимо них альтиста. Надо слушать их музыку такой, какая она есть, коли дарована возможность, а не придумывать ее».

Ликующе проревела расплавленным голосом молодая звезда, унеслась куда-то. Точно ксилофонами прозвенела стая метеоритов, и ее утя-

нуло. Многое слышал Данилов. Словно якорная цепь, скрипела, сострадавшая самой себе, оранжевая планета. Напомнив Данилову ритм гарантеллы, вращалась планета поменьше. Были и земные звуки. Были и звуки, какие Данилов слышал впервые. В иных мелодиях или в простых музыкальных темах угадывались Данилову бури, предчувствия катастроф и взрывов, тоска не осознающей себя материи. В иных была радость. Была любовь. Был разум. «Какие голоса! — думал Данилов. — Какие звуки!»

Он залетел в небольшой мир со звездой, похожей на Солнце, и с пятью живыми планетами. Решил: «А не остановиться ли здесь?» И остановился. Выбрал в вакууме место, показавшееся ему выгодным в акустическом отношении, тут и улегся. Позу принял приятную, даже беззаботную, руки положил под голову, закрыл глаза, слушал. Для него будто бы играл секстет. Естественно, не тот, в каком Данилов привык выступать в концертах. Земного в секстете не было. Однако что-то и было... Голос светила звучал ярче и сильнее других голосов, с чувством превосходства и даже власти над ними и все же не отделял себя от них. Все планеты вели свои мелодии, но в каждой из них звучали (особенному) темы звезды, как бы рассыпанные или раздаренные ею, и передавали они (так показалось Данилову) отчасти даже гордое умонстроение шести небесных тел: «Мы одно! Мы одно во вселенной!» Данилов привыкал к здешней музыке и способам ее выражения, она все больше и больше нравилась ему. «Что это?» — удивился Данилов. Голос третьей от светила планеты («пульт номер четыре»), поначалу ничем не напоминавший земные звуки, вдруг изменился, и в нем, внутри него, как одно из составляющих возникло звучание альты. Да, альты! Данилов ошибиться не мог. Теперь музыка еще сильнее трогала его... «О, если б навеки так было...»

Тут Данилов очнулся. «Да что это я разлегся? Они же меня сейчас хватятся!» Но что было пугаться? Ведь он именно и желал, чтобы его хватились. Мог бы здесь, слушая музыку, ожидать, когда его хватятся и призовут. Однако нетерпение погнало его обратно.

43

Хрустальную дверь в Девять Слоев Данилов открыл без труда. Дверь не заперли, капканов не поставили. Да и зачем капканы?

Данилов скинул куртку, улегся на кровать. Он был сердит. Готов был обвинить своих исследователей и кураторов в волоките. Когда же они наконец призовут его к ответу? Хотя бы подумали о пустой трате средств, возмущался Данилов... Был он еще и голоден, а потому решил отправиться в буфет, там наесть и напиток на столько, чтобы финансовые службы указали кому следует на недопустимость длительного содержания Данилова в Четвертом Слое Гостеприимства.

Данилов сел за стол, мысли его были уже заняты составлением программы обеда, желудочный сок выделялся в обилии, и тут появился Уграэль. «Опять этот...» — рассердился Данилов. По лицу Уграэля бродили уши, обтекая нос и глаза.

— Садитесь, — предложил Данилов.

— Что вы заказали? — спросил Уграэль.

— Кажется, тетерева́ на вертеле, — сказал Данилов.

— А я возьму устрицы.

«А что? — подумал, воодушевляясь, Данилов. — Тетерева — это неплохо. Это хорошо! Но только чтобы были с корочкой и чтобы их обложили маринованными грибами...» В это мгновение Данилова взяли за шиворот (ощущение было, что именно за шиворот, в горло снизу врезался воротник, как петля) и куда-то поволокли. Данилов барахтался

в пространстве, задыхаясь и делая нелепые движения руками и ногами, освободиться ему не дали, а чем-то пристукнули, на секунду Данилов потерял сознание. Когда очнулся, понял, что сидит на жестком стуле и пристегнут ремнями к спинке. «Зачем же пристегивать-то?» — возмутился Данилов.

Перед ним были черные стены и на них там и тут стали проступать огненные слова: «Время «Ч»! Время «Ч»! Время «Ч»!» Слова запрыгали, заплясали, принялись наскакивать на Данилова, увеличиваясь на мгновения и раскаляясь до белого пламени. Потом возник звук, устойчивый, ноющий, и когда он остыл и утих, остыли и пропали огненные слова. Данилов увидел, что стул с ним стоит в высоком зале, похожем на лицейскую аудиторию. Он же, Данилов, находится наверху, как бы на галерке. Зал был пустой, но очень скоро там, где полагалось выситься кафедре, появилась маленькая фигурка. «Валентин Сергеевич!» — понял Данилов.

Валентин Сергеевич был в том самом пенсне, в каком Данилов увидел его в собрании домовых на Аргуновской улице. Но тогда он носил куртку, а теперь надел старенькую толстовку, подпоясал ее шелковым шнуром и опять походил на тихого счетовода районной конторы. В руках Валентина Сергеевича было мусорное ведро, совок и веник. Данилова это удивило. Огненными словами уже обозначили время «Ч», но как будто бы вышла накладка, пол не убрали, и вот перед явлением судей, исследователей и исполнителей был выпущен с совком и веником порученец Валентин Сергеевич. Валентин Сергеевич очень старался. Это на Земле, да и то лишь с Даниловым, он позволял себе дерзить и даже нагличать, знал, что тот пошатнувшийся. Здесь же Валентин Сергеевич всем своим видом, движениями своими показывал (только кому?), что он личность мизерная и свой шесток знает. Данилову даже стало жалко курьера и подметальщика Валентина Сергеевича. «Эко достается труженику, — думал Данилов, — а может, и кормильцу беспечных чад. Чем его участь лучше моей?»

Тут произошел взрыв. Будто Валентин Сергеевич наступил на мину. Данилова ремни удержали на стуле. Дым потихоньку рассеялся, и там, где стоял Валентин Сергеевич, он же и обнаружился. Но это был уже не совсем Валентин Сергеевич. Он менялся на глазах Данилова. Лицико счетовода превращалось во властное лицо, пенсне растаяло, толстовка стала необыкновенной важности сюртуком с золотой отделкой, бывший Валентин Сергеевич вырос, погрузнел, это был теперь строгий и могущественный начальник Канцелярии от Того Света.

Глаза Данилова щипало. Опять, как и в собрании домовых на Аргуновской, превращение Валентина Сергеевича, видимо, вызвало выходы слезоточивого газа. Вот, значит, какой Валентин Сергеевич! Сам начальник Канцелярии проявил интерес к личности Данилова и его заблуждениям. И как проявил. Месяцы находился в охоте за ним. Даже если не сам он побывал на Земле единой сутью, а спустил туда свое воплощение в виде старательного порученца Валентина Сергеевича, это не меняло дела. Стало быть, ему показалась занимательной жизнь останкинского альтиста, коли не соскучился, а проявлял прыть и суетился на Земле, воруя, между прочим, у Данилова Альбани. Начальник Канцелярии стал сейчас для Данилова интереснее. Наверное, он получал удовольствие, пребывая в шкуре мелкой твари, мизерного лица, старичка на побегушках и зная при этом, что придет мгновение — и он произведет нынешний взрыв, потеряет пенсне и веник и грозным взором взглянет на Данилова. Да не только на Данилова!

Валентин Сергеевич, а Данилов уже не мог называть начальника Канцелярии иначе как Валентином Сергеевичем, все еще строго глядел на Данилова. А ведь и так уже произвел должное впечатление. Посчи-

тав, что хватит и следует начинать, Валентин Сергеевич будто бы нажал на кнопку, и для Данилова началось. Свет в зале стал электрически-синим, лампой с таким светом в сороковые годы Данилова лечили от насморка, свет загустел, помрачнел, вызывал в Данилове тоску. Стул Данилова затрясло, подхватило, понесло вниз, а потом вправо и вверх, стул словно бы оказался частью отчаянного аттракциона, на какой в земном парке не допустили бы человека хворого и с нарушениями вестибулярного аппарата. Крутили все быстрее. Данилов вцепился в ремни, был рад им, еще мгновения назад казавшимся ему кандалами или тюремными цепями. Теперь только ремни, верилось ему, и могли спасти, удерживать его.

Было Данилову так противно, что и вправду хотелось исчезнуть вовсе. Все надоело.

Но вот стул стало потрясывать сильнее, будто булыжная мостовая оказалась на его пути или бревна, какие нынче, оторвавшись от плотов, бродят в водохранилищах, принялись бить по сиденью и ножкам, однако скорость движения заметно снижалась и свет был уже не таким густым и жутким. Во вспышках проносились мимо Данилова чьи-то лица, кое-кого он признал. Пролетел в синий свет заместитель Валентина Сергеевича по Соблюдению Правил, пролетели приближенные к Валентину Сергеевичу служащие Канцелярии от Того Света, пролетел сановник Канцелярии от Порядка, пронеслись ученые господа, среди прочих и Новый Маргарит. Глаза у всех были суровые, готовые карать.

Движение стула замедлилось, но совсем не прекратилось. У Данилова осталось ощущение, что и судьи его на своих креслах (а может, диванах) также совершают некий полет. Он слышал раньше, что разборы судеб и провинностей особо опечаливших канцелярии демонов проводились способами самыми разными. И просто в темноте, одними голосами. И в помещениях, похожих на земные суды, с соблюдением процедур, предусмотренных кодексами и традициями подходящих к случаю стран. И как бы в начальственных кабинетах с криками, битьем кулаков по столу. И в исторических костюмах, с явлением дыб, пыточных колес, раскаленных щипцов, гильотин, которые, впрочем, не применялись, а лишь создавали настроение. Данилову досталась карусель не карусель, но что-то и от карусели.

Вспышка осветила лицо Валентина Сергеевича, и он произнес:

— Решается судьба демона на договоре, земное прозвище — Данилов Владимир Алексеевич.

(Окончание следует)



РИММА ЧЕРНАВИНА



ПУТЕШЕСТВИЕ ДЕРЕВА ВМЕСТЕ С КОРНЯМИ

Дерево захотело перемен, когда весной по его стволу, веткам и листьям
Заструились, заиграли жизненные соки.

В его обновленном теле бродила и билась живая трепетная душа,

Она смеялась и радовалась,

Она хотела перемен.

Почему люди, звери и птицы, насекомые и слоны могут передвигаться,

Могут перемещаться, могут путешествовать,

А я навечно, от рождения до могилы, приковано к одному месту,

Навечно в том же окружении?!

Дерево захотело перемен.

Но держали корни,

Они, как стальные канаты, крепко привязывали его к земле,

Давали жизнь

И давали несвободу.

«А что, если вместе с корнями?» — подумало Дерево и сделало так.

Дерево вошло в троллейбус.

Оно купило билет и село у окна.

«Оплатите проезд корней», — сказал контролер.

Дерево оплатило.

«Уберите ваши корни с сиденья», — зашикали пассажиры.

Убрать было невозможно.

Дерево пошло пешком.

Оно шло по улице,

По правой и одновременно по левой стороне,

Оно шло повсюду.

«Соблюдайте правила уличного движения», — сказал милиционер.

Соблюсти было невозможно.

Дерево решило лететь самолетом.

Оно купило билет и оплатило корни,

Оно шло на посадку вместе с пассажирами,

Оно верило.

«Корни как ручную кладь провозить не разрешается, сдайте их
в багаж», —

Скомандовали служащие аэропорта.

Сдать было невозможно.

И Дерево решило путешествовать пароходом,

Плыть морем,

Дерево стало туристом.

Но его поместили на верхнюю палубу,

Оно плыло в одиночестве,

И ему было грустно.

Вместе с другими туристами Дерево решило осмотреть город, к которому
причалили.

Дерево пошло вместе со всеми,
 Но все спотыкались о его корни и обходили его.
 «Идите позади, будете замыкать», — сказали Дереву.
 И Дерево замыкало.
 Группа направилась в музей,
 Но у входа их остановили:
 «Группа с корнями, вернитесь,
 С корнями в музей нельзя».
 И группа вернулась.
 Все были против Дерева
 И этого не скрывали:
 «Если есть корни, надо сидеть дома
 И не портить жизнь тем, кто без корней».
 Но Дерево не сдавалось.
 Дерево решило поужинать вместе со всеми,
 Оно почистило и отполировало корни,
 Оно спустилось к столу.
 «С корнями за стол нельзя, — сказал метрдотель, —
 Мы принесем вам ужин наверх».
 Посрамленное Дерево вышло.
 Оно вернулось на палубу
 И больше оттуда не спускалось
 Ни разу за весь путь.
 Его палило солнце,
 Его поливал дождь,
 Его трепал ветер —
 Оно терпеливо сносило удары судьбы.
 И когда уже совсем обессиленное Дерево наконец возвратилось домой,
 Оно пришло на то самое место, где стояло всегда
 И где столько времени отсутствовало.
 Оно припало своими иссушенными корнями к земле и застонало
 То ли от боли,
 То ли от радости,
 То ли от воспоминаний, нахлынувших целым потоком,
 А может быть, от счастья обретения вновь родной земли.
 Оно обнимало и ласкало маленький клочок земли...
 И еле слышно, чуть заметно
 Пульс жизни пробиваться стал
 По веткам истомленным и стволу.
 И Дерево ветвями зашуршало,
 Зашелестело листьями, ожив.
 Давали корни жизнь.
 Давали корни силу.
 В раздумье Дерево качает головой,
 И ветер шелестит его листвою.
 Неторопливо Дерево ведет рассказ,
 Ему внимают молча молодые,
 И солнце светит.

Время

Из времени,
 Что сыплется ковшами на меня,
 Беру лишь жалкие пригоршни.
 Ловлю руками воздух
 И за пазуху кладу
 Всего лишь жалкие пригоршни.

А необъятный временной массив
Плывет
В неторопливом колыханье
И все, что на его пути,
С собой уносит.
И я вращаюсь,
Кувыркаясь,
Глотаю воздух
И плыву,
Влекая воздушную стремниной.
Ловлю руками воздух
И за пазуху кладу.
Сжимаю руки,
Разжимаю
Не в силах удержаться,
И мощная волна меня уносит.
Глотаю воздух,
Воздуха все меньше.
Я сокровенный достаю запас,
Что на груди схоронен,
И пью немного,
Что спрятать удалось.
И давит разреженное пространство,
Мне выдав мой лимит,
Лимит сполна истрачен.
Дышу, как рыба,
Вынутая из воды,
Боль в жабрах,
В голове круженье...
Машу руками,
Чтобы выбраться из безвоздушной ямы,
Что опоясала стальным кольцом,
И давит разреженное пространство,
Машу руками...
На месте рук теперь уж крылья,
И крылья
Вдаль меня уносят...



ПУБЛИЦИСТИКА

ВСЕГДА ОТКРЫТОЕ ЛИЦО

Из переписки писателя-публициста В. Я. Канторовича и ленинградского слесаря С. Г. Солипатрова

Владимир Канторович на протяжении многих лет был автором «Нового мира», в журнале напечатаны лучшие его вещи, и в одной из них он впервые упомянул о Солипатрове. Знакомство их выходило за рамки обычного контакта писателя и читателя, составляло для обоих существенную часть круга общения. В последней прижизненной книге («История инженера Ганьшина», 1976) Канторович вновь обращается к суждениям ленинградского рабочего, по его определению «наделенного даром социологического мышления»:

«Для Анатолия Гавриловича Солипатрова социология куда больше, чем хобби, это угол зрения на окружающую его жизнь. «Литературная газета» однажды опубликовала его записки о психологии заводского коллектива, назвав их «мыслями государственного человека». Кто же он такой? А. Г. Солипатров высококвалифицированный слесарь с более чем двадцатилетним производственным стажем, но при этом (формально) только с 8-классным образованием. Он — беспартийный, заметных общественных постов не занимал, особых наградений и взысканий не получал. Меня высказывания А. Г. Солипатрова привлекли к себе и большой содержательностью, и тем, что исходят от рядового рабочего-интеллигента».

Всякий, кто сколько-нибудь знал Канторовича, понимает, как высока эта оценка. Пожалуй, мало кто из советских литераторов столь увлеченно размышлял о социологии, так часто и резко выступал против примитивного, упрощенного ее истолкования. Он и сам, по общему признанию, бесспорно был мастером художественно-социологического исследования действительности.

Острота поднятых им социальных проблем такова, что во многих случаях от него требовалась не только смелость писателя, но и мужество гражданина. Он вступал в бой с казенным, бюрократическим взглядом на вещи, за которым нередко скрывается физиономия приспособленца, рьяно выступающего якобы «в защиту общественных интересов». Писатель беспощадно срывал подобные маски.

Мне знакомы некоторые письма из большой почты, которую получал Владимир Яковлевич. В них искренняя признательность, поток ценнейшей жизненной информации, питавшей его творчество. Он говорил об этом процессе обратной связи: «Многие мои публикации вызывают поток откликов, я всегда использую их, развивая тему. Мои читатели превращаются в соавторов. Я бережно воспроизвожу в своем тексте мысли не только единомышленников, но и противников».

В одном письме, полученном Владимиром Яковлевичем от строителя, дана, мне кажется, наивысшая для писателя-публициста аттестация: «Уважаемый товарищ Канторович! Я по профессии рабочий-строитель, мне 36 лет. Откровенно говоря, я не слишком много читаю. Особенно не люблю читать на темы строительства. Даже неприятно, до какого же времени можно писать о деле, в котором не знаешь ничего; или просто пиши, что все строители — герои, и так все пройдет? Но меня заинтересовало: что это

Письма А. Г. Солипатрова В. Я. Канторовичу взяты из личного архива писателя. Публикуются в сокращениях.

за книгу «забывают» друг у друга — кто за кем, и я «забил» тоже, и до меня очередь дошла. И я был поражен, с какой точностью описаны все наши дела и не только дела, а все тонкости и подробности, как будто бы вы все это списали с тех строек, где я работал. Вот сижу и думаю — ведь это же художественное произведение, а с другой стороны — совершенно документальное... Спасибо вам за хорошую книжку и хорошую правду... Тимофеев. Ленинград».

Такое письмо — радость для автора. Счастлив был и Владимир Яковлевич, больной, лишенный возможности частого общения с людьми. Не удержался, как близкому человеку сообщил о своей радости Солипатрову. И Анатолий Гаврилович тотчас же отозвался взволнованным письмом: «Этого переоценить нельзя. «Раскошегарить» работу-строителя! Надо задеть за живое...»

Так похоже на Солипатрова — мгновенная реакция участия, сопереживания.

Приведу некоторые ответы Анатолия Гавриловича на вопросы кинематографистов при съемке документального фильма «Хочу сказать» о рабочих-публицистах.

— Что вам больше всего нравится в людях?

Солипатров: Доброжелательность, открытая улыбка, что ли, навстречу входящему или протянутая рука для пожатия.

— Что вы не приемлете?

Солипатров: Грубость... Она ранит меня до глубины души независимо, к кому направлена, ко мне или другому.

— Зачем вы пишете?

Солипатров: Безусловно не для того, чтобы стать профессиональным писателем. У меня профессия другая. Я металлист, слесарь, проще сказать... Видимо, в какой-то мере все люди пишут. Если развить эту мою мысль, то, помимо литературы, прессы, спрессованной информации, оставляющей кое-что за кадром, люди пишут и неторопливые заметки, размышления, записки не организованного редакцией человека. Это, наверное, то, что и я пишу. Лично мне кажется, прелесть этих записок заключается не в их художественности, а в документальности. Еще люди пишут частные письма, и это тоже документ, хотя, к сожалению, многие из них часто теряются. И вот, я думаю, чтобы нарисовать социальный портрет общества, нужно знать и то, и другое, и третье. Даже если современник будет рисовать этот портрет, не говоря уже об историке... Я не могу сказать, как я пишу. Я прихожу домой и, если у меня есть мысли, сажусь и пишу. Понимаете, во мне как бы живут два человека. Один смотрит глазами, отмечает что-то интересное. А другой говорит: ну раз тебе это интересно — запиши! И я пишу...

Вот несколько строк из записок Солипатрова — те самые, что любил цитировать в своих очерках и книгах Владимир Канторович:

«Рабочий приходит на завод не только для того, чтобы «вкальвать» и получать, а для того, чтобы почувствовать значимость своего дела, своей личности... Самое важное капиталовложение на заводе — не новый станок или даже цех, а обучение хороших администраторов... Коллектив чем-то похож на набор самых разнообразных музыкальных инструментов, и лишь тот руководитель хорош, который знает и понимает каждого и не пытается дуть в барабан или колотить по скрипке... Постоянная мина крайнего раздражения на челе, не терпящий возражения тон, стремление «нагнать страху» сегодняшнего рабочего не пугают и не дисциплинируют. Все это служит лишь питательным бульоном для подхалимов...»

Заметки Солипатрова публиковались в газетах, журналах, сборнике публицистики. Ленинградский профессор, доктор экономических наук Л. С. Бляхман, заведующий кафедрой ЛГУ, опубликовал о нем статью «Солипатров ставит проблему», в которой утверждает, что записки этого слесаря представляют собой «самооценку, самоанализ коллектива, взгляд изнутри, а не извне...», они «очень важны и для понимания проблем экономики, мира производства».

Однако письма, предлагаемые читателям «Нового мира» сегодня, не производственные заметки, а личные письма рабочего писателя, исповедь, в которой Солипатров, общаясь с Канторовичем, испытывал потребность, справедливо полагая, что и Владимиру Яковлевичу мысли его интересны, полезны.

Владимир Канторович не был обделен критикой, признательностью коллег. К его книгам (он был сначала ученым-экономистом) писал предисловия академик Струмилин. Его произведения отмечал Максим Горький, в журнале которого «Наши достижения» Канторович заведовал отделом. Константин Паустовский называл его «строго обстоятельным Канторовичем». Его очерки высоко ценил Валентин Овечкин, писавший о нем: «Я знаю книги В. Канторовича, очень люблю и ценю творчество этого писателя, умного, честного, умеющего наблюдать жизнь и делать из своих наблюдений правильные и смелые выводы». И тем не менее как подарок судьбы воспринимал он письма рядовых читателей.

В одном из писем Солипатрову Владимир Яковлевич сообщал, что за последнее время стал получать целые трактаты, «как и ваше, занимающие одну-две тетради. Среди авторов — рабочие со средним образованием, лишенные, как вы пишете, «стремления выйти в начальники»... они задумываются о различных вопросах современности. И мне кажется, в наших условиях это логично — обращаться со своими мыслями к писателям...»

Солипатров эту мысль подхватывает, развивает по-своему. Писатель представляется ему человеком с лицом всегда открытым, умеющим не отворачиваясь смотреть в глаза обществу и его непростым проблемам.

А. ЛЕВИКОВ.

Уважаемый Владимир Яковлевич!

Посылаю Вам свое письмо, может быть, весьма наивное для моего возраста, но на все сто процентов искреннее.

Вы пишете: хотелось бы, чтобы я еще раз где-нибудь выступил. Я убежден, что нужно как можно чаще выслушивать мнения рабочих, и не потому, что они умнее других, а потому, что их мысли отражают мир, в котором они существуют. Рабочего всегда надо слушать очень внимательно независимо от того, прав он или нет, лишь бы был искренним...

...Мне бы очень хотелось получить ответы на мои вопросы (по возможности короткие ответы).

1. Вы получили за свою жизнь очень много писем: одни из них легко читаются, другие очень тяжело. Если лучшим поставить 10 баллов, а худшим 1, сколько бы Вы поставили баллов моим письмам? (Оценить прошу беспристрастно.)

2. Насколько легко просматривается в моих письмах мысль?

Я знаю, что мои письма растянуты (сам это чувствую). Мне всегда кажется, что если мысль очень спрессована, то не остается времени поразмышлять о ней, надо переключаться уже на другую. И в общем-то хорошее и правильное выражение («краткость — сестра таланта»), мне кажется, больше подходит для языка профессионалов. Как вы считаете, на сколько процентов без ущерба для мысли и назначения мои письма могли бы быть короче? Мне очень важно увидеть себя со стороны...

...Теперь по существу Вашего предложения — принять участие в разговоре о литературе. Спасибо, но принять его не могу. Вот вам и рабочий-интеллигент, как Вы меня поспешили назвать! Не огорчайтесь.

Почему я все-таки не могу ничего сказать по поводу литературы? — спросил я себя. И почему как-то пытаюсь высказаться в других вопросах? Видимо, потому, что сама жизнь была чрезвычайно активна по отношению ко мне, да и не только ко мне, в этих вопросах. Я вижу отношения людей дома, на работе, в сфере обслуживания, я вижу пьянку, пьяниц, мое достоинство унижали бюрократы и т. д. А вот книгу я беру в руки добровольно, и если вдруг я обнаруживаю у автора малейшую фальшь или незнание предмета, я просто откладываю книгу и больше никогда к этому автору не возвращаюсь.

У меня нет настроения спорить с фальшивым человеком (хотя бы внутри самого себя, а не с глазу на глаз). Я могу спорить сколько угодно, если убежден, что это искренняя точка зрения моего противника и что кто-то из нас не прав. Но если я убежден, что человек сам все понимает не хуже моего, а спорит лишь потому, что ему почему-то так выгодно, я с таким человеком никогда не спорю.

Мне всегда очень неприятно читать книжку, автор которой сам плохо знает предмет, и когда я дохожу до того места, где я не меньше его разбираюсь (взаимоотношения в заводском коллективе, технологический процесс по обработке металлов), и чувствую, что автор, мягко говоря, грешит и пытается обмануть, думаю: вот тут-то ты меня не обманешь, но во всем остальном ты меня накормишь чем угодно, и я не разберусь. И, не поверив в малом, не верю в остальном. Вот и все мои взгляды на литературу.

Будьте здоровы, бодры, успехов Вам в работе. Жду от Вас известия о том, что мое письмо получили. С уважением к Вам — Солипатров Анатолий Гаврилович.

...Вы меня очень просили прочесть Ваши «Читательские письма» и написать свое мнение. К моему большому сожалению, сказать что-то по поводу этой статьи я не могу. Читал я ее дважды, читал местами трудновато: незнакомые слова, переменный язык (цитаты из разных авторов). А скорее всего потому, что такого рода тема коснулась меня впервые и надо много времени, чтобы как-то начать разговор с самим собой об этом предмете...

Мне очень хотелось бы знать, что происходит с читательскими письмами в редакциях, у писателей, т. е. какова их судьба? Ведь если их хранят, то скоро такие кипы наберутся — девать их будет некуда. И вряд ли они способны прожить больше 70—80 лет. Лет через 100 они физически перестанут существовать. А раньше вряд ли обычные рядовые читательские письма будут представлять интерес. Есть ли какие-либо домашние способы консервации рукописей? Есть ли по этому поводу какой-то сервис?..

Вы пишете, что есть авторы, которые очень болезненно реагируют на то, что их не публикуют или им не отвечают. Я не из тех людей. Пишу только для того человека, чье имя написано на конверте. У меня одна забота и одно вдохновение — чтобы мое письмо было прочитано с интересом. Мне, конечно, не безразлично, цитируют мои письма или нет. Если цитируют, это лишний раз подтверждает, что прочитано с интересом.

Уважаемый Владимир Яковлевич, здравствуйте! Желаю Вам здоровья и хорошего настроения. Большое спасибо за Ваше письмо! Вы спрашиваете, оставил ли я себе копию (своего письма к Вам), так как может понадобится мне в дальнейшей работе. Я как-то не думал, что оно может еще когда-либо мне понадобится. Все, что я пишу, у меня не ассоциируется с работой. Я пишу для себя, для того, чтобы «проиграть» у себя в голове мысли, которые нагромождаются и требуют какого-то выхода. Когда я что-то пишу, а пишу я очень редко, в год раз-два, мне всегда кажется, что я пишу в последний раз и что возвращаться к собственному письму мне никогда не придется. Поэтому копии у меня нет, есть что-то вроде черновика (так как к письму к Вам я отнесся несколько серьезней). Написал и испугался — имею ли право отнимать столько времени у Вас?.. Сейчас Вы мои сомнения рассеяли словами «сердечно благодарен»...

...Вы пишете, что я не только «проглядел» Вашу книжку и т. д. Отвечаю: не только я. Я просил дочку принести из библиотеки Вашу книжку «Глазами литератора» и увидел, что тот, кто брал до нее, сделал массу пометок карандашом...

Вы дважды упоминаете в письме, видимо, очень знакомое Вам слово «конформизм», я его не знаю, в словаре не нашел. Хочу сообщить Вам для справки, так как, мне кажется, писателю все интересно, что у себя на работе спросил человек 10—12 (в отрыве от текста), что значит это слово, и никто мне не ответил, но по ходу письма я понял, что это что-то вроде соглашательства...

Вы пишете, что автору, т. е. мне, нужны отклики на его труд, а не вежливости. Но это не «мой труд», а письмо для Вас лично. Хотя использовать его Вы, конечно, можете, как Вам заблагорассудится, не обращая внимания на слово «лично». И ни-

каких откликов я не ожидал. Вполне естественно, что я в чем-то ошибаюсь. Но совершенно (я считаю) недопустимо, чтобы крупный писатель учил уму-разуму одного слесаря.

Здравствуйте, уважаемый Владимир Яковлевич! Очень я Вас благодарю за книжку «„Ты” и „Вы”» и прошу извинить меня за запоздалый ответ. Дело в том, что я так уж устроен: если за что-то берусь, то ничего другого делать не могу. Несколько месяцев я ни за что не бродя, приводил квартиру в надлежащий вид (надлежащий с моей точки зрения — хозяина, рабочего, мужчины). Наш дом заняли под общежитие, а нам всем дали отдельные квартиры, и у нас квартира из двух комнат на четверых: я, жена, дочь и теща. И вот первый раз за четыре года после всех усадок, перекосов я делал ремонт, ну, конечно, все сам и все очень медленно, а мои домашние устали от беспорядка и мусора. Но как я ни спешил с ремонтом, я все же проясил Ваш подарок в метро и на работе в обеденный перерыв. Мне, конечно, очень хочется Вам высказать свое мнение, я тоже на эту тему часто задумывался, но надо собраться с мыслями, еще раз прочесть Вашу книгу, все в голове уложить и т. д. Единственно что могу сразу и твердо сказать, что это если не самая важная, то одна из самых важных проблем — проблема отношений между людьми, о которой Вы говорите в Вашей книге...

...Есть люди, которые готовы хвастать тем, что директор их замечает, называет на «ты». Другие считают: не важно, что думает о тебе начальник, какое у него настроение и как с ним обходится высшее начальство, все равно он обязан всегда обращаться к подчиненному на «вы»... Многие начальники вполне искренни, когда говорят, что не хотят обидеть людей своим «ты». И сами верят в то, что люди не обижаются. Искренни-то искренни, верят-то верят, а где же элементарная психологическая грамотность? Почему же в вопросах психологии они полные невежды либо пользуются тем, что бог послал? Почему, когда готовят в вузах инженеров, будущих потенциальных руководителей, учат их чему угодно, но только не психологии? (Ремарка Канторовича: «Начинается вера в психологию!») До чего же мы, люди, способны привыкнуть к тому, что есть! Врач без диплома — не поверят, если кому-то сказать. А то, что директор невежда в психологии, никто не замечает...

...По поводу тех или иных недостатков некоторые люди, пишете Вы, говорят: «Да когда же наконец будет с этим покончено? Мало увещеваний, так надо перейти к жестким практическим мерам!»

Может быть, подсказывает моя практика работы слесарем-механиком (всякие механизмы), а может, у меня такой склад характера, но я склонен беречь и защищать (до поры до времени) любой плохой симптом в машине или человеке, как нежное растение, хотя оно весьма вредное, ядовитое. А то, не дай бог, кто-нибудь сорвет грубой рукой это растение, а корни его останутся. (Пометка Канторовича: «Здорово! Защита личности от перста указующего».) Защищать-то защищать, но до тех пор, пока я не докопаюсь, в чем же дело, не устраню все неполадки, а уж потом симптом и сам по себе исчезнет. Как в технике, так и у человека существует масса способов, чтобы скрыть, спугнуть или затереть недостаток, и только один способ, чтобы правильно починить машину или вылечить человека. Например, на гири ходяков, если они останавливаются, можно еще и уютю прицепить, и они снова будут ходить, но это не выход...

...Общество представляется мне большой каплей, которая может двигаться в каком-то направлении только в том случае, если удалось значительную часть внутренних сил направить в эту сторону. Но стоит только одному или небольшой группе, пусть даже из самых лучших побуждений, слишком сильно надавить хотя бы и в самом главном направлении, в сторону уже приобретенного движения, на стенку капли, как эти люди рискуют выскочить за пределы ее. Рискуют быть непонятыми, а то и погибнуть, хотя зачастую через много лет их признают гениями, героями...

...Часто мы наблюдаем такую картину. Какой-нибудь оратор распекает начальство у себя на рабочем месте, в курилке или дома. А другие ему говорят: «Ишь ты, разошелся, ты бы все это да прямо с трибуны или директору в лицо выпалил, а то как попалешь директору в кабинет, куда и храбрость твоя девается!» И это в большинстве слу-

чаев действительно так. А раз так, то создается впечатление, что все люди кругом трусы. Парадокс какой-то получается: в мирное время, когда на страже прав человека стоят и закон, и партком, и профсоюз, и газета, когда пули не свистят и убивать никто никого не собирается, вдруг на тебе — трусость! Но как только стране тяжело, как только война, опасность, много крови, люди по собственной воле сразу в героев превращаются, сражаются во вражеском тылу, в лесах, без пищи, без боеприпасов — массовый героизм! На мой взгляд, дело вовсе не в трусости (в мирное время), а в условиях работы, производственных взаимоотношениях. Некоторые любители и сторонники «тыканья» умеют создать такие условия, при которых любая критика от них отскакивает. Вы сами пишете, что однажды дали большому начальнику, который всем «тыкал», свои заметки, и он, закончив чтение, сказал без тени раздражения: «Что ж, все это правильно». Вы пишете, что пришли в полное недоумение: неужели он не отнес прочитанное к своей особе? Согласен с Вами, что эти люди строго разделяют и никогда не путают «теорию» с «практикой»...

...В своих письмах к Вам я пытаюсь быть предельно откровенным, потому что я безгранично Вам доверяю и потому что считаю: писателю интересно и полезно заглянуть по возможности глубже в психологию любого человека. Посему если где-то Вам покажется или раньше показалось в моих письмах, что прибедняюсь, или хвастаю, или позирую, то гоните эти мысли от себя, я на это не способен. Благодарю Вас, что развеяли мои сомнения по части «писать — не писать». Отныне я больше никогда не вернусь к этой мысли... Меня пугают позы, плакатность и прочее словесное жонглерство. Может быть, и красиво, но совершенно бездушно. Пишущий должен верить хотя бы самому себе. Я пишу это на основании своего опыта и своих ощущений...

...Так как нашей семье до войны жилось очень тяжело, мне запомнились такие картины детства, которые я осмыслил, только став взрослым. Бабушка, когда приезжала к нам в гости, всегда привозила с собой хлеб и булку, за что ее мама всегда ругала. Жареную картошку на сковородке мы с братом делили на две части, а если я свою картошку сгрэбал в кучу, брат мой распределял свою по сковородке как можно шире и затем говорил, что ему досталось больше. Я начинал пицать или лез в драку. Булки брат всегда резал поровну, на две части, а я выбирал, в какой руке... Деликатесом у нас в семье, который мы получали только с полочки или по праздникам, была булка с маслом, польской колбасой и сладким чаем. А когда в одной семье мне дали бутерброд с красной икрой, я откусил кусок, сказал, что соленое, и вернул назад. Мать сказала, что я дурачок, а почему, я не понял...

...Посылаю Вам слово в слово, буква в букву копию своего письма из блокадного Ленинграда своему дяде на фронт. После его гибели полевую сумку передали его жене, в ней и было мое письмо. Она его недавно мне подарила. С любимыми моими письмами Вы можете делать что хотите, и это мое блокадное письмо тоже можете показать кому хотите... Орфография сохранена:

«9 июня. Здравствуйте дядя Петя я жив и здоров, но как это не печально бабушка моя умерла, а мама 6 июня. Бабушку и маму схоронили в морг это такое место куда свозят умерших зашитых в простыню а откуда увозят в братскую могилу. Помогли мне в этом деле, зашила тетя Маня из 10 номеру, мыла тетя Маня и тетя Нюра 15 номера свез я Вовка и Юзик из 15 ном. так что я теперь один во всей квартире так как жильцы выехали еще зимой когда у нас выбило стекла снарядом упавшим на мостовую на против нашего дома. Бабушка очень долго болела, пухла, болела поестница и очень большая слабость. Мама тоже пухла. Писал письма я вам часто но почему вы не получили не знаю и от вас я получал очень редко но сегодня я получил от вас сразу три писма — открытки и 1 письмо 1 открытку вы писали 6.5.42 г. 2 откр. 23/5 42 г. и Письмо 27/7 42 г. и получил еще перевод на 300 р. печать очень плохая и откуда он я не знаю от вас или от Дяди Володи.

В Ленинграде пошли трамваи свет. Вода и уборная не работает но скоро наверное все это будет. Вещи самые главные все целы заисключением мелких тряпок которые пропали при жилцах. Приходил милиционер с управдомом и шкаф был открыт из под печати здесь все цело я еще ничего не сменил из вещей на хлеб и пр. продукты бабушку

похоронить я не мог в могилу на кладбище как это сделали мы с кокой потому что требуется для этого очень много хлеба и крупы чтобы оплатить за труд могильщику и всем другим рабочим и вообще сейчас в городе почти не встречаются умершие которых везут в гробу на кладбище а маму я мертвую не видел потому что ее взяли 28 марта из военкомата и сегодня получил извещение. (Владимир Яковлевич, вот что я позже узнал: пока была жива бабушка, мне, мальчишке, не хотели говорить, что мама умерла от голода, а говорили, будто она «на окопах», а когда умерла и бабушка, пришли и сказали мне все и посоветовали уехать, т. к. я остался один.)

В городе стало немножко по другому дворы все проходные за исключением где каменные заборы потому что они не горят о смерти бабушки я послал телеграмму Володе а получил телеграмму о том что вы выбыли из шексны и я вам не писал писем так как не знал что где вы находитесь а теперь знаю... (Далее было зачеркнуто военной цензурой, но я с трудом прочел: «За бабушку дядя Петя постарайтесь уложить пару другую немцев а если удастся и больше то дуйте до черта пока хватит патронов или не кончатся фрицы».)

В Ленинграде скоро лето у всех почти свои огороды растет салат свекла морковь редис огурцы и другие растения чтобы всю зиму жить с овощами. писать больше нечего пишите чаще.

Жив и здоров Солипатров А. Г.

От Юрика ничего нет с конца зимы как вышел из госпиталя. Галина и Кока Пей умирились от тети Мани ничего нет».

Хочу сделать одно лишь пояснение: я писал о вещах и о том, что я их не менял на хлеб. Ну, с одной стороны, это не совсем просто было сделать, сменять тряпки на хлеб, а с другой стороны, я жил не в «своей» казенной комнатке у Смольного на Суворовском (Советском пр.), а в квартире своей бабушки, дяди Володи и дяди Пети, и вещи все принадлежали им. Но насколько я помню, они не просили меня сбросить эти вещи или, наоборот, менять. Это так уж, видимо, к слову пришлось. Вот и все. Еще раз желаю здоровья Вам хорошего и хорошего настроения...

...Несколько слов по поводу Ваших «Читательских писем». Я прочитал их дважды, написал Вам и считал, что все в порядке. Но Вы удивились, что они оказались мне не по интересам. И тогда я задумался, постарался посмотреть на себя со стороны и пришел к выводу, что стечение обстоятельств позволило выявить особенность моей натуры. С интересом прочитать что-то и изложить свои взгляды на бумаге лично для меня далеко не одно и то же. Читая с интересом, я читаю как бы сердцем, душой и сравнительно быстро перехожу от мысли к мысли. А для того, чтобы записать эти чувства на бумаге, должен из сердца переложить их в голову и постараться так зацепить друг за друга, чтобы получилась цепочка. А для этого надо иметь текст под рукой и несколько дней. Я попросил дочку принести мне журнал, она принесла, сказала, что ей дали почему-то на один вечер. Я прочитал, отдал и понял, что этого мало. Только через день я пришел сам в читальный зал, попросил журнал. Прочитал, и опять мало. Посмотрев на себя со стороны, я заметил, что и на работе, видимо, такой же. Когда я замечаю какие-то неполадки в конструкции или на чертеже и тут пытаюсь говорить по этому поводу с инженером, у меня ничего не получается. Меня запросто могут забить, заговорить. Хотя я уверен, что прав, оказываюсь неспособным доказать свою правоту. Поэтому когда начальник хватается за телефон, чтобы вызвать конструктора, я говорю ему: подождите, дайте я сам все продумаю, разложу по полочкам, а там уж меня никто не собьет... И так, я должен был не читать Вашу статью, а общаться с ней...

...Два дня назад я прочитал в 6-м номере «Нашего современника» неоконченный рассказ В. Шукшина «А поутру они проснулись». Этот рассказ меня просто потряс. Мне кажется, там бездна мысли, каждое предложение зовет к размышлению. А что я могу сказать о нем, не перечитав его (с удовольствием) десять раз? Разве только то, что уборщица в вытрезвителе оказалась добрее и понятливее душой, чем профессиональный судья? Что очкарик-интеллигент сумел сам защитить себя и сохранить чувство собственного достоинства перед уткой? Что в трудный момент какой-то чужой туповатый мужик сердцем понял и защитил очкарика? А в магазине? А в суде? У меня

было такое ощущение, что это я был и в магазине и перед судьей. Вот и все, хотя вся душа у меня заполнена этим рассказом...

...Постараюсь описать свою биографию, чтобы Вы знали, с кем переписываетесь. Учился я на три. От блокады унаследовал плохой желудок и больную голову (часто болит) и хорошую компенсацию — не пью.

Получил специальность, стал очень способным слесарем-механиком (только способным, но не талантливым). Отличался знанием своего дела, сравнительно высоким качеством и самой маленькой зарплатой среди товарищей (сдельщина), так как много времени уходило на помощь товарищам («Помоги, затерло, не идет машина»), желании довести свою машину как можно лучше и на работу по профилактике. (О своих способностях я сужу по тому, что обращаются ко мне за профессиональной помощью, сам же я почти никогда ни к кому не обращался: не потому, что стыдно или гордый, а просто хватало своих способностей.)

Ушел с завода, я не мог совместить больную голову и работу по вечерам, ночам и выходным. Сейчас работаю в НИИ, уже не получаю меньше товарищей (не сдельщина), руки мои ценят, а как меня самого — не знаю. Хорошо сказал Кородев: если ты работаешь быстро, поблагодарят и быстро забудут, но если ты работаешь плохо, долго будут помнить...

Письма от Вас не жду, разве только открытку, что мое дошло. Если у Вас есть что спросить, пишите. И еще очень хотелось бы, чтобы Вы посоветовали (только фамилии — уместятся на открытке), кого почитать из писателей, журналистов, отличающихся честностью и порядочностью в профессиональном отношении. С уважением — Солипатров.

...Большое Вам спасибо за приглашение, но в Москве я, к сожалению, не бываю, хотя мне бы очень хотелось с Вами встретиться. Правда, я к такой встрече сейчас совершенно не готов. По моим задумкам (а мне хочется выполнить свой план) я должен хотя бы для самого себя изложить свои взгляды на воспитание человека и на корни преступности, а также на положение дел на заводе. И вот когда я все эти «бродячие мысли» уложу у себя в голове более уверенно, тогда мне не придется потом сетовать, что чем-то с Вами не поделился, что-то у Вас забыл спросить, на что-то не так ответил. С уважением — Солипатров А. Г.

...Я очень благодарен Вам за совет: что, кого и где читать. Владимир Яковлевич, Ваш возраст и Ваша профессия позволяют Вам очень точно и объективно судить о литературе, и я был бы Вам очень благодарен, если бы могли мне посоветовать, кто и что наиболее правдиво написал, и о предвоенных годах...

...Вы считаете это моим хобби — то, что я пишу заметки с социально-психологическим анализом. Я подумал, что вряд ли это хобби (так, как я это понимаю). У меня есть хобби — фотография, радиолюбительство, и мне очень хочется, чтобы такая работа всегда была у меня в достатке. А вот то, что я пишу... мне ничего, кроме душевного беспорядка, не приносит... Ну а если это не хобби, тогда я сам не знаю что.

Жму Вашу руку, дорогой Владимир Яковлевич, не болейте! Ваш Солипатров, 12 августа 1976 года.

Чуть не забыл! Благодарю Вас очень и очень за предложение прислать мне книги. Предложение Ваше никак принять не могу. Во-первых, я не имею права утруждать Вас такой работой. Во-вторых, нельзя доверять ценные вещи почте (два конца). Отказ окончательный, обжалованию не подлежит, как у самого закоренелого бюрократа. Тем более что мой товарищ Копейкин обещал достать почитать и уже принес, и еще принесет, Владимира Тендрякова, избранное: «Свидание с Нефертити», «Находка», «Тугой узел», «Новый час древнего Самарканда»...

...Я отлично понимаю, что не могу быть вечно интересен, тем более на расстоянии, так как мой кругозор не так велик. И поэтому любое прекращение переписки с Вами я приму как само собой разумеющееся, хотя запас по переписке, если касаться заводской темы, мог быть большим.

Хочу описать Вам случай, который сильно повлиял на мою читаемость (если так можно выразиться — «читаемость»). Рос я как все, читал, спорил, но печатное слово было для меня закон. Мы, дети, могли спорить, но все споры прекращались, когда кто-то из нас приносил печатное слово и говорил: «Ну чего ты споришь! На вот почитай!» Козыря выше печатного слова для нас не могло существовать. Я вырос, пошел на завод, работал, занимался в художественной самодеятельности (плясал), а к слову печатному относился все так же. Но вот пришел к нам в хореографический кружок корреспондент, поговорил с нами, поставил нас в какую-то позу (вроде танца), сфотографировал и напечатал в газете статью и фотографию. В статье ни одного слова правды. И если бы не фамилии, мы не узнали бы себя и свой завод. Хотя умом я понимал, что несколько недобросовестных писарчуков — это не есть литература, но осадок препятствовал активному чтению...

...Вы можете по собственной инициативе давать мне сколько угодно вопросов, я могу на них отвечать сам, могу выяснить мнение моих товарищей-рабочих, ведь в беседе со мной они будут откровеннее, чем с незнакомым человеком. Если, конечно, у Вас есть возможность подождать моего ответа один-два месяца, пока я эти вопросы сумею осмыслить по-своему и выстроить ответ наподобие письма. Или если Вас заинтересует мое отношение к какой-нибудь статье из «Литературки». Все это я могу Вам написать, не боясь оторвать Вас от работы, так как это будет сделано по Вашей просьбе. В свою очередь я готов в благодарность принять от Вас письмо, если Вы считаете необходимым где-то в чем-то меня подправить или посоветовать что-то прочитать очень искреннее вроде Вашей публицистики...

Владимир Яковлевич! Вот уже который раз я сам себя спрашиваю, имею ли право, нахальство, смелость, глупость или как угодно еще говорить и писать о литературе, и еще и еще раз твердо отвечаю себе, что не моего ума это дело. Надеюсь, что это Вас не очень огорчит и что Вы поверите мне. Не следует садиться не в свои сани. Не могу я продемонстрировать композитрам чижик-пыжик на одной струне.

Вы пишете, что А. И. Левиков Вам говорил, будто в сценарии задуманного им фильма есть эпизод, где мы с Вами будем беседовать о литературе. Если бы я считал, что о литературе, я бы сразу отказался. Но вот что он мне пишет: «Наш фильм — это не рассказ о жизни рабочих, а, наоборот, размышление самих рабочих о жизни. И не только о своей жизни, но и о взаимоотношениях в коллективе, с руководителями, обществом, о социальных и нравственных проблемах нашего времени».

Дорогой Владимир Яковлевич, здравствуйте! Получил от Вас две открытки и расстроился. Попробую по порядку. Вы предлагаете принять участие в работе для журнала «Вопросы литературы». Я послал Вам до этого письмо, которое Вы, видимо, не получили...

...Присланная Вами статья (которую я обязуюсь сразу же вернуть) натолкнула меня на письмо к Вам, и я взялся за него летом, хотя раньше не верил, что смогу писать летом, так как летом у рабочего масса забот. Ведь Вы же знаете, на каком уровне у нас сервис — это не сервис, а «стервис». И поэтому все ремонты личные и общие с друзьями лежат на нас самих. То другу автомобиль надо помочь оживить, которому от роду 30—40 лет и по которому давно свалка плачет. То до хорошей женщины, знакомой по работе, не хочется шкурников, обдирал допускать — помогаем ей что-то в доме чинить, а то мне самому на даче колодец надо копать или обои клеить. Вот так и помогаем друг другу, особенно летом, и нет у нас друг для друга отказа. Уж коли присмотрелись, притерлись, сдружились — так уж до конца! И, честное слово, мало что в жизни может сравниться с открытой, честной, бескорыстной улыбкой друга. И как же бедны те, у кого нет настоящих друзей. Ну да бог с ними, сами виноваты...

Дорогой Владимир Яковлевич! Здравствуйте! Пишу Вам то, на что натолкнула меня Ваша «История инженера Ганьшина». Пишу сразу без черновика. Надеюсь, Вы простите и разберете мой почерк и помарки...

Стр. 414. Северцев — невежда, для него составить простой расчет загрузки крана — непосильная задача. На руководящей работе, которая всякий раз завершалась для него крахом, он обучился искусству жонглировать мнимыми новаторскими идеями, носящими откровенно рекламный характер. Много я видел таких людей. А что им делать? Таланта нет, а диплом есть, вот и болтаются они... Сесть в уголок и признать, что он не способен ни на что? Трудно. Год-два человек «работает», получает зарплату. А там, глядишь, с хорошей характеристикой и на другое место можно перейти. Такие люди очень хорошо понимают, что сверху-то лучше слышно, чем видно...

Стр. 427. Ганьшин считал Михальчука талантливым строителем, но никак не мог перевести его в свою веру — заставить уважать производственное технологическое планирование. Вера, уважение, любовь — чувства, которые нельзя привить силой. Нужно еще поверить, что без толкотни и вовремя можно получить все, что тобой заранее затребовано. А после этого нужна совесть, чтобы не покрывать свои просчеты за счет других. Об этом жизнь толкует ежедневно и ежеминутно. Возьмите толпу людей в метро перед эскалатором. Никто не толкается, не лезет вперед, хотя не исключено, что кто-то опаздывает. И это все потому, что уверены: все доедем. А через три минуты те же люди садятся в автобус — ругаются, толкаются. Тут уж переводы не переводы в свою веру, каждый знает: не будешь толкаться (где уж там старушке помогать!) — не уедешь. И это всего за три-четыре минуты человек «перевоспитался». (Пометка Канторовича: «Смысл его сравнения — надо, чтобы выход был виден»)... Боюсь заглядывать в книжку, а то опять понесет меня по кочкам и буду повторяться и повторяться. Как получите — бросьте открыточку...

...С писателями и читателями иногда происходит то же самое примерно, что с симфонической музыкой и слушателями. Очень многие ее не понимают и поэтому не слушают (вроде бы не слушают). Однако хотя и говорят, что не понимают, тем не менее воспринимают, даже не замечая, что она звучит и очень сильно воздействует на «непонимающего». Особенно когда музыку слышно, а образ видно, т. е. в кино.

У неподготовленного слушателя или читателя искусство находит кратчайший путь к душе, минуя стадию логического анализа. Сердце способно чувствовать, но оно не способно поделить произведение на «форму и содержание». А не поделив, не обладая развитой способностью к анализу, человек либо безгранично доверяет всему комплексу — содержание, форма, личность писателя, имя, — либо, едва уловив нотки фальши, уже никогда не возвращается к писателю.

Однако неподготовленность читателя ничуть не снижает значения для него книги и не значит, что он менее эмоционален или восприимчив к искусству. Он может быть талантливым читателем и не уметь высказать то, что натворила Ваша книга в его душе. А бездарный и бездушный читатель, волею случая закончив филфак, превращается в виртуозного словесного жонглера. Люди читают глазами, анализируют умом, а чувствуют сердцем. И если это подлинное искусство, вроде Ваших книжек, оно все равно находит путь к сердцу читателя. И еще неизвестно, что лучше (для чистоты и стерильности восприятия) — неподготовленность, когда сердце воспринимает все как есть, т. е. 1:1, или подготовленность, когда искусство приходит к сердцу окольными путями, через анализ. Анализ может либо усилить художественное восприятие, либо свести восприятие на нет. На мой взгляд, не так страшно, что мои товарищи и вообще многие рабочие не высказываются о книгах вообще и о Вашей в частности. Важно, что ее читают. Книга доходит у них до самого сердца.

Думаю, писателю надо почаще выезжать на заводы, выступать по телевидению. Говорить на простейшем, домашнем языке (кто способен — других не пускать!). Зачитывать микроотрывки. Высказывать даже заведомо ошибочные доводы, чтобы побуждать рабочих «поправить» вас, литераторов, и высказать свое мнение. Получив в руки ниточку, можно раскрутить клубок...

Ну вот и все мои взгляды. В письме много не скажешь. Тетрадь плохой собеседник — вопросов не задает. Но ничего, Вы, Владимир Яковлевич, притормозите немного, и я Вас догоню: вот уже, 23 апреля, мне исполнилось 50 лет. Мои «братья-работяги» отметили этот день очень здорово, написали стихи, изготовили медаль, подарили приемник и вообще шумели, галдели и трепались, несерьезные люди. Выйду на пенсию, приеду на месяцок в Москву, посидим в скверике и поговорим «за литературу»...

Дорогой Владимир Яковлевич, Вы спрашиваете меня: почему для искренних, нешаблонных писем адресатами избираются писатели? Мне кажется, что никто другой, за исключением отдельных талантов, не способен говорить с людьми на таком простом, домашнем, каждодневном языке, высказывать умные, интересные мысли и одновременно находить как бы на уровне читателя, собеседника. Не демонстрировать ни позы, ни превосходства, ни заигрывания, ни давления. У читателя зачастую годами вынашивается и зреет какая-то еще расплывчатая, громоздкая мысль, проблема, душевная боль. И вдруг он находит ту же самую мысль — ясную, четкую, честную — у писателя. И сразу же чувствует в нем родственную душу. А кому как не душе родственной излить свою душу?..

...По-моему, профессионально честного писателя, журналиста не уважать нельзя. А чем больше уважают человека, тем охотнее открывают перед ним душу, ища сочувствия, облегчения или совета. Столь же тяжелой профессии, как профессия профессионального писателя, на мой взгляд, не существует. Человек любой профессии может до поры до времени прятать по разным соображениям свое честное или подлое лицо. Писатель этого не может. Его лицо всегда открыто и беззащитно. Любой подлец в любую минуту может ударить по нему... Единственный источник сил — письма друзей, единомышленников... Писатель лишен одного права, которое имеют все остальные, — права «воздержаться от голосования», ибо вся его работа в том и заключается, чтобы голосовать. (Мы другой раз работаем рядом с человеком несколько лет и не знаем его достаточно хорошо, пока судьба не подкинет в наш коллектив необходимость «проголосовать».) Писателю нельзя ни на минуту расслабиться и пропустить одну-две затертые, заштампованные фразы, т. к. он рискует превратиться в лектора в пустом зале. Правда, такие лекторы зарабатывают подчас больше...

Читатели все это понимают — где умом, где сердцем. Отсюда и доверие. Оно, как любовь, чувство нежное, обостренное, не терпит фальши...

...Я помню, как с возрастом у меня передвигалась граница авторитета. Сперва я считал так: что мама сказала — можешь спросить еще у десятка дядей и тетей, все скажут то же самое. У нас отца не было, умер, когда мне было четыре года, и поэтому мы не слышали разногласий и думали, что все взрослые думают одинаково. Затем, уже юношей, я с удивлением услышал, что два врача одному больному дают противоположные, взаимоисключающие рекомендации. На мое замечание хирург сказал: ведь и вы у станка работаете по-разному.

И только сейчас, когда я уже в зрелом возрасте, пришло ко мне само по себе понятие: книга не есть вершина авторитета, за книгой стоит человек, который может ошибаться, с которым можно спорить...

...Что не проходит в рабочей среде, так это фальшь. Читая книгу, чувствуют фальшь скорее сердцем, чем умом. За одно предложение фальши начисто и навсегда «хоронят» талантливого литератора, и никакие доводы не воскресят его потом в сердце рабочего. В мудрости и доводах еще разобраться надо, а фальшь — она на поверхности, доступна и понятна всем.

Не болейте! Ваш Солипатров.

...Вы спрашиваете, не достал ли я томиж Распутина, и предлагаете его мне. Большущее Вам спасибо, но я надеюсь, что тот, кто обещал мне журналы с Распутиным, не откажется от своих слов. Так что я еще не прочитал и даже приблизиться не смог к этому желанию: работа над фильмом, затем мои «послесловия» по поднятым, но не охваченным в фильме вопросам съели все мое свободное время. А если я за что взялся, то стараюсь не уходить в сторону, пока не закончу. Поэтому и ответ на Ваше письмо я задержал. Я даже не успевал прочитать «ЛП». Так что еще раз спасибо за предложение, но не присылайте.

В Москву никакой поездки мне не предстоит, так как рабочих, да еще в возрасте 40—50 лет, стараются от рабочего места никуда не отпускать. Знают, с кого можно

«получать план» наверняка. **Таскать, грузить, возить, на овощебазу ездить** — используют инженеров и тех рабочих, что помоложе. Тогда, когда был в гостях у Вас, меня взяли в Москву по моей просьбе: настоял на том, что процесс, который стараются повторить в нашем институте, я должен посмотреть своими глазами...

...Вы пишете, чтобы принимался за свою книжку. «Книжку» я давно написал. Написана она была, как и все, что я пишу, никак не для печати. Если мыслей было много, я и писал много, ничуть не заботясь о сестре таланта — краткости. Если они громоздились в беспорядке, я их так и записывал, как есть. И если у Вас будет время и желание, обстоятельства и дела позволят и Вас не утомит чтение в рукописях, то, может, почитаете? Там Вы увидите всего меня, от «а» до «я». И нигде ни строчки, даже наедине с собой, о литературе.

Дорогой Владимир Яковлевич! Я получил Ваше письмо, но, к сожалению, не смог сразу ответить, так как едва закончилась киноопея, как началась эпопея другая. Готовились к свадьбе. Готовили аппаратуру, радио, фото, писали плакаты, стихи. Сейчас, к сожалению, все старые обряды умерли, а новые не спешат родиться. И потому, если самим что-то не предпринять, выйдет и скучно и плохо. Но вышло все хорошо — для друга старались..

...Вам и Вашим книжкам я верю безоговорочно. Во всем, что я успел прочесть Вашего, мне не понравилось всего одно предложение, где Вы пишете, что, может быть, сегодня еще не обойтись без того, чтобы работники города не работали на колхозных полях. Ведь это же длится много лет! И потому, что это длится много лет, оправдать эти действия нельзя. По-моему, лучше вообще промолчать. Уважаемый Владимир Яковлевич! Не расстраивайтесь, я не хотел Вас обидеть, ведь это, по-моему, очень здорово, что из всех Ваших книжек не понравилось всего одно предложение. Редакторам, наверное, больше не нравится...

Р. П. КАНТОРОВИЧ

Дорогая Раиса Павловна!

...Мне очень жаль, что судьба поздно познакомила меня с Владимиром Яковлевичем. Но я все равно безгранично благодарен судьбе и Владимиру Яковлевичу, так как это знакомство, как революция, все перевернуло в моей душе. Что я делал до знакомства с Владимиром Яковлевичем? Царапал на протяжении нескольких лет на бумажке свои домашние доводы, выводы, и все. Но вот я стал получать от В. Я. письма, и почти сразу изменился мой взгляд. У нас подобрался целый круг рабочих и инженеров, любителей литературы, и когда мы вместе стали обсуждать и взвешивать почти каждую фразу его книг, мы неожиданно для себя стали открывать в простых на первый взгляд, обыденных строках бездну философского смысла и житейской мудрости.

Владимиру Яковлевичу хотелось очень услышать наше (рабочих) мнение о литературе, но мы все стеснялись. Все наши мысли казались мелкими и неинтересными для такого большого и мудрого человека и писателя. Нам ближе была тема — железки, завод, строительство, и только сейчас мы стали доходить до той мысли, что писателю интересны все, даже ошибочные мнения...

...Он заставил (не заставляя) нас и многих других таких, как мы, читателей поинному взглянуть на мир, отношения, ценности, поступки, заронил в наши души здоровое семя человеческих отношений, но, к несчастью, не сумел вырастить (и полюбоваться) из этого семени хорошее растение, полезное людям. Но оно растет и вырастет!

Я прочитал это письмо своим товарищам, которые очень хорошо знали по книгам Владимира Яковлевича и которые очень высоко ценили его талант и высочайшую нравственность. Они, как и я, желают Вам сил и благодарят за то, что Вы были верной помощницей такого писателя и человека.

А. Г. Солипатров. Июль 1977 г.

«...О ВАС Я МНОГИМ РАССКАЗЫВАЮ...»

(Из писем писателя В. Я. Канторовича слесарю А. Г. Солипатрову)

...Представьте, о Вас я многим рассказываю, некоторые места в письмах зачитываю. Из того, что публиковала «ЛГ» Вашего, я раза три-четыре приводил то полностью, то отдельными кусками — все это время от времени становилось предметом обсуждения, чтения. Хотел перебросить для Вас мостик в литературную дискуссию на страницах печати. Вот, кажется мне, исчерпывающий ответ на Ваш вопрос о качестве Ваших писем — без баллов и сопоставлений. Ваши письма и мысли интересны. К тому же Вы отнюдь не графоман. И хоть конкретные письма занимают целые тетрадки, но за последние год-полтора я получил их от Вас всего два...

Словом, пишите, если Вам хочется со мною пообщаться или, наконец, высказать по какому-либо вопросу свои мысли. Я профессионал, а сам испытываю часто такую потребность...

Ваше детское письмо из блокадного Ленинграда — это поразительный документ. Тут Твардовский надобен: здесь ни слова не убавишь, не прибавишь (у него иначе сказано, но почему-то провалилось в памяти). По поводу этого письма, Анатолий Гаврилович, я хочу у Вас спросить разрешения на возможный случай, если его опубликую. Разрешите! Правда, письмо это не по литературному поводу, и, следовательно, мне пока даже трудно представить себе, в каком тексте, быть может, оно будет когда-либо опубликовано... Письмо это очень натуральное для мальчика блокадного, который привык к смерти, в том числе близких родных. Но необыкновенно оно — и связывает как-то с сегодняшним Солипатровым тот поразительный факт, что, голодая, Вы не стали продавать чужие вещи в квартире, где жили. Это, может быть, даже неправильно, и жизнь Вашей матери, Вашей бабушки бы продлилась. Блокада — это всемирный потоп, и Ной, сооружая свой корабль, наверное, не думал, кому принадлежали семь пар чистых и нечистых, которые он взял на борт. Но хоть неправильно, а прелестно. Переводя на язык социальной психологии, которой Вы так бредите и в нее веруете, это звучит как удивительный пример, один на сто тысяч, когда и в этих трагических условиях нравственные ценности имеют силу над поступками, сознанием, волей. Причем, по-видимому, никакой внутренней борьбы ни Ваша мать, ни Вы не пережили и не принуждали себя к этому нравственному поступку...

...Хочу в двух словах выразить свое отношение к Вашему письму (к его содержанию).

Во-первых, признаюсь Вам: я горжусь серьезными письмами, такими, как Ваше, которые я стал получать все чаще... Тем более мне дорого, что такие читатели, как Вы, не просто проглядели книжку, а подумали о многом и соотнесли рассказанное со своим собственным опытом.

Во-вторых, мы (страна) переживаем такое время, когда многие и многие нуждаются в том, чтобы продумать все, что случилось (у Вас это ссылка на 60 прошедших лет). Процесс этот стихийный. Многие завершают его переходом от одной авторитарной системы мышления к другой — например, религиозной. Но другие продолжают размышлять. Я много читаю. Я убежден, что, несмотря на все рогатки, именно художественная литература и примыкающая к ней художественная публицистика вроде моей откликаются на события, подмечают подлинные факты жизни, вызывают встречный поток доверия.

За последнее время я стал получать письма-трактаты, как и Ваше, занимающие одну-две тетрадки. Среди авторов — рабочие со средним образованием, лишенные, как пишете, стремления выйти в начальники, прикоснуться к иерархии. Они задумываются о различных вопросах современности, живут в атмосфере, «климате», как Вы пишете, критическом. И мне кажется, в наших условиях это логично — обращаются со своими мыслями к писателям. Так меня это заинтересовало (как явление последнего времени), что я стал расспрашивать своих товарищей по профессии. Я опросил 6—7 человек, и за исключением одного все подтвердили мне, что стали получать в последнее время письма-трактаты...

Два-три слова по существу письма. Меня по-прежнему занимают те сравнения — художественные образы, которые появляются в Вашем тексте не для украшения, а для более глубокого проникновения в сущность явления. Я имею в виду такие места.

1. Про растение нежное, а в то же время вредное и ядовитое, которое надо до поры до времени беречь, чтобы вылечить от самой болезни, а иначе корни уцелеют.

2. Теорию «капли», которая движется в определенном направлении, но плохо, если преждевременно некоторые частицы от нее отрываются, как бы прерывая общее движение (по существу этой мысли я в сомнении, не оправдывает ли она конформизм? — но выражено интересно).

3. У «тыкальщиков» не сознание, а род подсознания своей безнаказанности.

4. Опасение, что в мирное время таланты так могут понести колесницу (хотя бы и к общей цели), что всех, и начальство в первую очередь, чрезмерно растрясет.

И, конечно, понравились многие мысли, например о том, что каждый человек должен найти свою оптимальную крейсерскую скорость, что индивидуальные недогрузки и перегрузки равноценны браку в работе, что природа, возможно, наделила всякого человека противоположными качествами (в зародыше), весь вопрос в том, чтобы система (и личность) выпестовала лучшие качества, и т. д.

Мне очень понравилось, как Вы толкуете, пересказывая действительно главное, мои новеллы — об анивском овощеводе или большом бюрократе, который всем «тыкает», но согласен, что следует писать книги против «тыканья», — этот жизненный эпизод мною самим воспринимается крайне болезненно — выходит, и я своей литературной работой впрягаюсь в бюрократическую колесницу!

Я извлек из Ваших тетрадок и много конкретных наблюдений, тем более ценных для меня, что вот уже несколько лет я практически удален от радостей моей профессии, которая позволяла наблюдать, сталкиваться с жизнью на всех ее этажах.

Между прочим, все вышесказанное — я пересмотрел тетрадки с моими пометками на полях, понимаю, что автору нужны отклики на его труд, а не вежливости, — не означает, что я во всем с Вами согласен. Хотя направление мыслей у нас одинаковое (это я обнаружил по прежнему куску в «ЛГ»), но кое с чем, естественно, не согласен.

Скажу о Вашей, на мой взгляд, преувеличенной вере в науку психологию — это именно вера! Науку движут люди, применяют ее в зависимости от действующей системы. Совершенно верно, надо уделять огромное внимание социальной психологии, изучать ее. Недавно я слушал лекцию прекрасного историка пушкинского времени и декабристов — Эйдельмана. Он привел сотни примеров, доказывающих, что наши научные и исторические биографии страдают узостью именно потому, что ничего толкового о социальной психологии среды, в которой вращаются герои, не знают. Среди других запомнился мне такой. Николай I, держиморда и пр., получил прошение от человека, только что закончившего юридический факультет университета. Ходатай ссылается на то, что оказывал правительству на протяжении учения услуги — был осведомителем, доносил на революционно настроенных студентов: он просил награды и продвижения. Николай I начертал резолюцию — назначить кварталным надзирателем в полицию, тогда как человек с высшим образованием мог претендовать на громкую карьеру как чиновник! Оказывается, осведомители были нужны, но их презирали и в этом кругу... Но все то, что Вы написали про психологов, которые в состоянии и климат на заводе изменить и начальников уму-разуму научить, мне кажется утопией.

Вообще будущее во многом зависит от развития индивидуальной нравственности: думать, отделять добро от зла, естественно, повышать массовую образованность, культуру, создавать истинное общественное мнение, масштабы которого постепенно распространяются, — это, наверное, играет не меньшую роль, чем выпуск из вузов нового отряда психологов, социологов! Тогда наконец наступит время, что к их суждениям станут должным образом прислушиваться...

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ГРИГОРИЙ РЕЗНИЧЕНКО



ПОСЛЕДНИЕ АМЕРИКАНЦЫ

Для меня не важно, на чьей стороне сила; важно то, на чьей стороне право.

В. Гюго.

ФАСАДНАЯ СТОРОНА

Филаделфия была первой столицей американцев. Город, который в свое время называли американской Флоренцией, сохранил целые ряды красивых старинных зданий, напоминающих об истории зарождения федерации. Самая старая и самая узкая улица его, вымощенная сгорбтившимися за многие годы булыжником и застроенная двухэтажными, причудливой архитектуры домами, — первое поселение в этом городе — охраняется законом. На входных, парадных дверях многих старых зданий висят по два-три початка кукурузы, занимающей в экономике страны и поныне важное место. В далекие времена она спасла жизнь многим колонистам. Согласно легенде в День благодарения в 1621 году, когда пилигримы устроили праздник большого урожая, их соседи-индейцы присутствовали на нем и принимали участие в роскошном пире. Звучит легенда достоверно, поскольку именно индейцы научили белых поселенцев искусству сажать и выращивать кукурузу. Золотистые початки, украсившие двери филладельфийских домов, не только дань истории, но и напоминание о том, что первые американцы благосклонно отнеслись к пришельцам из Старого Света, передав им опыт выращивания важной культуры.

Очень тщательно охраняются и содержатся в Филадельфии места, связанные с историей разработки и принятия конституции, заседаниями первого конгресса, первыми торговыми центрами, выставками и т. д. К разряду охраняемых относится и внушительных размеров исторический музей. Трудно судить обо всем, что в нем собрано и накоплено, но что особенно интересно — сюда свезены экспонаты почти со всего мира: вот английский дворик в натуре и дома XV и XVI веков, переселившиеся сюда с Альбиона, огромные резные каменные столбы из Китая и японская деревня, большие каменные ворота из Лимы и мраморные колонны из Греции. За всеми этими иностранными экспонатами не видна подлинная, не очень древняя история самих США. Она плотно здесь прикрыта японскими двориками и китайскими каменными столбами...

Жизнь и культура индейских племен, некогда населявших огромные территории американского континента, своими корнями уходит в далекие-далекие времена. Известно, что название их возникло из ошибочного представления мореплавателей Христофора Колумба и других европейцев конца XV века, считавших открытые ими заатлантические земли Индией. До открытия Америки на нынешней территории США проживало около 400 индейских племен, насчитывавших до двух миллионов человек¹. Говорили они приблизительно на 200 различных языках.

К началу европейской колонизации в Америке сложилось несколько культурно-исторических областей. Племена вакаши, хайда, селиши жили на северо-западном побережье Америки и занимались рыболовством и морской охотой. В Калифорнии индей-

¹ Ряд американских источников называет другие цифры — 3, 7 и 12 миллионов.

цы специализировались на собирании желудей, а также промышляли охотой и рыболовством. В восточной части нынешней территории США жили племена оседлых земледельцев. Это ирокезы и мускоги. В степной части многочисленные племена суу, дакота, чирики, осэджи, арапахо, пауни, кэддо, вичита обеспечивали свою жизнь промыслом на бизонов. Область развитого земледельческого хозяйства с применением искусственного орошения располагалась на территории нынешних штатов Нью-Мексико, Аризона, Юта, Колорадо. Здесь обитали племена пуэбло и пима. На этих землях после колонизации возникли скотоводческие хозяйства навахов.

— Приезжая в Оклахому, вы прежде всего попадаете к индейцам, — говорил Роберт Вилкинсон, дородный американец, торговец жареными сосисками.

Оклахома — тигель, плавильный котел индейской Америки. Индейское население здесь составляет около 100 тысяч человек. Нигде в Соединенных Штатах нет такого большого сосредоточения краснокожих. Не так давно по всему штату было разбросано 67 племен. Ныне их осталось 35. Многие племена вымерли, а людей из других выжило так мало, что они уже не в состоянии объединиться. И все же в Оклахоме можно услышать больше языков, чем на всем европейском континенте. Каждое индейское племя говорит на своем наречии, пытаются сохранить его и передать будущим поколениям. Влияние индейцев, разумеется чисто историческое, чувствуется везде, почти на каждой миле. Названия многих графств, городов, улиц и даже дорог, не говоря об обозначениях рек, гор и долин, сплошь и рядом связаны с индейской культурой и историей. Они отражают обычаи и традиции древнего населения Америки. Столица штата Оклахома-Сити в переводе с индейского означает «город красных людей» («окла» — люди, «хуома» и «хомма» — красные, «сити» — город). Символы индейцев включены в эмблему штата. На флаге его, например, изображен щит вождя индейских племен равнин. На щите виднеется оливковая ветвь и индейский калумет (трубка мира), являющийся у этих племен символом приверженности к миру. На круглой печати губернатора рисунок: белый и индеец жмут друг другу руки под весами Фемиды... Но все это — и индейские названия и эмблемы — лишь внешние, бросающиеся в глаза отпечатки истории этого народа, ее фасадная сторона.

Когда же речь заходит по-настоящему о прошлом индейского народа, то перед глазами прежде всего возникает драматическое перемещение племен правительством США на территорию, на которой впоследствии был образован штат Оклахома.

Природа Оклахомы удивительно разнообразна и многокрасочна. На юге штата путник встретится с тем же растительным миром, что, например, в Узбекистане, на западе — с бескрайними целинными землями, как в Казахстане, а на севере просторы пшеничных полей, весь степной ландшафт напомнят ему юг Украины. Земли Оклахомы подсушены и требуют много воды.

Северо-запад штата славится своими озерами, самое большое среди которых — озеро Кантон. За ним идут Солт Плейнз (Соленые Равнины). Здесь действительно много необозримых солончаков, поэтому к названию Солт Плейнз добавляется слово «грейт», что в переводе означает великие. Иногда кажется, что среди знойного летнего дня на землю выпал нетающий снег. Не менее поражают очень часто встречающиеся искусственно созданные пруды. На земле Оклахомы их вырыто более 11 тысяч. Натуральные озера традиционно имеют голубой цвет воды, а искусственные пруды — черный, серебристый, желтый, гранатовый, кирпично-красный, в зависимости от цвета почвы, в которую попала вода, и от того, как и когда на них смотреть.

Пересекая юго-запад Оклахомы, вы следуете по пути индейцев, простирающемуся на многие-многое мили. Эта территория испещрена памятниками гордого и отважного народа — американских индейцев-всадников. В этих краях они проводили последние неравные бои за свои права против угнетения и несправедливости. Здесь, на этой земле штата, трагедия одних людей стала триумфом других. В эти полупустынные края пришли с востока первые индейцы, обманом согнанные со своих насиженных мест. Пришли сюда отчаявшиеся, с душевной болью о тяжелых утратах. В пути, полном страданий и лишений, без воды и хлеба, они теряли тех, кого любили, — ребенка, жену, мать, отца, брата, сестру. Хоронили умерших в неглубоких могилах, вырытых буквально голыми руками. И даже поныне, когда едешь тихими боковыми дорогами, вдали от магистралей, нет-нет да и натыкаешься на вымытые дождями людские кости.

Многие исторические места повествуют о драматическом перемещении индейцев и покорении земель белым человеком. Холмы и долины юго-востока штата, место жительства краснокожих племени чироки, сохранили дух старой границы, проходившей здесь на заре создания Конфедерации. Первозданная свежесть и красота побережья реки Арканзас, плодородные земли ее долины не раз вызывали распри между белыми колонизаторами и индейцами. Зарился на эти просторы и своевольный президент Техасской республики Сэм Хьюстон. С берегов Арканзаса, раскинув лагерь, он вел переговоры, а вернее, диктовал свои условия вождям племени чироки. Его красавица жена Тиана из этого племени, умершая скоропостижно, была похоронена неподалеку от лагеря президента. Это положило начало другим индейским захоронениям, сохранившимся и по сей день. Останки Тианы, правда, позднее перевезли в Форт Гибсон. У Арканзаса, в этих же краях, на лесистом холме недалеко от города Саллисоу, стоит деревянный дом мудрого самоучки Секвойи, создателя первого, существующего и поныне алфавита племени чироки.

С приходом колонизаторов Оклахома — страна скотоводства и хлебопашества. Есть в ее центральной части, около города Хеннеси, окруженного нефтяными вышками и нефтеперерабатывающими заводами, местечко Чизолм Трейл и старинная скотоводческая дорога, по которой за четверть века начиная с 1865 года прошло свыше 10 миллионов голов крупного рогатого скота. Туристам это нередко преподносится как большая заслуга белого населения. Оно намного бережнее относилось, судя по всему, к парнокопытным, чем к индейцам.

Оклахома ныне производит хлопок и земляные орехи, мясо и молоко, вертолеты, самолеты и ракеты, нефтедобывающее оборудование, строительные материалы от гипса до гранита. В северо-западной части, около города Кейес, работает завод по производству гелия. Говорят, что это самое крупное в мире предприятие такого рода. Об этом знают многие, об этом, как и о всяком другом достопримечательном, сообщается во всех путеводителях по штату, исключая лишь любое упоминание об индейских резервациях. Дело обставлено так, что редко кому из заезжих людей удастся воочию столкнуться с живыми индейцами, не говоря уж о посещении их места жительства.

Оклахома оставалась позади. Солнце струило на землю горячие лучи, выпаривая из нее воду, отчего воздух стал менее прозрачным и немного влажным, а местность вокруг превратилась в зеркальное марево с причудливыми зданиями, садами, озерами. Из марева навстречу автомобилю километрами неслась широкая бетонная магистраль. Необычное зрелище у дороги возникло так неожиданно, что сначала в него трудно было поверить. С десяток ребят школьного возраста, некоторые чуть постарше, одетые в национальные индейские одежды, размахивали какими-то плакатами, что-то выкрикивали, пускались в танец, зазывно звенели кодокольчиками и били в барабаны, лица их были перемазаны краской. Руководил этим «спектаклем» высокий стройный индеец с кирпично-красным лицом, весь в разноцветных одеждах и перьях...

Позднее выяснилось, что рекламные представления были устроены и на других центральных магистралях: индейские вожди хотят, чтобы как можно больше белых людей увидели их обычаи, традиции, культуру, помогли сохранить то, что накапливалось веками. Но желающих познакомиться с жизнью племен в среде белых американцев с каждым годом становится все меньше и меньше.

В Оклахоме лето. На севере и юге, востоке и западе — везде почти в течение двух-трех уик-эндов июня и июля проводятся собрания индейцев, называемые на языке чироки пау-вау. В лагере, расположившемся недалеко от местечка Санд Спрингс, в нескольких милях от берегов Арканзаса, с утра и до вечера звучали индейские ритмы, исполнялись национальные танцы.

На месте древних пешеходных троп и фургонных дорог теперь сплошь асфальт и бетонные шоссе. Лошадь уступила место вагону поезда, автобусу, грузовику, легковому автомобилю. Тени реактивных самолетов ложатся на землю, по которой в летние месяцы путешествуют современные индейцы, собираясь в определенных местах, чтобы отдать долг своим древним традициям.

Пау-вау — и праздник, и деловое собрание племени. Большинство из 35 племен Оклахомы, да еще 20 малочисленных народностей индейцев стараются проводить в той или иной форме летние пау-вау ежегодно. Пять наиболее цивилизованных племен вос-

тока тоже проводят летние собрания, которые отличаются от пау-вау центральных и западных районов штата более строгими обрядами. Центр индейских резерваций в Оклахоме расположен между Талсой на северо-востоке и Уолтерсом на юго-западе. Эта территория в настоящее время место жительства многих племен. Не по своей воле оказались здесь племена охотников — осэджи, понка, куапава из района Миссисипи и племена пауни из Небраски. Группа индейцев вудлендз (лесистое место) пришла в Оклахому из районов Великих озер. Она включает племена айова, сэжфокс и кикапу. Всадники великих равнин — чейены, арапахо, кайова и команчи — проживали здесь всегда. Кэддо и вичита пришли сюда из Техаса и Канзаса.

Летние собрания многих племенных групп схожи, но все же имеют и отличительные черты. Все пау-вау проводятся на природе, на всех пау-вау люди разбивают лагерь. Они проводят в них три дня, живя на открытом воздухе, как и их предки. Только теперь нередки вигвам, хижина или большая землянка прошлого уступают место нейлоновым палаткам. Индейцы покупают их или же берут в аренду. Все же многие семьи, любящие и уважающие традиции древних предков, привозят с собой настоящие вигвамы. Перед вигвамом или современной палаткой обязательно стоит зонт от солнца древнего образца, сделанный из травы. Огромные медные чайники висят над кострами на треногах. Женщины сушат мясо на веревках, а дети бегают вокруг, весело играя в ковбоев. Пестрые, традиционно яркие одежды индейцев висят на шестах у жилищ в ожидании групповых танцев, обязательных для всех пау-вау. Громкоговорители беспрестанно с вечера пятницы до ночи воскресенья передают записанную на магнитофоны индейскую музыку или объявления, указания, призывы.

Вот, например, как проходил этот праздник у племени чироки. Пау-вау началось с костюмированных индейских танцев в пятницу вечером. Первое представление продолжалось до одиннадцати часов ночи. Затем танцоры переоделись в «одежды белого человека», расселись группами на траве и повели беседы, попивая крепко заваренный кофе. В стороне другая группа молодых индейцев разожгла небольшой костер в центре танцевального круга. Молодежь образовала длинную цепочку и, извиваясь, двигалась вокруг костра, исполняя песни под музыкальное — типично индейское — сопровождение, под стук камушков в маленьких банках из-под молока или пива, привязанных к ногам танцоров. Когда-то это был религиозный обряд племени криков, а теперь он стал танцем влюбленных молодых людей равнин.

Другой танец любви и ухаживания — танец сорока девяти — исполнялся почти всю ночь после вечернего представления. Несколько мужчин стучали в маленькие барабаны, в то время как молодые люди — юноши и девушки, — держась крепко за руки, водили хоровод вокруг них и пели песню:

Дай мне пять минут еще,
Только пять минут еще.
Разреши еще остаться,
Остаться в твоих объятиях.

Ранним субботним утром громкоговорители позовут жителей лагеря получать продукты. Комитет племени по проведению пау-вау обычно всегда снабжает участников собрания сахаром, кофе, мукой, жирами, говядиной или цыплятами в течение почти трех дней праздника. Деньги для закупки продуктов по распоряжению вождя племени выделяются из общеплеменной кассы, взносы в которую поступают практически от каждого индейца.

Снова звучит громкоговоритель. На этот раз он обращается к детям: сейчас состоится игра в бейсбол, а затем соревнования в беге, детские игры, танцы и т. д. Всем должно быть весело, и дети не исключение.

Приходит полдень — и наступает кратковременный отдых. На время замолкают громкоговорители. Затем снова взрослые приглашаются поиграть в разные ручные индейские игры. Команды и победители получают премии. Игры сопровождаются танцами и пением.

Вечером танцевальное представление повторяется. Под удары барабанов ритмично танцуют в хороводе индейцы, одетые в платья из оленьей кожи, шелковые юбки с аппликациями и яркие атласные блузки. Барабанщики в огромных головных украшениях из разноцветных перьев запевают одну из популярных хороводных песен:

Только еще один поцелуй
В эту красивую лунную ночь.

Танцы воина, змеи, бизона, древний индейский танец, получивший в Европе 20-х годов популярность и название тустеп, другие обрядовые танцы племени чироки занимают остаток представления. До полуночи люди танцуют и поют, до восхода солнца они общаются друг с другом. Друзья из городов Апаче, Семинола, Команче, встречаясь здесь, вспоминают прошлогодний праздник и сравнивают его с нынешним, вожди и предводители обсуждают дела племени. Спорт, политика государства, кулинарные секреты, уход за детьми и разговоры о любви и ухаживании занимают у индейцев оставшиеся часы ночи.

Утром в воскресенье в лагере пау-вау проводится богослужение. Индейцы в Оклахоме в большей части баптисты, методисты или католики. Воскресный полдень — особое времяпрепровождение. Многие семьи раздают одеяла, материал на платье, деньги, шали и другие предметы своим молодым членам, а также родственникам и друзьям. Эта церемония, практикующаяся во время пау-вау у всех племен, возникла у индейцев равнин как вид социального обеспечения. С давних пор, да и в незапамятные времена, глава семьи раздавал молодым людям, бедным, старым, а также и посетителям подарки: одежду, домашнюю утварь, реже деньги. Таким образом, менее обеспеченные и менее обеспеченные члены племени получали материальную помощь. Молодые приучались к щедрости и благородству, зная, что когда они сами состарятся, то и о них кто-то подумает.

В воскресенье, когда солнце спрячется за горизонт, состоится еще один вечер танцев, но уже с меньшим количеством людей: понедельник — рабочий день и некоторые из индейцев должны утром быть на работе.

Летний праздник пау-вау (кстати, само выражение переводится еще и как индейские советы) покажется и не посвященному в дела индейцев своеобразной отдушиной для тысяч и тысяч краснокожих, плохо представляющих себе жизнь лучшую, чем в эти три дня.

— В такие дни, — говорил один из предводителей по имени Лонг Найф (Длинный Нож), он пришел сюда из-под Талсы, — мы стараемся не вспоминать о своем горе. Мы приходим сюда отдохнуть и повеселиться...

Нельзя было не заметить, как при этих словах у Длинного Ножа болезненно дернулись губы, в глазах на мгновение вспыхнула искорка гнева и тут же сменилась на еле заметную улыбку. Он надвинул на глубоко посаженные, черные, как паслен, глаза широкополю шляпу, увешанную разными украшениями, и отошел на два шага в сторону, дав понять, что дальше вести разговор на эту тему не стоит. На этом никто и не настаивал. Наблюдая за всем, что происходило в эти дни, можно было прийти лишь к одному выводу: Лонг Найф, как и все собравшиеся у Арканзаса, хотел, чтобы песни, танцы, вечерняя прохлада с реки, национальная музыка, яркая зелень долины хоть на какое-то время заглушили бы человеческие страдания. Но горе и слезы прорывались и сквозь искусственно создаваемую обстановку былых времен, сквозь иллюзию былой независимости и самобытности. В дальнем углу украдкой плакала старая, но крепкая индианка, у которой муж погиб при не выясненных до сих пор обстоятельствах, а два сына в разное время попали в тюрьму по сфабрикованным доносам. С ней были жена и двое детей старшего сына, которого звали Хитрый Волк. О себе старая женщина уже не беспокоилась. Жизнь свою, тяжелую и хлопотную, она прожила. Ее заботила судьба внуков, которые, не подозревая пока ничего, весело играли тут же.

Разное отношение у белых власть имущих к праздникам своих «братьев», как назвал их когда-то президент Томас Джефферсон. Многие все же поддерживают пау-вау. Подбрасывая небольшие финансовые подачки на их проведение, они считают, что отвлекают тем самым индейцев от политической борьбы за свои права. Может быть, это и так. Только многовековая история индейского народа показывает, что они не желают довольствоваться временным уходом в былые времена. Они упорно и настойчиво напоминают о своем законном праве на жизнь, на землю, на работу.

По пути на юг встречаешься с такими индейскими резервациями, куда федеральные и местные власти охотно открывают двери и ворота, а также и с такими, куда попасть просто невозможно.

В красочных проспектах, которые можно получить в любой гостинице города Лувисвилл, на больших панно у дорог нарисованы несколько вигвамов и пляшущие индейцы с довольными, веселыми лицами. В проспектах сообщается адрес резервации, многочисленные панно зазывают в индейское поселение.

Часто попадаетея стрелка на дороге номер 68 — «Индийская резервация». Но она сначала приводит в национальный заповедник, который называется «Мамонтовы пещеры». Обнаружены они сто пятьдесят лет назад. Экскурсовод упоминает, что коренные индейцы в пещерах и вокруг нашли когда-то кремний и использовали его для изготовления орудий производства.

В подземелье, растянушемся более чем на две тысячи метров, стоит всегда весенняя погода: температура не поднимается выше шестнадцати и не падает ниже двенадцати градусов тепла. Искусственное освещение, различные подсветки создают впечатление чудодейственного природного феномена, хотя человеческие руки поработали не меньше, чем стихийные силы. Все ухожено, извилистые тропинки посыпаны желтым песком, прорублены ходы сообщения, подведена вода и созданы небольшие озера, построены лестницы. Вход в подземелье стоит два доллара и десять центов. И его никак не миновать, если вы горите желанием прикоснуться к индейцам, увидеть, как они живут. Отсюда стрелка «Индийская резервация» ведет дальше.

Милях в двадцати, на окраине национального заповедника засверкали вдруг близкой в лучах заходящего солнца островерхие вигвамы. Их было более десяти. Недалек — обмелевшая речка Грин, приток Баррена. На север отсюда в нескольких десятках миль расположился городок из плоскокрыших одноэтажных домиков Гринсбург. Кстати, названия многих городов и поселков, рек и озер, фамилии, происходящие от «грин» — зеленый, идут от богатой разнообразной флоры здешних мест.

У остроконечных строений есть хранитель по имени Том Редспир (в переводе означает Красная Стрела), индеец, по его же словам прошедший долгую и сложную ассимиляцию. В жилах Тома смешалась кровь предков — индейцев и выходцев из Голландии, Германии, Англии.

— Индейцы здесь жили, — говорит Редспир, — лет сто тому назад. Сейчас о прошлом напоминают лишь эти прочные вигвамы.

Из многих рассказов и скупой хроники прошлых лет известно, что индейские вигвамы, конические палатки, или, как называют их местные жители, типи, строились в северной и восточной частях страны из жердей, крытых ветками, листьями, циновками, шкурами.

Из оленьей крепкой кожи
Сделан был вигвам просторный,
Побелен, богато убран
И дакотскими богами
Разрисован и расписан.

(Генри Лонгфелло, «Песнь о Гайавате»)

В южных горных и пустынных районах вместо палаток ставились глиняные или каменные хижины, лагуны. Устроители нынешней, раскинувшейся на просторах далеко не южного штата Кентукки стоянки ирокезов и мускогов создали конические жилища-дзоты из белого кирпича, на прочных бетонных фундаментах: так, мол, выгоднее, меньше забот по уходу потребуется, да и прочнее — на века. Бытовая утварь, всякие картинки внутри вигвамов, лоскуты тканей тоже не ручной индейской работы, не исторически сохранные предметы, а поделки, созданные сегодня ловкими бизнесменами от истории.

— Администрация заповедника, — рассказывал Том, — построила эти вигвамы, когда начал падать интерес к подземелью. Теперь снова туристов хоть отбавляй. Многие, особенно иностранцы, едут, чтобы увидеть резервацию, поговорить с индейцами, заполучить их нехитрые сувениры. Наивные они люди, эти туристы, — не знают, что последний индеец жил здесь много десятилетий назад.

На самом юге, в Техасе, есть еще одна подобного типа «резервация». Правда, здесь бывают почти настоящие индейцы-метисы. В разговор они, правда, вступают неохотно. Им надо работать, зарабатывать на жизнь танцами, пением, улыбками, показом экзотических нарядов.

Индиан Виллидж, что в переводе означает индейская деревня, — так называется эта «резервация», а на самом деле опять-таки хорошо сработанный музей, где кругом тот же лоск, та же ухоженность и так же крепко стоят хорошо сбитые новенькие кирпичные и глиняные дома под шиферной крышей и изредка под камышом.

В девяноста милях на север от Хьюстона 59-я дорога упирается в город Левингстон, вправо от которого в часе езды начинаются глухие сосновые леса с островами зарослей из кустарника и низкорослых лиственниц. Среди таких зеленых островов и спряталась индейская деревня.

Племена алабама и коушета начали свою жизнь в здешних местах в 1805 году. Упоминается также в истории, что в середине XIX века сюда приезжал тогдашний президент республики Техас Сэм Хьюстон для заключения договора с вождями племени об освобождении большей части территории, занятой индейцами. История умалчивает о самом процессе «подписания» договора, но она подтверждает, что с конца XIX века в этих местах — от Левингстона до Хьюстона на юг, до Вудвилла на восток, до Хантсвилла на запад и до Лафкин на север — на всей огромной территории размером в двести на сто пятьдесят миль, богатой лесами, дичью, полезными ископаемыми, уже не было ни одного индейца. А те, которые танцевали, пели, развлекали любопытствующую публику? Они приезжают издалека, миль за пятьдесят, некоторые из них поселились в городских трущобах.

Одним словом, Индиан Виллидж — веселое заведение, дающее представления на разные вкусы. За двадцать центов можно надеть индейский головной убор из разноцветных перьев и сфотографироваться в нем, заплатив за снимки еще доллар; за три доллара вам продадут его. Полтора стоят индейские пляски, полтинник — многое другое, чем устроители деревни пытаются удивить своих посетителей: смуглый юноша часами возится с удавом или маленьким крокодилом, а мимо него течет людской ручеек. Потом ручеек попадает в автобус или в вагончик узкоколейки и уже на колесах путешествует по лесу. В отличие от вигвамов, что у «Мамонтовых пещер», здесь можно и сувениры приобрести, хотя изготовлены они опять-таки лишь на манер индейских хваткой до денег промышленностью монополий. Как говорится: кругом — бегом, шесть долларов плати — и ты увидишь индейскую «резервацию», индейскую «деревню» образца 1805 года, а на самом деле — грубую подделку.

Танцоры и певцы по завершении «рабочего дня» — изображения будней индейской деревни — складывают свои одежды, украшения из перьев, лоскутов, расшитых бисером, в саквояжи и спортивные сумки и уже в джинсах и куртках разъезжаются по домам. На следующий день они снова приезжают, чтобы повеселить новых туристов, а возможно, кого-то и удивить тем, чего не было на самом деле.

Люди едут. В летние дни деревню посещает до тысячи туристов. Их влечет, заманивает всесылная реклама, утверждающая, что ровно в девятистах милях на север от Хьюстона расположена «настоящая индейская резервация, настоящая индейская деревня». Но это фасад. Пестрый американский фасад. В такие «резервации», как Индиан Виллидж, власти охотно приглашают иностранцев, зазывают туристов, прикрывая тем самым истинное положение индейских аборигенов, скрывая от людских глаз трагедию индейских племен, их настоящее прозябание, подлинную историю, которая вот уже несколько веков пишется кровью и слезами первых в прошлом американцев.

ПРЕЗИДЕНТЫ, КОНГРЕСС И ИНДЕЙЦЫ

В нескольких десятках миль от Лунсвилла, в штате Кентукки, есть места, которые очень широко рекламируются в США. Там недалеко от городка Ходженвилл, на ферме у Тома и Нэнси Линкольн в самом начале XIX века родился мальчик, которому дали имя деда — Авраам.

Будущий президент Авраам Линкольн был фермером, лесорубом, сплавщиком леса, работал приказчиком в лавке, почтмейстером. В музее Линкольна рассказывают о том, что в юности Авраам принимал участие в войне индейцев Черного Ястреба против колонизаторов, что еще раньше, когда семья жила в штате Иллинойс, он получил кличку Честный Эйб. Работая продавцом в лавке Дентона Оффата в Нью-Салеме, он отправился за шесть миль, чтобы вернуть покупателю шесть с половиной центов, полученных им по ошибке.

В Соединенных Штатах редко вспоминают знаменитые слова президента Линкольна, относящиеся к периоду войны между Севером и Югом, но и сегодня не потерявшие своего значения. Он говорил: «Дом, расколотый надвое, не может стоять». Издавая прокламацию об освобождении рабов, в числе которых наряду с неграми были и индейцы, президент пытался заделать «трещину». Но... спустя несколько дней после капитуляции войск Конфедерации был убит выстрелом в затылок в почетной ложе театра Форда.

С рабством официально было покончено. Но дискриминация черных и краснокожих осталась. Индейцев продолжали вытеснять с насиженных мест, их разоряли, убивали, обманым путем за бесценок скупали у них плодородные земли. В середине XIX века за один акр² индейцы получали не более пяти центов.

Президент Линкольн был одним из немногих государственных деятелей США, отважившийся встать на сторону обездоленных и угнетенных. В музее «Исчезающий родник» — так называли ферму, где родился мальчик по имени Авраам, — рассказывают историю, имеющую прямое отношение к Аврааму-президенту.

Восстание индейцев сиу в 1862 году в Миннесоте явилось справедливым возмездием за понесенные ими обиды. За полвека до этого в результате сговоров с правительством Соединенных Штатов племена индейцев были согнаны с огромной территории в тридцать миллионов акров и поселены в небольшие резервации. Площадь их обитания уменьшилась в 70 раз. Освободившуюся землю за бесценок купили ловкие правительственные агенты. За свою землю индейцы получили деньги, товары, продовольствие. Добытые доллары почти тут же уплыли в карманы хитроумных торговцев в уплату за товары по взвинченным ценам. Товары же нередко оказывались не соответствующими номенклатуре, упомянутой в договоре. Продукты были недоброкачественными. Правда, индейцам «разрешали, после того как они выплатят ренту колонизаторам за отстрел, самим охотиться на бизон³». Спустя некоторое время белые поселенцы стали посягать и на небольшие территории резерваций, занимаясь скваттерством³ вопреки федеральному закону. Обстановка в штате Миннесота накалялась.

В год восстания выплата ренты задержалась. Из-за того, что индейцам сократили охоту на бизон³, в племени сиу разразился голод, который вынудил одного из них пойти на крайние меры — он украл цыпленка у белого скваттера. Завязалась перестрелка, в которой погибло 40 индейцев и 5 скваттеров. Вождь племени сиу понял, что ответственность за смерть пяти белых поселенцев ляжет на все племя. И тогда он принял решение: не дожидаясь, пока придут войска, напасть на контору агентства и поселение белых скваттеров и изгнать их за пределы резервации. Нападение сиу осуществили успешно. Они изгнали всех белых и остановили свои войска на границе резервации, сделав еще несколько успешных выступлений. Вождь по имени Вороненок и его приближенные отдавали себе отчет, что успех этот временный и уцелевшим сиу, а они понесли немалые жертвы, грозит расправа и наказание.

Так и вышло. Недолго они пользовались свободой и природными богатствами. Регулярные войска из Миннесоты под командованием полковника Сиблея нагрянули через две недели. Они разбили сиу, нанесли им серьезное поражение и оттеснили на территорию Северной и Южной Дакоты. Не все сиу бежали со своей резервации. Те, у кого не было оснований бежать — женщины, дети, старики, кто не участвовал с самого начала в восстании, — остались. Они немедленно были окружены войсками и подвергнуты суду полковника Сиблея. Индейцу, принимавшему участие в сражении, суд без всяких разбирательств выносил смертный приговор. В течение месяца 306 индейцев из выловленных 400 получили смертные приговоры, 16 — пожизненное тюремное заключение. Около двух тысяч индейцев, в основном женщины, дети и старики, были схвачены и отправлены этапом в Форт Снеллинг на новое поселение. Осужденных мужчин, закованных в кандалы, поместили в тюрьму Манкато.

По просьбе епископа Уиппла в это дело вмешался президент Линкольн. Его защита сократила число осужденных на смерть до 38 человек. Они были в спешном порядке повешены и погребены в общей могиле. Оставшиеся в живых пленники стали

² Акр равен 0,4 гектара.

³ Скваттерство — поселение на земле с целью ее приобретения и присвоения.

добычей ретивых христианских миссионеров, обративших индейцев в свою веру и сославших их в еще меньшего размера резервации...

Широкая асфальтированная дорога от фермы, где родился президент, ведет в городок Ходженвилл. Здесь есть банк имени Линкольна, школа имени Линкольна, мотель его имени и улица. Есть и памятник ему. Правая рука сжимает подлокотник кресла, левая лежит безвольно, как у смертельно уставшего человека.

В 1802 году — А. Линкольн тогда еще не родился — президент США Т. Джефферсон в своем президентском послании писал: «Братья, ваш отец, президент, будет во веки веков вашим другом. Он будет защищать вас, своих краснокожих детей, от плохих людей». Президентская клятва уважать права индейцев прозвучала тогда бодро и обнадеживающе.

Т. Джефферсон был третьим президентом. Ю. Грант — восемнадцатым. В докладе созданной им в первый год президентства комиссии, исследовавшей жизнь индейских племен, говорилось: «История отношений между нашим правительством и индейцами представляет позорный ряд нарушенных договоров и неисполненных обещаний... История отношений между индейцами и белым пограничным населением представляет собой, как правило, отвратительную цепь насилий, убийств, грабежей и неправды с нашей стороны и, как исключение, дикие взрывы отпора со стороны краснокожих».

«Диких взрывов отпора» со стороны апачей не было. Они просто не желали покинуть свои родные места и были за это перебиты и уничтожены по приказу губернатора штата Аризона. Руководил операцией генерал Крук. Это случилось в конце 1869 года, спустя восемь месяцев после того, как в кресло Белого дома сел восемнадцатый президент.

Первую резервацию колонисты создали задолго до появления в Белом доме Ю. Гранта, а точнее в 1853 году. В наследство он получил и кучу многолетних договоров между индейскими племенами и правительством США. Первый был заключен в 1778 году. Как отмечено в документе, он имел «чрезвычайную моральную и законную силу». И вот совсем недавно, опоздав... более чем на сто лет, судебные власти признали, что федеральный Вашингтон произвольно нарушал права индейцев сию из штата Южная Дакота. Арбитражный суд удовлетворил иск племени, относящийся к... 1877 году. Земли одного из районов этого штата во второй год президентства Ю. Гранта правительство выделило под резервацию для сию. Семьдесят четвертый год внес поправку. Неожиданно открытые залежи золота заставили Вашингтон пойти на резкое изменение политики по отношению к «краснокожим детям». Договорные обещания соблюдать принцип невмешательства в дела индейской резервации напрочь перечеркнули хлынувшие сюда потоки золотоискателей, «прикрываемые» армейскими подразделениями. Резервация была занята силой оружия, племя изгнано прочь. «Вся эта история, — отметил суд в своем запоздалом постановлении, — является характерной для отношений правительства с индейскими племенами». В 1887 году, когда конгресс принял закон о земельных наделах, индейские племена жили на территории в 139 миллионов акров. К 1930 году их владения по стране уменьшились в 3 раза и составили 46 миллионов акров.

Президентское послание Р. Никсона в той своей части, которая касается жизни индейцев, мало чем отличается от того, что было сказано ровно сто лет назад в покаянном документе комиссии Ю. Гранта, а именно: «Первые американцы — индейцы — наиболее изолированное меньшинство в нашей стране, — подчеркивал Р. Никсон в своем послании. — Начиная с их первых контактов с европейскими поселенцами, американские индейцы то и дело подвергались угнетению и насилию. Их лишали земли предков и права быть хозяевами своей судьбы. Их история — это частые агрессии белого человека, нарушенные договоры и постоянное отчаяние... Особые отношения между индейцами и федеральным правительством зиждутся на священной обязанности правительства Соединенных Штатов и имеют чрезвычайную моральную и законную силу».

«Особые отношения»... На рассмотрении конгресса США находится сейчас 12 законопроектов, относящихся непосредственно к жизни индейцев. И почти все они направлены на резкое ограничение их прав на землю и жизнь. Не в этом ли заключена «чрезвычайная моральная и законная сила» в отношениях между конгрессом и индейцами?

— Конгресс настроен весьма враждебно к индейцам, — говорил Форрест Джерард, глава Бюро по делам индейцев. — И я думаю, что начало восьмидесятых годов принесет им много бедствий и будет критическим для их прав. Из четырехсот договоров, заключенных с индейцами, правительство США не выполняет ни одного. Каждый год у коренных жителей Америки, обитающих в резервациях, конфискуется до сорока тысяч акров земли.

У входа в здание Верховного суда в Вашингтоне большими буквами выбито: «Равенство перед законом». Десятки писем заключенных, особенно из числа национальных меньшинств, петиции трех американских общественных организаций заставили одну из подкомиссий Комиссии по правам человека ООН заняться расследованием фактов нарушения прав человека в США. Представительная делегация юристов и адвокатов из 8 стран, в том числе из Великобритании, Швеции и Индии, в течение двух недель ездила по стране. Юристы и адвокаты посетили многие тюрьмы, беседовали с сотрудниками государственного департамента и министерства юстиции, с активистами движения в защиту прав человека, с местными юристами, а также с представителями выборных органов индейских племен и негритянских общественных объединений.

Факты, приведенные в петиции, подтвердились. Объектами провокаций, арестов без достаточных оснований и жертвами сфабрикованных судебных процессов стали многие деятели движения за права негров и индейцев, в том числе политические заключенные из числа индейцев — Рассел и Тед Минс. Главный вывод комиссии сводится к следующему: в США «имеется в наличии достаточно серьезных подтверждений факта нарушения прав человека, которые требуют немедленного исчерпывающего расследования в рамках Комиссии по правам человека ООН».

Всего этого не было в недавно опубликованном очередном президентском докладе, который «подводит» итоги реализации за последний период положений Заключительного акта общеевропейского совещания. Как говорится в самом докладе, он содержит «анализ наиболее важных событий, связанных с выполнением Хельсинкского документа». Объективный анализ, к тому же не в первый раз, подменен в этом пухлом «документе» грубой подтасовкой фактов, стремлением воспользоваться высоким авторитетом Заключительного акта для искажения его целей, для того, чтобы ввести в заблуждение американскую общественность. В частности, авторы доклада, усиленно пытаясь изобразить себя поборниками прав человека, выставляют в качестве «жертв» нарушителей и уголовников, справедливо осужденных и наказанных в социалистических странах за преступления против своих народов. Вопиющим же фактам подлинного нарушения прав человека в самой Америке в докладе отведено более чем скромное место. В нем лицемерно отмечено лишь, что «в Соединенных Штатах следует сделать больше, чем уже сделано, для защиты прав меньшинств».

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННАЯ БЫЛЬ

Где начинается Запад? Вопрос этот не праздный. Он и по сей день интригует в равной мере иностранцев, эмигрантов, даже людей, живущих на восточном побережье. Лет сорок назад еще можно было найти подлинные предметы и строения старого Запада в штатах Аризона, Невада, в западных предгорьях Сьерры. Здания магазинов, брошенные пивные салуны, призраки домов, где когда-то печатались газеты, одиноко стояли под высоким небом в конце грязной дороги, которая ведет в никуда. Такие старинные постройки, по словам очевидцев, встречались тогда часто. Сейчас это редкость.

Все же можно увидеть на Западе город, который полностью восстановлен и в точности скопирован с прошлого. Город-призрак Боди, охраняемый и восстановленный, находится в Южной Калифорнии, на высоте 2400 метров, в горах Сьерры. Государство оградилло и огородило его от разрушения и модернизации. Охраняемый таким образом, он остается живым памятником Запада вековой давности. Деревянные ложные фронтоны домов, наклоненные под пугающими углами над высоким тротуаром, тоже из дерева, от времени и непогоды стали бронзово-коричневыми. Грязь на улицах иногда становится твердой, как цемент, а порой раскисает от сильных горных ливней. Коловороты, кирпичи, колеса от телег валяются, ржавея, на траве рядом со старой шахтой, недалеко от горной мельницы. Внутри старого магазина можно найти различные

старинные предметы: монеты, глиняную посуду, фонари, кресла-качалки, железные печи. Название городка произошло, как утверждают, от имени Боуди. В 1859 году он нашел в этих местах золото, а в 1876 году напал на жилу. В течение нескольких лет здесь бурлили страсти, жизнь от смерти отделял порой шаг — в день совершалось по одному убийству, 56 пивных салунов и игорных домов приходилось на 12 тысяч жителей. Исчезло золото — опустел городок, замерла жизнь. В 1932 году Боди коснулся пожар, подкоптивший его. Сегодня он похож на кладбище, расположенное высоко в горах, среди бродячих кучевых облаков. Место это напоминает былой Запад с его своеобразным ландшафтом, простирающимся от восточных предгорий Скалистых гор до берегов Тихого океана. Напоминает оно и о том состоянии умов, психологии, которое было характерным для жителей Запада.

Где начинается Запад? Это зависит и от того, в какое время задан вопрос. В XIX веке Чарльз Диккенс достиг только Сент-Луиса, расположенного в девятистах милях от Скалистых гор. Уезжая домой, он был убежден, что видел Запад, и объявил, что такое понятие не что иное, как вымысел. В XVII веке Запад практически начинался на побережье Атлантики. Он был синонимом границы, той линии, где заканчивались поселения колонистов и начинались леса и индейцы. В прибрежных городах Массачусетса, как гласят дошедшие до наших дней предания, любящий отец, проводив свою дочь в путешествие не далее чем на пятнадцать миль, в другое поселение, навестить родственников, писал в своем дневнике: «Я очень беспокоюсь за безопасность Абигейл, поскольку она уехала в Дансбери. Это ее первое путешествие на Запад. Буду дежно и ночью молиться за ее быстрое и безопасное возвращение».

Во времена Джефферсона и Тамильтона Запад начинался сразу же за хребтом Аппалачей. Охотники и следопыты в течение десятилетий скитались по восточным хребтам гор в поисках в этом нагромождении вершин и лесов хоть какой-нибудь узкой тропы. Она была найдена лишь в 1750 году англичанином, который действовал как агент земельной компании Вирджинии. Томас Уолкер, врач по образованию, нашел расщелину на высоте пятисот метров на границе нынешних штатов Кентукки, Теннесси и Вирджиния. Это была естественная расщелина, далее за которой индейцы прорубили на юг и запад целую систему троп. Доктор Уолкер назвал ее именем герцога Кемберлендского. Все же известность эта дорога-расщелина получила благодаря усилиям Дэниэля Буна, участника войны англичан с французами. Потребовалось более двадцати лет, прежде чем эту тропу приспособили для фургонов. Созданный путь соблазнил 100 тысяч человек, в течение пятнадцати лет отправлявшихся на новые земли Западного Теннесси и Кентукки. Через тридцать лет, а именно в 1820 году, население Соединенных Штатов удвоилось. Прилив местной молодежи и вновь прибывших колонистов из Европы сделал Кемберлендский проход главной южной дорогой на Запад.

Когда белый человек появился на Западе, ему приходилось, как свидетельствует история, выбирать одну из трех возможных форм в обращении с местным населением. Колонисты могли и должны были бы по идее, как исследователь Уильям Пенн, вести себя по отношению к индейцам как к равным себе народностям, которые надо уважать и жить с ними в мире. Такой подход оправдывал себя по отношению к большинству племен. Белые люди могли видеть в краснокожих и потенциальную угрозу для себя, вызванную собственными же действиями, а затем надеяться на длительное перемирие. Все же среди большинства пионеров-колонистов превалировал третий, худший, вариант в обращении с местными жителями. Индейцы иначе как примитивное препятствие на пути цивилизации не рассматривались. Двести лет назад очень немногие, к сожалению, сомневались в резком различии между цивилизованным человеком и индейцем. Авторы Декларации независимости подразумевали, что равенство относится только к белому человеку. То же самое касается и Декларации прав человека. Она никогда не распространялась на краснокожих. До 1924 года индейцы даже формально не были полноправными гражданами Соединенных Штатов, а вплоть до семидесятого года власти США не считали нужным включать их как самостоятельную этническую группу в бюллетени переписи населения.

Белые поначалу обещали индейцам, что их права на их собственные земли являются абсолютными. Но эти земли все уменьшались и уменьшались, по мере того как колонисты двигались на запад. Когда они пришли на равнины за горами и в дельту

Миссисипи, они уже знали, как должен выглядеть Запад: империей хлопка, а не индейским лагерем. Поэтому в 1830 году великие хлопководческие штаты Миссисипи, Алабама и Джорджия объявили вне закона племенные королевства, и президент Джексон провел через конгресс законопроект, приказывающий всем индейским племенам уйти на запад от Миссисипи. И племена чоко, крики, чикасавы начали уходить. Только чироки запротестовали и обратились в Верховный суд. Верховный судья Джон Маршалл объявил о том, что нет никакого конституционного права согнать индейцев с земель их предков. Джексон назвал это решение невыносимым и просто проигнорировал его, приказав армии прогнать племена вон. 30 тысяч чироков, нередко в цепях и кандалах, покидали насиженные земли, теряя в пути, справедливо названном дорогой слез, своих соплеменников. Из 30 тысяч треть людей погибла.

К концу XIX века восточное побережье страны почти полностью было очищено от индейцев. К тому времени и большинство племен на всей территории США было покорено, разорено и переселено в резервации, в которых уцелевшие остатки индейцев находились под строгим контролем. В 1700 году в Америке проживало до 3 миллионов индейцев. Двести лет спустя их насчитывалось, по неточным данным, около 900 тысяч. Десятки, сотни тысяч людей погибли в результате истребления в годы «индейских войн». Эпидемии, нищета довершили злое дело.

Переселение в резервации происходило обманным и нередко насильственным путем. Подкупая и спавая менее стойких вождей, их вынуждали заключать с правительством договоры об «уступках» ими своих земель и «согласии» переселяться в другие, совсем необжитые места. Племена, не желавшие заключать договоры или тем более отказывавшиеся покидать свои земли в результате обманных договоров, оказывались втянутыми в войну с колонизаторами. Хорошо памятна своей жестокостью в первой трети XIX века история захвата индейских земель на территории нынешних штатов Джорджия, Мэриленд и Южная Каролина. Сопrotивлявшихся изгнанию индейцев переселяли этапным порядком под усиленным конвоем солдат. Это еще одна «дорога слез». Многие тысячи индейцев гибли в пути от голода, холода и насилий. «Индейцев будут перегонять с одного места на другое, — писал француз А. Токвиль, свидетель событий тех дней, — до тех пор, пока их единственным прибежищем не станет могила».

«Переселение» индейцев с Востока на Запад явилось нарушением прав и западных племен. Поэтому восточные племена страдали и от индейцев прерий, защищавших свои земли.

Дикий Запад, районы к западу от Миссисипи, оказался богатым плодородными землями, пастбищами, минералами. Все большие и большие отряды колонистов устремились сюда. Переселенческая волна особенно усилилась после окончания Гражданской войны, когда Калифорния заболела золотой лихорадкой. Через степи прокладывались дороги, по ним шли вереницы повозок колонистов, охраняемые конными отрядами. Сооружались форты, в которых размещались гарнизоны. Истребление индейцев после Гражданской войны достигло своей кульминации. Правительственные войска перешли против них в решающее, последнее наступление. Этим целям подчинялись и карательные экспедиции, проводимые войсками. «Убить индейца — столь же мало похоже на убийство, как раздавить вошь» — на таких лозунгах держалась вера солдат в свою непогрешимость перед законом, такие лозунги были призваны помочь им избавиться от всяких угрызений совести.

Кроме прямых, открытых убийств, колонизаторы применяли всякие ухищрения, косвенные способы уничтожения аборигенов. Вот какой «метод» порожден был заявлением одного из конгрессменов. Он цинично говорил: «Каждый убитый бизон означает, что одним индейцем стало меньше!» И белые профессиональные охотники за три года, с 1871 по 1874 год, застрелили 3 698 820 бизонов. Туши многих из них были брошены в прериях и сгнили. К 1881 году в США оставалось не более 100 бизонов. Судьба многих племен была предопределена, так как они лишились продовольственной базы.

Наступление белой колонизации на степи вызвало упорное сопротивление населявших их племен. Одними из первых на дороге у колонизаторов встали племена сну, а одна из самых жестоких трагедий произошла в поселке Вундед-Ни-Крик (Ручей Раненое Колено).

Шел четвертый день после рождества 1890 года. На пути 7-го кавалерийского полка белых встал отряд из 120 вооруженных ружьями, стрелами, пиками индейцев во главе со своим вождем Биг Футом (Большой Ступней). В день конфликта корреспондент газеты «Вашингтон пост» на Западе писал в своей статье:

«Мало сказать, что это был самый отчаянный подвиг — 120 индейцев выступили против 500 кавалеристов. Только безумие могло толкнуть их на такой шаг. Сомневаюсь, что до ночи останется в живых хоть один из племени Биг Фута, чтобы рассказать о трагедии этого дня. Члены 7-го кавалерийского отряда не раз доказывали, что они могут быть героями в сражениях».

Корреспондент газеты почти не ошибся. Солдаты 7-го кавалерийского полка вели себя «геройски». После двухдневных переговоров войска силой заняли поселок Вундед-Ни. Биг Фут лежал с воспалением легких, и когда представитель командования полка предложил сдаться, вождь вывесил над фургоном белый флаг, смирившись со своим бесправием.

На следующее утро полковник Д. Форсайт потребовал от индейцев сдать все оружие. Индейцы подчинились приказу. Но солдатам показалось, что не все ружья сданы. Начались обыски, унижительные проверки, допросы, почти всех раздевали до гола. Индейцы негодовали, но никто, кроме знахаря по имени Елоу Бирд (Желтая Птица), не промолвил ни единого слова. Елоу Бирд сделал несколько «па» из танцев духов и вслух произнес заклинание, убеждая своих собратьев, что пули солдат не смогут проникнуть через их освященные одеяния. «Пули не проникнут в вас, — пел он, — прерии большие, и пули не найдут вас».

Во время обыска солдаты нашли два ружья. Одно из них — новенький винчестер — принадлежало молодому воину по имени Блэк Койот. Он поднял над головой свой винчестер, выкрикивая, что это его ружье, лично его, за которое он заплатил много денег, и оно принадлежит только ему. Бедный Блэк Койот был глухим и ничего не слышал из того, что говорили ему солдаты. Если бы до него дошли угрозы и призывы кавалеристов, он, наверное, подчинился бы им. Не разобравшись, солдаты схватили Койота и начали силой отнимать ружье. В схватке индеец случайно нажал на курок. Раздался выстрел, не причинивший никому вреда. Но он послужил сигналом к жестокому расстрелу безоружных людей. Индейцы теснились небольшими группками и могли противопоставить автоматическим винтовкам лишь ножи и дубинки. Человек 70 все же вырвались из поселка, но на холмах их ожидали пулеметчики.

В течение трех часов солдаты вели разбой в Вундед-Ни, убивали всех — от грудных детей до стариков. Весь поселок и долина от него в сторону Пайн-Риджа, по которой пыталась убежать часть жителей, были усеяны трупами. Кавалерийский полк, не потеряв ни одного солдата, ушел дальше на Запад.

Может быть, эта дикая история и затерялась бы в числе очень многих подобных ей, не дошедших до нас. Но тогда, на седьмой день после рождества, остались все же в живых две женщины, несколько детей да один молодой индеец.

Джесси Литл Фингер (Джесси Маленький Палец) рассказывала со слов своего отца, спасшегося молодого индейца, что белые колонизаторы истребили тогда около 300 человек.

— Пленные пытались бежать, — вспоминала Джесси уже в наши дни, — а в них стреляли солдаты, как будто люди были стадом бизонов.

А вот слова, принадлежавшие Блэк Элку (Черному Лоосу). Ему было в тот трагический день десять лет. Он прожил долгую, но изнурительно тяжелую жизнь вдали от Вундед-Ни и произнес эти слова незадолго до смерти:

— Мечта нашего народа умерла там, в Вундед-Ни. Это была прекрасная мечта. Надежды нации были разбиты. Нет больше родных мест, священное дерево мертво.

Рассказы об этой трагедии, передававшиеся из поколения в поколение, не только дошли до наших дней, но и имели свое печальное продолжение.

В последний год президентства Ричарда Никсона мировая общественность была серьезно встревожена событиями в индейском поселке Вундед-Ни. Американская пресса излагала инцидент между белыми и их «краснокожими братьями» на свой лад, стремясь обвинить последних в воинственности и едва ли не в прирожденной неговорчивости, обходя вопросы более острые и сложные, которые сегодня волнуют аме-

ряжское национальное меньшинство не меньше, чем во времена Фенимора Купера. Увы, писатель давно ушел в небытие, не только он сам — и книги его давно не переиздаются в Америке. Трудно обнаружить и последователей Фенимора Купера среди современных американских литераторов. В книжных магазинах на 18-й улице в Вашингтоне, в лавках разнообразной литературы на Бродвее в Нью-Йорке тщетными оказались попытки обзавестись хотя бы одной-двумя книгами по истории, культуре или искусству индейских племен.

— Какое искусство? — удивлялись вашингтонские продавцы.

— Какая индейская культура? — вторили им их нью-йоркские коллеги.

В магазине на Бродвее, увидев мое разочарование, русоволосый пожилой американец с приветливым, располагающим к себе лицом, подойдя вплотную ко мне и закрыв своей широкой спиной продавца, посоветовал, коль скоро джентльмен интересуется историей и культурой индейцев, побывать в музее американских индейцев на 155-й улице или в лавке «Типи» на 42-й, напротив Публичной библиотеки, а также в Центре искусства американских индейцев на 3-й авеню Ист-Сайда.

— Все оставшиеся в живых индейцы находятся сейчас в резервациях, то есть на землях, законом (!) закрепленных за ними, а кто не живет в резервациях, — просвещал русоволосый американец, — тот поглощен общеамериканским образом жизни. Никакой современной индейской культуры не существует. Все, что осталось от нее, это памятники. Советую посмотреть.

Почти ничего из того, что рисовало воображение, сохранившее в памяти страницы прочитанных книг Фенимора Купера, я не увидел ни на 155-й, ни на 42-й. Немногочисленные, но замечательные образцы изделий народных мастеров племен навахов, сиу, чироки, пайюта и других — из бирюзы, кожи, дерева, глины, стекла, — вобравшие в себя острые наблюдения охотников, рыбаков и земледельцев, радовали глаз, говорили о некогда развитой культуре коренного американского населения. Центр искусства американских индейцев на 3-й авеню оказался закрытым если не навсегда, то очень надолго. Там велись строительные работы.

В самом Нью-Йорке мало зелени. Каменные глыбы домов вытеснили почти все живое. Поэтому скромный парк на склоне холма, подступающий к самой воде, казался не только роскошью, но и оказался памятником. Здесь, на северо-западной окраине Манхэттана, у Гудзонского моста, была когда-то стоянка индейцев. История подтверждает, что последний индеец покинул ее в 1626 году. Завоеватели выменяли земли этой стоянки, по другим источникам — весь остров, на безделушки европейского образца стоимостью в двадцать четыре доллара. Редкое исключение — здесь индейцам разрешили увезти с собой свой скарб, жен и детей. Свидетельств же расстрела целых индейских семей и племен и поныне сохранилось немало. Их можно обнаружить на холме в Капитолии, в кабинете губернатора штата Канзас в городе Топпика, в кабинетах мэров Канзас-Сити, Денвера, Хьюстона, Лас-Вегаса, Сан-Франциско. Это широкоформатные, большие, красочные картины разорения стоянок индейцев и изгнания их с насиженных мест с помощью регулярных кавалерийских полков, вооруженных уже тогда автоматическим огнестрельным оружием. Такие картины — атрибут чуть ли не каждого солидного государственного учреждения. При этом нередко можно услышать повторенную с одобрением, чудовищную по своей жестокости «шутку» генерала Шеридана: «Хороший индеец — это мертвый индеец».

Немало «кровавых» картин и в запаснике нью-йоркского Метрополитен-музея. Но здесь есть и прекрасные портреты индейцев кисти Джорджа Кэтлина, художника талантливого и свободного от расистского снобизма. Д. Кэтлин заслуживает того, чтобы вспомнить о его творчестве с признанием. Он жил в прошлом веке и написал свыше 600 портретов индейцев и картин из их быта.

Начав еще в Филадельфии и продолжив в Вашингтоне рисовать миниатюры и небольшие картины маслом, Д. Кэтлин постепенно вникал в быт и мир индейцев. Впервые он отправился в их поселения в 1829 году. Совершая такие необычные путешествия, художник оставался жить на индейских территориях по несколько лет. В краткой истории его путешествий есть одна характерная особенность: к индейцам он приходил всегда один. В 1832 году, например, Кэтлин вместе с трапперами Американской компании по заготовке пушнины, действия которой в основном носили насильственный

характер, отправился из города Сент-Луис на пароходе «Йеллоустоун» («Желтый камень») к верховьям реки Миссури. Почти три месяца ушло на преодоление двух тысяч миль, пока корабль не ошвартовался в Форт-Юнионе. Дальше, зная, что индейцы почитают его за проводника заготовителей пушнины, в лагерь племени сиу он отправился один и ушел от Форт-Юниона на десятки миль.

Каждый раз Джордж Кэтлин возвращался с богатой «добычей» — портретами индейцев разных племен и картинами из их жизни. Портреты Кэтлина написаны с подкупающей искренностью и реализмом. Его творческое кредо запечатлено в записках самого Д. Кэтлина: «Не от кого мне было ждать ни поддержки, ни совета, мне, находящемуся здесь в полном одиночестве и принявшему твердое решение с помощью кисти и пера спасти от забвения истории их первобытные образы и обычаи, насколько на это хватит сил и способностей одной человеческой жизни...»

Нашелся единомышленник у Д. Кэтлина и в наши дни. Американский журналист Ди Браун выпустил несколько лет назад книгу «Схорони мое сердце у излучины реки» (история американского Запада, рассказанная индейцами). Труд этот вызвал широкий интерес, книга разошлась мгновенно и стала бестселлером на американском книжном рынке. Автор ее восстановил по рассказам и документам подлинную историю освоения американского Запада, развенчав историю официальную. Вот что написал Ди Браун в предисловии к книге:

«Со времени экспедиции Льюиса (Льюис Мериуэзер, американский исследователь, участник ряда походов против индейцев, в 1801 году секретарь Джефферсона, вместе с которым возглавил экспедицию на запад американского континента и стал губернатором Луизианы. — Г. Р.) к побережью Тихого океана в начале XIX века количество публикаций, описывающих «открытие» американского Запада, исчисляется тысячами. Больше всего письменных свидетельств приходится на тридцатилетие между 1860 и 1890 гг. — период, которому посвящена эта книга. Это была поразительная эпоха, полная насилия, стяжательства, отваги, сентиментальности, бессмысленного расточительства и чуть ли не благоговейного преклонения перед идеалом личной свободы тех, кто ею уже обладал.

В течение этого времени была погублена культура и цивилизация американских индейцев и зародились величественные мифы об американском Западе — легенды о зверобоях, жителях гор, капитанах паровых судов, золотоискателях, картежниках, бандитах, наездниках, ковбоях, шляхах, миссионерах, скромных школьных учительницах и переселенцах. И лишь изредка в этом хоре слышался голос индейца, да и то чаще всего из-под пера белого писака.

Во всех этих легендах индеец изображался темной угрозой, готовой напасть исподтишка, и если бы он даже умел писать по-английски, где бы для него нашлись издатель или типография?

И все же не все они заглохли, эти голоса индейцев прошлого. Кое-какие подлинные свидетельства истории американского Запада были оставлены индейцами либо в рисунках, либо в английском переводе, некоторые даже были опубликованы в местных журнальчиках, брошюрах, малотиражных изданиях. В конце XIX века, когда интерес белого человека к индейцам, пережившим бойню, достиг апогея, предприимчивые репортеры часто выпрашивали воинов и вождей индейских племен и давали им возможность высказаться о том, что на самом деле происходило на Западе. Сообщения эти были отнюдь не равноценными по качеству и зависели как от грамотности переводчиков, так и от откровенности индейцев. Некоторые боялись, что их накажут, если они будут говорить правду, другим же нравилось водить репортеров за нос, рассказывая им всякие небылицы. Поэтому к газетным сообщениям того времени надо относиться с осторожностью, хотя некоторые из них — образцы блестящей иронии или поэтической ярости».

Свидетельства индейцев, живших в тот роковой для себя период и затем исчезнувших, запечатлены также в официальных отчетах и некоторых правдивых газетных интервью. И этими материалами воспользовался Ди Браун. Опираясь на документы, автор поведал о завоевании американского Запада «как бы от лица его жертв, приводя всюду, где это возможно, их подлинные слова». Вот одно из таких свидетельств.

В 1867 году вождь чейенов Танкагаска (Высокий Бизон) направил генералу

Скотту Хенкоку послание. «Мы никогда не причиняли белым вреда, — писал генералу Высокий Бизон, — и нет у нас таких намерений... Мы хотели бы жить с белыми в дружбе... Буйволов с каждым днем становится все меньше. Антилоп, которых еще несколько лет назад было сколько угодно, теперь редко встретишь. Когда они все перемрут, нам придется голодать, а если захотим поесть, мы волей-неволей будем вынуждены идти в форт. Вашим молодцам же не надо в нас стрелять, а то стоит им нас увидеть, как они поднимают пальбу, ну тогда и мы начинаем стрелять в них».

«Это невеселая книга, — говорит в заключение Ди Браун, — но история имеет обыкновение вторгаться в настоящее, и, может быть, мои читатели лучше поймут, что собой представляют американские индейцы, узнав, чем они когда-то были. Их, вероятно, удивит, с какой мягкой рассудительностью выражаются те, кого американские мифы изображают свирепыми дикарями. Их, быть может, кое-чему научит народ, призывший беречь и лелеять свою землю. Ведь индейцы знали, что земля и ее плоды — источник жизни, что Америка — это рай; поэтому они и не могли понять, зачем те, кто вторгся к ним с востока, так упорно истребляют не только все, что принадлежит им, индейцам, но и то, что является самой Америкой».

И если читателям этой книги когда-нибудь случится увидеть воочию нищету, обездоленность и безнадежное отчаяние современной индейской резервации, они, вероятно, смогут понять, как и почему это произошло...»

18 октября 1973 года в индейском поселении Пайн-Ридж полицейские убили одного из руководителей организации коренного населения Америки «Движение американских индейцев», двадцатидевятилетнего Педро Биссонета...

Кровопрлитие в поселке Вундед-Ни, находящемся на территории резервации Пайн-Ридж, началось в первых числах марта. Доведенные до последней черты вопиющей социальной несправедливостью индейцы из племени сиу захватили силой помещение местного филиала Бюро по делам индейцев (БДИ), закрыли вход на территорию поселка правительственным и иным чиновникам и заявили, что не покинут его, пока власти не удовлетворят их справедливые требования. А они заключались вот в чем.

Участники движения потребовали немедленного расследования сенатом всех случаев нарушения правительством США «священных договоров», заключенных им с вождями индейских племен, назначения представителей индейского населения на ряд административных должностей в самой резервации, а также в федеральное бюро и бюро штата Южная Дакота по делам индейцев. Восставшие считали необходимым покончить с откровенно дискриминационной политикой, проводимой федеральным БДИ⁴, добиться освобождения группы арестованных активистов движения в защиту прав индейцев. Список требований выглядел как главный обвинительный акт, обличающий преступную политику федеральных и местных властей в отношении населения американских индейцев, и состоял из 20 пунктов, выполнение которых улучшило бы невыносимые условия жизни многих племен.

Выдвинув эти, очевидно, минимальные требования и решившись на захват правительственного здания, индейцы сиу хотели привлечь внимание всей американской общественности к беззастенчивому положению, нищенскому существованию всего индейского населения США.

По официальным отчетам федерального БДИ, по американской статистике, по ряду документов нетрудно составить представление об этом.

«Политика американских властей направлена на то, чтобы лишить индейцев культурных, религиозных и политических свобод, фактически ее цель, как и триста лет назад, — искоренение индейского населения», — говорил в дни событий в Вундед-Ни национальный директор «Движения американских индейцев» Вернон Белликурт. И это,

⁴ Организованное впервые в 1824 году Бюро по делам индейцев подвергается ныне особо резкой критике со стороны высших руководителей американских индейцев, в частности Денниса Бэнкса, Вернона Белликурта и Хэнка Армстронга, возглавляющих организацию «Движение американских индейцев». По их мнению, БДИ, которым сейчас ведает министерство внутренних дел США, насквозь прогнило, не подчиняется контролю индейцев, увязло в противоречиях и фактически занимается лишь тем, что способствует урезанию индейских территорий, помогает крупным корпорациям эксплуатировать их природные ресурсы. В БДИ ныне работает более 15 тысяч белых чиновников, а индейцы составляют ничтожный процент служащих. При этом они занимают в Бюро самые низкооплачиваемые и незначительные посты — дворников, швейцаров, сторожей, секретарей.

в общем, не голые слова. По всей территории страны, кроме ее восточных районов, разбросано более 100 основных индейских резерваций, где живут сейчас около 500 тысяч индейцев. Уровень безработицы в них превышает общенациональный во много раз и составляет среди трудоспособного населения от 35 до 75 процентов. Пособия по безработице чрезвычайно малы. Подачек БДИ совершенно недостаточно для того, чтобы прокормить семью из четырех человек. Три четверти аборигенов Америки страдают от постоянного недоедания и связанных с ним болезней. Это приводит к физическому истощению людей, особенно детей и подростков. У жителей резервации средний доход семьи в 4 раза меньше общенационального, а у 40 процентов индейцев он значительно ниже официально установленного минимального прожиточного уровня в США.

подавляющее большинство, а точнее 90 процентов, всех домов в резервациях не отвечает стандартам нормального жилья. В большей части их отсутствуют элементарные санитарные устройства. Около 100 тысяч семей обитают в полуразрушенных зданиях, многие живут в бараках, лачугах и даже в брошенных старых автомобилях. Есть немало резерваций, целых поселений, лишенных электричества, водопровода, отопления и системы канализации. В обследованных 22 резервациях питьевая колодезная вода содержит бактерии, вызывающие опасные заболевания. Почти все резервации превратились в сплошные трущобы.

Лидеры «Движения американских индейцев» неоднократно обращались к правительству с просьбой снизить пенсионный возраст для индейцев хотя бы до пятидесяти пяти лет, но неизменно получали отказ. И обращались они не ради того, чтобы получить какие-то привилегии для индейцев, совсем нет. Для них гораздо острее, чем для любой другой этнической группы Соединенных Штатов, стоит проблема социального обеспечения, в том числе по старости. Известно, что пенсионный возраст в США составляет шестьдесят пять лет для мужчин и шестьдесят два года для женщин. А для индейцев вопрос о пенсионном обеспечении вообще не стоит. И не потому, что он как-то решен правительством. Коренные жители США просто не доживают до пенсионного возраста — средняя продолжительность их жизни всего сорок шесть лет. Десять лет назад этот показатель равнялся сорока четырем годам. Если темпы роста средней продолжительности жизни среди коренного населения сохранятся, то первые пенсионеры в США среди индейцев появятся лет через шестьдесят — восемьдесят.

Вот что, собственно, заставило сиу пойти на крайние меры — захват государственного учреждения. Но это далеко не все. Если коснуться, к примеру, здравоохранения или образования, то и тут на самой поверхности видны вопиющие образцы беззакония и ущемления человеческих прав. По данным комитета по проверке больниц, действующего в рамках министерства здравоохранения, образования и социального обеспечения, только 24 из 51 индейской больницы (далеко не каждая резервация имеет, кстати, лечебницу или хотя бы медпункт) отвечают принятым стандартам. Во всех больницах работает малоквалифицированный или совсем неквалифицированный персонал, оборудование давно устарело, его устанавливали лет тридцать — сорок назад. Две трети больниц почти разваливаются от старости и нуждаются в полной перестройке. 40 лечебных заведений не соответствуют нормам противопожарной безопасности и в случае пожара могут стать подлинными ловушками для пациентов. Чтобы улучшить положение дел, нужны деньги. Но на протяжении десятков лет конгресс США не только отказывает в новых субсидиях, но и урезает программу на медицинское обслуживание и образование.

Постоянный характер приняла нехватка в индейских больницах врачей и медсестер. По данным «Движения американских индейцев», в 50 больницах не хватает 4200 человек медицинского персонала. В родильных отделениях очень плохо с местами для рожениц, в результате 43 процента из них рожают дома, в своих лачугах, без всякой врачебной помощи, в антисанитарных условиях. Слишком высока и детская смертность у индейцев — она в 3 раза выше, чем в целом по стране: каждый третий младенец умирает вскоре после рождения.

— Кишечные инфекционные заболевания, — говорил доктор Рабу, бывший глава службы здравоохранения коренного населения, — встречаются в резервациях в восемь раз чаще, чем в целом по стране, в пять раз чаще индейцы болеют туберкулезом, в

три раза — воспалением легких. Здоровье сегодняшнего индейца в десятки раз хуже здоровья белого американца.

Да, люди сравнивают. И почему бы этого не делать? Ведь живут они в одной, «единой» стране. Сравнивают, кто сколько получает, кто и как живет, чем питается, что надевает, кто и где учится. И ни одно из сравнений не было еще в пользу индейцев.

К примеру, образование. Для индейских детей в резервациях предусмотрено всего лишь пятиклассное образование, тогда как в целом по стране действует система двенадцатилетнего полного среднего образования. Где уж там до создания школ в резервациях с преподаванием на национальном языке. Правительство, конгресс и власти штатов, в которых живет индейское меньшинство, упорно отказываются даже рассмотреть возможность разработки соответствующих программ, а также предусмотреть изучение в школах истории индейского народа, его культурного наследия, религии, нравов и обычаев. Ничтожно и число коренных жителей, получающих дипломы об окончании университетов, колледжей, средних учебных заведений. По всей стране среди индейцев насчитывается всего лишь 50 врачей, 400 медсестер, 7 зубных техников, чуть побольше людей других специальностей.

Факты. Примеры. События. Их можно было бы продолжить. Но и названных, думается, достаточно, чтобы убедиться: самое бедное меньшинство США живет изолированно и в наиболее мрачном социальном уголке «американского образа жизни». Не приходится поэтому говорить о каких-либо гражданских правах индейцев. Они ущемлены до крайности.

«Господин Белл, представьте себе, что больше одного миллиона американцев находятся в тюрьмах. Именно это произошло бы, если бы белые осуждались так же часто, как индейцы...» — так начинается письмо министру юстиции США Т. Беллу. Его подписали президент организации «Объединенные коренные американцы» Л. Брайтмен и один из лидеров «Движения американских индейцев», Д. Бэнкс. В обоснование своего заявления в правительственное учреждение они привели любопытную статистику из нескольких штатов. В Монтане, например, численность коренных жителей составляет 3,7 процента от общего числа населения. Но в тюрьмах этого штата 34 процента всех заключенных — индейцы. В Миннесоте это соотношение составляет 0,4 процента и 13 процентов, в Южной Дакоте — 7 и 32, в Северной Дакоте — 0,05 и 18 процентов. Л. Брайтмен и Д. Бэнкс, исходя из этой красноречивой статистики, пришли к убедительному заключению, что власти фактически проводят в отношении индейцев политику массовых преследований и террора. Они потребовали от правительственного министра срочного учреждения специального юридического комитета по пересмотру дел большинства заключенных.

Многие крупные индейские организации, возглавившие движение протеста против преследований и угнетения, образовались около пятнадцати лет назад. Власти, почувствовавшие в них реальную угрозу своим планам и намерениям, начали предпринимать усилия для изоляции, дискредитации и физической расправы над их руководителями. ЦРУ, в частности, осуществляло программу под кодовым названием «Хаос», направленную на то, чтобы сорвать борьбу индейцев за свои права путем ликвидации лидеров движения. Так называемая программа «Коннтелпро» (контрразведовательная программа) служила тем же целям и задачам, но уже по линии ФБР. За пятнадцать лет Федеральное бюро расследований предприняло 2370 отдельных операций, направленных против демократических сил в стране. «Единственный способ иметь дело с движением индейцев — это перестрелять их лидеров» — таковы доподлинные слова прокурора штата Южная Дакота, самого тревожного штата в смысле индейского вопроса.

Объединившись в травле борцов за права коренных жителей с ультраправыми организациями страны, карательные органы Соединенных Штатов не брезгают никакими средствами для того, чтобы запугать и дискредитировать лидеров движения. Их арестовывают без всякого повода, отпускают, а через несколько дней бросают за решетку по сфабрикованному обвинению или, например, за мелкое нарушение правил уличного движения. В них стреляют снайперы. Упомянутый Педро Биссонет был одним из инициаторов и руководителей выступления индейцев племени сиу в Вундед-Ни.

Что же делали индейцы из племени сиу, запретившие вход на территорию посел-

ка белым чиновникам из администрации? Грабили, убивали, издевались над белыми? Нет. Они ждали решения от правительства тех немногих вопросов, которые были направлены в Белый дом. И ждали, видно, напрасно.

На третий день поселок окружили полицейские части, отряды национальной гвардии. Они пытались силой подавить выступление. Во вспыхнувшей перестрелке несколько индейцев были ранены, вблизи поселка полиция арестовала 50 человек.

Спустя неделю под давлением общественности правительство вынуждено было снять блокаду, отвести на несколько миль в сторону вооруженных полицейских, национальных гвардейцев и агентов Федерального бюро расследования, которые устроили заставы вдали от поселка на всех прилегающих к нему дорогах. Начались переговоры. Но вскоре они зашли в тупик. Адвокат, представлявший на переговорах интересы индейцев, сообщил журналистам, что «правительство не хочет прислушаться к требованиям коренных жителей». Конфликт обострился снова.

К поселку начали прибывать новые вооруженные силы. На холмах, окружающих его, снова появились бронетранспортеры. Правительство все туже стягивало кольцо вокруг 250 индейцев, удерживавших поселок. Изолировав его от внешнего мира с помощью бронетранспортеров и 300 полицейских, лишив жителей продуктов питания, воды, электроэнергии, власти рассчитывали, что индейцы, не выдержав осады, сложат оружие. Но, несмотря на все угрозы, на новые аресты, сиу еще раз заявили, что не покинут поселок до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Педро Биссонет сказал тогда: «Мы скорее умрем, чем согласимся жить в рабстве».

Положение оказалось сложным. В спешном порядке, чтобы придать делу видимость законности, созывалось в расположенном недалеко городке Сиу-Фолс жюри присяжных. Рассматривая вопрос об ответственности индейцев племени сиу за «незаконную» оккупацию Вундед-Ни, жюри выдвинуло обвинения против 31 индейского активиста. Им приписали «заговор», «гражданские беспорядки», «грабеж».

Одновременно с концентрацией полицейских вокруг Вундед-Ни до поселка и его жителей донесли и голоса вашингтонских ястребов. Один из них, член палаты представителей из штата Южная Дакота Дж. Абурезк, призвал федеральные власти предпринять любые шаги и «применить любую технику», чтобы изгнать «захватчиков».

По-иному к этим событиям отнеслась прогрессивная американская общественность. Из города Биллингса, штат Монтана, к поселку двигался караван с продовольствием и медикаментами для осажденных. Это был «караван солидарности» и состоял он из белых, негров, американцев мексиканского происхождения — чиканос.

— Пусть индейцы знают, что люди всех рас поддерживают их борьбу, — говорил представитель «каравана солидарности».

В защиту индейцев сну выступила с заявлением Коммунистическая партия США. В те же дни федеральный судья Лас-Вегаса распорядился провести расследование по так называемому делу 16 жителей Калифорнии, арестованных агентами Федерального бюро расследования при въезде в штат Невада. Они направлялись на трех машинах в Вундед-Ни, везя осажденным индейцам одежду, продовольствие, медикаменты, собранные общественными организациями Калифорнии.

Выступление индейцев сну всколыхнуло души многих обездоленных. Сотни индейцев, негров, пуэрториканцев потянулись колоннами к правительственным зданиям в Вашингтоне, Нью-Йорке, к федеральным учреждениям в ряде штатов, устраивая митинги, демонстрации, требуя улучшения жизненных условий.

Именно тогда вновь стала популярной песня о гордом племени чироки:

Люди чироки, племя чироки!
Как гордо жили, так гордо вы и умирали...

Ее распевали на Западе и Востоке. И подразумевались в ней не только чироки, безжалостно уничтоженные в прошлом веке...

Лидер племени сиу Р. Барнетт выступил с заявлением на пресс-конференции в Вашингтоне. Он сказал:

— Если правительство отдаст приказ силой оружия уничтожить участников этого выступления, американские индейцы по всей стране поведут настоящую войну с федеральными властями.

Барнетт призывал руководителей официального Вашингтона удовлетворить требования индейцев, которые добиваются расследования конгрессом случаев нарушения договоров, заключенных в свое время правительством с индейскими вождями, признания их прав на самоуправление и человеческое достоинство.

— Обязанность правительства, — говорил он, — решить эту проблему, что спасет многие человеческие жизни.

На пресс-конференции в Нью-Йорке Р. Минс, возглавляющий «Движение американских индейцев», заявил американским и иностранным журналистам, что на днях к восставшим присоединятся еще около 500 индейцев из близлежащих районов. Они доставят продовольствие и медикаменты. Он предупредил, что индейцы полны решимости прорвать полицейские кордоны, окружающие поселок.

— Это наша земля, и федеральные власти не имеют на нее никаких прав, — заключил лидер индейцев. — Мы не сдадимся.

Волна протеста набирала силу, а правительство подбрасывало к Вундед-Ни новые бронетранспортеры, надеясь силой завладеть поселком. В очередном ультиматуме правительство предложило индейцам сложить оружие и не препятствовать аресту своих руководителей. Восставшие отвергли ультиматум и заявили, что они ждут решения основного вопроса, связанного с договором 1868 года, который был заключен властями США с вождями племени сиу. По этому договору индейцам сну отходили все земли штата Южная Дакота к западу от Миссури, а ныне большая часть этой территории занята монополиями. К тому же ни одно из условий договора, по которому индейцы должны получать от правительства материальную помощь, не выполняется.

Семьдесят один день 250 индейцев сну, окруженных вдвое большими полицейскими силами, удерживали Вундед-Ни. Почти все это время шли переговоры между властями США и вождями индейских племен, руководителями ряда индейских организаций. Переговоры каждый раз заходили в тупик и, по существу, ни к чему не привели. Официальные власти не стремились удовлетворить законные требования сиу, потому что прецедент мог вызвать нежелательные явления среди всего многочисленного коренного населения, находящегося на самой низшей ступеньке «общества равных возможностей». В свое время американские официальные власти заключили 371 договор с различными индейскими племенами. А это в создавшейся ситуации очень многое значило для правящей верхушки.

В пору самых острых конфликтов, когда в ход пускалось огнестрельное оружие и среди индейцев Вундед-Ни появились раненые и убитые, свой голос в защиту обездоленного народа подал популярный американский актер Марлон Брандо. Он прежде всего отказался в знак протеста против дискриминации американских индейцев получать премию «Оскар», присужденную ему американской Академией киноискусства и наук. В своем выступлении в газете «Нью-Йорк таймс» М. Брандо заявил: «Мы убивали индейцев. Мы лгали им. Обманом мы лишили их земли. Мы обрекли их на голод и заставили подписать мошеннические соглашения, которые назвали договорами и которые мы никогда не выполняли. Мы превратили индейцев в нищих». Он осудил официальную Америку за использование силы «для ущемления прав других, лишения их имущества и жизни». Определенную долю вины за отчаянное положение индейцев М. Брандо возложил и на деятелей киноискусства. «Как и все американцы, — сказал он, — киноартисты несут ответственность за унижение индейцев, за высмеивание их, за изображение их враждебными и злобными дикарями».

В самые напряженные апрельские дни, когда в поселке кончилось продовольствие, медикаменты, когда люди были лишены электроэнергии и водоснабжения, М. Брандо посетил Вундед-Ни, пытаясь привлечь этим нагом внимание американской общественности.

Успех был. Но небольшой. В те дни федеральный суд в Рапид-Сити разрешил пропустить в поселок «караван солидарности», доставивший осажденным на шести грузовиках продукты и медикаменты, на некоторое время были включены линии электричества и водообеспечения. Как потом оказалось, это был маневр тех, кто добивался силой подавить восстание. И его подавили. На семьдесят первый день осады в Вундед-Ни удалось прорваться сотням полицейских и агентов ФБР.

Рассказ о тревожных событиях в Вундед-Ни будет неполным, если не проследить за развитием событий в Южной Дакоте после весеннего выступления индейцев сиу. А хроника такова.

18 октября 1973 года в Пайн-Ридже, как упоминалось, выстрелом в завылок был убит Педро Биссонет. В то же время началась судебная расправа над «зачинщиками». Обвинения в «нарушении порядка» были предъявлены 117 индейцам, и в первую очередь руководителям — Расселу Минсу, Вернону Белликурту и Деннису Бэнксу.

Июнь 1974 года: провал процесса против Р. Минса и Д. Бэнкса на суде в Сент-Поле, где вскрылись факты противозаконных махинаций ФБР в Вундед-Ни. Лидеры индейцев оправданы.

Июнь 1975 года: в городе Бисмарке, штат Северная Дакота, тяжело ранен полицейскими Рассел Минс. Через три недели после этого нападения 250 полицейских и агентов ФБР при поддержке вертолетов и бронетранспортеров ворвались в Пайн-Ридж, где жестоко разогнали совещание 30 активистов «Движения американских индейцев».

Май 1976 года: новое покушение на жизнь Рассела Минса в городе Уагнер. Р. Минс ранен.

1 января 1977 года: агенты Федерального бюро расследования открыли огонь по группе индейцев в резервации Пайн-Ридж, двое индейцев ранены. В ответ на протест жителей резервации полиция произвела аресты.

Март 1977 года: арестован один из видных деятелей «Движения американских индейцев» — Леонард Пелтиер, участвовавший в событиях в Вундед-Ни в 1973 году. Ему предъявлено обвинение в «убийстве» двух агентов ФБР летом 1975 года.

Значительная часть индейцев, находящихся сейчас в американских тюрьмах, является, по существу, политическими заключенными, хотя подобное и отрицается официальными властями. К такому выводу приходишь невольно. Это подтверждается и фактами. События в Вундед-Ни — типичная расправа над политическими деятелями, которые не видят иного выхода из создавшегося положения для своего народа и призывают его к открытой борьбе. Индейская война не затихает ни на минуту.

По данным переписи 1976 года, в настоящее время в США проживает около 800 тысяч индейцев. В резервациях северного и южного Запада насчитывается 300 различных племен или остатков некогда больших племен и 100 живых языков. Подавляющее большинство из них занимают засушливые и полупустынные земли юго-запада. Всего в США 268 резерваций, из них 115 основных. Почти 300 тысяч краснокожих американцев в последние десятилетия оказались в гетто крупнейших городов страны.

Переселение индейцев в города из резерваций началось главным образом после второй мировой войны. Тогда все большее и большее число индейцев начали открывать для себя впервые внешний мир, находящийся за пределами их поселений. Уход из резервации теперь широко поощряется властями. Покидающему обитель индейцу выдается денежное пособие в размере шестисот долларов и проездной билет в один конец. После чего Бюро по делам индейцев абсолютно забывает о человеке, списав его в расход. Индеец без образования, без профессии и практически без средств к существованию попадает в армию либо безработных, либо попрошаек, алкоголиков, наркоманов. Миграция индейского населения, получившая название «перемещение», в течение 50-х годов стимулировалась вновь созданным, а точнее, обновленным Бюро по делам индейцев. Оно поставило перед собой цель — предоставить работу для индейцев вне резерваций и таким образом приблизить решение так называемой индейской проблемы, стимулируя ассимиляцию индейцев среди американцев, приучая их к «американскому образу жизни». Миннеаполис, Чикаго, Кливленд, Лос-Анджелес и другие большие города стали опорными пунктами этого «перемещения».

За малым исключением движение это закончилось провалом. Условия жизни переселенцев на примере многих городов согласно недавним исследованиям напоминают лабиринты, в которых индейцы себя почти не находят. В резервации индеец привык, он знает, что над ним одна власть — управление племени, что у него единственный работодатель — федеральное правительство. В городе же краснокожие, ничему не обученные, теряются среди мириад правительственных, местных и частных

агентств, бюро и компаний. По словам одного индейского вождя, встреча с которым произошла в Оклахоме, основной результат переселений в города — создание тысяч постоянно кочующих индейцев, которые путешествуют взад-вперед между резервацией и городом. Его слова подтверждает американская статистика. По последним данным, 30 процентов людей, живущих в резервациях в Миннесоте, например, имеют слабый опыт жизни в городе, а 20 процентов всех индейцев, проживающих в этом штате, кочуют.

Данные прошлого года показывают, что жизнь индейцев в Миннеаполисе, городе, хвастающем своим процветанием, несколько не лучше, чем до этого была в резервации. Треть всех городских краснокожих живет ниже уровня бедности, безработица среди них в 5 раз выше, чем среди другого населения города, а болезням подвержен почти каждый третий. В городе невозможно найти ни одной национальной школы. Поэтому нередки случаи, подобные тому, о котором рассказывал один из предводителей племени дакота в Оклахоме, Блэк Кагагн (Черный Ворон), испытавший на себе условия трущобной жизни в городе.

— Одна индейская семья в Миннеаполисе, — вспоминал он, — взяла своего сына из местной школы из-за того, что он подвергался дискриминации со стороны руководства школы и учителей. Ее примеру последовали еще три семьи. Через неделю таких семей, вынужденных прекратить посылать своих детей в американскую школу из-за унижений и издевательств, которым они там подвергались, стало тридцать. «Движение американских индейцев» изыскало возможности и создало для них свою школу. Через два года в ней обучалось сто сорок шесть человек. Этим самым мы стремимся создать альтернативную форму обучения для своих детей, которые не могут приспособиться к американским публичным школам, не по своей вине, а из-за отношения к нам и к нашим детям белого большинства. Созданная школа делает упор на развитие навыков и приучает к ремеслам, свойственным индейцам. Она также уделяет большое внимание индейской культуре и истории, обучение в ней ведется на родном языке дакота. Создание подобных школ является одной из форм борьбы индейцев против ассимиляции, которая постоянно навязывается нам властями.

Проезжая штат Юта, пришлось задержаться в городе Сидар-Сити. Времени оказалось достаточно, чтобы увидеть жизнь пайютов, узнать об их судьбе. Когда-то это была многочисленная народность. А теперь их осталось всего 1200 человек. По словам местной газеты, пайюты — «самые угнетенные и обездоленные индейцы Америки». В Сидар-Сити есть район, заселенный исключительно индейцами пайюта. Более 100 из них разместились в 17—20 лачугах. Поселок не освещается, дома не отапливаются, вода не подведена. Совершенно отсутствуют элементарные бытовые удобства. Этот трущобный район настолько беден и непригляден, что белые жители прилегающих кварталов называют его собачьим поселком. И хотя он расположен в черте города, поблизости от современных жилых домов, недалеко от парка с зеленой площадкой для игры в гольф, весь его облик, улицы, ветхие строения кажутся принадлежностью какого-то другого мира. Нынешний век в своем бурном развитии обошел стороной эту своеобразную городскую резервацию краснокожих. Городские резервации индейцев, по утверждениям многих социологов, — острова крайней нищеты в США, места, где жизнь не продолжается, а заканчивается.

«„Приобщение“ индейцев к „современной американской жизни“, — писал прогрессивный американский журналист Уильям Мейер, — выгодно прежде всего тем, кто заинтересован в экономическом использовании индейских земель. Разговоры о благах промышленной цивилизации, посулы „счастливой доли“ для индейцев в будущем — это всего лишь мыльные пузыри рекламы...»

Все, что капитально создали белые американцы для краснокожих, так это огромный свод законов и норм, регламентирующих и до того убогую жизнь индейцев. Этот свод включает 33 тома положений, разработанных Бюро по делам индейцев, 5 тысяч федеральных статусов, две тысячи решений федерального суда и 500 решений министра юстиции. Нелегко бедному и малограмотному индейцу разобраться в этой толще юридических хитросплетений, создающих внушительный водораздел между Америкой индейцев и Америкой белых.

12 октября 1492 года, в день открытия Нового Света, Христофор Колумб в сво-

ем дневнике сделал такую запись об индейцах: «Мне сдается, что местные жители обладают изобретательным умом и могли бы стать хорошими слугами». Почти пять веков прошло с тех пор. Но отношение к коренным американцам никак не изменилось. В этой стране как нигде, пожалуй, все делается для того, чтобы разобщить индейцев, изолировать людей друг от друга, влить их в общую массу, ассимилировать и забыть об их существовании. Вот закон конгресса 1887 года, о котором уже упоминалось. По нему индеец, который отказывался от принадлежности к племени, мог получить приличный кусок земли и стать при таком условии гражданином США. Закон и по сей день не отменен.

В штате Юта мы слышали песню бедного пайюта: «Горы — мой дом. Когда я был маленьким, я играл в горах. Индейцы ловили там рыбу и охотились на оленя. Но пришел чужеземец и отнял у меня мой дом. Теперь я не могу охотиться, не могу ловить рыбу. Я смотрю на горы и вижу чужеземца, и мне становится больно. Мой родной дом и родные горы — не мои. И я закрываю глаза, чтобы ничего не видеть».

Эта песня до сих пор звенит в ушах, а перед глазами часто возникает человеческая фигурка в оборванной, грязной одежде, морщинистое лицо. Человек разложил на обочине широкой асфальтированной ленты, стремительно уходящей на запад, бесхитростные индейские поделки. Если кто-то что-то купит у него, он будет жить. А если нет? Его постигнет судьба тех сотен и сотен тысяч первых американцев, которые уже никогда не скажут ни единого слова в свою защиту...

«Первые американцы стали последними американцами», — писал в газете «Нью-Йорк таймс» ее обозреватель журналист Том Уикер. На основе многолетних исследований, поездок по десяткам индейских резерваций, по рассказам многих тысяч краснокожих он пришел к убедительному выводу: «Индейцы представляют собой беднейшее из всех американских национальных меньшинств».

В течение веков их оттесняли на задний план и унижали, били со всех сторон и изгоняли, обманывали и настраивали друг против друга, отделялись от них дешевыми подачками. История заселения и подъема Соединенных Штатов Америки одновременно история истребления, унижения и упадка их коренных жителей.

В недавнем интервью одному из западногерманских журналов Марлон Брандо сказал: «Мы, американцы, до сих пор просто не обращали внимания на часть нашей истории, мы не хотели признавать ее. А она свидетельствует о том, что наша страна, по существу, расистская...» И еще в заключение он говорил: «Президент Картер с его кампанией «в защиту прав человека» разъезжает по всему миру и выступает с речами, в которых «ратует за право народов на самоопределение, за достоинство и права людей». А когда индейцы борются за свои права, о правах человека уже не говорят. Тогда это называют волнениями, нарушением порядка и всем чем угодно. Но все попытки индейцев не что иное, как борьба против все еще не сломленного колониального господства белого большинства».



В МИРЕ ИСКУССТВА

Н. МИХАЙЛОВ



ПАВЕЛ КОРИН

В о время одной из встреч Павел Дмитриевич сказал:

— А ведь вы мою «Уходящую Русь» еще не видели. Жаль, хотелось, чтобы вы посмотрели эти полотна.

Поблагодарив художника за приглашение, я заметил, что об этой его работе слышал много хорошего.

— Разные были отзывы, — откликнулся с горечью Корин. — Одни до небес возносили, другие ругали, но и жалели — зря, мол, время убил, а третьи не жалели и не ругали — скажут так, словно хлыстом обожгут. А художнику слушать брань очень трудно. Художник — человек восприимчивый, его ранить легко.

— Спасибо, Павел Дмитриевич, за приглашение, — повторил я, — посмотрим ваши работы вместе.

— Буду ждать, — ответил Корин. — Только не забудьте предупредить о приходе. Одному расставлять картины стало тяжело: годы свое берут. Чтобы я зря не работал, вы уж приходите.

С того дня первой встречи прошло много лет. И мысль постоянно возвращается к этому человеку, для которого искусство было целью всей жизни.

Когда я бывал в мастерской Павла Дмитриевича, он очень кратко глуховатым голосом пояснял историю сюжета, или то, как искал натуру, или о том, что давалось ему особенно трудно; выходило так, что ни одна вещь не давалась ему легко.

— И «Александр Невский» тоже? — спросил я. — Ведь эта тема более близка вам.

— Исторические сюжеты я обычно не брал, — возразил Корин. — Да и без натуры никогда не работал. А здесь пригласили меня в Комитет по делам искусств в сорок втором году и предлагают писать Невского: тогда хотели напомнить про нашу историю и ее великих полководцев.

Надо отметить, что 29 июля 1942 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении военных орденов разных степеней: Суворова, Кутузова, Александра Невского.

— Я вышел на улицу в беспокойстве, — продолжал Павел Дмитриевич, — причины я вам уже пояснил. Но подумав, решил испробовать свои силы. Начал копаться в книгах по истории, пошел в музей, чтобы изучить военные доспехи русских воинов. Понемногу увлекся историческим материалом, а как быть с натурой — не знаю. И вот я вспомнил Федора Шалапина — я знал его много лет и в тридцатых годах в последний раз виделся с ним в Париже. Приду в мастерскую, пластинку Шалапина поставлю — и весь он передо мной: высокий, могучий, лицо открытое, взгляд смелый. Так я писал у себя на Пироговке портрет Александра Невского с помощью Федора Ивановича. — Лицо Корина озаряет улыбка.

Рассказ Павла Дмитриевича имел продолжение.

Наступление на Новгород против немецко-фашистских войск вели воины Волховского фронта. Им удалось 19 января 1944 года оседлать все дороги, идущие из города на запад. На следующий день, 20 января, 59-я армия освободила город. В ее войсках оказалось несколько художников. К тому времени «Александр Невский» Корина по-

явился в репродукциях. По такой репродукции художники исполнили копию. Когда наши передовые части, перейдя реку Волхов, ворвались на Софийскую сторону Новгорода, картину поставили при въезде в город. Рядом установили щит со словами, сказанными Невским более семисот лет назад: «Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет». Эти слова напутствовали теперь советских воинов.

Павел Дмитриевич узнал обо всем из фотографии, которую ему прислали фронтовики. Кто и как прислал фотографию, мне неизвестно. Знаю лишь, что художник гордился снимком, на котором рядом с портретом Александра Невского в латах, шлеме и опирающегося на меч стояли советские воины, одетые в шинели, шапки-ушанки.

Мы встречались с Павлом Дмитриевичем в его мастерской, бывали вместе на собраниях, художественных выставках, которые он посещал регулярно, но суждений почти не высказывал, оценки давал скупо. Корин с большой требовательностью относился к труду художника и не считал себя вправе торопиться с оценками. Это, конечно, не означает, что у него не было своих кумиров. Он восторгался мастерством русской художественной школы, лучшими образцами европейского искусства. С огромным уважением относился Корин к своему учителю Михаилу Васильевичу Нестерову. Когда в 1965 году в серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга профессора С. Н. Дурылина «Нестеров», Корин назвал ее превосходной. «Она дает нам, — писал Павел Дмитриевич в предисловии, — образ живого Нестерова с его глубокой, ищущей, всегда идущей вперед душой, с его великим искусством».

Творчество самого Корина начиналось в Палехе. Что он взял с собой в жизненную дорогу из этого села, на первый взгляд ничем особо не отличавшегося от других сел старой России?

В сентябре 1977 года я побывал в Палехе.

Широкая главная улица. Новое здание ресторана в русском стиле. Универмаг такой, как и все универмаги в небольших сельских центрах. Просторный книжный магазин. Обнаруживаю, к своему удовольствию, что сюда уже успел поступить только что вышедший очередной том Детской энциклопедии. Других примечательных изданий не нахожу.

— Да как вы их найдете, если новинка держится на полке каких-нибудь два-три часа? — объясняет продавец.

Выхожу на улицу. Внизу, под горой, бежит речка, женщины неворовливо идут по мосту через нее. Вдали видна опушка леса. Слева на пригорке знаменитый Крестовоздвиженский собор. Изящная трехъярусная колокольня устремлена в синее, безоблачное сегодня небо, а рядом как выточенные поднялись пять куполов собора.

Возраст собора более двухсот лет, его воздвигли в 1774 году. Надпись на западной наружной стене сообщает, что строил здание мастер Егор Дубов. Чудо внутри собора — пятиярусный резной иконостас. Его вырезали из липы самарские мастера. С большими предосторожностями, чтобы не повредить, иконостас привезли в Палех и уже здесь, на месте, собрали это чудо — необычайной красоты кружева из дерева, затейливые, радостные, словно обрызганные лучами солнца.

Над художественной росписью храма потрудились сами палешане. Роспись была выполнена темперой в начале XIX века. И свежесть красок сохраняется по сей день.

Почти напротив собора стоит дом Ивана Голикова. С Голиковым связано начало нового Палеха, имя мастера окружено и легендами и подлинными, без вымысла, рассказами — иногда даже трудно провести границу между действительностью и легендой.

В 1932 году в издательстве «Академия» решили выпустить «Слово о полку Игореве» с иллюстрациями палешан. А. М. Горький предложил поручить работу одному мастеру — Ивану Ивановичу Голикову.

— Правильно выбрал, — говорил мне Павел Дмитриевич, вспоминая об этом.

Все художники в Палехе считали Ивана Голикова самым тонким мастером. В Палехе рассказывали, что Голиков мог бросить всю работу и по два-три дня бродить по лесу, вдоль речки или в поле. Мог ранним утром по осеннему заморозку босиком выйти за дом и наблюдать и первый иней на деревьях, и первый хрупкий звонкий ледок, которым покрывались лужи. Голиков не теоретизирует о том, как наблюдение

жизни питают его творчество, как преломляются в его сознании картины живой природы.

Он приходит домой и как одержимый начинает расписывать пластинки — те самые, перед которыми потом будут стоять на выставке изумленные зрители, стараясь понять тайну художника — как он может вроде бы в условной форме выразить ваши чувства, ваше отношение к действительности, как он через все это может поднять вас над всей обыденностью, повседневной сутолокой и про себя сказать: да, жизнь удивительна, прекрасна и бесконечна.

Пылает золотом жар-птица. Неистово бьются всадники — кажется, что слышен звон клинков и ржанье коней. Идет с ведрами на коромысле красавица в розовом сарафане — такая стройная, благородная, приветливая. Ошеломляют сцены из «Бориса Годунова» — мы во власти гения Пушкина, соединенного с талантом палешан.

Крошечная пудреница — как же удалось художнику расписать эту плоскость размером в копеечную монету так ярко и затейливо? Как он сумел воспроизвести сотни деталей, размер которых с булавочную головку, а все ясно и необычайно художественно?

Рассказывают — незадолго до тяжелой болезни Голиков одну за другой писал на своих пластинах новые и новые тройки. Сказочные кони с круто выгнутыми шеями, с гордо запрокинутыми, словно точеными головами неслись и неслись вперед стремительные, неукротимые.

Так сложилось, что на кусочке палехской земли есть сокровища, которым завидуют Европа и Америка.

В такой атмосфере жил Павел Корин до своего отъезда в Москву.

Улица Демьяна Бедного, дом 19. На бревенчатой стене мемориальная доска — здесь жил П. Д. Корин. Улица застроена одноэтажными домами. Тишина, прохожих не видно. Немошеная дорога, даже в колеях заросла травой. Транспорт здесь, как видно, появляется редко. Отопление в домах старинное, печное. Заботливые хозяева заготовили к зиме топливо. Длинные поленицы колотых березовых дров аккуратно уложены около дома.

Дом Кориных срублен на славу. Стены стоят вторую сотню лет, бревна крепкие-крепкие. Направо просторная кухня. На лавках кринки, горшки. Около печи ухваты. Все осталось так, как было полвека назад. Кажется, вошел Павел Дмитриевич с тихой улицы, старательно вытер о половик ноги, улыбнулся. Взгляд у него и детский и какой-то остропристальный, словно запоминающий увиденное.

— Вот досада, — говорили мне палешане, — жаль, что вы не застали Прасковью Тихоновну. Она и после смерти мужа сюда часто навещается и только два дня назад участвовала здесь в Коринских чтениях.

На стенах дома история рода Кориных, рассказанная языком искусства. Предки были иконописцами. Рисунки прапрадеда художника, среди них «Спас нерукотворный». Копия с картины «Падение Адама», писанная более ста лет назад. Работы Александра, брата Павла Дмитриевича. Старинный резной книжный шкаф с множеством книг.

— Семья Кориных была самая образованная, — рассказывают земляки художника. — Они и газеты и журналы выписывали, и книги были только в их доме. А мать ихняя выучилась читать у сельского дьячка — и как выучилась, так постоянно по вечерам читала.

На одной из стен в раме под стеклом документ — свидетельство о том, что Павел Корин окончил курс обучения и признан достойным звания мастера-живописца. Документ датирован 3 июня 1907 года.

Не побывав в Палехе, трудно понять природу таланта Павла Корина.

— Я художник не только по призванию, но и по рождению, — любил говорить он.

Палех был для Корина землей прадедов, дедов, отцов, колыбелью, в которой он рос как художник, где он постигал великую тайну народного творчества. Уже будучи признанным мастером, академиком, Павел Дмитриевич обязательно приезжал в родное село на летнее время. Так продолжалось до последних лет жизни. По старой памяти в дни таких приездов к Корину заходили друзья. Забегал Иван Голиков, раскладывая свой, как он называл, «фанерки». Корин долго и внимательно их рассматривал. Как всегда скупой на слова, тем более на слова похвалы, он, бывало, предлагал:

— А не сходить ли нам, Иван Иванович, в храм, не посмотреть ли алтарь? Чем-нибудь ведь научимся.

Так было и в дни, когда Голиков работал над иллюстрациями к «Слову о полку Игореве». Прежде чем ехать в Москву к Алексею Максимовичу Горькому, он показывал свои «фанерки» Павлу Дмитриевичу. И потом у Горького Корину радостно было наблюдать победу Голикова. Оба палешанина не ошиблись в подходе к великому памятнику русской культуры, все получилось отлично — и слово, и рисунок, и виньетки, и буквицы, — все слилось воедино. Работу Голикова даже нельзя назвать иллюстрациями. Он создал памятник эпохи — могучий и легкий, отдаленный от нас столетиями и современный, до краев наполненный атмосферой своего времени, бессмертное творение народа.

Здесь вновь мы подходим к очень важному моменту в творчестве мастеров Палеха, наложившему свою печать на искания Павла Корина. Самых крупных художников Палеха издавна влекли литературные творения подлинно народные. По их стопам шли и другие мастера этого промысла. «Сказка о царе Салтане» и «Борис Годунов», «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Песнь о вещем Олеге» — множество произведений великого русского поэта нашли свое воплощение в искусстве палешан. У нас есть все основания утверждать, что искусство мастеров Палеха органически слилось с творчеством Пушкина.

Мы уже знаем, что Павел Корин из семьи потомственных иконописцев. Нельзя забывать о том, что детство, юность будущего великого художника протекали в исключительно благоприятной обстановке Палеха, где даже воздух напоен атмосферой искусства, творчества.

Однако ни природная одаренность, ни благоприятный художественный климат при всем несомненном их значении еще не являются гарантией плодотворного и успешного творчества. Есть выражение: гениальность — это труд. Жизненный путь Павла Дмитриевича Корина был полон труда, исканий, стремления увидеть мир по-своему — и так, чтобы это видение мира художником отвечало настроениям зрителя.

— Зритель все прекрасно понимает, — слышу я голос Корина. — Каждый знает, что есть полотна вечно молодые, не поддающиеся времени. Художник так умел проникнуть в человеческие чувства, так их передать, что его герой и сегодня созвучен современности. А есть и портреты современников, мимо которых посетитель выставки идет не оглядываясь. Потому что все в подобном портрете только поверхностное. Портрет есть, а человека и его чувств не видно. Михаил Васильевич Нестеров про такие портреты выразился очень метко: когда нечего сказать, начинается формотворчество.

О том, как Корин познакомился с Алексеем Максимовичем Горьким, рассказывала Надежда Алексеевна Пешкова, жена сына Горького Максима Алексеевича. Замечательные были эти встречи в доме у Никитских ворот, где жил писатель. Обычно собирались или в столовой за большим массивным столом, или, когда людей было немного, наверху, в комнате Надежды Алексеевны.

Встречались и в местечке Жуковка в тридцати километрах от Москвы, где Надежда Алексеевна жила в небольшой деревянной даче с крытой верандой. Комнаты в даче не имели никакой отделки. Чистые, бревенчатые, хорошо проконопаченные стены придавали жилью особый уют. В столовой на самом видном месте против окон висела большая картина художника Архипова. На ней была изображена деревенская женщина в ярко-красном сарафане, сильная, смеющаяся. Картина органически сливалась со всей обстановкой дома.

— Однажды, — вспоминала Надежда Алексеевна, — у Алексея Максимовича собрались друзья. Говорили про живопись, про старых мастеров. Кто-то сказал о мастерстве художника Корина родом из Палеха, задумавшего написать большое полотно, посвященное Руси. Горький издавна ценил искусство Палеха и даже коллекционировал работы палешан.

Решили пойти к художнику. Тогда мастерская Павла Дмитриевича размещалась на Арбате, близко от дома, где жил Горький. Попав в мастерскую Корина и увидев его работы, Алексей Максимович воскликнул:

— Здорово! Отлично! Вот это мастерство!.. Вы настоящий большой художник. У вас настоящее сильное искусство, — говорил он Корину и тут же предложил ему поехать в Италию поучиться у великих мастеров прошлого.

И в 1932 году Павел Дмитриевич отправился к Горькому в Сорренто. Позднее и новую мастерскую для Корина подыскали по настойчивой просьбе Горького. Сюда, в эту мастерскую, и пригласил меня однажды Корин.

— Входите, пожалуйста, — радушно приветствовал гостей Павел Дмитриевич, открывая дверь.

Белая рубашка, строгий галстук, темный костюм очень шли к нему, и весь он, стройный, аккуратный, с умным и острым взглядом из-под густых бровей, вызывал уважение и располагал к себе.

Почти вся мастерская, куда мы вошли, была занята стоящими на полу этюдами к картине «Уходящая Русь», работе над которыми Корин отдал почти девять лет невероятного по напряжению труда, не считая времени, потраченного ради будущей картины на учебу у великих мастеров прошлого, на чтение книг по истории, на бесконечные зарисовки.

Один из этюдов Корина — фигура нищего. Ноги нищего парализованы. Он сидит на земле. Ему приходится передвигаться с помощью рук, и кисти их от таких упреждений стали уродливыми. Художник передал ощущение силы в руках старика. Лицо его крупное, бугристое, нос мясистый. Седая борода всклокочена, космы волос на голове встрепаны. Поражают глаза — они устремлены в одну точку, выражение их озлобленно-безумное. Чем живет этот безногий старец? Что за его плечами? Что его ожидает?

— Нищего я подобрал около Дорогомиловского собора, — пояснял этюд Павел Дмитриевич. — Еле приволок его в мастерскую. Старик весь во вшах, на него было страшно смотреть. Когда кончил писать, жене пришлось все чистить, мыть.

В детские годы мне приходилось видеть нищих на старом Калитниковском кладбище на окраине Москвы, там, где теперь находится одна из достопримечательностей — Птичий рынок. Особенно в воскресные дни, не говоря уж о церковных праздниках, нищие располагались с раннего утра около ограды кладбища или у входа в церковь. Опирающиеся на костыли, одетые в невероятные лохмотья, нищие гнусавыми жалобными голосами выпрашивали подаяние. Другие сидели на земле. Перед каждым стояла жестяная банка из-под консервов или эмалевая старая мисочка, в которую прихожане бросали медяки. Среди выпрашивающих милостыню были и слепые. Им помогали мальчишки-поводыри, такие же нищие, с надетыми через плечо холщовыми сумами, в которые собирали милостыню — куски черного и очень редко белого хлеба, сухари.

В этюде «Трое» на переднем плане — старая, согнутая монахиня с клюкой. Время согнуло ее, сил не стало, надо опираться на клюку, но какое фанатическое упрямство в этой согнутой фигуре, как тяжел этот пристальный непокорный взгляд, какой властный характер выдают эти сжатые губы, этот крутой подбородок!

— Фанатичка, — слышу я голос Павла Дмитриевича. — Измучился я с этим портретом, семь потов с меня сошло. Такой характер особенно трудно писать, в чело- веке все клокочет, он готов идти на все.

Корин, как мы вновь и вновь будем убеждаться в этом, не искал в портрете лишь внешнего сходства. Ему надо вникнуть во внутренний мир своего героя. Когда это достигалось, портрет становился обобщением.

Монахиня — словно родня боярыне Морозовой, написанной великим Суриковым. Образы прошлого, дух истории...

Прошло немало лет, прежде чем жена художника Прасковья Тихоновна раскрыла мне некоторые из тайн выдающегося живописца, черпавшего свои образы из окружающей жизни.

— Вы помните этюд с молодым служителем? Тот, кто был его прообразом, во время войны добровольно отправился на фронт и отличился. А помните молодую монахиню с тонким интеллигентным лицом? Теперь мы этот этюд не показываем. Эта жен-

щина порвала с церковью, стала научным работником. Ей не хотелось, чтобы эту работу напоминал о том, что было когда-то.

Деталь, а говорит она об огромных переменах во взглядах людей на жизнь, о мучительной внутренней борьбе человека. Перед наступлением нового не устояла даже фанатическая слепая вера.

Наши художники многократно обращались к теме социалистической революции. Каждый мастер в отражении этого великого исторического события шел своим путем. Вспомним полотно «Большевик» Б. Кустодиева, написанное в 1920 году. Перед нами фигура рабочего, полная непреклонной решимости. В руках большевика развевающийся красный стяг. Композиционное решение картины таково, что фигура большевика господствует над зданиями, занимает все пространство переднего плана. Как продолжение марша победившего рабочего класса мы видим улицы города, заполненные демонстрантами.

Вспомним полотно замечательного художника Вл. Серова «Зимний взят». На переднем плане, как помнит читатель, две фигуры. Справа рабочий. На нем перехваченная ремнем кожаная куртка, на рукаве повязка красногвардейца, за плечами винтовка. Весь облик — собирательный обобщенный портрет питерского рабочего в дни Великого Октября. Рядом с этой фигурой солдат в истрепанной серой шинели, с вещевым мешком за плечами. Опираясь левой рукой на винтовку, он прикуривает у своего товарища самокрутку. Картина необычайно лаконична. Зимний взят, можно перекурить. Исторический момент передан через типических героев событий Великого Октября.

Б. Кустодиев, Вл. Серов показывают социалистическую революцию через победителей. П. Корин — через побежденных. Он прекрасно знал, какой силой обладала церковь, как глубоко были корни христианства в России. Надо было обладать большим мужеством, чтобы со всей прямотой показать уходящую Русь. Честность в творчестве не позволила ему ослабить трагический показ крушения вековых традиций. Стремление к совершенству, терпеливейшая учеба помогли ему избежать поверхностного отображения истории. Стоишь перед этюдами, смотришь на них — и перед тобой пронесется десятилетия и века и ты вновь и вновь ощущаешь, какой титанической силой обладал вихрь социалистической революции.

— Реалистическая форма, — вновь слышу я голос художника, — та, которая несет в себе и открывает объективную правду жизни, пусть и горькую. Так я понимаю суть реализма, так мне говорил об этом и Алексей Максимович.

Картину «Уходящая Русь» Корин не закончил. Но эскизы к ней разработаны даже в деталях: мы видим и нищего, и слепца, и протодьякона Холмогорова, про которого Наталья Михайловна Нестерова, дочь великого художника, сказала мне так:

— Пел он превосходно. Если бы ушел из церковной жизни, наверняка стал бы народным артистом.

Всю композицию картины Корин поместил в Успенском соборе Кремля.

...Время осеннее, сумерки наступают рано. В комнате полумрак. Такие минуты особенно располагают к беседе, к рассуждениям.

— Я часто задумывался о том, как изучать прошлое, — рассуждает Павел Дмитриевич. — Прошлое можно и нужно изучать не только по учебникам истории. Не меньше можно узнать о прошлом по романам, поэмам, народным сказаниям, памятникам искусства. Настоящий поэт отражает в своем творчестве чувства и мысли современников, историю своего времени. Алексей Максимович говорил мне, что у него в романе «Мать» нет ни одного выдуманного героя. Так же он пояснял мне и пьесе «На дне»... Конечно, художник не переносит образы механически, он их обобщает и углубляет, но первооснову-то составляют явления жизни, которые надо правильно, с позиций советского художника понять и осмыслить.

Павел Дмитриевич был человеком религиозных убеждений. Но прежде всего он был честным и великим художником. Чуткость мастера, его умение выкинуть в эпохальные поворотные события народной жизни, глубокое понимание им психологии людей, потерпевших крушение духа, испытавших глубочайший духовный надлом, — это привело его к идее «Уходящей Руси».

— Название «Уходящая Русь» предложил Алексей Максимович, — сказал Корин после долгого молчания. — Я думал дать название «Реквием», в том духе, как создана

музыка Моцарта, Верди. Произведения, написанные этими композиторами, исполнены глубокой человечности, скорбной лирики. Реквием — песнь об уходящем, о прожитом, вечная тема жизни и смерти. Когда я слушаю такую музыку, то забываю обо всем.

Истинное произведение искусства призвано будить мысль, не давать покоя. Кажется бы, какое нам дело сегодня до священнослужителей, нищих, монахов, изображенных на полотне, но сквозь призму этого произведения, как через мощное увеличительное стекло, мы с необычайной четкостью видим ушедший мир, ясно представляем себе, какая пропасть отделяет нас от дня вчерашнего, сколько величия и мудрости несет в себе сам феномен человеческой жизни и как по-разному может пройти жизнь.

...Прошло, пожалуй, не менее двух лет с тех времен, когда я говорил с Павлом Дмитриевичем об эскизах к «Уходящей Руси». И однажды прочел следующие его строки: «Правду можно понимать различно. Но нельзя смешивать большую правду искусства — правду эпохи или правду человека — с маленькой полуправдой случайных отдельных фактов или ничтожным правдоподобием... Задачи художника и трудность художника — показать не случайное и частное, а суть, смысл, ведущие тенденции жизни, времени».

В полотне «Уходящая Русь» нет ни полуправды, ни мелочного правдоподобия. Корин преодолел трудность — он показал главную тенденцию времени, главное направление развития эпохи. И показывая уходящую Русь, художник говорит: идет другая, иная Русь.

В жизни Павла Дмитриевича были победы и поражения, радости и печали. За годы общения с ним я ни разу не слышал от него ни жалобы, ни упрёка.

— Я художник, я пишу свои полотна, и я за все в ответе. Самое страшное — это если народ тебя не понимает, отворачивается от твоего творчества, — рассуждал Павел Дмитриевич. И, рассуждая так, относился к себе с необычайно суровой требовательностью.

Будучи однажды в Ереване, я посетил дом-музей великого армянского поэта Аветика Исаакяна. В его записках я прочел: «Чтобы быть художником, надо пить из всех родников культуры». Такому правилу следовал и Павел Дмитриевич.

С глубоким уважением относился он к книге. Его библиотека была не столь велика, но он знал ее прекрасно и по-своему любил каждую книгу. У него был хороший подбор трудов по истории: С. Соловьев, В. Ключевский, Т. Грановский, И. Забелин.

Легко объяснить, почему художника интересовали книги по истории Италии, в том числе «История Римской империи», работы Тацита, письма Плиния Младшего, Цицерона. Корин стремился понять мастерство великих живописцев и скульпторов древности и в книгах искал ответы на свои вопросы. Такие труды, как «Путешествие по Италии» Ипполита Тэна, «Образы Италии» Павла Муратова, он перечитывал неоднократно, так же как многократно изучал репродукции лучших мастеров западноевропейского искусства. Он был врагом верхоглядства. Любой предмет, за который он брался, он хотел усвоить обстоятельно. Он судил о проблемах без многословия, точно, умно. Если разговор шел на тему для Корина далекую, он говорил:

— Об этом я судить не могу: этого я не знаю.

Корин охотно говорил о художественной литературе и всегда в таких разговорах возвращался к своему кумиру Пушкину. Вспоминал строку поэта, восторженно и изумленно ее комментировал:

— «Я помню чудное мгновенье» — да ведь эти строки весь мир вот уже больше ста лет повторяет. Или другая строка: «Над вымыслом слезами обольюсь». Ведь как верно сказано — какой ты художник, если создаешь свое творение без трепета, без души.

Время от времени Павел Дмитриевич выезжал за город. Он бывал в Ильинском под Москвой, ездил в санаторий «Сосны». Но самую большую радость приносили ему поездки в родной Палех.

В дни поездок в подмосковные места мне не приходилось видеть его с этюдником. Он не любил работать на виду — слишком высоким представлялось ему искусство; необычно трепетным было для него рождение художественного образа. Он хранил от посторонних глаз то, что нежно любил, к чему прикасался как к святыне.

В годы, когда его творчество получило высокую оценку, он однажды сказал: — Сказать вам, чего мне хочется и чем бы я очень гордился? Если бы меня назвали мастером.

Мастером — только и всего. Для Корина это означало высшее признание.

— А вы знаете, что в молодости я работал в анатомическом театре? — спросил Павел Дмитриевич. — Хотелось в подробностях изучить строение тела. Ведь если пишешь фигуру, то зритель должен чувствовать живого человека. Нельзя, чтобы был бес-телесный чурбан, а некоторые таких бестелесных и пишут. Смотришь на картину, а что видишь? Костюм на человеке словно мешок висит — ни плеч, ни спины не чувствуешь. Руки словно муляж — кожи не видишь, суставов будто нет, не замечаешь, что кровь по жилам бежит. Разве это искусство? Без мастерства искусства быть не может.

Всегда сдержанный, Корин на этот раз закончил свои рассуждения сердитым тоном:

— Что такое мастерство? Что такое гениальность? На эти вопросы давно даны ответы и в теории и на практике. Без образования, без трудолюбия не может быть гения. Возьмем музыкальное искусство. Ведь никому не придет в голову мысль о том, что даже талантливый человек может обойтись без занятий в консерватории. А в нашем деле иной раз услышишь: можно учиться, но в меру. учеба, мол, засушит талант. А по-моему, без овладения мастерством рисунка нельзя стать настоящим художником.

На всю жизнь запомнил Корин годы учения в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.

— Константин Коровин, Сергей Малютин, Абрам Архипов были учителями от бога, — вспоминал Павел Дмитриевич. — Но все же никакой учитель не будет ни думать, ни работать за тебя.

Уже упоминавшаяся работа в анатомическом театре Московского университета: бесчисленное множество рисунков — руки в повороте, в сгибе, вытянутые, выпрямленные, с подчеркнутым изображением фаланг пальцев, — рисунки без конца.

В ту пору появился Музей изящных искусств, нынешний Музей имени А. С. Пушкина, созданный неимоверными усилиями Цветаева. «В музее я дневал и ночевал — копировал слепки, измерял их». Это слова из воспоминаний Павла Корина о молодости.

Когда Корин станет писать портрет Кукрыниксов, они с интересом будут наблюдать, как художник в буквальном смысле измеряет их; это от привычки, приобретенной во время работы в Музее изящных искусств.

Год 1923-й. Корин едет по старым северным городам России — Ростов Великий, Феропонтово, Новгород. Растут кипы зарисовок. Здесь же краткие записи.

В Феропонтове он смотрит фрески знаменитого Дионисия, вошедшие теперь в хрестоматии по изобразительному искусству. «Помни воинов на столбах — сильны и прекрасны. Великое светлое искусство, величавость Рафаэля», — записывает Павел Дмитриевич.

В Новгороде его также поражают фрески. «Фрески живут, — записывает Корин, — в них чудится торжественный блеск византийства. Церковь Спаса Преображенья. Феофан Грек. Царь царей русской живописи. Помни его могучую кисть, очень простую. По мощи он равен Микеланджело. От живописи Феофана Грека стены становятся крепче, монументальнее».

Корин сопоставлял свое искусство с самыми высокими образцами отечественной и мировой живописи. Каждое написанное им полотно было плодом мучительных поисков и многодневных трудов. Он трижды был в Европе, посещал Италию, Францию, Германию. Особенно Италия — она, как известно, внесла исключительный вклад в историю художественной культуры эпохи Возрождения — поразила воображение Корина. В его архивах сохранилось огромное множество зарисовок, записей. После осмотра фресок в Пизе в Кампо Санто «Триумф смерти» художник писал:

«Гениальная, великая картина, размеры ее огромны. Это одно из самых сильных и потрясающих впечатлений в Италии».

— Павел Дмитриевич, — спросил я однажды, — почему в ваших записках так часто встречается слово «помни»?

— Иначе нельзя, — сразу откликнулся Корин. — Надо помнить о величии искус-

ства, его недостижимых образцах. Помнить надо затем, чтобы не уронить славу отечественного искусства.

В многотомном издании «Мастера искусств об искусстве» опубликованы материалы художника А. Иванова. В одном из писем он писал: «Чего же должно ждать, если каждый из нас обоймет критическим образом лучшие произведения великих живописцев? Мне кажется, нам суждено ступить еще далее!».

Эта мысль созвучна Корину. Он очень высоко ценил творчество Александра Иванова. Чтобы постичь тайну мастерства великого художника, Корин с удивительной настойчивостью работает над копией с картины «Явление Христа народу». Когда Нестеров увидит эту работу, он скажет: совершеннейшая из всех копий, когда-либо сделанных с картины Иванова.

В 1911 году Нестеров пригласил девятнадцатилетнего Корина работать над росписью храма Марфо-Мариинской обители.

— Когда дома узнали об этом, — вспоминал Корин, — брат Александр сказал: ну, Павел, честь тебе выпала — с Михаилом Васильевичем работать... Ведь в Палехе, — продолжал Павел Дмитриевич, — Нестерова знали в каждой семье как прекрасного художника.

Павел Корин и другой юноша были направлены к Нестерову из Иконописной палаты. Им поручалось снятие копий с работ, намеченных к изданию.

Михаил Васильевич зорко разглядел в девятнадцатилетнем Корине будущего художника, чье «дарование, — писал позднее Нестеров в своих записках, — было очевидно. Но что особенно в нем было ценно — это его глубокая порядочность, какое-то врожденное благородство».

Мы видим, как ярко сложилась судьба Корина, какие прекрасные люди были его наставниками. Не каждому удастся сделать за свою жизнь столько, сколько успел учитель Корина Михаил Васильевич Нестеров.

Творческая жизнь Нестерова начиналась в очень далекие годы. Его учителями были Перов и Чистяков. Его лучшим советчиком стал Крамской. Его товарищем по школе и близким другом был Левитан. Его сотоварищами по передвижным выставкам были Суриков и В. Васнецов. Судьба распорядилась так, что Нестеров оказался сверстником Врубеля и Серова. Такое созвездие выдающихся имен являет собой изумительную картину творческих связей советского искусства с русским искусством предыдущих лет. К маститому художнику шли за советом Кукрыниксы, когда они начинали работу над полотном «Зоя». Нестерову принадлежат великолепные портреты представителей советской интеллигенции. Мы называем его имя, и в нашем воображении по ассоциации возникает портрет И. П. Павлова (1935 год); он изображен сидящим в кресле, его руки крепко сжаты в кулаки, и этим подчеркивается волевой, решительный характер ученого. Вспоминается портрет И. Д. Шадра с его острым профилем, сосредоточенным взглядом — этот портрет некоторые художники склонны считать даже самым лучшим; удивительно пластичный, полный обаяния портрет В. И. Мухиной; портрет знаменитой певицы Большого театра К. Держинской, глубоко передающий высокий интеллект актрисы. От Нестерова тянулись нити к П. Д. Корину. Старый мастер искренне полюбил молодого художника, передал ему многие секреты своего мастерства.

Портретная живопись насчитывает века. Выдающиеся художники мира оставили вам превосходные образцы этого искусства.

В великой галерее мастеров портретной живописи Корин по праву занял свое место. Даже человек, не являющийся знатоком живописи, но любящий изобразительное искусство и проявляющий к нему интерес, сумеет узнать портрет кисти Павла Корина. Острота характеристики, точность рисунка, глубина психологического раскрытия героя, сочный энергичный мазок, крепкая компоновка — вот, на мой взгляд, то, что дает самостоятельность Корину-портретисту. Он обобщил и критически переработал в своем творчестве лучшие образцы древнерусского искусства, достижения таких мастеров, как А. Иванов, В. Суриков, М. Нестеров. Он глубоко впитал и то лучшее, что увидел во время своих зарубежных поездок, особенно в Италии. Так родился коринский сплав, без которого нельзя теперь представить искусство XX века.

Корин работал медленно, и для создания портрета ему требовалось до сорока сеансов. Когда возникали разговоры на такие темы, Корин говорил:

— Все это правильно, но есть одна ошибка. Никто не считал — а это и подсчитать невозможно, — сколько десятков тысяч рисунков и зарисовок я исполнил за свою жизнь. А они-то и помогали вырабатывать мастерство. Вот и получается, что портрет пишешь сорок сеансов — и всю жизнь.

В дни, когда Корин гостил у Алексея Максимовича в Сорренто, тот предложил:

— Напишите-ка с меня портрет.

— Не справлюсь я, Алексей Максимович, — после мучительных раздумий ответил Корин.

— Будете работать — справитесь. Мне иногда тоже кажется — нет, не справлюсь, но начнешь работать и смотришь — что-то получается. Помните, у Ван Гога: что бы постичь тайны искусства, говорил он, надо спустить с себя кожу.

Корин приступил к работе.

Горького знал весь мир. У каждого, кто читал его произведения, сложилось свое представление о нем. Как написать портрет? Как донести до миллионов людей образ писателя?

Вглядитесь в написанный Коринным портрет Горького. Лицо мудреца, познавшего смысл жизни. Задумчивый, устремленный вдаль взгляд. Усталость на лице, усталость в позе, правая рука опирается на палку; левая рука свободно заложена в карман пальто. Портрет написан на фоне пейзажа Сорренто — уходит в бесконечность синева воды, нежная светлая голубизна неба, — и этот пейзаж придает картине монументальность, символизирует вечность жизни, вечность движения.

— Вещь музейная, — скажет Алексей Максимович, посмотрев на законченный портрет.

Осенью 1945 года Корин получил от Комитета по делам искусств заказ — написать портрет Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

В октябре художник вылетел в Берлин. Отсюда надо было ехать в Потсдам. Резиденция маршала была в пригороде Потсдама Бабельсберге. Местечко это мне запомнилось во время поездок в Германскую Демократическую Республику. До войны здесь жили видные фашистские деятели, правительственные чиновники, генералы. Бабельсберг почти не пострадал от бомбежек. Двухэтажные виллы с изящными металлическими оградами утопали в зелени, цветниках. После Берлина, представлявшего собой груды развалин, Бабельсберг казался раем, где господствовали уют и тишина. Кустарник, росший вдоль оград и около домов, был аккуратно подстрижен, узенькие, словно игрушечные улочки были подметены, и, казалось, на них невозможно найти даже пылинку.

Прошли годы. Георгий Константинович жил в Москве и заканчивал работу над книгой «Воспоминания и размышления». Подходила пора сдавать рукопись в производство, и вот однажды книга его и была темой нашего разговора. Жуков очень ответственно относился к будущему изданию. Он вновь и вновь обдумывал страницы написанного, давал читать рукопись многим товарищам, стремясь таким образом проверить самого себя. Вся работа над книгой заняла у него семь лет. В том разговоре затронули первые послевоенные месяцы, заговорили о Корине.

— Об этом художнике я слышал, но не знал его до приезда ко мне, — рассказывал Георгий Константинович. — Что мне понравилось в нем? Его самостоятельность, строгое отношение к работе, чувство собственного достоинства. Во время сеансов он не любил разговоров — работает с видом строгим, даже как бы насупленным, все у него устремлено на холст и краски. Думаю, что портрет у него получился.

Я видел по-разному написанные портреты Г. К. Жукова. Некоторые художники изображали его словно летящим на лихом коне в пылу битвы. Такое изображение очень напоминало старые портреты ложноклассической школы — герою не страшны ни грохот канонады, ни дым сражений.

Какую роль определяя для себя Жуков? Моя судьба, говорил он, лишь маленький пример в общей судьбе советского народа. Когда читаешь эти строки, вспоминаешь портрет маршала кисти Корина. Корин не наделяет Жукова чертами сверхгероя. Посмотрите на руки полководца — крупные, сильные, как у человека, знающего тяжелый физический труд. Руки труженика, которому пришлось взяться за оружие, чтобы защитить от врага родную землю. Вглядитесь в черты лица — крупные, они кажутся чуть грубоватыми и говорят о ~~муж~~ мужей воле, сильном характере этого человека...

Почему Корин решил писать портрет Кукрыниксов? Он ценил их как настоящих художников. Его не мог не увлечь пример их высокой морали, истинного товарищества, прочной многолетней дружбы.

На групповом портрете Корина перед нами три разных человека, незримо спаянных единством цели, воли, действий. Много лет знаю я этих прекрасных, подлинно народных художников — Михаила Васильевича Куприянова, Порфирия Никитича Крылова, Николая Александровича Соколова. Когда смотришь их самостоятельные, написанные ими порознь работы, то почти без труда определяешь, кто из них писал тот или другой пейзаж или портрет, — настолько каждый из трех художников неповторим и обладает своим почерком.

Кукрыниксы — непревзойденные художники сатирического жанра. Это одна из граней дарования. Корин всегда придавал в картине значение фону. На сей раз фоном послужили фрагменты лучших карикатур Кукрыниксов.

— Это их визитная карточка, — говорил Корин.

На переднем плане картины изображен стол, на нем бумаги, краски, кисти. Справа М. В. Куприянов. Он сидит в привычной для него свободной позе, крепкий, уверенный в себе. Слева П. Н. Крылов, как всегда сосредоточенный, углубленный, с острым, наблюдательным взглядом. В центре, скрестив руки, Н. А. Соколов с густой шевелюрой, добрым выражением лица.

— Достался мне Соколов — жутко, — вспоминал Павел Дмитриевич. — Я ему и место менял и просил его другие костюмы надевать — не дается никак. А без него вся композиция летит. Картину я начал писать в их мастерской, да застрял, не управился. Пришлось перевозить холст к себе на Пироговскую и здесь заканчивать работу.

Кисти П. Д. Корина принадлежат портреты артистов МХАТа В. Качалова, Л. Леонидова, артиста и многолетнего руководителя Театра имени Е. Вахтангова Р. Симонова. Будучи в Италии, Корин создал портрет известного итальянского художника Ренато Гуттузо. Портретные работы Корина вошли в фонд лучших образцов отечественной живописи и занимают достойное место в музеях и картинных галереях.

Корин мечтал попробовать свои силы в монументальном искусстве. Когда архитектор А. В. Щусев, ознакомившись с живописью Павла Дмитриевича, предложил ему работу по оформлению станции метро «Комсомольская-кольцевая», художник согласился.

Надо было оформить потолок, создать восемь мозаичных картин. После неоднократных обсуждений определились восемь композиций: «Александр Невский», «Дмитрий Донской», «Минин и Пожарский», «Александр Суворов», «Михаил Кутузов», «Вручение гвардейского знамени на Красной площади», «Взятие рейхстага советскими войсками», «Парад победы на Красной площади».

Корину предстоял огромный труд. Композиции были большого размера: 6 на 8 метров каждая. Работа состояла из таких этапов: создание эскизов, поиск композиции и цвета, перенесение эскизов на картон. По этим картонам те, кто работал вместе с художником, должны были заняться составлением мозаик.

— Вот когда понадобилось мне знание трудов Соловьева и Ключевского, — показывая эскизы, говорил Павел Дмитриевич. — А как художнику мне помогли великие мастера — всегда помнил о них.

Занимался Корин и художественным оформлением станции метро «Смоленская». Станцию «Новослободская» он украсил витражами. Ему хотелось, чтобы искусство радовало народ, вырывалось на улицы и площади. Он хотел приносить радость людям.

Долгие годы Корин работал в Третьяковской галерее, участвовал в консилиумах как специалист по реставрации. Под его опекой находились такие шедевры, как полотна В. Сурикова «Боярыня Морозова», А. Иванова «Явление Христа народу». Самая крошечная деформация, вздутие с булавочную головку, трещинка толщиной в волосок не ускользали от внимания Павла Дмитриевича.

— Корин, — рассказывал директор галереи П. И. Лебедев, — наш главный эксперт, во всех делах реставрации последнее слово оставалось за ним.

В литературе подробно описывалось спасение нашими войсками сокровищ Дрезденской галереи. Все они временно хранились в Москве. Павел Дмитриевич участвовал в реставрации многих шедевров мировой живописи. Среди них «Сикстинская мадонна»

Рафаэля, «Динарий кесаря» Тициана. Здесь сказались и благоговейное отношение Корина к великим творениям искусства, и дух подлинного интернационализма.

Не сказать о Корине как собирателе образцов древнерусского искусства значило бы обеднить его образ, оставить в тени одну из крупнейших сторон его деятельности. Собрав свою коллекцию, Павел Дмитриевич содействовал изучению художественного наследия нашего народа.

Искусство иконописи берет свое начало в X—XI веках и занимает большое и самостоятельное место в истории культуры.

Великие иконописцы создавали свои произведения вопреки установленным канонам. Они обладали творческой смелостью, дерзостью, подлинным талантом, который, словно весенние подземные воды, прорывался наружу и блистал всеми красотами жизни. Содержание икон оказывалось шире религиозных сюжетов.

Вот изображение святого. Почему он, однако, показан в форме воина? Что это означает? Таким было представление народа о доблести, о защитнике родной земли — и этому отвечало изображение Георгия Победоносца. Он на вздыбленном коне, его рука поражает копьём змея — олицетворение зла.

Изображение Сергия Радонежского, основателя Троице-Сергиевой лавры в нынешнем Загорске. Соблюдены требования иконописи — плоскостное изображение, коричневый лик, венчик над головой, ряса. Все остальное от себя, от живописца. Русский пейзаж. Стоящий на задних лапах медведь. Сергей кормит его хлебом. Так в представлении иконописца мистика соседствовала с реальностью.

Большое искусство живет по своему летосчислению.

Государственная Третьяковская галерея. В отделе древнерусского искусства экспонируется икона «Троица». Около нее постоянно можно видеть очарованных зрителей. За трапезой трое юношей. Они, словно погруженные в задумчивую беседу, склонились друг к другу. Их профили удивительно тонки, фигуры полны благородства, гармонии. Краски нежные и чистые; выделяется ярко-синий, васильковый цвет, напоминающий бесконечность неба и родное поле в летнюю пору.

Автор иконы — гениальный Андрей Рублев. Сколько лет отделяет его от наших дней? Ни много ни мало — почти пятьсот шестьдесят лет. Почему наш современник, далекий от религии, так переживает творение великого художника? В мечтах о будущем, в преклонении перед Человеком Андрей Рублев написал благородные образы, проникнутые духом совершенства, гуманизма, красоты.

Андрей Рублев был монахом Андроникова монастыря. Забыт этот монастырь, расположенный в Калининском районе Москвы, там, где проходит улица с названием, напоминающим годы гражданской войны, — Волочаевская, там, где стоит принадлежавший когда-то французскому капиталисту Гужону металлургический завод. В 1920 году предприятию по просьбе рабочих присвоили название «Серп и молот». Время делает свое дело, и в тысячах окружающих нас фактов мы ощущаем властную его поступь. А большое искусство живет по своему летосчислению.

По рассказам Корина, в начале 30-х годов у него была лишь одна икона начала XVII века, работы Истомы Савина. Икона как бы память о роде Коринных: в январе 1961 года на обороте ее Павел Дмитриевич записал «родословие Коринных», перечислив имена всего своего рода крестьян-иконописцев.

В собрание Корина входит, как выражаются работники музеев, 188 единиц хранения, не считая старинных рукописей с миниатюрами.

Но главное не в общем числе экспонатов. Главное в том, что каждый из них, отсканный и в необходимых случаях восстановленный кропотливым, настойчивым трудом Павла Дмитриевича и Прасковьи Тихоновны, уникален.

— Вот посмотрите, пожалуйста, — Корин привлекает внимание к двухрядной створке, на правой и левой сторонах которой изображены фигуры святых, написанные в конце XVI века знаменитым Емельяном Москвиным. — С этими створками, — смеется Корин, — была целая история, можно сказать, приключение.

Створки находились в собрании коллекционеров Рахмановых. Затем они попали в хранилище на Рогожском кладбище в Москве, за нынешней Абельмановской заставой. Отсюда створки похитили и разъяли на четыре самостоятельные композиции. Глаз Корина разгадал хитрость похитителей.

Створки нашлись. Восстановить их в первоначальном виде было делом техники.

Слушая рассказ Павла Дмитриевича про приключение со створками, я думал: не будь Корин энтузиастом и знатоком древнерусского искусства, его глубоким ценителем, скольких ценнейших произведений мы не увидели бы!

То, что собрал Корин, подлинно бесценно. Такие сокровища неповторимы, и утрата каждого из них безвозвратна.

Летом 1967 года мы жили вместе с Кориним в «Соснах», примерно в сорока километрах от Москвы. Корин к тому времени перенес четыре инфаркта, здоровье его сильно пошатнулось.

Погода стояла хорошая — августовские дни, солнечные, тихие, безветренные. На опушках леса изредка попадалась земляника — переспевшая, темно-красная, полная душистого сока. А если углубиться в лес, то оказывались густые заросли. Из-под ног вылетали куропатки, лягушки громко шлепались в старые бочажки — трудно было представить, что ты находишься вблизи от Москвы.

Павел Дмитриевич любил гулять, но ходил медленно, избегал длинных маршрутов. Каждый день общения с Кориним был словно духовный пир — Павел Дмитриевич много знал, был хорошим рассказчиком.

— Трудно мне даются пейзажи, — любясь на освещенный предзакатным желтым солнцем лес, говорил он. — В тридцать пятом году приехал я к Алексею Максимовичу в Крым, в Тессели. Столько часов я просидел за этюдами, а написал мало... Горький куда требовательный был к себе, утром из-за стола не вылезал, и тот жалел — вот, мол, Павел Дмитриевич пощады себе не дает, в каждом мазке хочет достичь совершенства.

Неподалеку от санатория «Сосны», на правом берегу реки Москвы стоит древнее село Уборы, в давние времена селом владели Шереметевы. Река здесь бежит быстро. В некоторых местах тянутся отмели — серый песок, мелкий, словно просеянный сквозь редкое сито. По левому берегу раскинулись луга, полные цветов. Идешь высоким правым берегом и не можешь налюбоваться зеленым, расцветенным цветами простором, синим небом, струящейся, играющей в солнечных лучах рекой. Тишина такая, что если движется лодка, то далеко-далеко слышно, как журчит под килем вода, как с поднимаемых гребцом весел со звоном падают в реку капли воды.

В Уборах церковь, построенная в конце XVII века талантливым крепостным архитектором Я. Г. Бухвостовым. Мы любили ходить в Уборы высоким берегом и всегда любовались церковью. Она господствует над местностью, ее хорошо видно и с противоположного берега от деревни Барки, стоящей на Успенском шоссе. Фасад церкви украшен наличниками, витыми колоннами из белого камня. Белокаменная церковь с ее маленьким куполом — изящная, легкая.

Житель Убор, старик с закрытым левым глазом, в старой фуражке артиллериста с черным околышем и выцветшим добела верхом, рассказывал нам историю.

— Подрядчик, — так называл старик строителя церкви, — был мастер очень сильный. ничего не скажешь, головастый. Только узнал хозяин, что мастер вроде бы в деньгах его обманул. Решил он упрятать подрядчика за решетку, а тот — в бега. Скрылся где-то в Рязани — и стройка встала. Все есть у хозяина — и люди крепостные, и белый камень, и лошади с подводами. А вот только главного, кто бы всему жизнь давал, и в помине нет. Ждал-ждал хозяин, а потом шлет гонца к подрядчику. Давай, мол, возвращайся на Москву-реку, в Уборы. Может, ты деньгами и не баловался. Тогда я виновен перед тобой. Приезжай, церковь надо достраивать.

Павел Дмитриевич слушал рассказ с восхищением.

— Главного, значит, не было? — переспрашивал он, явно желая еще раз услышать, чего стоит мастер и его мастерство, без которого в искусстве все становится безжизненным.

— Не было, нисколько не было, — подтверждал старик.

Мы распрощались со словоохотливым добрым собеседником и пошли обратно, снова с частыми остановками для отдыха. Солнце садилось, вода в реке розовела, по дорожке, в лугах, поднимая тучи золотистой пыли, катили грузовики со свежим сеном, запах которого доносился даже через реку.

— В России были и великие художники и великие архитекторы, жалко, что многие имена оказались в забвении. Теперь, когда культурные связи расширились, многие зарубежные гости, побывав у нас, ахнули. Какая, мол, дикость, что мы о таких творениях ничего не знали... Вы помните, в шестьдесят пятом году мою выставку показывали в Соединенных Штатах Америки. Народу было всегда полно. Там говорили — оказывается, у них и живопись есть.

Павел Дмитриевич присел в беседке, чтобы перевести дух.

Заканчивался еще один день. Из Перхушкова пришел вечерний автобус с московскими пассажирами. Нагруженные вещевыми сумками, портфелями, москвичи торопились к семьям.

Корин снова заговорил о своем собрании.

— Пашенька, — обратился он к жене, другу всей его жизни, — когда меня не будет, все отдай государству.

Он с удивительной теплотой посмотрел на Прасковью Тихоновну. Конечно, она была его верным другом. Она по-настоящему понимала его как художника и по-своему старалась помогать ему. И главное, Прасковья Тихоновна создавала обстановку покоя, необходимую для творчества.

Прошло немного дней. Однажды утром мы не увидели Павла Дмитриевича на короткой прогулке. Снова нагрянула болезнь, и пришлось ночью отправлять его в больницу.

Еду в дом на Пироговской. Глубокая осень. Деревья около памятника Н. И. Пирогову оголились, в сквере стало неуютно, сыро. Идет мелкий нудный дождь, все кругом становится мокрым — крыши зданий, тротуары, мостовые, тяжело разворачивающиеся в конце улицы троллейбусы.

Знакомый узкий проход: слева многоэтажный жилой дом недавней постройки, справа флигель, где находятся мастерская и квартира художника. Медная табличка извещает о том, что Дом-музей П. Д. Корина — филиал Государственной Третьяковской галереи.

В доме все как при Корине, только нет самого хозяина; уехав из «Сосен» в больницу, домой он не вернулся.

В зеленой комнате, где Павел Дмитриевич любил слушать музыку — здесь играли Святослав Рихтер, Мария Юдина, Виктор Мержанов, — на столе около портрета художника свежие алые гвоздики.

Листаю зарубежные записи Корина. Вот одна из них, относящаяся к 1935 году: «Итальянская выставка. Стою около Леонардо и Микеланджело. Боже мой! Боже мой! Великие, помогите!!!»

Как я остро ощущаю гений у других и преклоняюсь перед ним. Боже, неужели у меня нет этого пламени? Тогда не стоит жить».

Жить, конечно, стоило.

Переходим из комнаты в комнату, молча стоим в мастерской около этюдов.

Удивительно много вобрал в себя этот художник. Сюда, к флигелю на Малой Пироговской, протянулись духовные нити от искусства эпохи Возрождения, от великих мастеров нашего отечества, от древнерусского искусства. Отсюда, от коринского флигеля, — к современной изобразительной школе — к ее рисунку, к станковой живописи, к портрету, пейзажу и к монументальному искусству.

Замечательного художника П. Д. Корина воодушевляла одна могучая мысль — все, все до капельки отдать своему народу, ему и только ему служить до последнего дыхания своим искусством, своим талантом.

После смерти прекрасного поэта Самуила Яковлевича Маршака были опубликованы его строки:

Не надо мне ни слез, ни бледных роз,
Я и при жизни видел их немало,
И ничего я в землю не унес,
Что на земле живым принадлежало.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Е. ТАРАКАНОВА



«ЕСЛИ РАНИЛИ ДРУГА...»

В меня такое чувство, когда я вспоминаю годы войны, будто это был путь такой длинный и утомительный, что все слилось в одну бесконечную дорогу и только отдельные эпизоды, как кадры, незабываемые кадры огромного фильма, вспыхивают и встают в памяти.

В конце февраля 1943 года Черноморская группа войск перешла в наступление, и наш 32-й артполк, где я служила санинструктором, снялся с позиций и двинулся следом за пехотой. Наши войска с боями перешли на северные склоны Главного Кавказского хребта. После долгих месяцев обороны в горах наконец-то гоним фашистов. Мы ликовали. Оборона в горах — ох, как нам было трудно: патроны, снаряды, еду — все приходилось доставлять на себе. А много ли донесет человек в мешке за плечами, ведь руки нужны, чтобы цепляться за выступы скал, за кусты и деревья, — никаких троп на передовую не проложено. Приходилось быть альпинистами. Каждый, кто шел в горы, обязан был нести груз для передовой: боезапас, продукты или фураж для лошадей...

Люди наши были измучены и очень отощали. Еды было мало. Каждый день старшина нашей батареи выделял наряд в лес. Мы отыскивали каштаны, прошлогодние дички, шиповник, съедобные корни для людей и молодые побеги для лошадей. Наш кашевар — худой белобрый мужчина — постоянно шмыгал носом, вытирал слезы и ругал дым, который ест глаза. До войны он работал поваром в ленинградской «Астории». Он только изредка ронял: «Эх, вот у нас в «Астории»...» — и, безнадежно махнув рукой, умолкал. Дальше этих слов он никогда не заходил, как бы чувствуя всю неуместность сравнения. И я тогда еще подозревала, что плачет он не от дыма, а от того, что не может накормить нас ничем, кроме супа, основными компонентами которого неизменно были каштаны, дички, неизвестные нам травы, корни и неизменная селедка в качестве соли, приправы и всего того, что должно было составлять калорийность пищи.

Мы были близки к тому состоянию, о котором обычно говорят: кожа да кости. Но дух у нас был боевой и радостный. Ведь мы гнали фрицев. Пушки сами рвались вперед — с горы ведь, — и нам приходилось их удерживать.

И вот первый освобожденный нами населенный пункт — город Шаумян. То есть это был город. Не так давно. Даже когда здесь были враги. А когда мы пришли к тому месту, которое называется город Шаумян, это был просто большой костер. Горело все, что могло гореть — деревья на бывших улицах, деревянные части зданий, а все, что негоряемо, было разрушено и взорвано. Войдя в вечерних сумерках в горящий Шаумян, мы не нашли в нем ни одного жителя, ни глотка воды, ни крыши для наших раненых. Так я и укладывала их вокруг горящего дома как вокруг костра прямо на мокрый снег. От огня все же тепло.

А утром в путь. Мы вышли на равнину, а продвигаться стало труднее. Бушевала ранняя весна. Таял снег, ручьи разлились в бурные реки, каждая канава становилась водным рубежом, гучные кубанские черноземы превратились в грязевые пучины. Техника остававливалась. Мы впряглись вместе с лошадьми и тащили пушки, и снаряды, и патроны к нашему оружию. А повар нес на себе черный батарейный котел. Он умудрялся варить нам супы один бог знает из чего. Я видела однажды, как в чудом уце-

левшем колхозном амбаре он соломинкой выковыривал зерна, застрявшие в щелях, а потом давал нам по несколько ложек горячей воды, в которой плавали зерна пшеницы, ячменя, кукурузы. От усталости и голода я почти не осознавала окружающее. Единственное мое ощущение — страх отстать от своих.

Потом был Краснодар, а потом мы ехали в товарных вагонах на переформировку и отдых.

Помню горячие дни подготовки к прорыву вражеской обороны в районе хутора Высокого. Мы — 236-я дивизия, где я служила санинструктором роты автоматчиков, — уже закрепились на правом берегу Днепра. В те дни сумка моя была набита перевязочным материалом да еще вещмешок с пакетами хранился у старшины.

Утром 10 января 1944 года мы с ротным и группой автоматчиков пришли на командный пункт полка неподалеку от села Софиевка, на вершине кургана. Там были комполка Петрин и замполит. Потом появился наш лихой комдив, очень любимый нами Герой Советского Союза Иван Иванович Фесин. Он стоял недалеко от наблюдателя со стереотрубой, и, помнится, был еще разговор по поводу генеральской шапки комдива — что она демаскирует его. Там же был и маршал Малиновский.

И вот видим: летит наш самолет. Это был сигнал артподготовки. И сразу же заговорили пушки всех калибров и минометы, поднялся такой грохот, будто вокруг начало извергаться сразу несколько вулканов. В завершение артподготовки ударили по хутору «катюши». Там, где был хутор, встала стена огня, вздыбленной земли и дыма.

— Ну, пошли! — сказал Иван Иванович.

И все, кто был на кургане, не таясь, во весь рост пошли в сторону противника. На КП я была самая крайняя в траншее, а когда прозвучала команда «пошли!», я поневоле оказалась впереди всех. И только мы сошли на пологое поле перед курганом, как у ног моих упал снаряд. Перед этим, пока мы стояли в траншее, командир роты автоматчиков капитан Бондаренко показал мне:

— Видишь, рядом с комдивом стоит в серой папахе человек? Это командующий фронтом. Мы отвечаем за его жизнь.

И вот он, снаряд. Меня бросило назад, я почти упала на идущего за мною командующего — жалкая попытка заслонить от беды. Минутная остановка — ждем взрыва. Но его не последовало: снаряд не взорвался. «Какое счастье!» — думаю я, а на душе стало тревожно от предчувствия: сегодняшний день даром мне не пройдет. Идем дальше, противник молчит. Дошли уже до немецких блиндажей — никого нет. Видим, стоит курган и в нем добротнейший блиндаж.

— Это будет мой КП, — объявляет Петрин и приказывает дать связь.

Мы входим в блиндаж, осматриваемся, а через две-три минуты начинается такой обстрел наших позиций, что выйти из блиндажа уже не представляется возможным.

Делать нечего, приходится пережидать вражеский огонь в немецком же блиндаже. Не знаю, как получилось, но я начала петь. Тогда у меня был молодой звонкий голос и редко когда закрывался рот. В этом блиндаже под аккомпанемент канонады я давала свой первый сольный концерт. Слушали меня не только внимательно, но и с благодарностью. Но вот чуть утих гром пушек, мы поспешно выбираемся на волю. А здесь творится невообразимое. Все поле будто перепахано. Снега как не бывало. Кругом черно, дым, а из ближайшей лесозащитной полосы идут на нас фашистские танки.

Отходим. Замполит собирает бойцов в спасительной траншее.

— Беги сюда! — кричит он мне. — Сейчас наши противотанковые пойдут! Скорее!

Бегу, но, не доходя двух метров до траншеи, чувствую, как кто-то ударил меня оглоблей по ногам. Что за черт! Уже падая, оглядываюсь назад и вижу фонтан земли. Это взорвался вражеский снаряд, и, верно, один из осколков ударил меня по ноге... Траншея глубокая, из нее ход в блиндаж с надежным бревенчатым накатом. Спускаюсь туда. Блиндаж довольно вместительный, с нарами в два яруса. На них лежат и сидят наши раненые. Начинаю перевязывать, а сама чувствую, как в моем правом валенке гечет влажная струйка и, чем дальше книзу, становится более вязкой. Что там

такое, думаю, но некогда посмотреть: надо ведь снимать валенок, а на меня с надеждой устремлены глаза раненых. Продолжаю их перевязывать и радуюсь, что сумка моя так своевременно была заправлена.

Когда выбралась из блиндажа, день уже кончался. Быстро темнело. Стрельба не прекращалась. В траншее всего 5—6 человек. Вижу, недалеко кто-то шевелится на поле и стонет. Бегом туда. Это наш. У него перебита рука. Здоровой рукой он придерживает рану, пытаясь как-то унять хлещущую кровь. Обрезаю рукав его шинели кривым санинструкторским ножом. Под шинелью ватник. Он режется хуже. Я просто делаю в рукаве большую дыру. Плохо видно в быстро наступающей темноте, и потому наугад кладу подушечку индивидуального пакета в то место, откуда бьет кровь. Потом бинтую рану прямо поверх рукава. Для верности вдоль туловища кладу его винтовку, к ней прибинтовываю руку и все это — руку и винтовку — бинтами привязываю к туловищу. Согнуться он не может, зато надежно. Добраться бы только до блиндажа, а там сделаю перевязку заново. С трудом его поднимаю. С прибинтованной к телу винтовкой ему очень неудобно встать на ноги. Но я уговариваю его.

— Спасибо, сестрица. Век помнить буду, — сквозь охи и стоны говорит он мне. — Теперь сам дойду, а ты посмотри, вон бугорок темнеет. Видно, наш. Все кричал санитар, а сейчас затих.

Я плетусь гуда, где угадывается темный бугорок. Да, это наш боец. Он лежит лицом вниз, и по тому, как он лежит, догадываюсь, что помощь ему уже не нужна. Переворачиваю на спину, обнажаю грудь — ледяное тело, сердца не слышно. Не дождался санитар. Безразличие охватывает меня. Устала я безмерно. Нет сил двигаться. Так и лежу рядом с мертвецом на мерзлой земле, чувствую, что теряю силы, понимаю, что из раны все время течет кровь, но нет сил двигаться и сделать себе перевязку.

Лежу и начинаю забываться — не то во сне, не то в смертельной усталости. Изредка слышу стон. Может, это я... а может, рядом лежащий стонет? Да нет, я же знаю, что мертвые не стонут. Так кто же? Прислушиваюсь. Кажется, слышно справа. Да, справа. Смотрю в темноту до боли в глазах. Да, теперь уверена: справа кто-то стонет.

Собираю последние силы, ползу вправо. Всего в двух метрах натякаюсь на валенки. И онять стон, внятнее. Подползаю к голове его. Это наш боец.

— Ну что ты, миленький? Сейчас перевязочку сделаем. Все будет хорошо. Где болит? Где тебя задело? — Я говорю это, еще не веря, что в состоянии буду не только перевязку сделать, но хотя бы вынуть бинт из сумки.

Оказывается, боеца уже перевязывали. Его ранило еще утром, когда шли в наступление, обе ноги перебиты. Санитар перевязал, повесил на ствол прошлогоднего подсолнуха кусок бинта — знак повозочным санитарам, что здесь ждет раненый, — и ушел вперед. А раненый, пока лежал, еще один осколок в бок получил и сейчас боится замерзнуть, не дождавшись, пока его подберут.

Перевязала я ему бок под полшубком и потащила волоком к блиндажу. А ведь думала, что сил нет даже рукой двинуть. Дотащила. В землянке стон. Некоторые в агонии. Просят пить, а воды нет ни капли. Даже снега нет — все вокруг вспахано разрывами.

Способные передвигаться уползают к нашим цепям. Я ложусь на освободившееся место у дверей на низких нарах, и сознание мое тает в столах и бреду раненых... В блиндаже остались только те, кто неподвижен от ран и потери крови... Я не могу уйти. Кто же здесь останется с ними, беспомощными? Правда, от меня уже мало толку, но ведь я санинструктор... Я знала, что за нами придут.

...Сани, на которых я лежала укрытая соломой, остановились во дворе перед каким-то домом — то ли клуб, то ли школа. Лежу, жду своей очереди. Унесли соседа справа. Подошли ко мне с носилками, переговариваются:

— Берем этого мальчишку (про меня), а то замерзнет.

Я сразу узнаю по голосу — это Валя Кольцов, а второй не знаю кто, но думаю, что тоже из музыкантского взвода. Музыканты всегда на время боев санитарями становятся.

— Это я, — говорю, — здравствуй, Валя!

— Ленка! Неужели ты? А нам сказали, что тебя убило.

— Нет, — говорю, — еще не убило.

Они меня сразу на носилки и прямо в операционную на стол.

Подходит ко мне доктор. А мне смешно стало. Доктор этот — кавказский человек с таким полненьким нежным румянцем, как персик, с такими франтоватыми усиками, а главное, совсем не хирург, а санэпидемиолог. Интересно, как это он справится с ролью хирурга? Я даже забрыкалась: уходи, мол, не твое дело. Но он так ловко — раз — перевернул меня на живот, чик! — и валенка нет на ноге, щелк-щелк ножницами дальше:

— Ай-яй-яй! Как не стыдно, дорогая! Почему рана не перевязана до сих пор? Не умеешь? Понятно. Лежи и молчи. Резать буду. Ткани воспалены, новокаин не возьмет. Хочешь — кричи, хочешь — молчи, все равно резать буду.

И разрезал, я даже пикнуть не успела. Потом очень быстро и ловко наложил мне гипс от ступни до пояса. Потом поили меня чаем. И все время охали да ахали возле меня медсанбатские мои товарищи.

А потом стали отправлять нас в госпиталь. Мне не хотелось уезжать, и девочки за меня просили, но эпидемиолог был неумолим.

Теперь уже не помню, по каким приметам искала я свою 236-ю дивизию на бесчисленных военных дорогах, но все же нашла. Полк в это время форсировал Южный Буг. Пришла к старшему врачу, докладываю:

— Прибыла из госпиталя, назначение в запасной полк, хочу остаться в Сто семьдесят седьмом стрелковом.

— Ладно, — говорит, — доложу начальству.

Через какое-то время приходит:

— Доложил. Живи.

И стала я жить.

— Пойду, — говорю, — к автоматчикам.

— Не выйдет, — отвечает, — будешь при сапроте в передовом медпункте. А к автоматчикам твоим сейчас не добраться. Лежат в болоте. Вот-вот вперед пойдут.

И правда пошли вперед, а за ними и мы, тылы полка, на ту сторону Буга. Но скоро мне пришлось уйти от сапротских повозок. Такая грязь — лошади не тянут.

Мы пошли налегке все дальше и дальше в погоне за фрицем. Тяжелая это дорога была, непролазная грязь. Шли не останавливаясь и днем и ночью, спали на ходу. Идешь ночью в колонне: куда — не видишь и не знаешь, видишь спину впереди идущего. Вдруг — бум, уперся в эту спину. Ага, значит, остановились, сразу же засыпаешь, не убирая голову. Только заснул, как опора из-под головы уходит. Значит, пошли дальше, и ты тоже идешь... А лечь не ляжешь — под ногами черноземная жижа.

Воды нет. Днем станешь в грязь поглубже, потом ногу вынешь и ждешь, когда в ямку нацедится водичка. Зачерпнешь ладонью — и в рот ее. Ночью и того нельзя — темнота. С питанием тоже негусто было. Все, что в мешках припрятали, съели, а подвоза нет — бездорожье. Главной пищей были трофеи. Однажды попался нам прямо среди поля брошенный товарный состав. Мы к нему. Открываем вагон — конфеты, второй — конфеты, третий, четвертый — то же самое. Мы, конечно, с голоду набросились. Но много их не съешь, да и пить потом очень хочется. Набили свои вещмешки немецким эрзацем, пошли дальше.

Весна. Солнце уже по-настоящему пригревать стало, и подсохло немного. Начали пробиваться к нам наши тылы и нас подкармливать. А мы все шли и шли «по широкой украинской степи» и все вдали от населенных пунктов. Другие части освобождали города, и им присваивались имена этих городов; мы же воевали все где-то сбоку. И сами себе присвоили звание — непромокаемая непросыхаемая дивизия.

Однажды человек 12 раненых остались со мной среди поля поджидать повозки, полк ушел вперед. Уложила я их под стогом прошлогодней (а может быть, и довоенной) соломы, соломой укрыла, повесила знаки и сию жду своих. В поле тишина, будто все вымерло. Боязно мне стало. Вот так же незадолго перед этим у соседей остались две медички с ранеными. А когда пришли повозки, то увидели наши, что у всех раненых перерезано горло, а девушек и узнать нельзя. Немцы их раздели, надруга-

лись, потом обрезали носы, уши, вырезали на спинах пятиконечные звезды и скрылись.

Думаю: а если ко мне явятся? Нет, не застанут меня врасплох. Собрала у раненых какое было оружие, надела на себя сколько могла и хожу вокруг. В случае увижу фрицев, буду стрелять, пока смогу.

Но, на мое счастье, все кончилось благополучно. К вечеру подъехали наши санитарные повозки. Передала я раненых с рук на руки, винтовки и автоматы тоже и пошла догонять своих.

Командир взвода сказал мне, когда я оставалась:

— Идем прямо на запад. Как сдашь раненых, догоняй нас. — И показал рукой направление.

В ту сторону я и пошла.

Иду по полю, тишина, будто и войны нет. Горит золотистый закат. Иду прямо на него. Радуюсь благополучному завершению порученного мне дела, радуюсь тихому вечеру, а может быть, от молодости своей беспричинно радуюсь. Иду и пою. И слушаю, как звонко оглашает мой голос предвечернее поле, как свободно он льется, как долго звенит на самой высокой ноте.

Прошла, может быть, километра полтора и вижу на краю поля группу силуэтов. Вот и наши! Ускорю шаг и запеваю новую песню. Осталось пройти мне метров сто — впереди овражек. Подумала я это и вижу, что меня заметили и подзывают жестами, вроде как подманивают. А я и так к ним иду, куда же мне двигаться как не к своим, так зачем же они меня подманивают? Если свои? А если не свои? Стала я тихонечко подниматься из оврага. Всматриваюсь в силуэты. Одеты вроде бы обычно. Бушлаты у нас многие носили, плащ-палатки тоже. Вдруг один чуть отошел и повернулся ко мне в профиль. Смотрю, а автомат у него не с диском, а с таким магазином вроде пенала.

Немцы! Что делать? Мысль заработала лихорадочно. Налево овраг мелькает — там негде укрыться. Бегу направо. Выбегаю в широкую ложину — там грунтовая дорога. По дороге мчусь назад, подальше от немцев. Тут они меня увидели бегущую, начали стрелять. Сначала из автоматов и винтовок, потом из пулемета. Пули только посвистывали вокруг, как рой насекомых. А я бегу. Лечу, как ветер. И каждую секунду жду, что сейчас попадут. И смотрю на спасительный кювет вдоль дороги. Если кинуться в него плашмя, пули не задедут. Но разум кричит: не ложись! Ляжешь, пристреляются и подойдут близко. Тогда наверняка убьют. Беги!

Добежала я до места, где в ложине делает петлю железнодорожная насыпь. Это мое спасение. Только бы перебежать на ту сторону, пока не убили. Птицей взлетаю на насыпь и кубарем качусь по обратному склону. И попадаю прямо в грубые объятия.

— Ага, попалась! — слышу я чей-то знакомый голос и открываю глаза.

Меня держит в охапке Томчани, начальник артиллерии полка, а вокруг хохочут наши ребята. Я им чуть ли не в котелок свалилась. Они тут за насыпью укрылись и еду стряпают. А я мимо них, оказывается, прошла...

— Ну отвечай, чего бегаешь? Это ты немцев всполошила? Что они там растахтелись? — нарочито строго допрашивает меня Томчани.

А я не могу слова вымолвить, сердце в груди, как пулемет, бьется, вот-вот выскочит. Ничего не сказала я Томчани. Стыдно было признаться, как от фрицев бежала. Но всегда, как только вспоминаю свой бег в туче пуль, мурашки по спине бегут и сердце замирает. Все же очень просто могли меня подстрелить. А всего-то несколько пуль задело: в сумку две, пять дырочек в полах шинели да шапку сбили...

Покинула я 236-ю дивизию самым прозаическим образом: меня увозили в госпиталь. Но не потому, что ранило в бою. Не так обидно было бы.

В последнее время я стала какая-то ленивая, безразличная, пассивная. Все лежала где-нибудь под деревьями, и ничто меня не интересовало. Начсандив ругал меня даже, но я только думала: «И охота ему так много говорить». А он внушал мне, что нельзя быть строптивой, что мне будет в жизни трудно, и еще много-много говорил, наверное, умных слов, которых я никак не понимала тогда, а потому и не запомнила.

Однако наш полковой врач подошел к моему состоянию профессионально. Осмотрел, послушал, простучал и немедленно отправил в госпиталь, потому что обнаружил признаки детской инфекционной болезни.

В госпитале я переходила из отделения в отделение, где у меня поочередно установили корь, злокачественную ангину, ревматизм и напоследок малярию. Всем этим я обязана весне, буйному разливу красавца Днестра.

Первое время пребывания в госпитале в Одессе помню смутно. Начала понимать окружающее только несколько дней спустя. Моя кровать стоит в узком проходе. Я лежу головой к входной двери и вижу верхушки деревьев через открытую балконную дверь. Надо мной склонилась немолодая женщина. Влажной ватой она протирает мне лицо и тихонько что-то приговаривает. Встретившись с моим взглядом, прекращает свое занятие и уходит. Потом приходит другая женщина, помоложе, и говорит со мной. Соображаю, что она врач. Через какое-то время третья женщина приносит тазик с водой и пытается меня умыть. Ничего не получается: я хочу, но не могу при-встать. Все-таки умыли, сразу стало легче дышать. Через несколько дней няня решила мне полную санобработку сделать.

— Где это видано, чтобы такая молоденькая замарашкой у нас лежала! — приговаривала она, намыливая мне голову над тазиком. — Будешь у нас красавица! Разве в приемном покое могут как следует помыть человека?

Приговаривает она так, а сама голову моег и вдруг замолчала; смотрю — вся моя прическа в тазу остается. Прибежали врачи, больные сгрудились вокруг, ахают. Вот так красавица! Голова голая, гладкая, как колено. Вытерли меня, положили на подушку, я и заснула.

Утром врач на обходе долго на меня смотрела и уходя сказала:

— Нянечка, дайте ей на голову косыночку, смотреть тяжело на это дитя.

Дали мне зеркало. И правда — ни волосиночки. Больные меня успокаивают: может, еще отрастут волосы.

А я и не очень расстраивалась. Подумаешь, волосы! Люди головы на войне теряют. Уже позже, когда я вышла из госпиталя, стала ощущать некоторую неловкость за свой вид...

Выздоровливая понемногу, стала я выходить в город. Однажды иду по бульвару. Обгоняют меня две молодые одесситки, оглянулись, и одна другой говорит: «Неужели ей не стыдно?» Фыркнули и упорхнули. Думаю: что это они во мне заметили неприличного? На голове чистенькая марлевая косыночка, так что голый череп прикрыт. Одежда тоже обычная: зеленая гимнастерка х/б и такая же юбка, только вчера выстирана мною собственноручно в соленой морской волне. На ногах, правда, обувь не по форме, госпитальные стоптанные тапочки, но где же другую взять? Есть у меня кирзовые сапоги, почти новые, но очень тяжелые, в них я не смогла бы ходить — все-таки летом в Одессе жарко...

И тут я догадалась. На обнаженных ногах не были скрыты следы войны. Сзади на правой икре резко выделялся шрам — след раны, полученной в бою за хутор Высокый.

Прошло много лет, а я до сих пор не понимаю, что мне было стыдиться этого шрама? Я и сейчас смотрю в зеркало и не нахожу, что он безобразный — обыкновенный шрам с детскую ладонь.

Из госпиталя отправили меня в запасной армейский стрелковый 235-й полк, в батальон выздоравливающих. (Просилась в свою дивизию, но мне отвечали: «Какой дивизии нужен такой заморыш!» Возразить нечего.)

Это был необыкновенный батальон. Весь личный состав его и даже командир — все были выздоравливающие. Мы ели, спали и грелись на солнышке.

Жили мы в бывшей немецкой колонии в добротных, покинутых хозяевами пустых домах. У меня была отдельная комната и совершенно никакой мебели. Зато в кругло-суточно раскрытое окно ко мне влезала громадная ветвь цветущей белой акации, и мы жили с ней как заговорщики. То есть мы хранили многозначительное молчание.

Иногда я уходила за колонию и там на пологих склонах собирала цветы. Их было множество. Особенно меня радовали маки. Их росло так много, что косомеры,

казалось, были покрыты яркой колышущейся шелковой тканью. Набирала я огромные охапки цветов и раскладывала на подоконнике, изобретая букеты один интереснее другого.

Но как-то за обедом комбат мне сказал:

— Пора тебе за дело приниматься, сменишь на посту Петровича, а то его уж давно к себе командир полка требует. Извини, но больше ставить некого.

После обеда старшина повел меня принимать пост у Петровича. Пришли мы в соседний дом, и там я узнала, что отныне буду пекарем. Буду печь хлеб для батальона.

— Деревенская? — спросил меня Петрович.

— Деревенская, — сказала я, робея.

— Хлеб умеешь печь?

— Нет, — виновато ответила я.

Тогда Петрович кратко изложил мне технологию выпечки и пошел в другую деревню, где располагался штаб полка. А я осталась. Посидела-посидела, делать нечего — надо приниматься за работу.

Зерно мололи тут же во дворе на примитивной мельнице. Два круглых камня — один на другом — надеты на общую ось, которую вращали несколько «сутулых».

«Сутульми» у нас называли, с легкой руки старшины, всех выздоравливающих. Люди в батальоне часто менялись: одни приходили из госпиталей, другие, отдохнув несколько дней, шли на укомплектование маршевых рот. Из-за такой текучести личного состава трудно было запомнить фамилии, и старшина, больше всех общающийся с массой батальона, обращался обычно так: «Слышь, сутулый, будь другом, на топи баню», «Сутулый, постой нынче в охране», «Сутулый, зайди в штаб, получи паек» и так далее.

Я сначала думала, что это фамилия такая. Но слышу, слишком много однофамильцев. Если приглядеться к бойцам выздоравливающего батальона, особенно к вновь прибывшим, то видно, что эти солдаты в обычной зеленой форме со всеми к ней принадлежностями — очень усталые люди. Только что перенесенные болезни, физические страдания после ранений и длительные пребывания в госпиталях наложили отпечаток на каждого. Сутуловатость была характерным признаком выздоравливающего. Она исчезала по мере восстановления физических сил, и в маршевые роты уже уходили не «сутулы», а обычные бывалые воины.

Так вот. Двое таких «сутулых» принесли мне мешок муки, помогли замесить тесто. Они ушли, а я осталась следить за тем, как тесто будет подниматься. Когда оно дошло до краев кадки, собираясь вывалиться, я выложила его на стол, приблизительно разделила на двенадцать равных шаров, будущих хлебов, прикрыла их полотенцем и занялась подготовкой печи...

Моя бабушка на все наше донецкое село Красная Поляна славилась умением выпекать хлеб. Когда организовали колхоз, бабушка стала печь хлеб для общественного питания. А я была у нее первой помощницей — заготавливала капустные листья. На эти листья бабушка укладывала хлеба перед выпечкой. Она делала это очень красиво. И я всегда при том присутствовала.

Помянув добрым словом бабушку, взялась и я за деревянную лопату. Положила лист бумаги (капустных листьев не было), сверху тесто и на лопате послала в печь... Спустя часа полтора запахло свежеспеченным хлебом. Этот неподражаемый запах всегда остановит вас у дома, где идет выпечка, будь то в деревне или в городе. Вызывает он всегда хорошее настроение.

С таким хорошим настроением я и открыла печь. Первая же булка умилила меня своей пышностью и румяной, аппетитно треснувшей на борту корочкой. Вынула я ее, потом соседку. Но третья булка вылезать не пожелала. Я потянула ее сильнее, но безрезультатно. Пришлось бежать за старшиной. Вдвоем мы уцепились за эту строптивую булку и стали тащить ее из печи. Нас подгонял запах подгорающего хлеба, и мы удвоили усилия.

Наконец булка поддалась, и мы вытащили вместе с ней целую гроздь причудливо разросшегося хлеба в форме гигантской халы.

Я была так убита случившимся, что потеряла дар речи. Но старшина тут же отделил хлеба друг от друга, нарезал из них по возможности равные ломти, и они были поданы на стол батальона.

Пстом все хвалили меня за вкусный, с изумительным запахом хлеб.

Однажды, уже упорядочив технологию хлебного дела, имея благодаря обширному штату помощников свободное время, я пошла на концерт. Выступала группа самодеятельных артистов полкового клуба. Зрители расположились на лужайке перед входом в костел, а паперть служила сценой. После концерта произошло событие, изменившее мою судьбу.

Несколько ребят-концертантов подошли ко мне, и завязался разговор: кто, да что, да откуда. Потом они играли на своих инструментах и пели песни. Я тоже подпевала. Потом пела одна — «Темную ночь» и «Землянку» под их аккомпанемент. Ребята стали приглашать меня к себе в ансамбль. Я не задумываясь согласилась, принимая это за шутку.

Однако через несколько дней, когда полк был на марше по пути к государственной границе, которую к тому времени перешли уже передовые войска, наш батальон оказался рядом с клубом полка, и тут мне была устроена проба.

В обычной сельской хате собрался весь ансамбль. Здесь же присутствовал маленький, сухой, похожий на татарина полковник. Потом я узнала, что это сам командир полка Ерофеев.

— Что вы будете петь? — спросил у меня худрук.

Я и сама не знала, что и как петь. Вокалу я нигде не училась. В нашем селе все пели как могли. Пели, правда, очень часто. Рано утром отправляясь на тряских бричках «на буряжи» или «на кукурузу», возвращаясь с покоса и жатвы, пели долгими вечерами на посиделках, на толоке, когда делали сообща какую-нибудь работу одному из соседей, на семейных торжествах и за праздничным столом, пели вечерами группы молодежи в разных концах села, переключаясь и как бы соревнуясь хор с хором.

Моя мама пела, делая привычную домашнюю работу. От нее я наслушалась народных песен. А потом, когда я осталась только с бабушкой, в селе появилось радио, патефоны, кино, и я стала слушать самую разнообразную музыку. Считалось, что голоса у меня нет, и я этим не была огорчена. А на семнадцатом году, когда уже шла война, я вдруг запела. Я пела всегда и везде, если только это не мешало людям делать свое фронтовое дело, и пела все мелодии, которые до тех пор мне хоть раз приходилось услышать. Конечно, музыкальной грамоты я не знала. А тут вдруг — проба!

— Какой у вас голос? — Худрук явно хочет мне помочь преодолеть замешательство.

— Что значит какой голос? Откуда я знаю?

— Сопрано у нее. Лирическое сопрано, — помогают мне ребята.

Баянист начинает наигрывать мелодии одну за другой, спрашивая:

— Это знаете?

Я наконец кивнула. Баянист заиграл, полилась широкая грустная песня — ария Наталки из оперы «Наталка-полтавка». В нашей хате часто звучала эта чудная вещь: соловьиный голос Оксаны Петрусенко пел ее с заигранной дядиной пластинки. И я запела. Когда песня стихла, все долго молчали, а потом полковник сказал худруку:

— Я полагаю, в сегодняшнем концерте этот номер будет?

— Конечно, конечно.

Полковник ушел, а ребята стали шумно меня поздравлять. Потом один из них, будущий мой партнер в классических дуэтах Виктор Горбачев, говорил:

— Когда ты запела, у меня все внутри похолодело. Баянист дал такую высокую тональность, я представил, как ты подойдешь к финалу и обязательно сфальшивишь на верхках. Но когда ты легко взяла верхнее «си», у меня как гора с плеч свалилась.

«Верха», «тональность» и прочие слова, которые легко и непринужденно звучали в устах моих новых товарищей, для меня были китайской грамотой. Но все говорили «хорошо поешь», и я им верила.

Так я стала артисткой ансамбля запасного полка.

Через час состоялся концерт. Мы выступали на большой лужайке у села. Зрители сидели на траве, а после концерта тотчас построились в колонны и пошли на передовую. Это были маршевые роты, которые комплектовались в запасном полку.

Большую часть пути по Румынии я не воспринимала — меня вновь настигла малярия. Чуть только солнце начнет припекать, у меня начинается очередной приступ. И ничего вокруг, только огонь. Тело — огонь, солнце — огонь, повозка, на которую меня втаскивали товарищи, — тоже огонь.

Повозились они со мной немало. Особенно Виктор Горбачев. Ухаживал за мной, как за ребенком. Я и была как беспомощный ребенок, только габариты не те. Меня везли на нашей клубной повозке, нагруженной реквизитом и музыкальными инструментами, а сверху я. Чтобы не свалилась, Виктор привязывал меня за ремень к веревкам, стягивающим брезент повозки, и шел рядом. Потом и он заболел малярией. И нас везли в румынской бричке. Бричка была пустая, мы лежали в ней как в гробу. По каменистой дороге ее трясло, мы стучались головами, а вокруг все горело и гудело.

Как-то я очнулась в большой пустой комнате с грубой мебелью. Кругом свалено наше имущество. Ребята заняты обычным на привале делом. В комнате прохладно от каменных стен и земляного пола, дверь открыта настежь, и за ней виден большой двор, по которому ходят привидения, и слышен странный шум.

Оказывается, наш запасной полк несет комендантскую службу в бывшем фашистском концлагере. Наши войска освободили около 40 тысяч еле живых советских военнопленных. На людях были серые арестантские штаны и куртки, висевшие балахонами. На босых ногах деревянные колодки, привязанные к ступням брезентовыми полосами. При ходьбе колодки издавали громкий стук, и от этого в лагере все время был специфический шум. Почти у всех одежда истлела — она выдавалась только раз, когда человек входил в концлагерь, и не снималась до смерти.

Весь личный состав нашего запасного полка превратился в поваров, санитаров, комендантов и писарей. Освобожденных узников вымыли, одели в чистые одежды, перевязали и омыли страшные язвы и раны, накормили сытной едой, зарегистрировали.

Почти все освобожденные хотели немедленно получить оружие и идти в бой с фашистами. Но ведь нужно было еще сформировать из изнуренных, одержимых местью людей боеспособные воинские подразделения. Этим и занимался наш полк. Ансамбль же по нескольку раз в день выступал с концертами перед бывшими военнопленными. Я тоже решила петь.

Вышла на высокое крыльцо комендантского дома, служившее нам сценой. Меня еще покачивало от слабости. Может быть, поэтому мне показалась огромной серая толпа. Пела я арию Оксаны из оперы «Запорожец за Дунаем» на украинском языке. Оксана, идя на свидание с Андреем, поет о своей родной Украине. Здесь, за Дунаем, они, украинцы, — пленники турецкого султана. Она идет в рощу к возлюбленному, чтобы договориться о побеге, и поет о том, как тяжело жить в неволе, без известий с родины. Она обращается к ветру, тучам, яному соколу с просьбой принести весточку о родном крае.

Когда я кончила петь и поклонилась, то не услышала обычных аплодисментов. Меня это удивило, и я посмотрела внимательно на моих слушателей. Я увидела сотни глаз, залитых слезами. Мужчины стояли и плакали, не вытирая слез, не удерживая рыданий. Минуту назад в песне я сама была пленницей, как недавно они, насильно оторванной от родины, от близких милых людей, любимых и любящих, от мирных человеческих радостей. Какое счастье, что все кошмары позади. И радость освобождения, и боль утрат, и горечь пережитого — все в этих людях мгновенно стало мне близким. И я заплакала вместе с ними. Так и стояли мы: огромная серая толпа несчастных моих соотечественников, объятая скорбью и радостью, и я рыдающая, с плачущим ансамблем за спиной.

Почти сейчас же у меня начался новый приступ малярии, и на несколько дней погасло сознание.

Однажды, помню, мы двигались по Трансильвании, и утром я проснулась в повозке. Мы стояли на перевале зеленых Карпатских гор. Внизу, в живописной долине, сверкал белизной стен и красными островерхими крышами город. Извивалась, сверкая

на солнце, причудливая лента реки, через пропасти были переброшены ажурные мосты, чернели входы и тоннели с убегающими в глубь их рельсами — и все было прикрыто неправдоподобно синим небом. Где-то на картине или на открытке я уже видела подобное. И удивилась, что это, оказывается, есть на самом деле. Потом малярия опять затмила окружающее.

До сих пор удивляюсь, что заставило наших ребят из ансамбля так долго со мной нянчиться. Ансамблю я была только обузой. И все же меня не отправили в госпиталь, а везли с собой.

В город Тимишоара меня привезли в бреду и уложили в постель в первом же свободном от постоя доме. Оказалось, дом предназначался командиру полка Александру Тимофеевичу Ерофееву. Когда пришел полковник, комендант хотел нас выдворить с «оккупированной» территории, но Ерофеев оставил меня на предназначавшейся ему постели, ансамбль поместил в кухне, а сам пристроился в прихожей на крошечном диванчике. С тех пор заботы о моем быте были поручены ординарцу Ерофеева, мордвину Никите. Это был добродушный молчун с густыми черными усами.

Я начинала потихоньку поправляться. За мной ухаживал врач из бывших узников концлагеря, кормил меня штабной повар, тронутый моим измученным видом, и почти не отходил от меня Никита. Так что иногда Александр Тимофеевич в шутку говорил ему:

— Совсем ты, старик, забросил меня, своего командира. Неизвестно, чей ты теперь ординарец, мой или Аленки.

— Ничего, ты большой, сам голова — проживешь, а он маленький, слабый, глядеть нада, — совсем по-равному разговаривал Никита с полковником.

...Мы перешли на территорию Венгрии. Венгерская армия сдавалась в плен целыми подразделениями. Сегед был местом, где концентрировались военнопленные мадьяры. Целый квартал домов, бывшие казармы, был отведен для них.

На площади перед казармами стояла толпа свободных венгров — в основном женщины. Они высматривали своих близких среди пленных. Очень быстро женщины уразумели, что русских конвоиров бояться нечего, и часто можно было видеть такую картину. Новая партия пленных под конвоем нескольких бойцов направляется в казармы сквозь толпу на площади. Женщины кричат пленным, те отвечают. И без знания языка понятно, о чем говорят.

— Нет ли моего Фери (Люци, Дюла и т. д.) среди вас?

— Нет.

— Не видели ли Иштвана (Шони, Антала), не знаете ли, жив ли мой муж (брат, отец, жених)? — кричат женщины наперебой, и пленные отвечают им по мере своей осведомленности.

Иногда в толпе находится женщина, которая узнает своего среди пленных. Тогда она безбоязненно бросается в колонну и тащит за рукав растерянно оглядывающегося мужа или брата.

— Иван! Мой! — Женщина показывает на себя и обнимает пленного, подтверждая, что они близкие родственники.

— Да! Да! Рус, да! — подхватывает толпа.

И почти всегда такой пленный попадает не в казармы, а в руки ликующей толпы. Конвоиры напускают на себя притворную строгость, посмеиваясь в усы.

В Сегеде мы жили в четырехэтажном сером доме. На первом этаже — командир полка с адъютантом и ординарцем, замполит, начальник штаба и я. В квартире напротив — поляготдел. Над нами — ансамбль, а в квартире над политотделом — школа. Самая обыкновенная советская школа. Дело в том, что Александр Тимофеевич возил не только со мной. В полку находилось около двух десятков советских ребят в возрасте от тринадцати до шестнадцати лет. Сыновьям полка выделили учителей, и они занимались по программе общеобразовательной школы. Одним из учителей был наш генер Виктор Горбачев.

Ребята носили красноармейскую форму, специально для них перешитую полковым портным, и очень этим гордились. В своем кругу они вели себя как мальчишки, но на людях были сдержанны и полны достоинства. Многие учились игре на музыкальных инструментах, а винтовку и автомат разбирали и собирали вслепую, с закрытыми

глазами. Один мальчик, самый маленький, Витя, ему едва исполнилось тринадцать лет, стал артистом нашего ансамбля, акробатом.

К тому времени в ансамбле было около 30 человек. Они оказались в коллективе путем «естественного отбора» из числа людей, нескончаемым потоком проходивших через запасной полк. О некоторых из них мне бы хотелось рассказать хоть коротко.

Аkkордеонист Коля Рабчак пришел в ансамбль из концлагеря. Я очень хорошо помню тот день. Мы были в своей комнате и занимались каждый своим делом. Я лежала, наслаждаясь перерывом между приступами малярии. Некоторые готовили реквизит, Андрей играл на баяне, с которым почти не расставался. И вот видим: стоит у нашей всегда настежь раскрытой двери худой, изможденный военнопленный в истлевшей мешковине, босой, с непокрытой стриженной головой и широко раскрытыми глазами смотрит на баян Андрея. Мы все невольно замерли, охваченные состраданием к нему. А он с остановившимся взглядом двинулся к нам неверной спотыкающейся походкой, подошел к Андрею, упал на колени, обнял баян и замер на минуту.

Ребята усадили его на скамейку, а он не выпускал баян из объятий. Нам подумалось, что этот человек душевнобольной, каких немало было среди пленных. Но вот он молча дрожащими руками стал надевать ремень баяна на свои худые плечи. Ребята помогли ему пристроить инструмент на дрожащих коленях, и он стал рывками растягивать мехи, забывая нажимать на клавиши.

Кто-то не выдержав заплакал. Зина, моя подруга, поднесла к лицу незнакомца кружку с виноградным вином, но он ничего не замечал вокруг. И вдруг заиграл. Сначала робко и неуверенно, но уже через минуту мы услышали аккорды, и с каждым звуком они становились все звучней и чудесней. Полилась такая страстная, взволнованная музыка, что мы все онемели. Никогда раньше и после за всю жизнь я не слышала ничего подобного. В руках музыканта был всего лишь обыкновенный кировский баян, но мы слышали целый оркестр — мощный, слаженный, необыкновенной силы и неограниченных возможностей. Мелодии советских композиторов, народные песни изумительным венком переплетались между собой, связуемые трепетной душой музыканта, обволакивали нас видениями и чувствами минувших счастливых дней, обещанием грядущего и каким-то остро осязаемым сознанием радости жизни. Мы готовы были сидеть у ног этого замученного человека вечность, без конца слушать его.

С этого дня Коля Рабчак стал членом нашего коллектива. В жизни это был тихий, очень скромный юноша. Было ему года двадцать два. Он плохо ел и потому был худ. Бледное лицо и огромные, наполненные болью глаза. Выступления его всегда проходили при мертвой тишине аудитории. Слушатели могли сидеть часами не шелохнувшись, пока Коля играл. Выступления его всегда кончались овациями. Он всегда импровизировал, будь то на сцене во время концерта или в часы отдыха. Коля стал моим аккомпаниатором, и я думаю, что главная доля моего успеха у слушателей принадлежала его необыкновенному сопровождению. Играл он на всех инструментах, имеющих в распоряжении ансамбля, но предпочитал аккордеон. А когда была возможность играть на рояле, мог сидеть за инструментом бесконечно. Коля был музыкантом-слушачом, учился играть самостоятельно и долго не знал нот.

Где сейчас он, я не знаю. Только исключительные обстоятельства могли заглушить звуки его игры...

Наш «рыжий» коверный появился в ансамбле тихо и незаметно. Молодой человек, почти подросток с серьезными глазами зеленоватого цвета и легкомысленными веснушками. Невысокий, стройный, обыкновенный боец в необмывшейся красноармейской форме и кирзовых сапогах — таким Олег был вне сцены. На сцене же это был король смеха. Стоило ему только появиться перед публикой в балахоне, сшитом из маскировочного зелено-пятнистого халата, в традиционно рыжем растрепанном парике, с остроконечным носом-крючком из папье-маше и в огромнейших ботинках, как зал взрывался хохотом. Олег обводил смеющихся зрителей серьезным медленным взглядом, и те начинали хохотать еще больше...

Конечно, привыкшие к войне, познавшие большое горе люди рады были отдаться веселью, смеху. Но Олег действительно был талантлив. К каждому концерту он серьезно и много готовился, постоянно менял и обновлял реквизит, привлекая к участию всех, и постоянно кого-нибудь из нас обыгрывал на сцене. Всегда ходил озабоченный

и искал что-нибудь новенькое для своего номера. Это было тем более необычно, что каждый концерт мы давали перед новыми зрителями, состав полка менялся ежедневно. Но Олег был вечно недоволен собой, изобретал новое.

Так, уже в Венгрии у него появилась крошечная собачка с белой прямой шерстью, свисающей ключьями, малюсенькими, наподобие черных блестящих пуговок глазами и визгливым пронзительным лаем. Очень скоро этот песик стал у Олега артистом и выдвигал всякие смешные номера. Из них я помню несколько. В одном собака изображала Геббельса и так уморительно лаяла на публику с трибуны, что все буквально ложились со смеху. В другой раз она же изображала бесноватого Гитлера в бесчисленных похождениях и в конце после слов «Гитлер капут» падала на пол, так правдоподобно притворяясь мертвой, что публика приходила в бурный восторг, после которого продолжать концерт было уже немислимо.

... Как-то раз я была в московском цирке на юбилейной программе «Всегда в пути». И вдруг вышел «солнечный клоун» Олег Попов с маленькой белой кудлатой собачонкой. Было сыграно что-то незатейливое, а в конце номера собачка «умерла». И так она неподражаемо «умерла», а потом, когда Олег Попов тоже «умер» (то есть свалился на ковер и застыл на правом боку), собачка вскочила, легла рядом с клоуном и опять «умерла»... Зал взорвался аплодисментами, а у меня заняло сердце. Так эта сценка запомнила мне нашего Олега. Но никакого портретного сходства с артистом. Узнаю ли я, как сложилась жизнь Олега? А где сейчас другие товарищи мои?..

Вероника Гетман, исполнительница популярных советских песен. Так обычно объявлял ведущий мою подругу Верочку. Среднего роста, с милым личиком и тщательной прической, в гимнастерке зеленого сукна и такой же юбке, тонкая талия туго перетянута широким офицерским ремнем, зеленые фронтовые погоны рядового, ярко начищенные сапожки на стройных ножках — такой Вера выходила на сцену, и такой она мне запомнилась навсегда. У меня есть две ее фотографии. На одной она с собачкой Олега, на другой в черном длинном концертном платье — настоящая артистка эстрады. У нее было звонкое сопрано несколько необычного тембра и вибрации.

Пела она «Синий платочек», «Катюшу», «Огонек» и украинские народные песни. Слушатели ее всегда тепло приветствовали. И несмотря на то, что наши голоса были похожи по характеру, Вера очень хорошо ко мне относилась. Перед войной она была профессиональной певицей в Днепропетровске и, конечно, имела больший по сравнению с моим опытом. Она учила меня владеть голосом, искусству грима, умению держаться перед публикой и многим другим азам артистической профессии. И все это очень тактично, ненавязчиво, деликатно. Только много лет спустя, наставив себе синяков и шишек в излишнем доверии ко всем без разбора, я по-настоящему оценила такт и бескорыстие Веры.

Кроме того, что мы с ней исполняли свои сольные номера, мы еще пели друг с другом и с нашими солистами-мужчинами дуэты, трио, квартеты, танцевали в масовых танцах. Я же еще танцевала с Мишей Седых, нашим балетмейстером, и благодаря его постановкам и мастерству имела шумный успех у зрителей.

В октябре 1944 года в городском театре города Сегед мы давали концерт для венгров. К этому времени нашему командованию удалось призвать граждан к самоуправлению. Был назначен бургомистр, и начали налаживаться контакты с местным населением.

Когда мы вошли в город, он был почти пуст. Жители притаились в домах и ждали, что будет дальше. Все они были осведомлены о том, что коммунисты ходят с длинными бородами, с засученными по локоть рукавами и едят поджаренных детей. Нужно было развеять страшные слухи о нас. Поэтому, кроме прочего, пригласили жителей на концерт.

Мы выступали с обычной программой. Встретили нас гробовым молчанием. После первого номера раздалось два-три хлопка. Но мы не ожидали большего и продолжали петь и играть как ни в чем не бывало.

В конце первого отделения мы с Мишей танцевали чардаш. Этот танец показала нам за два дня перед концертом супружеская пара из сегедского театра. Они же помогли добыть национальные костюмы. Нам не привыкать было танцевать с одной-двух репетиций; мы бодро начали чардаш и довели его до конца, как нам казалось, нор-

мально. Но когда раскланялись, в зале поднялся такой шум, свист, топот, что мы потерялись и ретировались за кулисы, уверенные, что провалились.

Однако свист и топот нарастал, и работники театра за кулисами нам стали объяснять, что свист означает высшую меру восторга, что мы понравились публике и она требует повторить номер на бис. Мы бисировали несколько раз, а зрители все требовали вновь и вновь повторить танец. Тогда мы жестами объяснили степень нашей усталости, и нас наконец отпустили еле тепленьких. Так что от второго отделения нас освободили. Зато лед растаял и возник стихийный митинг.

Советскую Армию чествовали как освободительницу, и день 23 октября было решено праздновать ежегодно как праздник освобождения города от фашизма.

Постепенно жизнь в Сегеде оживала. Сначала робко вышли на улицу продавцы цветов. К вечеру они запрудили своими корзинами не только тротуары, но и мостовые из тесаного торцового камня. И пошли наши воины сначала посмотреть, потом покупать цветы. Ни прохода, ни проезда — один цветочный базар, город утонул в хризантемах. Улицы запружены толпой: оживленные женщины, торгующие и праздные, вездесущие дети и необычно растроганные наши солдаты с охапками цветов. А из-за штор — настороженно изучающие взгляды обитателей бельэтажей.

... Мы шли дальше. Наш полк разместился в пригороде венгерской столицы — в Будафоке. А у меня снова начались приступы малярии.

Но однажды на рассвете меня разбудила Вероника Гетман. Мы вышли на улицу и увидели: внизу по шоссе из королевской крепости движется нескончаемый поток серых призраков. Это остатки фашистских войск, ранее укрывшихся в подземельях крепости Буды, потерявшие надежду на спасение и помощь фюрера, пошли напропалую долой из тюрьмы, в которую они сами себя заточили. Они шли без слов, без жестов, без надежды. Худые, грязные, оборванные, страшные своей опустошенностью. А вдоль дороги стояли мы, безоружные солдаты запасного полка. Шествие длилось несколько часов. Советский офицер ходил вдоль наших рядов и негромко говорил:

Товарищи, сохраняйте порядок. Товарищи, не вызывайте врага на инциденты.

Плечом к плечу с нашим офицером шел человек в гражданской одежде и так же негромко произносил слова по-венгерски.

Малярия не позволила мне досмотреть эту процессию.

Ах эта малярия! Как много здоровья она у меня отняла. А главное, помешала встретить долгожданную победу рядом с моими полковыми товарищами.

Командование сочло возможным еще до конца войны отпустить по домам часть женщин, находившихся в рядах Советской Армии. И в середине марта в сопровождении пожилого солдата, тоже отпущенного домой, я села в поезд, который повез меня на родину⁴.

⁴ После войны Елена Филипповна Тараканова работала строителем. Сейчас прораб одного из московских строительно-монтажных трестов. (Ред.)



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. АННИНСКИЙ



В ЦЕПИ

Михаил Луконин и его поэтические спутники

Ис о самой природе он был человек ар-
тельный, прожил жизнь окружен-
ный друзьями, сподвижниками, оппонента-
ми, соперниками. Он осознавал себя в ки-
пящем котле заводской молодежи на Ста-
линградском тракторном в начале 30-х го-
дов; был в первых рядах добровольцев в
начале 40-х — в этом поколении его назы-
вали правофланговым. Он всю жизнь ощу-
щал себя в центре решающих событий. Во-
круг него вихрилось. В этой его активности,
в инстинктивном чувстве социального кон-
такта, впитанном с самых ранних, пионер-
ских лет, замечательно выявилась психо-
логия его поколения, порожденного бурной
эпохой, возвращенного для великой войны и
вынесшего ее на своих плечах.

Чувство целого, чувство цепи, чувство
локтя — это было им дано изначально, за-
ложено в душу глубинным слоем. В «систе-
ме спутников» любой из них познается луч-
ше и естественней, чем в отдельности. В от-
дельности они себя не понимали.

Луконин не только не был исключением —
он был своеобразным конденсатором этой
связи спутников.

Он сам искал их. Еще в Сталинграде он
мечтал показать свои стихи Борису Корни-
лову и встретиться со Смеляковым. Корни-
лову стихи послал, но, приехав в Москву
осенью 1938 года, уже не застал его.
И Смелякова не застал. Однако не про-
пал — оказался своим в Москве среди тог-
дашнего студенчества.

Литературный институт. Здесь три круп-
ных мастера: Асеев, Луговской, Сельвин-
ский. Их семинары важнее всех прочих за-
нятий. «Самолюбие и тщеславие, честолю-
бие и гордыня — все замыкалось в семина-
рах, — вспоминал много лет спустя один из
студентов. — Провалиться на любом экзаме-

не было... терпимым делом, а получить раз-
нос за слабые стихи у Асеева, Луговского,
Сельвинского стоило много бессонных но-
чей». Луконин навсегда сохранил безогово-
рочное уважение к этим учителям. Но не
пошел за ними.

«Звонкий аллюр» Асеева, его скачущий,
легкий, вытягивающийся на лету стих, во-
допад самоцветных находок, парадоксов,
каламбуров, взмывающий напор искусства,
о котором Пастернак (как раз в ту пору)
сказал: «...выдумка, крылатое, закругленное
выражение», — вот первый вариант мастер-
ства, с которым соприкоснулся молодой Лу-
конин.

Рядом — Луговской. «Напряженное ды-
ханье, гулкой крови перезвон, посреди су-
хих и жарких, окровавленных знамен.
Трубный глас, пышущий искрами и огнем.
Экспрессия, ярость, символика, спиральное,
карусельное, опьяненное кружение слов;
звезды, волны, ветры, бездны, ливни, тай-
ны, синие молнии и громовые удары —
экстатическое напряжение стиха. Этот ро-
мантический строй тоже взвешен как воз-
можный.

Наконец, Сельвинский. «Бронзовый барн-
тон», прихотливо и искусно вибрирующий
между полюсами страстей, то ныряющий до
первозданно-звериного, киплингского ба-
са, то взмывающий до почти неслышного
дисканта тончайших культурных ассоциа-
ций, — это пряное сплетение стихий и форм
тоже школа.

Луконин не заразился ничем, хотя, во-
обще говоря, барочный стих Сельвинского
открыл поэтам его поколения многие воз-
можности, да и самому Луконину наверня-
ка помогла найти свой ритм валкая музыка
«Охоты на тигра». Только для иных целей
он искал этот ритм.

Устоял Луконин и против властного обаяния Луговского, хотя тут возникла глубоко личная, почти сыновняя преданность.

И Асеев не подсказал решения — впрочем, и здесь установилась достаточно прочная личная связь, и была долгая последующая переписка, и, главное, стоял за Асеевым единственный для Луконина всеподавляющий поэтический авторитет: Маяковский.

Этот авторитет, неустанно подчеркиваемый Лукониным на протяжении всей его жизни, не должен слишком сбивать нас с толку, когда мы исследуем конкретный путь луконинской лирики. Ибо путь этот неповторим, и Маяковскому Луконин тоже не подчинился. Маяковский стал для него скорее символом общей мировоззренческой ориентации, чем камертоном конкретного стиха, хотя иногда в горячке литературных схваток Луконин и пытался возводить к Маяковскому свою поэтическую интонацию. К счастью, всегда неубедительно.

Его первые непосредственные контакты со стихами Маяковского — 1935 год, клуб тракторного, кто-то читает Маяковского со сцены; затем 1936 год, гастроль Яхонтова в Сталинграде. Стихи насторожили. Заголовок вали. «Где же... рифмы, сравнения, эпитеты, ямбы, хорей?» Маяковский пошатнул «убеждение, будто в стихах что-то обязательно сравнивается с чем-то: луна — с куском арбуза, лунная дорожка на воде — с вымпелом и т. д.». Роль Маяковского — очищающая: он расчистил путь. Освободил от чужих решений, сказал: ищи свое.

Теперь еще раз взвесим три поэтические системы, с которыми Луконин вошел в контакт: Асеев, Луговской, Сельвинский. Общее, что всех троих объединяет, — завершенный романтический склад. Тут не то что луна с куском арбуза или дорожка с вымпелом, тут какой вариант ни возьми — такая напряженность, такая эстетическая законченность, с какой можно было взаимодействовать только в одном направлении — отталкиваясь.

«Мы бешевали на семинарах...»

Кто «мы»? Вот расшифровка из книги воспоминаний С. Наровчатова «Мы входим в жизнь»: «Майоров и Коган, Луконин и Кульчицкий, Отрада и Гудзенко, Слуцкий и Самойлов, Воронько и Глазков, Молочко и Львовский...» А если шире, то это и учитель с Урала Михаил Львов, и московские школьники Межиров и Винокуров, и школьник из Гусь-Хрустального Ваншенкин, и

школьник из Белозерска Орлов, стихи которого о «тыкве с брюквой» только что похвалил в «Правде» Корней Чуковский. Одни были уже замечены, другие еще неизвестны... Одни были мечены, другим предстояло выйти живыми, но все они: и те, кому суждено было погибнуть, оставив будущим издателям стихи в записных книжках, и те, кому дано было десятилетия спустя договорить за живых и мертвых, — они все вместе потенциально уже составляли в русской лирике неповторимое новое поколение.

Луконин был не один. Они все, интуитивно ища свой будущий язык, видели перед собой блестящие, великолепно разработанные за два советских десятилетия романтические системы. И все интуитивно от них отталкивались.

Нет, они, конечно, были настоящими и глубоко преданными наследниками романтической традиции, точнее, той ее «работающей» линии, которая шла к ним от Маяковского и во многом символизировалась формулой Багрицкого, соединившего в символе веры три имени: Тихонов, Сельвинский, Пастернак. В системе их симпатий Есенин, например, был явно отброшен на периферию; можно смело предположить, что в кругу классиков Лермонтов был им безоговорочно ближе, чем Фет или Тютчев, достаточно мысленно сопоставить круг предпочтений молодого поэта 1939 года с кругом предпочтений «типичного» молодого поэта 1979 года (где Фет, Тютчев и Есенин, пожалуй, никого вперед не пропустят, разве что Пушкина) — и ясной станет творческая генеалогия предвоенных лириков. Да и практика станет понятной — вся система приемов от подчеркнутой ораторской установки до странной нынешнему уху формулы: строки надо «свинчивать», как детали...

Однако внутри романтической традиции общий вектор движения был в сторону простоты. «Свинчивание» строк воспринималось скорее как деловая уместность, чем как эстетическая изобретательность. Ораторская установка тяготела уже не к митинговой экзальтации, а к разговорной доверительности. Сдвиг к простоте был общей тенденцией — неясны были только формы, которые эта простота обретет.

Одна простая поэтическая форма, впрочем, уже стремительно набирала силу на другом конце поэзии — народный стих Твардовского. «Страна Муравия» была уже

написана — «Теркину» предстояло родиться. Но этот стих был уже за пределами романтической традиции и за пределами восприятия той поэтической волны, которая «бушевала на семинарах» 1939 года: показательно, что по пути Твардовского не пошел не только Павел Коган, признанный публицист и поэтический идеолог своего поколения, не только Кульчицкий с его неистовым формотворчеством — это-то неудивительно; но по пути Твардовского не пошел и Луконин, который, казалось бы, и жизненным опытом и психологической структурой должен был тяготеть к близким корням; именно для Луконина Твардовский стал — на все годы — поэтическим антиподом, в сопоставлении со словесным строем которого Луконин осознавал свои «углы» и свою интонационную «нестройность». Гармония не была суждена ни ему, ни его поколению. Все они искали новый стиль. Все знали свою судьбу.

У Луконина были близкие оппоненты, в контакте с которыми вызревала в те месяцы луконинская стиховая интонация. Один из них — Павел Коган.

Формула сближения (чисто биографическая) на нынешний взгляд, пожалуй, покажется несколько странной: с Лукониным, футболистом и спортсменом, начинают состязаться по... физической подготовке. Как сказала бы Маризтта Шагинян, таков был «воздух тех лет».

Студенты Павел Коган и Михаил Луконин в гостях у студента Анисима Кронгауза на Малой Бронной стоят друг против друга и жмут гантели: кто дольше? Наконец Коган опускает руку и, побелев от досады, сдается. После этого состязание переходит на почву поэзии. Оба едут к Когану на улицу «Правды» и всю ночь читают друг другу стихи...

Коган — признанный лидер молодых поэтов ИФЛИ, восходящее светило семинара Сельвинского — с замечательной ясностью концентрирует в себе психологический состав «поколения сорокового года», этого уникального в своем роде поколения «лобастых мальчиков невиданной революции», поколения, выросшего уже при советской власти, всецело внутри новой социальной системы. Именно Коган, систематик и рационалист, пытается выразить целостную систему воззрений, которую вынашивают прямые и чистые «мальчики державы», граждане грядущего коммунистического братства, ненавидящие всякую половинча-

тость и смутность, безостаточно преданные великой, всемирной, планетарной правде.

Луконин из того же материала. Хотя склонен не к космической систематике и мировому охвату, а к непосредственной правде переживаемых состояний. И последующие обширные его поэмы тоже ведь не возведение модели мироздания, а упрямое перемалывание впечатлений. Не эпический портрет и не идейный чертеж своего поколения должен дать Луконин, а психологический образ его, но это то же самое мироощущение: безостаточное единство, вбранность индивида в общественное и мировое целое. То ощущение планетарного всечеловеческого единства, о котором все они говорят «космическими» словами: «земшарец», «планета», «мир», — Коган выражает на языке идеологических символов: «Земшарная республика Советов». Луконин тоже носит в себе «земшарный» образ целого и в свой час тоже даст ему толкование, но чисто пластическое: в стихах об окруженце, который выходит к своим по школьной карте полушарий: «...несет из окруженья шар земной...»¹.

Как и все они, Коган знает свою близкую судьбу. Он пишет о «смертных реляциях», в которые внесено его поколение, и, как у всех у них, это не ощущение смерти как конца и небытия. Это уникальное, удивительное ощущение смерти как исполнения судьбы, как исполнения долга и предназначения, смерти как разрешения героической задачи.

Луконин выражает то же чувство, но прямодушнее. И он пишет о возможной смерти, в сущности не думая о ней как о конце, с одинаковым спокойствием говоря: «...вот и я умру когда-нибудь» — или «...вот почему я не умру». Эту-то необъяс-

¹ Когда был убит Коган, судьба послала Луконину Семена Гудзенко. Существует малоизвестная, тонюсенькая и очень плохая совместная книжка Луконина и Гудзенко, изданная ими в Курске в 1947 году (никогда ничего не перепечатывалось). Я ее взял и стал вчитываться в безликий треск совместных стихов, тщетно пытаюсь угадать, что в нем от Луконина, а что от Гудзенко. Вдруг две сильные строчки остановили меня: «Мир лежал в пучке меридианов, сжатых кулаками полюсов». Гудзенко? Луконин? Пожалуй, первый. А может быть, и второй. А мог бы и Коган, наверное... Мог бы любой крупный поэт их поколения. Это общая формула их мироощущения. Характерно, что два своеобразнейших поэта — Гудзенко и Луконин, — отрешась каждый от своего голоса ради «совместного творчества» сразу согласно отступили к этой общей формуле.

нимую радость жизни, не желающей знать конца, и заметил умудренный опытом Андрей Платонов в своей рецензии на ранние стихи Луконина и горько усмехнулся про себя. Все поколение было таким. Они ждали войну...

Павел Коган успел не много. Чертеж души. Тонкий оттиск. Странный контур. Прямой, твердый, хрупкий, угловатый стих, в котором еще вибрирует мечта мальчишеская. Стеклопрозрачность души. Готовность вынести свинцовую тяжесть — и слабость детских «худеньких рук». Сам стих Когана, вызывающе прямой и ломкий, — как ожидание. Его еще пошатывает. Вдруг оступается стих из чеканной кристалльной ритмичности в какую-то полупрозу (как в «Письме»: «Вот мы и дожили, вот и мы получаем весточки в изжеванных конвертах с треугольными штемпелями, где сквозь запахи армейской кожи, сквозь бестолочь слышно самое то, то самое, — как гудок за полями...»). Ритм угадывается — слов еще нет... опыт еще не наступил. Интонация всплывает неожиданно — в ней нет поэтической программы.

Не Когану суждено найти новую интонацию и осуществить ее как принцип. Суждено Луконину. Но он еще не знает этого.

В его близком окружении есть поэт, который уже нащупал, нашел, угадал свою дорогу — ту форму, в которую должен уложиться нависший над людьми опыт, и к этому опыту уже успел сам прикоснуться на Халхин-Голе. Константин Симонов. Логикой вещей они должны сойтись — дипломник Литинститута, автор нескольких блестящих поэтических сборников, и приехавший с Волги дебютант.

Формула сближения та же. Волейбольная площадка. Симонов подает мяч. Промаях. Луконин смеется. Симонов со злостью обобщивается: «Нечего зубы скалить! Попробуй сам подать!» Луконин подает — виртуозно. После игры Симонов подходит: «В спорте, видать, силен. А как в поэзии?»

Надо получше взглянуть в эту сцену: на краю волейбольной площадки первокурсник читает стихи дипломнику. Оба твердо знают, какой не должна быть поэзия, оба ругают гладкопись и патентованную поэтичность, оба чувствуют: стихам нужна «проза». Две родственные образные концепции подступающей военной эпохи примеряются друг к другу.

Впоследствии Симонов признал влияние Луконина на свои стихи. Признал и дру-

гое — что пошел по другому пути, чем Луконин: «Я обманул его ожидания». Вариант Симонова был — простая, четкая, скупая на внешнее выражение эмоций, строгая и ясная повествовательность. Луконин вынашивал иное...

Среди поэтов, находившихся в те месяцы в сфере его восприятия, был один, попавший почти в точный резонанс с предчувствуемой им стиховой интонацией, — Леонид Лавров. Вслушайтесь:

Я задыхался. Я больше не мог. Радость
Раздула мне легкие, застряла в глотке,
Разделила мне нервы от лада до лада
На большие басы и дискантные нотки...

Последние две строчки далековаты от Луконина: он звуков не утончал и музыкально стих не гармонизировал. Но две первые поразительно предсказывают луко-
нинское — помните? — в стихах 1954 года:

Я проснулся от радости,
ногами отпихиваю одеяло,
глаза раскрываю,
встаю, как пружина...

Или более раннее — 1945-го:

Я просыпаюсь — четыре стены. —
вот начало.
Четыре стены! — вот начало тревоги...

И еще раньше — 1940-го:

Я жалею девушку Полю.
Жалею...

Мог Луконин знать те стихи Леонида Лаврова? Лавров их написал в 1928 году. Помнить полтора десятилетия для такого точного попадания? — сомнительно.

Впрочем, вот Лавров 1932 года:

Листопада по лужам прошлогодний экстракт;
Муравьиные конусы, кипящие пивом,
По припекам крапивы, крапивы эдак и так,
С ожогом и без, и напоследок — просто крапивы...

Опять что-то есть... Последняя строка — чистый Луконин: не просто ритм шатается, вместе с ним само движение мысли вышатывается из ровной логики, отступает как бы вспять, в сторону. Мог Луконин знать эти строки? Мог. Лавров был из «конструктивистского молодняка» 20-х годов и с Сельвинским имел связь достаточно прочную. И новые, в 1939 году написанные стихи, может быть, приходил читать Сельвинскому. Может быть, и на семинаре

читал. Может быть, и в присутствии Луконина.

По глубинным принципам Лавров был, конечно, далек от Луконина. Поэт нежный, тонкий и созерцательный, он словно быстрыми пальцами пианиста пробегал по дольникам Сельвинского, извлекая из них гимны природе и всему живому; его образные картины, похожие на гербарии, — светлый парафраз из раннего, «темного» Заболоцкого — были, в сущности, очень красивы и очень печальны. А главное, они всем строем были обращены в поэзию 20-х годов. Луконин ждал 40-х. Да, Лавров попал в ритм, которому суждено было вот-вот наполниться кровью. Но не в его стихах.

Это, наверное, и подкосило Лаврова как поэта. С горечью я думаю о том, как фатально не везло этому одаренному, самоубитому, тихому человеку, ближайшему предшественнику Луконина в русском стихе: после яркого дебюта в начале 30-х годов он лет десять не печатался; наконец его новый сборник приняло издательство «Советский писатель» — деловое обсуждение должно было состояться 25 июня 1941 года... Прости, читатель, что я отвлекаюсь от темы, — давай хоть здесь помянем Лаврова и воздадим ему должное: он ведь так и не поднялся. Выкашляв остатки легких, безвестно умер в Москве в 1943 году. Никто не заметил этой тихой смерти в разгар войны. И четверть века спустя книжка стихов Лаврова (она вышла в 1966 году) не смогла вернуть его в круг живого внимания критиков и читателей. Он по сей день забыт. Это несправедливо. Но, увы, понятно. Причиной поэтической смерти Лаврова определяется жестко и однозначно: не почувствовал войны. Нет, он написал о войне, но как! «Надевай-ка лыжи — да по снежной дали, пусть их бег пролижет след яснее стали... Ветер мчится колкий, мчится ветер юркий, и под снегом елки будто бы снегурки...» То ли рождественская «Елочка», то ли песенка конькобежцев. А ведь это о войне, о финской кампании. И это: «Помнишь, как, накинув плащ поверх шинели, ты на белофиннов шел через метели?...» Весело и легко.

Дыхание стиха у Лаврова осталось само по себе, дыхание войны — само по себе. Соединил это Луконин. На десятилетия. Безошибочно.

Летом 1939 года Луконин съездил в Сталинград и к началу занятий привез в Литинститут Николая Отраду. А уже в декаб-

ре они вместе бежали в военкомат: боялись, что с белофиннами управятся без них...

Война оказалась непоэтичной. До вихревых атак дело не успевало дойти: попавшие в лыжный батальон студенты замерзали, выбиваясь из сил во время длинных переходов. Они прибыли на фронт в дорогих мудреных спецкостюмах, но быстро сменили их на простецкие ватники. Война встала не победными бросками и не оперативными стрелами, она обернулась изматывающей работой, неведомым бытом передовой, прежде пуля она была ледяной καθηдневностью, тупой стихийной силой, — о ней уже невозможно было рассказать светлыми романтическими словами. Вчерашние романтики, валяясь по госпиталям, искали другие слова:

И о нас зачинались сказанья и были,
Хоть висела в землянках смердящая вонь,
Пока с санитарями песни мы выли
И водкой глушили антонов огонь...

На той, ранней войне погиб Николай Отрада. Меня поразило: потомок воронежских крестьян, какие-нибудь полгода назад впервые привезенный Лукониным в столицу из Сталинграда, и он в бою кричал финским снайперам: «Москвичи не сдаются!»

Двадцать миллионов смертей вставало из-за горизонта. Эти были первые.

В Москву Луконин возвращался без Отрады. Побратимы, они успели перед боем поменяться медальонами. Это значит, что там, в Сталинграде, сначала должна была мысленно схоронить сына бездвижная, разбитая ревматизмом мать Луконина, а потом, по «выяснении ошибки», это предстояло матери Николая Отрады. И предстояло девушке. Девушке Поле.

Так в марте 1940 года возвращался в теплушке с севера победитель финской войны. Стихи об этой войне и стали той точкой, с которой начался поэт Луконин.

Коле Отраде

Я жалею девушку Полю.

Жалею
за любовь осторожную:

«Чтоб не в плену б».

За:

«Мы мало знакомы»,

«не знаю»,

«не смею»...

За ладонь, отделившую губы от губ...

Вот она, луконинская интонация, состоящаяся, осуществленная. То, что впоследст-

дым костров, огненная песня. Н. Тихонов вводит в дело еще более давние романтические символы: из-за вершин карельских сосен встают зубцы древнего Кавказа, светит с небес луна Оссиана. Е. Долматовский, со всем молодой, ищет новым впечатлениям поэтические координаты в сфере, которую я назвал бы географической, или даже картографической, он вспоминает Колпино, Рязань, Москву, Третьяковскую галерею, Дальний Восток и даже Южный берег Крыма (эта тенденция была сильна в предвоенной лирике, ее лучшее выражение — песня «Широка страна моя родная»).

Луконинский стих словно вынут из этой сетки, он словно начат с нуля, о нем думается толстовскими словами: как-то голо. Этот стих бьется под реальным ледяным ветром и, шатаясь, упираясь, выживая, выработывает совершенно новую силу сопротивления. Позднее скажут: вот «первые солдатские стихи о войне». Скажут: Луконин первым в поколении почувствовал, что финская кампания только прелюдия; грядет большая война, и она будет ни на что известное ранее не похожа...

«Коле Отраде» сопутствовало еще несколько стихотворений, привезенных с севера: «Мама», «Наблюдатель», «Если бы знала ты...», «По дороге на войну», «Твое письмо». Их Луконин и стал считать первыми в своей жизни. Стихи были опубликованы в журналах «Знамя» и «Молодая гвардия» (впрочем, не все: «Коле Отраде» так нигде и не прошло тогда²). В общем публикация вышла яркая и была замечена. Хотя и не была похожа на праздничный дебют. Скорее на боевой прорыв. Много лет спустя мемуарист заметил об этом: «Кроме Луконина, никто не прорвался в журналы».

Луконин прорвался. И на какое-то мгновение сделался центральной фигурой молодой лирики. С него стали начинать списки. В январе 1941 года в числе других дебютантов Литинститута Луконин читал стихи в Клубе писателей на вечере, который, по тогдашнему обыкновению, назывался «Вечер трех поколений»: от первого — Сельвин-

ский, от второго — Симонов Луконин был от третьего. Пробираясь под аплодисменты на свое место, почувствовал, что кто-то загородил ему дорогу: «Постой. Иди сюда. Ты поэт». Вглядевшись, узнал Смелякова.

...Что ж он читал на том вечере? «Маму»? Он это стихотворение часто читал в ту зиму:

Взять чемодан и сказать: «Пока!
Я на войну!» Улыбнуться слегка
И повернуться спиной к слезам,
К зовам маминим...
На вокзал.

Хочу представить себе: как эти стихи должны были тогда восприниматься? И их непредсказуемый ритм, и интонация, в которой смешались смущенная улыбка и какой-то странный прищур, взгляд «сквозь близкое». Слово все, что видишь, привычное, всегдашнее, — даже мама, даже слезы ее — отодвинуто в качающуюся дымку перед чем-то невидимым, но реальным, огромным, неотвратимым, надвигающимся.

В июне «Литературная газета» впервые упомянула имя Луконина в критической статье. Это был обзор поэтических публикаций последних месяцев. Вопрос ставился жестко: какие стихи нам нужны и какие не нужны? С оговорками, но все же положительно оценивались Кульчицкий, Слуцкий, Наровчатов и Самойлов. Некоторым поэтам досталось. Например, Луговскому. О Лаврове было сказано: «...редкая для нашего времени смысловая ограниченность и омертвелость». Вывод статьи: «Иных, совсем иных образов требуют стихи о современной войне». В списке лучших Луконин стоял вторым. Между Эренбургом и Шубиным. Статья появилась 8 июня.

Через две недели студенты Литинститута приняли резолюцию об общем уходе на фронт.

Ждали предписания (военизированный лагерь за городом, палатки). Ночью комсорг разбудил двоих, тех, кто прошел финскую кампанию, с ними он мог говорить прямо. Показал пакет. Луконин глянул на Платона Воронько: «Начинается». Тот поправил: «Началось».

Обмундированные с иголки, уезжали с Киевского вокзала. Вскочили в последний момент в тронувшийся вагон. И тут ветром сорвало с Луконина новенькую фуражку. Все замерли: дурная примета.

В последнее мгновение поймал ее на лету

² Когда это стихотворение семь лет спустя (войну спустя!) появилось в первой книжке Луконина, критик, похваливший его, написал: «Николай Отрада — это был реально существовавший человек, действительный друг Михаила Луконина...» («Октябрь», 1947, № 6). Представляю, какую боль должны были принести Луконину эти строки.

Считается, что у Луконина счастливая литературная судьба. Не жизненная — тут-то он хлебнул все положенное: две войны прошел. Нет, именно литературная. Издательская. Полсотни книжек при жизни! Сравнить со Слуцким, который чуть ли не полтора десятка лет ждал первого сборника. Или с Самойловым, час которого настал лет через двадцать после дебюта. А Окуджава, который пробивался сквозь частокोल критики и лишь к середине 60-х годов одолел? На этом позднейшем фоне и ходит Луконин в счастливых. Это почти общее мнение; формула «у него была счастливая литературная судьба» принадлежит К. Ваншенкину.

Однако тот же К. Ваншенкин свидетельствует о следующем. Когда в 1946 году он, двадцатидвухлетний демобилизованный сержант, пишущий стихи и мечтающий о литературе, начал посещать поэтические вечера, он вдруг обнаружил, что, помимо Твардовского, Исаковского, Суркова и Симонова, существует, оказывается, еще одна военная поэзия, ему неизвестная, что гремит она на вечерах, встречая бурное одобрение слушателей, что есть у нее свои лидеры, признанные, несмотря на отсутствие тождественных книг: Луконин, Гудзенко, Межиров... Стихам, которые читались тогда на вечерах, со временем суждено было войти в антологии и хрестоматии — Луконин читал, например, «Коле Отраде», — но вот парадокс момента: Константин Ваншенкин, который тоже прошел войну и уже года три как сам пишет стихи и, конечно же, чужие читает где только находит, — слышит все эти имена — впервые!

Тут даже не в номинальных публикациях дело: в конце концов, кое-что и было напечатано в армейских и фронтовых газетах (по этим-то газетам, собственно, поэты новой волны и знали друг друга: Гудзенко и Луконин, Недогонов и Межиров, Дудин и Орлов), сами они уже ясно ощущали себя поэтическим поколением, но ни широкая читательская аудитория, ни высокая профессиональная критика не знали их. Или не признавали.

А ведь речь идет о людях, которые уже к началу войны чувствовали себя поэтами. Кто помоложе — Винокуров, Окуджава, да тот же Ваншенкин — осознали себя поэтами уже в окопах. Но первые-то — Гудзенко и Недогонов, Львов и Слуцкий — успели раньше. Если не в большую печать, то в профессиональную поэзию. Заметим, что,

отбывая на фронт в 1941 году, Луконин и Наровчатов направлялись уже не в батальон, как в 1939-м. Они были направлены в армейскую газету...

Судьба, правда, распорядилась иначе. Не в газете развернулись события. А было поле на Брянщине, крик: «Окружены!» — прыжок из горящего грузовика, задыхающийся бег к лесу, удар пули, кровь, хлопающая в сапоге. Там, в грузовике, сгорел вещмешок с рукописью поэмы, но было не до стихов. Впереди шестьсот верст, пешком к своим. Товарищ рядом, шутки невеселые: «Слишком жирно для фашистов будет ухлопать сразу двух поэтов!» Однако чуть не ухлопали уже на последних из этих шестисот верст, когда вдвоем перебежали шоссе. Немецкая штабная машина вынырнула неожиданно, тормознула перед ними, и замерли под взглядом немецкого офицера два русских оборванца — один синеглазый, светлый, другой черный, словно обугленный... Немец был кадровый. «Не сволочь, не гестаповец». Масштабно, видать, мыслил, не хотел отвлекаться, на эту рвань на дорогах. Дал знак шоферу: вперед! Ушла машина.

Тридцать лет спустя они узнали бы того немца!

...Вышли к своим.

И тут ледяной душ: «Почему остались живыми?.. Где были целый месяц?..» Редактор решает: нам не нужны окруженцы.

В редакцию-то он их взял — под давлением сотрудников. Но работа не была похожа на поэтическую. «Забудьте, что вы поэт, — вы присланы литсотрудником», — учил редактор. Однажды ему сказали, что Луконин написал стихотворение «для себя». Выговор: «Вы не имеете права красть у редакции время!» Стихи следовало писать только по заданию. «Завтра напишите поэму о минометчике Н.». «Через час — стихи об оборонительных укреплениях»...

Писал об укреплениях. Армейская газета шла в части, шла и наверх, на уровень фронта, и выше — в «Красную звезду». «Красной звезде» сначала было не до обзоров печати, но когда в феврале 1942 года руки дошли, Луконин прочел следующее: «С недоумением смотрит читатель на страницы газеты «Сын Родины»... В номере за 10 января... стихотворение М. Луконина... Стихотворение представляет собой наспех срифмованные строки, где недостаток по-

этического чувства автор пытается возместить вычурностью стиля».

Я привожу это место не затем, чтобы оспаривать его по существу или искать более точную оценку цитируемым далее луконинским стихам, — стихи действительно наспех, и ни в одной из будущих книг Луконина, разумеется, их не найти. Я это рассказываю для психологической характеристики: с этого-то редакционного обзора «Красной звезды» и начинается «счастливая литературная судьба» фронтового поэта Луконина. О его душевной реакции лучше всего говорят письма.

К. Симонову по свежим следам — в марте 1942 года: «Здравствуй, родной Костя... Со мной произошли самые удивительные истории. Второго октября я выехал из Москвы в (редакцию газеты. — Л. А.) «Сын Родины», прошел путь Ямпольского³, был однажды ранен немцами и однажды убит «Красной звездой» — а все жив и здоров... Стихи я все-таки пишу... Часто вспоминаю тебя... Жаль, что «Красная звезда» так нещадно обвинила меня в преступлении военного времени: «отсутствии чувств». Это уже обидно. Об этом я написал редактору «Красной звезды», если есть время, прочти⁴. Костя, напиши хоть пару слов. Ты же всегда выручал меня в трудную минуту...»

Симонову Луконин отвез в Москву летом 1942 года рукопись своей книги «Поле боя». Симонов должен был передать стихи в издательство «Советский писатель».

Ноябрь 1942 года: «Родной Костя... Чувствую себя чудно. Пишется лучше. Как-то этому помогает мысль, что «Поле боя» в работе у «СП». Прошу тебя позвонить, узнать, как дела...»

Дела были никак. И еще целый год, 1943-й, никак. Луконину этот год, как замечает Симонов, «было не до корреспонденций»: достаточно сказать, что он своими глазами видел битву под Прохоровкой...

Январь 1944 года (письмо, из которого видно, что надежды на книгу почти выветрились): «Здравствуй, родной Костя... Все лето мчался с танкистами сквозь пыль адскую... Этим живу... Главные радости делю с бумагой. Но уж, видно, пока все останется дневником. Видимо, пишу на после войны...»

³ Имеется в виду выход из окружения. (Прим. К. М. Симонова.)

⁴ К. Симонов сотрудничал тогда в «Красной звезде».

Горькое это предчувствие подтвердилось, когда Луконина догнали издательские рецензии на «Поле боя» (реальное поле боя стремительно отодвигалось к границам). Одна рецензия была «до безобразия нравоучительная», другая «хвалебная, но глупая», заключение редакции — отрицательное. Луконин послал обоим рецензентам «зубастые письма» (это было в его характере), излил душу Симонову и махнул рукой.

И тут поднялся Симонов.

Если искать в истории поэзии военных лет, и в частности среди критических на нее откликов, событие, вполне выразившее драму становления этой поэзии, то это, конечно, статья Симонова «Подумаем об отсутствующих». Без нее в нашей истории не обойтись.

Сейчас в этой статье поражает обилие осторожных оговорок: «Мне не все нравится в этих стихах, но мне очень нравятся люди, написавшие их». Это о стихах, которые будут неоднократно переиздаваться. Дело, конечно, не в том, что Симонов не все принимал: принимать все — так, кажется, и не бывает у поэтов. Осторожность формулировок продиктована не личным вкусом, а чувством ситуации. Предложить кардинальное обновление лирики по тем временам было делом очень ответственным, если не рискованным. В пределах того, что допускала ситуация военного времени, когда было не до «литературных чиносков», Симонов сделал все возможное. Он писал: «В каждом из этих стихотворений, я уверен, есть истинное поэтическое чувство и острый глаз очевидца...»

Истинное чувство и острый глаз... Маловато, конечно, по нашим нынешним понятиям, для поэтов, обновивших русскую лирику. Но ведь это еще должно было выясниться! А тогда речь шла об элементарном: издать. И это было просто!

Словно отвечая Луконину на его письмо, Симонов заявлял в газете: нельзя все откладывать на после войны, надо начинать сейчас, сегодня.

К. Симонов не просто взял фронтовиков под защиту, он смонтировал в свою статью щедрую подборку их стихов. Он представил троих: Недогонова, Луконина и Наровчатова. Стихи эти, заняв вместе со статьей Симонова чуть ли не полполосы, появились 19 августа 1944 года в газете «Литература и искусство» (выходил в годы войны такой сводный орган всех твор-

ческих союзов). Публикация получилась звонкая.

И все-таки еще три долгих года ждали фронтовики выхода своих книг. Литературная ситуация должна была дозреть до того жестокого и несправедливого опыта, который несли с собой поэты фронта. Она дозревала долго. Переломилось в 1947 году. Когда новое поколение собрали в Москву на Первое всесоюзное совещание молодых писателей. И одному из них дали слово от имени молодых. Он продержался на трибуне около часа. Он сказал: нашими первыми слушателями были солдаты, которые лежат теперь под фанерными обелисками от Подмосковья до Эльбы! Сколько можно отмахиваться от наших стихов, как это делают сейчас газеты и журналы!

Это была точка поворота.

В тот год у Луконина вышло сразу четыре книги, на которые откликнулись практически все тогдашние литературные органы. Отныне он уже не уходил с авансены поэзии. Началась «счастливая судьба».

Ситуация, однако, была отнюдь не безоблачная. Молодые поэты фронта стремительно входили в центр внимания критики, но пониманием она их не баловала. Сошлюсь на своеобразный «ответ обвинителям», помещенный молодыми поэтами в «Литературной газете», — тут сам ход рассуждений любопытен. Ход такой: да, у нас есть недостатки, и над их искоренением мы работаем; да, мы еще грешим натурализмом и бытописательством, есть у нас излишнее любование окопным страданием (следуют цитаты из собственных стихов); но, товарищи критики, не записывайте нас в безнадежные пессимисты, помогите нам избавиться от наших недостатков!

«Воздух тех лет»...

Статья тоже совместная: Луконин и Гудзенко.

Гудзенко в ту пору самый близкий Луконину человек в поколении. Тут тяга давняя: перед войной, когда Луконин читал стихи на очередном вечере трех поколений, Гудзенко, молоденький ифлиец, как завороченный слушал в первом ряду: прошло четыре года, в разгар войны к Луконину на фронт попала книжка Гудзенко, это было его «второе поэтическое потрясение за войну» (первое — «Знамя бригады» Кулешова).

Познакомились сразу после войны и семь лет — до самой смерти Гудзенко в 1953 го-

ду — были теснейшими друзьями. Что их связало? Не только общность поэтических тем, в пределах которой контраст индивидуальностей делает параллель с Гудзенко самой продуктивной для определения места Луконина в лирике фронтового поколения. Связала еще и роль, которую каждый из них в свой час сыграл в становлении этой лирики. Гудзенко для 1942—1946 годов приблизительно то же, что Луконин для 1939—1941: «первый прорвавшийся». И потому, что уже в ходе войны у Гудзенко успели выйти две тоненькие книжки стихов. И еще более потому, что в середине войны, весной 1943 года, когда Гудзенко был выбит с фронта ранением, у него — раньше всех других! — состоялся в Москве творческий вечер, на котором сам Илья Эренбург предрек Семену Гудзенко замечательное поэтическое будущее. Эренбург не называл его «первым прорвавшимся», он его назвал в более высоком стиле — провозвестником. Мы не знаем этого поколения, сказал Эренбург, мы еще не читали его книг, но оно будет играть не только в искусстве, но и в жизни решающую роль после войны.

Напомню, когда это было сказано: в апреле 1943 года.

Напомню и то определение, которое Эренбург дал тогда поэзии Гудзенко: смесь барокко с реализмом.

А теперь напомню гудзенковские строки 1942 года, на которые опирается Илья Эренбург:

...Бой был коротким.

А потом
глушили водку ледяную,
и выковыривал ножом
из-под ногтей

я кровь чужую.

Неслыханное, сокрушительное давление детали, причем детали подчеркнута грубой, некрасивой, страшной.

Откуда это? Откуда это в «ушибленном образовании»⁵ ифлиец, который ухнул во фронтовую реальность прямо из студенческих высокоумных семинаров? И нет ли в этом закономерности: самое нежное оборачивается самым жестоким?

Есть закономерность.

«Лобастые мальчики невиданной революции», они все были — уникальные «граждане мира», безгранично верящие в его бесоз-

⁵ Влюбленное определение, данное Семену Гудзенко Лукониным в книге «Товарищ поэзия» (М. 1972. стр. 223)

таточную целесообразность и высшую разумность, хотя эта вера далеко не у всех получала такое светлое и рациональное выражение, как, скажем, у Когана. И вот эта первоначальная романтика сразу зарылась, напоролась, запахалась в вязкую земную реальность, в изрытую пехотой землю, хотя не у всех этот контраст был столь резок. В ряду своего поколения Гудзенко стоял очень близко к воздушно-рациональному полюсу (Луконин тяготел к иному, земному, эмоционально-пластическому). В психологическом состоянии Гудзенко произошло то, что было суждено им всем, но это произошло с какой-то сверхрезкой рельефностью: рациональный строй вещей, где каждая деталь вполне символизирует работающее целое, наполнился страшной земной тягой. И сомкнулись отяжелевшие детали, столкнулись, пробили стих навсвозь.

Звуковая, ритмическая внешняя правильность гудзенковского стиха лишь ярче оттеняет ту бурю, которую производит здесь «внутреннее зрение». Деталь — навывлет, напробой, наповал. Равнина речи взрыта, поверхность взорвана, расчленена, слова затягивают и низвергают, катастрофичность звенит в самом этом гипертрофированном, гиперболизированном столкновении деталей. Эренбург уловил безошибочно: барокко. Образ не столько отражает реальность, не столько передает настроение, сколько символизирует все это, вытесняя собой целое, вгоняя ткань стиха в пики и провалы напряженного образного рельефа:

Занят Деж,
занят Клуж,
занят Кымпелунг.
...Нет надежд.
Только глушь.
Плачет нибелунг.

Ищу у Луконина хоть что-нибудь похожее. Даже в мастерски написанных в самые зрелые годы кавказских циклах, наполненных по старой русской традиции пленительным клетотом грузинских собственных имен, дальше мгновенных аллитерационных находок не идет. «Галактика Галактиона взошла в поэзии родной...» И все. Не держит узора, упускает. На другом строит.

На другом построена поэтическая система Луконина. На чем — попробую передать через «архитектурную» метафору, как это и задано Эренбургом. Барокко? Совсем нет, детали не вытесняют целого,

во всем сохраняется реальная, почти житейская соразмерность. Расчлененные плоскости? Ни в коем случае: везде чувствуется естественный и очень реальный общий план. Поражает в реалистически соразмерных объемах луконинского стиха шершавая поверхность. Ритм речи. То, что так никогда и не далось Гудзенко.

А искал! Пробовал. На какое-то мгновение схватывал и Гудзенко этот шатающийся ритм стиха-говора. «Прожили двадцать лет. Но за годы войны мы видели кровь и видели смерть — просто, как видят сны...» Нет, не удерживал. Скатывался в ямб. Как не удерживал Луконин сквозной детали. Так вот и тянулись друг к другу, будто стремились восполнить души. У Гудзенко в записной книжке 1942 года: «Задыхаясь, не говорят ямбом, а если не задыхаешься... не пиши». Этого он хочет, но получается иначе. Стих разрежен от взрывающихся видений, но рассказано об этом все-таки ямбом. «Задыхающимся стихом» Гудзенко не владеет.

Владеет Луконин.

Они видят одно, но словно с разных точек: Прослежу по трем сквозным мотивам: отношение к врагу, отношение к любимой, отношение к жизни — земле — дому.

Врага ненавидят. Но по-разному.

У Гудзенко ненависть ледяная, словно окаменевшая, запредельная какая-то. «То пни или кустарники? То немец или камень?» Не различает. Не хочет различать. Это логика полной бесконтактности, ощущение провала и разрыва, когда выжжено все между нами и ими, и они — не люди. У Гудзенко есть страшные стихи о том, как он убивает в бою венгерского солдата, почти мальчика, и одновременно думает о том, что этого мальчика ждет дома мать. В этом совмещении планов угадывается перегоревший романтический максимализм чувств, словно любовь вывернулась в ненависть. Вот ее оглушающий пульс: «Ясладань, Ясберень, Ясапати — это заушь венгерских сел. Не карателем, не с проклятьем я на эту землю пришел...» — опять этот звон названий, раскачивающий стих, как колокол... А вот и замок, стык крайних чувств: «И разминивать мне не надо в доме занятому мечь свою. Потому у меня пощады и не просят они в бою». Безмерность. Безжалостность. Полюса чувств.

Луконин ненавидит иначе. Он горяч, вспыльчив, яростен. Импульс боя поджигает его мгновенно. Но за пределами вспыш-

ки он не может долго держать ровную злость. В схватке он хорошо видит силуэт врага, но за пределами схватки... перестает всматриваться. «Там стонет чернозем, шипит от боли, там ползает противники труда (это о немцах! — Л. А.). Их привели отнять у нас свободу...» И слова-то бесплотные какие-то, из школьного учебника. Луконин куда острее видит истерзанный чернозем, чем ползущего по нему немца, и в его отношении к противнику улавливается больше от широкого крестьянского презрения, чем от личного счета, и обвиняет противника Луконин не столько от себя, сколько от имени земли, природы: «...бредут под конвоем посиневшие фрицы, и русская осень плюет им под ноги...»

Разве так у Гудзенко? Вот у него тоже колонну немцев ведут, и что же? Стена! Кровавый штык видением встает. И нет сил жалеть их и смотреть на них — и быстрее мимо... «Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели» — вот Гудзенко.

Луконин-то как раз может пожалеть. В нем много естественных живых сил, и потому он отходчив. К пленному немцу, если тот близко, если видно лицо, возникает у Луконина даже какое-то зазорное любопытство. Помните стихи, как в Ельце пляшет пленный? «Пляшет и пляшет, занскивая глазами...»

Брось скуляты! —

говорит автоматчик. —

Надорвешься до грыжи.

«Капут» — не подлизывайся,

Привычка, наверно.

«Капут, капут», — и пододвигается ближе:

А зачем стрелял в меня на улице Коминтерна?

«Улица Коминтерна»... 1941 год. Еще тают в воздухе последние иллюзии, будто немецкие рабочие не станут стрелять в красноармейцев... Стреляют! Стреляют на улице Коминтерна... Рушится романтическая мечта о близкой всемирной, «земшарной» мировой справедливости, реальность свинцом проходит сквозь романтический мир. Надо искать силы, чтобы устоять духовно в этой пережившейся реальности.

И ищут оба. Но по-разному.

В лирике Гудзенко эта перемена переживается как катастрофа. Он не говорит об этом впрямую, но мотив «подменной реальности» сквозной горечью разлит в стихах. Характерный для Гудзенко образный ход: он окликает реальность, а она отвечает ему... незнакомым голосом. Встречаются двое на перекрестке войны. Он —

солдат, она — солдатка. В порыве торопливой ласки она называет его именем своего мужа, он ее именем своей любимой — любовь продолжается под псевдонимами, горько, вывернуто.

Сравните этот мотив у Луконина:

Меня совсем из сердца излучила?

Теперь уже не мучает вина?

Ты хорошо другого изучила? —

Смотри

не перепутай имена.

Этот не примирится, не примет сон за реальность.

Гудзенко от полноты максималистских романтических чувств горько приемлет мир в его релятивности — Луконин релятивности знать не хочет, в нем слишком много «естества», поэтому он не смиряется, он от любимой требует всего, в этом напоре, в этой цельности страстей есть что-то из языческого наива и неистребимая чувствуется природная живучесть.

Контраст двух поэтических характеров с особенной яркостью виден в отношении к смерти. Оба из поколения меченых, оба за долго знают свою судьбу, и оба своими глазами видят, как умирают, реально. И силы собирают, чтобы выдержать это, оба. Но и тут по-разному.

Гудзенко готовится. Ежесекундно. Я имею в виду не только строки-формулы вроде прогремевшей когда-то фразы: «Мы не от старости умрем — от старых ран умрем». Я имею в виду самый ход стиха, самый тип переживания. То, как вглядывается он в сожженные тела однополчан. Как у него живые глаза вьедает голубизна неба. Слово жизнь — мгновенное чудо, готовое вот-вот оборваться, и надо удерживать сколько хватит сил. «Так раненые кровь хранят, руками сжав культипки ног» — страшный образ, возможный, пожалуй, только у Гудзенко и совершенно немыслимый у Луконина. Ракурс у Луконина противоположный. Для него смерть — абсурд.

Саха, как ты унал небывало...! —

вот чисто луконинская интонация, сообщающая стиху пронзительную и простую доверительность, словно он каждый раз ахает, изумляясь смерти, словно не верит в нее. Это еще с гибели Коли Отрады идет: не примиряется. Слово умирают не наосеет. Слово что-то живое все равно остается в пробитых, простреленных телах. Как

теплится живое и в траве и в камнях — во всем!

Бегущие деревья. Упавшие на лапы трамвая. Колени водосточных труб. Грудь паровоза. Глаза домов. Спины рельсов. Это у Луконина отнюдь не система внешних приемов, а пронизывающее все чувство обжитого мироздания, при котором ощущение миропорядка сохраняется даже в катастрофе. «И пулемет, как плуг, держать — и в путь — туда, где самолет стрижет комбайном». Всякая деталь напоминает о неистребимом порядке целого. Даже если деталь сорвана с места. Даже если все перевернулось в мире.

У Гудзенко деталь вытекает целое, потому что целое сорвано с орбиты. У него человек принимает перевернутую логику. «Где нет воды — умоемся духами, а радиаторы заправим ромом». Ход, решительно невозможный для Луконина, хотя в отличие от иных критиков он никогда не обвинял Гудзенко ни в гусарстве, ни в ухарстве. Луконин любил стихи Гудзенко, но у него было другое ощущение миропорядка. Вспомним «Сталинградский театр», знаменитое стихотворение Луконина, вошедшее в историю поэзии:

В фойе театра
шел бой.
Упал
левый лев,
А правый
заслонил собой
дверей высокий зев.

Каменный лев воспринят как живой; в его гибели нет безумия, скорее это естественное самопожертвование сильного существа. Фантастическая картина, когда герои гибнут на сцене от настоящих пуль, — картина, которая могла бы много поэта толкнуть на апокалипсические чувства, — у Луконина окрашена ощущением жестокого, но правильного, закономерного, неотступного порядка и созидания:

К суфлерской будке
старшина
припал
и бил во тьму.
И
история сама
суфлировала ему.

Космос в хаосе. Разбитый театр — все театр! Истерзанная земля — все земля! Разбитый дом — все дом!

Для Гудзенко дом — знак призрачности.

У него все и а в ы л е т, он «двери отворял штыком». Чувство дома отсутствует, а если оно возникает, то как знак обмана. Вспомните «Балладу об отце и сыне»: снаружи дом как дом, есть стены, окна, двери, а внутри — ни души: брошено, выжжено. «Нам здесь не жить. И графское поместье уже прошли навывлет казаки». Герой Гудзенко — «не житель».

Луконинский герой как раз житель. Именно житель и прежде всего житель, упрямый и цепкий. Отсюда в стихах прорастающие зеленью развалины. И гнезда воробьев в пулеметных гнездах. Природа — это дом. Руины — дом. Чистое поле — дом: «...облака развешаны, как плакаты». Вся земля — дом. «Куда я ни пойду — везде мой дом». Это не тема (хотя и темой обернулось — в циклах о восстановлении Сталинграда) — это мировидение, которое определяет стих и там, где описывается нечто далекое от строительства. Например, осень: «Скоро и лужи, и небо, и окна — все застеклится!» Например, танк: «Стальной холодный дом». Например, бой. Бой, который все распластывает, пригибает к земле... Нет, вы почувствуете, как это увидено, это ж, наверное, никто в русской лирике, кроме Луконина, не мог бы так сказать:

Налезли муравьи
в мой маленький окопчик,
а я траву высокую
поставил над головой,
чтобы меня среди травы
не разглядел летчик,
и так —
с травой — понятней,
когда начинается бой.

Цитирую поздний, исправленный Лукониним вариант по книге «Товарищ поэзия». В «Сердцебиенье» было иначе — «п р и я т н е й, когда начнется бой». Луконин убрал это слово, боясь оттенка парфюмерности, который может с ним влететь в эти точные строки. Но какой-то слабый ответ истины был и в том первом слове. Где-то между холодноватым «понятней» и житейским «приятней» лежит в луконинском мире та живучая сила, которая в самой, казалось бы, безнадёжной ситуации поднимает и гонит человека с муравьиным упорством наращивать жильё и жизнь, дом и космос.

Эта-то живучесть духа и сделала Луконина одним из лидеров поколения. До середины 50-х годов и эта роль и сами стихи Луконина воспринима-

Л. ЛАВЛИНСКИЙ



БИОГРАФИЯ ПОДВИГА

ИЗначу с предположения. Если когда-либо будет издана многотомная антология произведений о Великой Отечественной войне, среди ее авторов, думаю, окажутся едва ли не все наиболее значительные из современных прозаиков. Или, по крайней мере, подавляющее большинство. До сей поры (а ведь больше тридцати лет минуло со дня победы!) создаются и выходят все новые книги об историческом испытании и подвиге народа. Они не только несут читателю прежде неизвестную (и, кажется, вообще неисчерпаемую) информацию о битвах века — некоторые становятся бесспорными художественными открытиями. А ведь, казалось бы, все материка тут давно открыты, все острова обозначены на точных картах. Но, очевидно, не в том дело только, что тема донныне кровоточит, что и сегодня еще во многих и многих семьях отзываются военные беды, а прежде всего в громадной общечеловеческой ценности духовного опыта, заключенного в материале бесчисленных фронтовых событий и эпизодов. Отсветы нынешней эпохи ложатся на этот в главных чертах знакомый материал, и он обнаруживает новые свойства, начинает в свой черед излучать неистраченную болевую энергию. По-новому видится теперь и сделанное нашей прозой за прежние десятилетия: одни имена словно бы растут в наших глазах, другие, сохраняя свое значение, поворачиваются неожиданными гранями, третьи, увы, тускнеют, и в этом нет ничего противоестественного — происходит движение общественной жизни и литературы.

Можно было бы извлечь немало поучительного из картины постепенного угасания некоторых прежних светил, но все-таки первоочередной долг критика говорить о том, что представляет для нас реальную художественную ценность.

Недавно меня захватило чтение двух книг К. Воробьева, вышедших в литовском

издательстве «Вага»¹. В плеяде замечательных писателей, выдвинутых фронтовым поколением, К. Воробьеву едва ли не меньше всех повезло с признанием. Это нужно и важно понять. Даже в творчестве сверстников, правдиво и глубоко запечатлевших годину народных бедствий, автобиографичная проза К. Воробьева выделяется исключительной остротой личной боли. Этому способствовали трагические повороты в его окопной судьбе. Кремлевский курсант К. Воробьев участвовал в боях под Москвой, попал в плен, бежал и закончил войну в партизанском отряде.

Вполне очевидно, что произведения, многие из которых заканчиваются для героя катастрофой (окружение, позор неволи, медленное умирание в концлагере), не могли появиться ни во время самой войны, ни вскоре после нее. Эту прозу породила иная эпоха, для которой наша великая победа над гитлеровским рейхом стала общеизвестным фактом недавней истории. Когда появилась возможность с достигнутой вершины оглянуться на самые мрачные бездны, преодоленные человеком на войне. Но еще и в это время (середина 60-х) воробьевские повести и рассказы многими воспринимались по меркам прежних лет. Ведь они несли новое, выстраданное знание о жизни, бескомпромиссно отвергая стандартные представления о людях, попавших под колеса рвавшегося к мировой власти фашизма. Даже в безвыходных обстоятельствах, которые со всей глубиной личной боли познал и воспроизвел в своих книгах К. Воробьев, эти люди вновь и вновь находят силы к борьбе, обнаруживают решимость к действию, когда оно, казалось бы, немисливо.

¹ К. Воробьев. Крик. Вильнюс. «Вага». 1976. К. Воробьев «И всему роду твоему...» Вильнюс. «Вага». 1978.

Бесспорно, собственный фронтовой опыт имел для К. Воробьева ничуть не меньшую этическую цену, чем для других писателей-сверстников. Отсюда постоянное обращение к той поре, когда герой совершил главное дело жизни: честно выполнил ратный долг перед Родиной. Честно, несмотря на тягчайшие испытания. Отсюда характерное стремление судить себя нынешнего, свои дела и поступки с прежней солдатской строгостью («Не простит меня мой лейтенант!» — восклицал в стихах лирический герой С. Орлова). Отсюда, наконец, и прямая сюжетная взаимосвязь воробьевских произведений, когда одно переключается с другим или даже кажется его продолжением.

Многokrатно, в различных произведениях изображается сцена побега из фашистской неволи — событие переломное в жизни самого автора. Наиболее подробно — в рвущем душу рассказе «Седой тополь». Часто воспроизводятся или упоминаются сходные обстоятельства, одни и те же приметы действующих лиц. Нося в разных повестях и рассказах различные имена, герой неизменен по внешнему облику: высокий (183 сантиметра — рост кремлевского курсанта), истощенный почти до прозрачности, с волосами, отросшими до плеч. Вместо гимнастерки на нем был мешок. В нем он проделал три дырки — одну для головы и две для рук. Этот бумажный мешок с черным немецким орлом (символическое клеймо плена) становится как бы обязательной чертой его внешности, так же как ночной прыжок из окошка немецкого эшелона — неизменной деталью воинской биографии. Соучастником героя в этом отчаянном предприятии повсеместно оказывается младший лейтенант Воронов, ближайший друг и единомышленник, тоже лагерный доходяга.

Впрочем, судьбы этих людей, обусловленные каждый раз конкретным художественным замыслом, складываются по-разному. В одном из рассказов («Немец в валенках») сообщается, что пулеметчик Воронов остался жив после войны. А в повести «Почем в Ракитном радости» герой хоронит Воронова неподалеку от литовского хутора («Могилу я вырыл в глубине лесной опушки под густой елью»). Иногда (повесть «Крик») писатель ведет повествование от лица младшего лейтенанта Воронова, и эти замены главного героя напоминают один из постоянных и сильных мотивов лужинской лирики: до конца дней не уставал поэт размышлять о странной ошибке смерти, по-

щадившей его, когда вокруг погибло столько боевых товарищей; не прекращал М. Луконин и попыток домыслить, почувствовать жизнь за них, сложивших головы как бы вместо него. Очевидно, и для К. Воробьева собственная фронтовая биография растворялась и множилась в судьбах сверстников — писатель торопился выстрадать и запечатлеть разные ее варианты. В сущности, Кузьма Останков, Алексей Ястребов, лейтенант Климов или младший лейтенант Воронов в главных чертах характера не слишком-то отличаются друг от друга и представляют один психологический тип, кровно родственны самому автору. Кто-то из них опытнее на войне, кто-то нетерпеливее, у кого-то запас нравственных и физических сил оказывается прочнее. Тогда более сильный поддерживает ослабшего товарища, не бросает его в самые роковые минуты. Но во всех ситуациях (боя, плена, побега) оба горят единым чувством и мыслят в одном направлении.

Лейтенант Алексей Ястребов (повесть «Убиты под Москвой») за несколько дней на передовой множество раз подвергается риску быть убитым. Выдерживает шквал минометного огня, хоронит погибших товарищей, участвует (уже в окружении) в дерзкой атаке кремлевских курсантов на занятое немцами село, убивает в рукопашной своего первого фашиста, попадает в лесу под бомбы. В конце концов, на его глазах гибнет вся рота и любимый командир. Но, пережив невыносимое, герой простой бутылкой с горючим поджигает вражеский танк, становится опытным и беспощадным воином.

Младший лейтенант Сергей Воронов («Крик») в течение нескольких дней успевает изведать еще больше. Он узнает пылкую юношескую любовь и гибель возлюбленной, смерть многих товарищей и разведку боем, людскую трусость и отвагу, чувство собственного бессилия и верность фронтовой дружбы, ужас и унижение плена, наконец, внутреннее освобождение от него в предсмертном бреде. Над всеми мыслями воробьевского героя властвует жесткая доминанта воинского долга, и эта главная черта его характера с потрясающей силой раскрывается в заключительной сцене, когда пленному чудится, что он браво докладывает командиру о выполнении задания.

В обоих произведениях о горьком, ужасном, нестерпимом рассказано без какого-либо пережима **китонации, воински сжато и**

точно, с умело отобранными картинными подробностями.

Страдания плена как уникальный жизненный материал, на котором писатель во весь рост поднял военно-патриотическую и антифашистскую тему, сближают К. Воробьева не столько с ровесниками в литературе, сколько с прозаиком более позднего поколения — Виталием Семиным, чьим итоговым произведением стал теперь уже широко известный роман «Нагрудный знак OST», рисующий страшные будни фашистского арбайтлагеря. Но решающая возрастная разница между героями этих авторов обусловила тут и многие стиливые отличия.

Герой К. Воробьева не подросток военной поры, а боевой офицер, вполне отвечающий назначению защитника Родины. Его можно представить в качестве старшего товарища семинского героя — из тех Аркадиев и Ваниюш, которых к концу своей неволи встретил чудом выживший Сергей и кто стал ему образцом для восхищенного подражания. Но успешный побег сделал К. Воробьева свободным задолго до победы — его персонажи продолжили борьбу в партизанских лесах. Потому и в рассказе о плене не замедленная работа фашистской машины порабощения стала основной мишенью гневных воробьевских обличений, а массовое убийство гитлеровцами безоружных людей в концлагерях.

Стиль его повествования вполне соответствует исключительности содержания — стремительные ритмы, калейдоскоп грозных событий, предельно заостренных впечатлений. Да и предметная фактура пострашнее, чем у В. Семина: отмороженные конечности, объединенная в рост человека кора на лагерном дереве, мертвые тела, сложенные штабелем возле барака, кусок легкого, вырванный из тела живой лошади обезумевшими от голода узниками...

Временами слабея и отчаиваясь, герой К. Воробьева преодолевает слабость, умеет в любой ситуации сохранить свое человеческое и воинское достоинство. Высота его самозыскательности измеряется, в частности, и тем, что, будучи уже на воле и в постоянных боях, он не избавится от острого недовольства собой, своим личным вкладом в общенародную борьбу. Нападения на штабные машины гитлеровцев, уничтожение отдельных офицеров и предателей-полицаяев, захват оружия и спасение мучеников из других лагерей — все это кажется ему недостаточным для внутреннего спокойствия.

Не хватает «ни жертвенного подвига, ни даже мало-мальского солдатского риска» — вот какие понятия приходят на ум командиру партизанского отряда Родиону Сыромукову, перебирающему в палатке боевые трофеи. Требуется нечто дерзкое, сверхчеловеческое, чтобы немедленно утвердить свое моральное превосходство над оккупантами. И Сыромуков решает пройтись по захваченному фашистами городу в немецком мундире (повесть «И всему роду твоему...»).

Но очевидная незаменимость для писателя К. Воробьева его личного боевого опыта вовсе не означает, что он видел в себе личность необыкновенную, выдающуюся. Напротив, автору присуще сознательное нежелание героизировать собственное прошлое, скрупулезная честность в обрисовке личных переживаний и поступков.

Одна сцена из повести «Почем в Ракитном радости» вполне покажет читателю, сколь высок художнический такт К. Воробьева, никогда не посягавшего на честь называться героем. Кстати, эта сцена внесет дополнительную ясность во взаимоотношения автора с его персонажем, в судьбу последнего, в многовариантность ее художественных воплощений. Писатель Кузьма Останков, alter ego автора, читает родичу свою новеллу о Светлоголовом — такое прозвище имел в концлагере наиболее авторитетный советский офицер, признанный вожак остальных военнопленных.

«— Этот-то, белоголовый... в самом деле помер? — спросил вдруг дядя Мирон.

— Нет, — поспешно сказал я.

— Ну вот! Так я и думал... А чего ж ты на живого человека смерть покликал? Мало ему без того довелось?

— Так нужно. Это литературный прием, — объяснил я.

— Да какой же то, к черту, прием, коли человек жив остался! Теперь-то он где ж находится? Там, что ли? В Литве?

— Там.

— Ну?

— Больше ничего.

— А домой чего не едет? В Шелковку свою?

Впереди показалась наша с матерью хага, и мне уже трудно было что-либо ответить».

В качестве примечания к этой сцене следует лишь добавить, что, рисуя образ Светлоголового, писатель Кузьма Останков решительно отделил его от себя: сообщил о

драме своих взаимоотношений с этим человеком, о том, как мечтал с ним подружиться, завоевать его доверие.

Сосредоточенность К. Воробьева на сравнительно нешироком круге трагических тем и образов выработала совершенно особую стилевую поступь его прозы. И хотя этой прозе, как отметил И. Дедков, недоставало «высоты обзора, эпической объективности»², а говоря точнее, хотя в его произведениях почти нет генеральных изобразительных планов и примет общего хода войны, зато нравственные коллизии, рассмотренные в условиях конкретного фронтового участка, необычайно заострены и укрупнены. Уже одно это не позволяет согласиться с И. Дедковым в том, что воробьевская проза недобирала «масштабности идей и характеров». Думаю, с этой стороны в его произведениях все в порядке, ибо масштабы личного героизма не зависят от места его приложения. Вдобавок локальный и однородный материал потребовал от автора углубленной психологической разработки характеров, особенно центрального.

По-моему, И. Дедков, в принципе верно отметивший многие особенности воробьевского стиля, все же недооценил величины писательского дарования. Предостерегая коллег от шаблонных определений этого стиля, критик напрасно оговаривается, что К. Воробьев, дескать, «и не был каким-то особенным, из ряда вон выходящим мастером языка и психологического анализа, чтобы именно эти качества замечать и ценить в его творчестве прежде всего»³. Однако то, что мастерство К. Воробьева было глубоко органично, что оно «не тшилось быть замеченным, отдельным от сути», как раз и заставляет присмотреться к нему внимательно, поскольку именно такое мастерство испокон веку считается у нас гордой метой истинного художника. Правда, воробьевская проза, как уже говорилось, не получила своевременного общественного признания, а одна из лучших повестей, «Убиты под Москвой» (1963), даже вызвала критические нападки. Но несправедливость первоначальных оценок тем более обязывает нас восстановить истину по отношению к видному художнику...

Повесть «Почем в Ракитном радости», удивительно емкая и очень характерная для К. Воробьева (словно конспект всего

творчества), могла бы показаться по исходу несколько идилличной, если бы ее не создал замечательный мастер, свободно владеющий искусством художественной композиции. Ибо, вернувшись в родное село после тридцатилетней разлуки и не без оснований чувствуя вину перед близкими, писатель Кузьма Останков находит у них полное понимание и прощение. Ракитное благоденствует, судьбы людей трудно, но выправились, и, по выражению дяди Мирона, наступили «законные времена». Зло наказано: клеветников, едва не погубивших дядю, давно нет на свете. Но, хотя и неприметно, люди несут прошлое внутри себя — в сознании, в памяти. Наплывами возникают перед Кузьмой эпизоды плена и партизанской борьбы, читает он дяде свою новеллу о Светлоголовом. Неожиданно омрачается и Мирон, получив из рук племянника немудреный дар — ватную телогрейку. Рабочая одежда напомнила о лагере. Идиллия не получилась: писатель ненавязчиво, чередуя сцены из разных времен, напоминает читателю о страшной цене, уплаченной людьми за нынешнюю привольную жизнь. И тем проникновеннее звучит в повести светлая мелодия встречи с родиной. На этом высоком чувстве вырос и воспитался воробьевский герой, тут его истоки и завязь характера...

К. Воробьев не исследует подробно психологию заведомо дурных людей, хотя нередко подобные персонажи играют в произведениях важную сюжетную роль. В распознавании их лжи и нечестности, в борьбе с ними страдает и духовно взрослеет главный герой, полнее очерчиваются характеры его близких. Но сами по себе носители зла не интересуют писателя. Где-то в устной летописи села Ракитного мелькают редактор районной газеты Косьянкин и член сельсовета Яшка Кочанок, раздувшие «дело» дядю Мирона. Но об этих событиях поведано с намеренной долей невнятности. Точные мотивы клеветы отсутствуют, поскольку ее сочинители изнутри не показаны. То ли руководило ими головотяпское рвение по службе и они сами поверили в злодейство (ведь наболтал же сгоряча Кузьма председателю, что Мирон Останков пытался ударить его ножом). То ли налицо сознательное искажение истины с целью удостоиться хвалы за классовую бдительность. По-видимому, это для писателя не важно. Существеннее, что давний промах всю жизнь висел над Кузьмой проклятием, мучил его и во время вой-

² И. Д е д к о в. Возвращение к себе. Литературно-критические статьи. М. «Современник». 1979, стр. 159.

³ Т а м ж е, стр. 158.

ны и много позднее. Не характер зла сам по себе, а его болезнетворное воздействие на нравственно здоровую натуру, ее способность к искуплению вины, к самовозрождению — вот что глубоко волновало К. Воробьева. Его герой ценой многих ошибок осознал высокую ответственность перед людьми за любой поступок и не простит себе ни крупницы фальши.

Ряд повестей и рассказов, посвященных довоенным временам, намечает основные вехи в становлении этого характера. В его гражданском сознании четко отложились разные пласты советской истории. С детских лет приходят к нему доступные возрасту представления о свирепой классовой борьбе в селе. Кстати, в повести «Сказание о моем ровеснике» дан едва ли не единственный подробный портрет носителя зла. Но сочный образ куркуля и лавочника Ходукина все же отодвинут автором на второй план. На переднем, конечно, повинная любовь Матвея Егоровича Ястребова (недодал он отцовского тепла собственным детям) к сироте Алешке, сыну погибшего матроса-протрядовца. Это главное, без этого не понять, как складывается личность воробьевского героя.

Тем более второстепенна, почти функциональна фигура отрицательного персонажа в повести «Тетка Егориха». Скрипящий ремнями милиционер Голуб, едва обрисованный как романтический идеал сироты Саньки, появляется на сцене лишь для того, чтобы жестоко и напрочь развеять детские представления о героизме. Зато подробно и прехвосходно изображены последствия зла — тяжкий душевный кризис, пережитый подростком после внезапной гибели тетки. Главный источник света в произведении — глубокое и цельное чувство, связывающее Егоровну с крестьянином Момичем, их привязанность к питомцу, щедрая на ласку со стороны тетки, отечески строгая, по-мужичьи заботливая со стороны ее друга. То, что согревает Саньку, подспудно формирует его нравственные понятия.

Во всех повестях, рассказывающих о детстве героя и создающих живые портреты его воспитателей, к концу пустеет родное гнездо, покидает его недавний мальчик, вступая во взрослую жизнь. Но не пустой была для него эта тора — она заронила в душу что-то необходимое и прочное, что прорастет потом в зрелом человеке, не даст ему сломиться, потерять себя в бурях грозного века.

Основные произведения К. Воробьева, как

пишет автор предисловия к одной из его книг Ю. Томашевский, созданы писателем не сразу — им предшествовали годы подготовительной работы и накопления мастерства. Действительно, некоторые рассказы выглядят эскизами к последующим повестям (например, «Синель» кажется своеобразным подступом к мощному драматизму «Тетки Егорихи»). Эти вещи интересны и сами по себе, но более всего как дорогое свидетельство авторской целеустремленности и недовольства сделанным.

В повестях и лучших рассказах К. Воробьева поражают чистота и точность найденной интонации, безошибочное чувство ритма. Кажется неповторимым напряженно-отрывистый слог повести «Крик». Сцены любви, артобстрела, разведки боем, первые мгновения плена возникают внезапно и как бы беспорядочно, разделены отточиями. Вот выступление в разведку: «Деревья вырастали с каждым нашим шагом, и в мое онемевшее сердце постепенно входило новое, могучее и незнакомое мне чувство, сдвигая и руша все то, что там шлаком спеклось и застыло как уже пережитое. Нет, это не был только страх перед возможной смертью. Смерть что! Я ведь втайне поспел для нее в ту самую минуту, когда услышал Маринкин голос и увидел ее парящей в сизом кусте взрыва». Перед нами одновременно и анализ психологического состояния и стремительное описание действий — резкие зрительные детали, энергия слитного броска вперед, ошеломленность бойца горем и начало самопреодоления.

Интонация автора выдержана в духе прочных традиций нашей батальной прозы, которые, если копнуть поглубже, восходят еще к жанру древнерусской воинской повести. В самом деле, этот жанр хорошо знал ударную силу точного ритма. В быстром разгоне мысли и действия дан, например, побег князя Игоря из половецкого плена: «Игорь спит, Игорь бдит, Игорь мыслю поля мерит от великого Дона до малого Донца...» Со стремительным лаконизмом передано возвращение Евпатия Коловрата в Рязань, когда его настигла черная весть о Батыевом нашествии. Думаю, эти сопоставления не покажутся произвольными. Народно-национальная героика в самые разные времена имеет немало общих коренных черт и пользуется сходными изобразительными средствами.

А. Твардовский в знаменитом стихотворении «Я убит подо Ржевом» развернул ры-

царственный девиз князя Святослава — «мертвые сраму не имут» — в метафорическое обращение павшего солдата к живым:

...Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам — все это, живые.
Нам — отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за родину-мать.
Пусть не слышен наш голос —
Вы должны его знать.
Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье —
Эта кара страшна.

Жгучие строки поэта, кстати, и взял К. Воробьев эпиграфом к повести «Убиты под Москвой». Древнерусская классика — один из заповедных истоков нынешнего широко развитого и усложненного эстетического сознания, и ее закономерно использовать в качестве камертона при оценке современных произведений о войне — для проверки чистоты звука...

В художественном языке К. Воробьева ощутимо живы разнообразные словарные пласты — народно-эпических речений (особенно в «Сказании о моем ровеснике»), сельской бытовой лексики, современного говора горожан. Точно передает писатель армейский речевой колорит и даже лагерный жаргон, нигде не злоупотребляя специфическими словечками. Можно было бы не без пользы рассмотреть отдельные абзацы и строки из авторской речи, демонстрируя их музыкальную стройность и звуковую пластику. Но, быть может, это достоинство воробьевской прозы выступит очевиднее в несколько неожиданном примере.

В текст повести «Почем в Ракитном радости», где очень силен народный и национальный колорит, автор ввел ломаную речь литовской девушки Марите, которая помогла герою, бежавшему из лагеря (спустя годы Марите стала женой Кузьмы):

«Э-эй... плечик... не бойсь!»

«Свиданья, — ответила она. — А какая твоя имя?...»

«Надо будещь немножко стригать тебя...»

«Тебя скоро будут посадить лагерь, — сказала она.»

«Литва люди не ходить мешок. Ночью я буду взять рубашку отец и буду дать для тебя...»

Трогательно-незащищенно звучат эти неправильно произнесенные русские слова с их явно иноязычным строем, звучат так, понятно, только здесь, в устах свидетельницы, на лесном хуторе оккупированной Литвы. А как сильно резонирует эта речь рядом

с типично русским разговорным словарем дяди Мирона, гордящегося электрификацией родного села и ругающего поэтичные, с точки зрения героя, керосиновые лампы: «Да провались они пропадом! — по-бабьи тоненько воскликнул дядя Мирон. — Слепная одна, а тут... Говорю ж тебе: ежели глянуть ночью с бугра, то город — и все!»

К. Воробьеву не было нужды декларировать свои интернациональные убеждения. Рассказ о литовских людях, которые пришли на помощь перестрадавшему после лагеря Кузьме Останкову, создан благодарной и бережной памятью. А что может звучать роднее и прекраснее для Кузьмы, чем речь Марите? Конечно, оставшись навсегда в Литве, он настаивает, чтобы жена училась в русской школе. Но... «Она что — дурак? — спросила Марите о рецензенте. Тогда я разъяснил ей, что о мужчине надо говорить «он», что я не Кузма, а Кузьма, и это пора ей знать!» Но раздражение от неудачи с посланным в редакцию рассказом гаснет: «А может, он совсем не муштин! — заплакала Марите, а мне впервые стало стыдно за свое ракитянское имя». Вот диалектика интернационального чувства, грациозно выраженная в семейно-бытовой сценке. Речь Марите со всеми ее потешными ошибками светится любовью и благодарством, а рецензию московского журналиста, написанную вроде бы на родном языке, Кузьма вынужден попросту сжечь.

Тонким лиризмом дышит и совершенно отдельный, своеобразный цикл воробьевских рассказов о детях. Особенно охотно рисовал прозаик сельских ребятшек — герой-повествователь обычно встречает их во время загородных автопрогулок на рыбалку. Это дети из трудовых, нравственно здоровых, хотя и не всегда благополучных семей. Они самостоятельны и добры, незаносчивы, но имеют представление о личном достоинстве. Они уже безотчетно любят природу, учатся ее понимать и беречь. Как живой контраст этим образом предстает толстое, капризное и злое чадо неведомого дачника, ездящего на «Победу» («Первое письмо»). И заклинание над дачницей, держащей в руке сырое яйцо: «Выпей треть, говорю! Выпей и не вынимай из меня последнее сердце!» Одна эта реплика, думаю, способна показать, какой весело-язвительный заряд может обрести под пером К. Воробьева языковая неправильность, неверное, бессмысленное словоупотребление.

В раму дорожного рассказа о воскресной рыбалке К. Воробьев заключил и свою встречу с более опасным персонажем. На окраине, города героя собирается ограбить группа парней. Но тому удалось подействовать на их совесть красноречивым примером из партизанского прошлого. Юный налетчик устыдился, отослал дружков и мирно принял участие в рыбной ловле. Благостное решение конфликта грешит наивным дидактизмом. По-видимому, раздумывая над проблемами нравственного воспитания, писатель пошел от отвлеченного тезиса о необходимости доверия к молодежи. Но подстановка к тезису живого, конкретного случая не удалась. Тут К. Воробьев, по-моему, уступил в зрелости художественных выводов В. Семиному, который отлично знал психологию уличной шпаны (повидал в арбайтлагере немало предателей из ее среды) и в своих произведениях занял более продуманную позицию по отношению к блатной стихии.

Попытался К. Воробьев изобразить современных молодых людей и в повести «Генка, брат мой» — в ней есть хорошо выписанные эпизоды, умело схвачены особенности быта и жаргон таксистов, торжествует и всегдашняя для К. Воробьева идея моральной победы над злом. Но, к сожалению, нет в этой вещи прежнего накала гражданской страсти, той «масштабности идей и характеров», которой отмечены лучшие его повести и рассказы. И новый герой-повествователь (молодой шофер) по богатству человеческого содержания не может заменить постоянного рассказчика. Очевидно, проблемы сугубо драматичные, болевые так или иначе связывались в художественном соз-

нании К. Воробьева с войной — слишком жгуч и нравственно весом был личный фронтовой опыт.

Правда, в повести «И всему роду твоему...» (работу над ней прервала смерть) К. Воробьев, по-видимому, намеревался по-новому развернуть современную тему, обнажить некоторые острые вопросы действительности. В качестве постоянного нравственного ориентира вернулось в повествование и боевое прошлое героя-ровесника. Но судить о незаконченном произведении, которое, будь автор жив, подверглось бы, возможно, неоднократной переработке, всегда рискованно.

И. Дедков считает, что повесть «И всему роду твоему...» сулила читателям нового К. Воробьева, что она должна была стать впечатляющим синтезом всего созданного писателем прежде. Возможно, это так, но куда очевиднее иное. Уже тем, что вполне осуществилось, то есть своими высокоправдивыми произведениями о войне, К. Воробьев прочно вошел в нашу литературу, и его имя по праву может значиться среди имен лучших писателей фронтового поколения. Никакие жизненные помехи в конечном счете не смогли воспрепятствовать его желанию сказать правду о том, что он видел и знал глубже других. И теперь условная антология произведений о Великой Отечественной, так же как и литература о ровесниках Октября, сломавших хребет гитлеризму, была бы заметно не полна без его трагических образов. Константин Воробьев умел любить свою родину, как подобает бойцу, — преданно, нешумливо и взыскательно. Такая любовь заслуживает, чтобы о ней помнили с неостывающей благодарностью.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Ирина Винокурова. Поэзии пристальный опыт. — С. Муратов. Лицо лица.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Елисеева. Очеркст в пути. — В. Карпушин, Я. Поварков. Маоизм, его буржуазные интерпретаторы и апологеты. — Г. Федоров. Извечный круговорот.

Литература и искусство

ПОЭЗИИ ПРИСТАЛЬНЫЙ ОПЫТ

В а д и м Ш е ф н е р. Сторона отправления. Книга стихов. М. «Современник», 1979. 239 стр.

Не странно ли, что Вадим Шефнер, не слишком склонный к литературным и вообще «культурным» ассоциациям (даже обожаемый Ленинград не манит его этой своей стороной), проявил такое внимание к библейской притче об изгнании человека из рая?.. Потому скорее всего, что вдумчиво-пристальный, аналитический взгляд на вещи не был присущ Шефнеру изначально, он был добыт им ценою немалых потерь. В частности, потерей простодушного, легкого, грациозного лиризма, каковым исполнены его ранние стихи:

Я мохом серым нарасту на камень,
Где ты пройдешь. Я буду ждать в саду
И яблонь розовыми лепестками
Тебе на плечи тихо опаду.

Я веткой клена в белом блеске молний
В окошко стукну, В полдень на лугу
Тебе молчаньем о себе напомину
И облаком на солнце набегу.

Но если станет грустно нестерпимо,
Не камнем горя лягу я на грудь —
Я глаз твоих коснусь смолистым дымом,
Поплачь еще немного — и забудь...

Юность, весна, дачные платформы, любовь, утренний воздух, грусть — все это

сплавлялось воедино, сливалось в один мотив. Не случайно одну из ранних книг он так и назвал — «Пригород». И как тут не вспомнить, говоря об этом гармоническом единении человека и мира, знаменитое определение поэзии у Пастернака: «Ты — лето с местом в третьем классе, ты — пригород, а не припев».

Мир молодой Шефнер воспринимает радостно-чувственно, но уже и тогда возникает легкое искушение изменить ракурс зрения, попробовать, что из этого выйдет. Стихотворение «Цветные стекла» — первый шаг на этом пути:

Покинул я простор зеленый
И травы, росшие внизу,
Чтобы с веранды застекленной
Смотреть июльскую грозу.

Через эти стекла, разделившие его и природу, эти своего рода призмы разума, он увидел мир несколько иным, и тот сначала показался ему даже забавным, хотя и не столь идиличным, а местами зловещим. С этого момента, собственно, и начался сегодняшний Шефнер, не даром «Цветными стеклами» он открыл свою итоговую кни-

гу. Взгляд его поневоле становится все более изучающим, углубленным, а то и скептическим. Березы, трогательно сплетающиеся ветвями, более не кажутся ему приятельницами. Называя так стихотворение, он берет это слово в интонационные кавычки: «Посмотришь — дружбы нет сильней, покой да тишина. А под землей — борьба корней, беззвучная война».

Безмятежность ушла, мир предстал сложным, парадоксальным. Не просто в нем человеку.

Какие взрослые все звери!
На воле или взаперти,
Они давно уже созрели.
А нам еще расти, расти.

Еще нам, людям, ошибаться,
Одoleвать свою тщету,
Еще нам лоб о лоб сшибаться,
А может быть — щитом к щиту.

И, зверя из себя гоня,
Над истинами спины гнуть...

«Какие взрослые все звери!..» Представляется, что именно это ощущение, сформулированное относительно недавно, но возникшее, по-видимому, очень давно, ощущение детской уязвимости, беспомощности, ранимости человека, и определило поиски Вадима Шефнера. Обусловило «отеческий» тон его поэзии, все его тихие, но настойчивые императивы: умей! иди! не привыкай!..

Мы знаем, к примеру, что Д. Самойлов тоже остро ощущает болезненность всякого «детства»: «Страшно быть дитятью!» Изживая его в себе, как показал в своей недавней статье «Сухое пламя» («Дружба народов», 1979, № 9) Л. Аннинский, он опирается на культуру и такие ее «компоненты», в частности, как история, держава, дом.

Шефнер же для своего «дитяти» предлагает другой «рецепт»:

Вот она — сторона отправления.
До свиданья, домашний уют!
Вот она — сторона удивленья,
За которой открыться встают!

Что это, метафора вдохновения, имитация творческого процесса? Едва ли. Ибо все открытия Шефнера сделаны им на знакомом, домашнем, обыденном материале: ведь если город в его стихах, то это обязательно Ленинград, если река, то, как правило, Нева, если море, то Финский залив. Он концентрирует внимание не на ярких, бросающихся в глаза предметах, а на тех, что

привычны и потому незаметны. Например, на осеннем листке. Любуясь им, поэт не без горечи замечает: «Как дивились бы, как изумлялись, если б был он один на земле!» В поэтическом плане он скорее убежденный домосед, он «не ждет перемешенья и не мчится никуда». Взгляд его пристален, нетороплив.

Тогда как призыв к странствиям имеет в поэзии Шефнера не метафорическое, а прямое, жизненно-конкретное содержание. Это форма человеческого бытия. Форма должного для поэта.

Может показаться, что нечто подобное предлагает читателю и Александр Межиров: «А лучше нету доли кочевой — по белу свету в тряске грузовой...» Но в пути он бредит уютом, как голодный хлебом, томится по нему: по отчету дому, Лебяжьему переулку, детству. Ему сладко произносить само это слово «Лебяжий», мягкое, бело-снежно-пуховое слово. Он как бы галлюцинирует — запахи детства, «уклада, уюта, устоя» щиплют ему глаза.

Шефнер же именно от уюта и бежит. Детство, в частности, вспоминается ему голодным, холодным, бедным. Но именно этим оно ему и мило, именно этим оно его и греет, именно за это он ему благодарен: «Спасительная бедность давних дней, незамутненность жизненных истоков».

Оленницы сырых дров, символы чадных, холодных, нищих комнат, — частый атрибут его воспоминаний. Но даже эти жалкие стены поэт не хочет оставить человеку. Он гонит его из дома, из города на окраины, пустыри, перекрестки. Пребывание под крышей представляется ему крайне опасным — как бы при сильном землетрясении. Он зовет в уют, а уют в поэзии Шефнера не абстракция. Она имеет даже цвет — синий. Это небо, природа:

Все нас тянет в лесную прохладу,
В уют, к родниковой воде.

Свод небес, собственно, единственный свод, которому Шефнер полностью доверяет: «Последний, вечный свод над нами...» Интересно, что он, столь скептически относящийся к стенам реальным, любит использовать это слово в качестве метафоры, по контрасту как бы подчеркивая основательность, надежность вещей нематериальных, духовных. Стихотворение о Василии Треди-

аковском, собственно, и строится на подобной метафоре:

Поэтом нулевого цикла
Я б Тредьяковского назвал.

Еще строенья не возникло —
Ни комнат, ни парадных зал.

Еще здесь не фундамент даже —
Лишь яма, зыбкий котлован...
Когда на камень камень ляжет?
Когда осуществится план?

Он, сильный, — ниже всех
бессильных;

Свою работу он ведет
На уровне червей могильных,
На линии грунтовых вод.

Он трудится, не зная смены,
Чтоб над мирской юдолью слез
Свои торжественные стень
Дворец Поэзии вознес.

Таким образом, поэт ненавязчиво внушает читателю свои представления о том, что истинно, а что нет.

Это стихотворение, кроме того, несет еще одну очень важную для Шефнера идею. При всем его горячем сочувствии к трагической судьбе Тредиаковского она кажется В. Шефнеру закономерной — закономерной в контексте судьбы русской поэзии в целом. Он рассматривает ее не как историческое недоразумение, не как печальный результат стечения обстоятельств. Нет, все идет строго, четко по плану — котлован, фундамент, дворец:

И чем черней его работа,
Чем больше он претерпит бед —
Тем выше слава ждет кого-то,
Кто не рожден еще на свет.

Тесная связь между сегодняшним несчастьем и завтрашним счастьем для Шефнера как бы очевидна. Более того, он узаконивает беду как этап на пути к торжеству, узаконивает голодную судьбу Тредиаковского на пути к роскошному пиру русской поэзии.

Отсюда и характерный для него парадокс: «Его несчастье в том, что он не знал беды...» В этой связи Шефнер готов сознательно искать трудности, может быть, даже искусственно создавать их самому себе.

В этом, думается, смысл его призыва к странствиям, отказа от дома, уюта, покоя:

Будет холод, и зной, и усталость,
Только все же назад не гляди:
Позади — лишь бывшее осталось,
Настоящее — там, впереди.

Ему не верится, что неудачи, трудности, беды способны обессилить, сломать человека. Скорее он отводит им роль вакцины — резко мобилизовать защитные силы организма, выявить скрытые дотоле ресурсы, укрепить, закалить человека. Сделать его неуязвимым «перед игрой внешних сил».

Слово «неудачник» в этой связи звучит для него почти оптимистически, во всяком случае обнадеживающе. Это значит, что человек внутренне готов к радости. Он созрел для того, чтобы увидеть ее, понять и оценить:

Когда отпустит боль —
Жизнь кажется легка,
И глубже синева,
И ярче облака,
И чище глубь реки
И зеленее поле.
Жизнь кажется прекрасней,
Чем до боли.

Ну а как быть с «последней бедою», как Шефнер именует в одном из своих стихотворений смерть? Не удивительно, что этот вопрос один из главных в его поэзии, и он считает себя как бы обязанным дать на него ответ:

...Весь этот мир — бессмертный твой двойник —
Останется навек существовать.

Однако пытливость художника не удовлетворяется этим, поэт снова и снова мучительно всматривается в небытие: «А что там дальше?»

С пафосом определяя цели поэзии вообще, Шефнер с лукавой скромностью говорит о собственной задаче. «Мне б создать велосипед», — заявляет он в одном из стихотворений. Он не заблуждается насчет новизны своей романтической концепции счастья. Он хочет лишь сделать ее пригодной для «повседневного пользования», целебной для всех, а для слабых в особенности. Вера в человека воодушевляет его.

Ирина ВИНУКUROVA.

ЛИЦО ЛИЦА

Д. Лу н ь к о в. Наедине с современником. М. «Искусство». 1978. 174 стр.

И звечна наша потребность в общении, встречах с интересными людьми. Когда подобного рода встреча происходит перед объективами телекамер, ее соучастниками и очевидцами становится почти неограниченное число желающих. «Гелевидение способно знакомить нас с людьми — в этом его врожденный дар, в этом его уникальность», — писал В. Саппак в начале 60-х, убежденный, что на экране нет ничего увлекательней живого говорящего человека. Сегодня это мнение разделяют тысячи телезрителей.

Подчас авторы не слишком удачных передач объясняют свой неуспех выбором документального персонажа: дескать, герой передачи оказался не очень интересным человеком! Но кому из нас не доводилось наблюдать, как люди, в незаурядности которых не сомневаешься, бывают на экране скованны, их позы напряжены, а высказывания удручают своей обыденностью.

Книга Д. Луныкова, режиссера и сценариста, касается кардинальных проблем телевизионного документального творчества. Автор своеобразной и не имеющей, пожалуй, экранных precedентов антологии народных характеров, многосерийной галереи портретов земледельцев, агрономов, трактористов, крестьянок, бывших комбедовцев и протодрядчиков, рассказывает о своих обретениях и просчетах, исследует загадки и сюрпризы синхрона (киносъемки говорящего человека), размышляет о природе журналистского и писательского труда. Понимая фильм как итог общения документалиста со своими героями, автор подчеркивает, как важны неподдельный интерес создателя фильма к живому характеру, любовь к человеку. Для Д. Луныкова это условие неперемное и даже исходный принцип, отступление от которого не возместят никакие эстетические достоинства ленты.

— Сам по себе человеческий характер — лишь начало пути для автора фильма, — прозвучало в одной из недавних дискуссий. — Чем активней художник пересоздает, трансформирует жизненные явления, тем сильнее в его произведениях чувствуется искусство.

— Но на экран приходит живой человек, — возражает Д. Луныков. — Почему же мы настолько высокомерны, что отводим словам и чувствам людей, которых син-

маем, лишь роль строительного материала в наших творениях? Да и можно ли снимать общение с человеком, не любя его и не видя в нем самом особой ценности?

Другие теории, восставая против появления на документальном экране многочисленных «автопортретов», рассматривают понятие «авторское кино» не более чем фигуральное выражение: нет нужды повторять, что у документального кино свое назначение — говорить о времени языком объективных фактов, без всяких вольных интерпретаций и недоказуемых оценок... Можно подумать, что за пределами документалистики недоказуемые оценки — дело не только обычное, но и чуть ли не вменяемое в заслугу. Что же касается трудностей самовыражения, то как отнестись к комментариям М. Ромма в «Обыкновенном фашизме»? К кинопублицистике С. Образцова? К тем фильмам-исследованиям и фильмам-спорам, где событием оказывается сам процесс рождения авторской мысли? «Художник всегда автопортретен», — считал Эйзенштейн. Подобные же мысли высказывал Вертов, сравнивавший работу документалистов с творчеством поэтов и живописцев. Отказывая документалисту в праве на художественное освоение реальности, мы заведомо обедняем жанр.

Вслушаемся в слова агронома, героя одной из картин Д. Луныкова: «Земля дышит. Она же как будто предмет неодушевленный, так ведь? Но когда выходишь в поле и видишь: поднимается она, будто живые силы изнутри ее будоражат, — знаешь, замер бы так и стоял, слушал...» Лицо на экране совсем не из тех, что называют киногеничными. В голосе ни умиления, ни патетики. Доскональный и совсем не возвышенный разговор не выходит за рамки «земной» профессии. Но разве не в этих «рамках» душа и судьба героя? Перед нами экранная исповедь как форма самораскрытия, как проявление истинно человеческого в человеке. Выходит, художественная выразительность в документалистике достигается не только за счет поэтических пересозданий, деформаций. Сама реальность спасена таить в себе высший заряд поэзии.

«Пределно простая картина — сидит против меня человек и рассказывает, — размышляет Д. Луныков в своей книге. — Да это же целая сфера жизни!.. Нет, я

имею в виду не внешнюю динамику, не брызжущую через край эмоциональность. То и другое — внешняя сторона дела, которая чаще всего не избавляет синхрон от безликости. Я имею в виду подлинную выразительность, когда воедино слиты слово и видимое состояние человека».

Кто забудет эти лица крестьянок из деревни Куриловка (фильм «Куриловские калачи»)? Девять женщин ведут рассказ о военном времени: как провожали мужей на станцию («Шестьдесят семь ушли воевать, а вернулись семь человек оттуда»), как учились на трактористок и хлеб на чахлах коровах возили в город («20—30 верст, а сама пешком»), как по ночам из последних сил приходилось бежать с фонарем перед трактором («Ну, не могу вспоминать, меня начинает всю бить»), как с утра забирали в поле сонных детей («А ты, мама, не плачь... Мы есть не будем просить»), как почталыон, отводя глаза, приносил в село похоронки («Все у меня онемело. Я сижу, только сознания не теряю. Задеревенела, как мертвая, и руки не отведу»).

Разговор идет на одном дыхании. На пределе боли. Девять женщин. Девять судеб. Одна судьба. Как назвать происходящее на экране действие? Коллективная исповедь? Драматическое повествование? Или перед нами народный эпос, когда за событиями частной жизни вплотную стоит история?

Иному документалисту «себестоимость» этих лент покажется непомерной, даже неслыханной. Не недели, не месяцы, год работы — цена сорокаминутных «Куриловских калачей» Д. Лунькова. «Чтобы сделать фильм, нужно его прежде всего прожить. А прожить — значит реально находиться в сфере тех забот и страстей, какими увлечены снимаемые нами люди».

Синхрон привораживает Д. Лунькова. В гостинице, в поезде, где угодно, беседуя с незнакомыми людьми, режиссер интуитивно ловит момент включения «камеры». Встречаясь на экране с его героями, мы всегда забываем, что смотрим кино. Для Д. Лунькова «не важно, эмоционален человек или предельно сух. Размахивает он руками или оцепенело смотрит в одну точку. Важно, чтобы он находился в состоянии подлинной жизни, чтобы слова его мы слышали через гамму действительно переживаемых и интересных нам состояний...»

Появление портретного фильма сопоставимо по своему историческому значению с

открытием характера в литературе. Обращение к внутреннему миру своих героев и тем самым признание суверенности этого мира (процесс, обозначившийся в русской словесности на рубеже XVI—XVII веков) оказало радикальное воздействие на судьбы литературы. Вероятно, подобный период в своем развитии переживает и нынешняя экранная документалистика. Портретный кинематограф вступает в пору решающего формирования своих эстетических и драматургических принципов. Современные методы кинонаблюдения позволяют снимать человека «в момент неигры», схватывать подлинные проявления его чувств и мыслей. При этом наряду с традиционными средствами, какими считаются наблюдение и отбор, на первый план выходит то человеческое взаимодействие, которое возникает по ходу работы между создателями картины и их героями; особый дар документалиста — добиваться психологического контакта или личной дистанции. Герой выступает не только объектом повествования, но равноправным участником происходящего перед камерой — ведь разговор идет не о нем, а с ним. О таком характере отношений свидетельствуют и наблюдения режиссера-практика. «Люди, которых мне довелось снимать (среди них и старики, ветераны), в большинстве своем не любят просто рассказывать. Они любят обмениваться мыслями, любят беседовать... На скупое поставленные журналистские вопросы я слышал почти всегда только односложные ответы. Меня поражало: когда я плохо разбирался в предмете и, таким образом, давал людям, казалось бы, желанный повод рассказывать, именно тогда я меньше всего получал от них».

Фильм-портрет — результат взаимодействия двух позиций, двух мировосприятий. Общение здесь выступает не средством раскрытия уже готового человеческого характера, но скорее творческим актом обоюдного познания и самопознания. «У меня на синхронной съемке, — пишет Д. Луньков, — всегда такое ощущение, что не только я снимаю пришедшего ко мне человека, но и он меня снимает тоже. Двойная идет съемка, встречающая, так сказать. Он сидит против меня, и я оцениваю его. Он сидит против меня, и я оцениваю его. Но сам-то я точно в такой же ситуации: я сижу напротив него, и он оценивает меня».

Характер общения между автором и героем (доверительность и мера непринужденности) предопределяет характер эк-

ранного образа, даже если автор не присутствует в кадре лично, а материалы отснятых бесед использует для конструирования монтажного монолога — повествования от лица самого героя. Согласившись с этим, можно сказать, что документальный фильм начинается не с героя, а с автора.

«Где оно, лицо лица? Важно, если все разберутся до конца в собственном лице», — формулирует подобную задачу поэт.

Для Д. Лунькова синхрон своего рода изустная литература. «Пережитое народом часто обретает в мудрой его памяти те же формы, оказывается выстроенным по тем же конструкциям, варьируется в тех же жанрах, что давно нам известны по знаменитым томам. Слушаешь о войне или хлебе, и запружинит вдруг в неприятельской байке классический ход новеллы. Даже воскликнешь про себя в сердцах: вот начитался человек! Но обаятельная нескладность, неоспоримая изначальность рассказа пресекут эти нелепые подозрения и заставят думать о другом — обратном — влиянии».

Домашний экран неустанно эстетизирует речевую стихию живой повседневности. На глазах одного поколения развитие словесности столкнулось с совершенно новой для себя исторической ситуацией. Возможно, все мы свидетели возрождения, пускай в неведомых нам еще проявлениях, традиций устного народного творчества. Традиций, никогда не терявших своих истоков, но и никогда не имевших такой широкой арены. Привычному роду драматургии, рассчитанному на актерское воплощение, приходится тесниться, давая место все новым моделям реальности, где действующие лица неотделимы от исполнителей. Мы свидетели того, как преобразуется жизнь слова. «Вспомнившее» о своей акустике, оно заселяет пространство кадра. Эстетические новообразования обгоняют самое безудержное воображение. И, право же, для того чтобы их заметить, вовсе не обязательно дожидаться прихода грядущих истолкователей. Как кем-то из физиков было сказано о теории относительности — ее нельзя объяснить, к ней просто надо привыкнуть.

С. МУРАТОВ.



Политика и наука

ОЧЕРКИСТ В ПУТИ

Александра Горобова. *Высокие равнины*. Рассказы. М. «Советский писатель». 1979. 303 стр.

Очень трудно определить жанр этой книги. Названа она хорошо и удивительно точно — «Высокие равнины». Но вот рассказы ли это, как обозначено на титульном листе?

Собственно граница между жанрами бывает столь зыбкой, что не всегда она ясно просматривается. Очерк, рассказ... Достоверность и художественный вымысел — что преобладает в этих коротких рассказах?

Не знаю, какая доля вымысла присутствует в них, но с уверенностью можно сказать: все, что содержится в книге, встает с ее страниц, бесспорно достоверно — люди, события, факты, место действия. «Высокие равнины» воспринимаешь как правдивую повесть о себе, о людях, с которыми свела беспокойная судьба писателя-очеркиста, о мире прекрасном, подчас жестоком,

о силе человеческой доброты, о ее вечном понске.

Формально как будто каждая из глав книги суверенна и ничем не связана с предыдущей и последующей, но внутренне явственно ощущается слитность, целостность всей книги, включая курсивные отступы.

Но вернемся к жанру «Высоких равнин». Почему все-таки рассказы? В своем исследовании об очерке Владимир Канторович справедливо заметил, что в практике часто встречаешься с таким положением: «...если очерк хорошо написан, его наименовывают рассказом, как бы повышая на класс выше. А верно ли это? Хороший очерк на равных соседствовал в литературе с рассказом».

Наблюдение очень точное и заслуживает пристального внимания. Ведь не секрет, что

в наш век НТР очерк социологический значительно потеснил очерк художественный, а уж коли такой появляется, его относят в иной разряд, «повышая на класс выше». Но даже по строгому определению Литературной энциклопедии предмет публициста — вся современная жизнь в ее величии и малости, частная и общественная, реальная или отраженная в прессе, искусстве, документе... Картины и подробности действительности, человеческие характеры и судьбы возникают в произведении публициста как аргументы, почерпнутые в живой, невымышленной жизни. Справедливо было бы и на пользу делу мерить любой очерк, включая и социологический, высокой мерой художественной публицистики. Между тем, обращаясь к очерку, мы чаще слышим, внимая разумом, нежели видим, внимая чувствами. Очерки же А. Горобовой, добывающей материалы для них в нелегких скитаниях по нехоженным тропам, привлекают слитностью того и другого, хотя преобладает в них видение художественное.

Как ни обширна география книг А. Горобовой, наиболее четко прослеживается одно: смолоду ее влекли к себе жаркие страны — дикий Гиссарский хребет, Алжир и Туркмения, Казахстан и Египет... Куда только не заносила очеркиста жажда новых знакомств, новых стран. В пути, всегда в пути. Встречи, встречи...

Пески, пустыни, жара — Азия с ее лица необщим выраженьем — влекут писательницу не экзотическими внешними приметами. Она свой человек в этих краях, умеющий на все вокруг взглянуть как бы изнутри.

Есть в книге очерк «Вернись к себе, Чёра!» — горьковатая история о неудачной экспедиции. Искомое не найдено. Все усилия: терпение, борьба с жаждой, голодом — все напрасно... Да так ли это? Бесплоден ли поиск геологической экспедиции? Перед читателем проходят люди отряда не в ореоле открытий, успеха, а в тяжелых испытаниях будничного труда, требующего подлинной самоотверженности. Вместе с ними познает автор и силу дружеского человеческого участия и любившийся ей край, и именно потому с такой полнотой раскрываются перед ней духовные ценности и экспедиция, о работе которой нельзя было написать в корреспонденции радостное «эврика!», становится для нее еще одним нелегким путем к нравственному поиску — человечности, доброты.

Не тая секрета, автор доверительно рассказывает читателю, как рождались ее книги. Были некогда командировки от журналов и газет с заданиями, продиктованными ежесекундной нуждой: где-то горел план, кого-то незаслуженно обидели, чьи-то трудовые подвиги требовали летописца. Часть увиденного входила в злободневные материалы, и они «работали», как должно журнально-газетному публицистическому очерку, а нечто, может быть самое значительное и заветное, оседало в памяти и ждало своего часа, чтобы созреть и спустя многие годы вылиться в очерки-воспоминания о не подвластных времени ценностях — о духовной сути человека.

Находясь на строительстве Асуанской плотины¹, А. Горобова спешит занести в блокнот все, что понадобится ей для статьи о рождении гигантской плотины, и тут же напоминает себе: «Но я уже научена долгим опытом очеркиста: то, что записываешь в корреспондентском блокноте, впоследствии оказывается не самым главным. Как-нибудь я напишу именно о том, что оказалось незаписанным. С этим нужно торопиться, незаписанное умирает». Читая «Скарабея на ладони» (о давнем и дальнем путешествии А. Горобовой), убеждаешься и в том, как это незаписанное значительно и интересно, и даже спустя многие годы это — осевшее в памяти художника-публициста — не умирает. Удивляешься зоркости писательского глаза, умению образно воссоздать саму атмосферу, воздух чужой страны, как ни скоротечны бываю зарубежные путешествия. «Теперь я знаю, — пишет А. Горобова, — поездки по свету — это прежде всего раздумья. Мир вдруг начинает вращаться, как гигантский оживший глобус...»

Путешествие к Гиссарскому хребту писательница совершила десятилетия назад молодой, начинающей очеркисткой. Воспоминание о тех днях, открывающее «Высокие равнины», она называет «За хвост осла». Собственно, никаких особо значительных событий во время этого трудного длинного пути не произошло. Из Самарканда выходит экспедиция, в которую А. Горобова во что бы то ни стало стремится попасть. В самом начале пути, раздосадованная придирками начальника экспедиции, человека мелочного, недоброго, она рискует в одиночку отправиться дальше. И вот без

¹ А. Горобова. А с двух сторон пустыня. М. «Советский писатель». 1970.

достаточного запаса еды, воды одна одолевает она труднейший путь через Гиссарский хребет. Шла, держась за хвост ишака, пылливо озираясь вокруг, чтобы пронести через долгие годы увиденное, и когда достигнет перевала, с чувством удовлетворения воскликнет: «Наверное, стоило пройти и гораздо более трудный путь только для того, чтобы подняться сюда... Никогда ни до того, ни после не доводилось мне бывать на такой высоте, не чувствуя страха, а только волю и гордость».

Что же толкнуло ее на этот поступок — авантюризм, безрассудство? Может быть, есть в нем доля и того и другого, но можно ли обвинить в пустом тщеславии тогда еще молодую журналистку, вспоминающую спустя годы, как выдавшие виды старики кишлака, увидев девушку, перешедшую через Гиссарский хребет, сказали ей, покачивая головами: «Ты очень храбрая женщина».

Главным было, разумеется, не безрассудство. Вела ее через песчаные барханы, зной, безводье иная движущая сила. Отправляясь с автором в далекое путешествие, читатель не только знакомится с новыми людьми, их духовным миром, с новыми землями, но как бы прослеживает от главы к главе, как шло становление человека, избравшего профессию, требующую отдачи делу всего себя. Становление человека, очеркиста, его самопознание, доверительное раскрытие «я» — лейтмотив книги. А верно замечено, что самовыражение в очерке сродни хорошему стихотворению. Именно эти свойства характерны для книг очеркистки А. Горобовой, в творчестве которой тесно переплетены размышления, пейзажи, портретные штрихи, публицистика.

«Высокие равнины» издаются второй раз. Но, думается, правомерно сказать об этом, втором издании, ибо оно значительно обогащено, в него вошли два новых очерка, едва ли не лучшие в книге: «За пленкой тишины» и «Врученный ему двор».

В первом очерке, может быть, явственнее всего звучит нота лично пережитого автором, ее горькая и счастливая любовь, от которой чем дальше бежит она, тем ближе и дороже становится любимый, тем глубже это лично пережитое позволяет ей заглянуть в себя, во внутренний мир других лю-

дей. С особой остротой, силой выражена здесь неутоленная жажда быть всегда в пути, в движении, и если неизбежен конец, то пусть он наступит в кабине машины: «Удар. Пауза. Пауза. Пауза. И впереди горы. И машина бежит. Пауза. И ваша фотография. И...»

«Врученный ему двор» — рассказ о дворнике дяде Ване. Надо иметь очень чуткое сердце, чтоб услышать самое глубинное в маленьком тщедушном старике, который вроде бы только и делал, что со всем тщанием подметал двор и строго следил за порядком в доме. Рассказ, как, впрочем, и все в книге, многолюден, но в нем нет безликих фигур. Быстрыми и точными штрихами даны обитатели двора, а в центре многофигурной композиции дядя Ваня. Он входит в круг невыдуманных, хорошо знакомых людей хозяином двора, покоряя душевной чистотой, природной добротой, цельностью и щедростью души, истинно русским складом характера. Сцена смерти дяди Вани по силе художественного изображения одна из сильных в книге.

Выше я писала о курсивных отступах, прославляющих книгу. Первое впечатление, что они живут особой жизнью, рассеиваются по мере вчитывания в содержание «Высоких равнин». Внутренне они связаны с очерками и подобно камертону настраивают на определенную тональность, порой давая как бы стереоскопическое, объемное видение пейзажей. Чтобы дать представление о характере таких отступов, приведу небольшую выдержку — мимолетный эпизод, запомнившийся автору:

«Мы остановились на крутом склоне и оттуда, со склона, увидели дерево... От этого дерева к нам как бы шла тревога, не шест, даже не какой-либо особый ветерок, и будто чувство тревоги. Оно еще неподвижно, но люди, стоящие вокруг, насторожились, разбежались, а дерево начало дрожать сначала мелкой дрожью — только листья, потом дрожь стала крупнее, охватила ветви, и дерево стало клониться в сторону, падать, срезая растущие рядом... деревья... Вот оно уже на земле, а там, в вышине, где была крона, вдруг открылось круглое голубое озеро, из которого хлынул свет...»

Такие отступы помогают глубже понять книгу, проникнуться ее душевным настроением.

В. ЕЛИСЕЕВА.

МАОИЗМ, ЕГО БУРЖУАЗНЫЕ ИНТЕРПРЕТАТОРЫ И АПОЛОГЕТЫ

Современный Китай в зарубежных исследованиях (Основные тенденции в Китаеведении капиталистических стран). М. «Наука». Главная редакция восточной литературы. 1979. 261 стр.

Подготовленная Институтом научной информации по общественным наукам АН СССР коллективная монография содержит обширный материал, показывающий особенности подходов в интерпретации маоизма, «культурной революции», политической и экономической системы Китая буржуазными исследователями, разоблачающий апологетическую сущность многих из них. В книге убедительно раскрыта реакционная роль маоизма в борьбе идей в современном мире, его враждебность силам социализма и мира.

Во введении ответственный редактор книги Л. Кюзаджян с основанием отмечает: можно было ожидать, что идеи Мао, сыгравшие драматическую роль в истории Китая, после его смерти будут трезво оценены его преемниками «по их реальному весу и значению». Этого, однако, пока не произошло. Более того, новые руководители Китая всячески стараются продемонстрировать свою верность маоизму как идейному знамени, а в сфере международной политики следуют шовинистическим, антисоветским установкам «великого кормчего», возводя их в ранг государственной политики КНР. О противоречивости, двуличии курса нынешних правителей Пекина наглядно свидетельствует так называемое дело «банды четырех». Именно на нее в Пекине взвалили всю ответственность за десятилетия хаоса в стране, разгром кадров, «огонь по штабам», за разгул хунвэйбинов. Между тем всем хорошо известно, что состояла эта «банда» из ближайших помощников председателя Мао, действовавших с его благословения и под его руководством. Подобное лицемерие пекинских верхов проявляется и в их отношении к «культурной революции». В китайской печати публиковались многочисленные данные об огромном ущербе, нанесенном стране этой «революцией», и тем не менее еще на XI съезде КПК в августе 1977 года китайские руководители пытались оправдать ее и ни словом не обмолвились о прямой ответственности Мао Цзэдуна за постигший Китай кризис.

Эти и многие другие факты настойчиво напоминают о необходимости еще большего

усиления марксистско-ленинской критики маоизма, развенчания мифа о нем как «единственном истинном учении». Наряду с самим маоизмом, подчеркивают страницы введения, заметный вред демократическим и прогрессивным силам был нанесен тенденциозно-апологетическим «исследованием» воззрений Мао Цзэдуна, использованным буржуазной пропагандой для возвеличивания его идей, для нападок на марксизм-ленинизм. Задачи критического анализа писаний такого толка, попыток представить маоизм как «продолжение и развитие ленинского учения», а самого Мао как выдающегося мыслителя и политика, ныне остается актуальной для исследователей-марксистов. Ее злободневность вызвана и тем, что адвокаты буржуазии, антикоммунисты по сей день не перестают распространять всевозможные выдумки о «преимуществах» китайского опыта, в особенности для развивающихся стран, преследуя цель дискредитировать теорию и практику реального социализма.

В чем главная причина апологии маоизма в работах буржуазных Китаеведов, чем объяснить их политическую тенденциозность и сознательное приукрашивание идей Мао? Критический разбор этих работ на страницах книги дает аргументированный ответ на данный вопрос. Приводя высказывание американского Китаеведа М. Оксенберга, который видит первостепенное значение маоизма «в создании новых идей и ценностей, коренным образом отличающихся от господствующих на Западе представлений о развитии общества», Л. Кюзаджян замечает, что порой трудно понять, чего больше в такого рода трактовках — незнания современной китайской действительности или умышленной тенденциозности, подсказанной политическими интересами авторов... Известно, какой огромный ущерб национальным интересам Китая нанесла маоистская политика, к каким негативным изменениям завоеванного революцией социально-экономического строя она привела. Но это несколько не смущает идеологов и политиков Запада. Главное для них — антисоветизм идеологической и поли-

тической платформы маоизма, его теории и практики.

Взять, к примеру, американских и английских экспертов-китаеведов Б. Шварца, С. Шрама, Ч. Джонсона. Их трактовка китайской «национальной модели социализма» преследует цель обосновать правомерность националистической политической платформы маоизма. Но совместить такую «правомерность» с ленинизмом им не удалось и не удастся. Исторический опыт учит, что только последовательное и неуклонное проведение пролетарско-интернационалистского курса способно противостоять давлению мелкобуржуазной стихии. «В стране с громадным преобладанием мелкобуржуазного населения над чисто пролетарским, — подчеркивал В. И. Ленин, — неизбежно будет сказываться — и от времени до времени крайне резко сказываться — различие между революционером пролетарским и мелкобуржуазным. Этот последний колеблется и шатается при каждом повороте событий». Ленинское предостережение бьет не в бровь, а в глаз маоистов, для которых особо характерны такие шатания «при каждом повороте событий», предопределившие их националистическое перерождение, волонтаризм, абсолютизацию ими политического насилия.

Особое место в книге отведено трактовкам маоизма с позиции либерализма. В ней ясно показано, что различные варианты буржуазной концепции целей и мотивов политики пекинского руководства в значительной мере оказываются несостоятельными, не служат пониманию социально-классового содержания происходящих в Китае процессов.

Потерпела фиаско теория синтеза маоизма с марксизмом, которую долгое время отстаивал один из известных американских китаеведов, уже упоминавшийся Б. Шварц. В последние годы он вынужден был пересмотреть свои взгляды и стал говорить о преобладании в идеях Мао национализма, преувеличенной роли идеологического фактора. Однако тезисом о «китайском коммунизме» он старается доказать общую тенденцию к образованию «национал-коммунистических режимов» и «кризиса мирового коммунистического движения». Критически рассмотрены в книге и взгляды другого видного западного синоведа, С. Шрама. Лондонский профессор старается убедить своих читателей в том, будто Коминтерн «навязывал» Китаю марксистско-ле-

нинскую теорию, не учитывая особенностей страны, пытается оправдать отход Мао от «советской доктрины», «советской модели социализма», превознося созданный им «марксистско-ленинский образец модернизации и экономического развития, приемлемый в условиях Китая». Завороженный «китаизированным марксизмом», Шрам вопреки исторической правде преувеличивает роль Мао, относит на его счет «победоносное руководство» КПК революционным движением, принося тем самым значимость марксистско-ленинской теории для Китая. Вместе с тем лондонский политолог вынужден признать, что в идеях Мао имеется «сложное противоречие», что он прежде всего «националист-революционер», что на первое место в маоистской доктрине следует поставить национализм.

Основательной критике на страницах книги подвергнуты попытки Шрама представить отказ Мао Цзэдуна от советского опыта строительства социализма по той причине, будто бы он убедился в том, что «русские методы не сработали в Китае», что Мао счел «ущемлением национальной гордости следовать образцу русских... и потому решил создать свой новый образец». В действительности же, и это широко известно, маоисты отвергли именно об.щ.и.е., подтвержденные всем ходом исторического развития закономерности строительства социализма, отреклись от основополагающих принципов марксизма-ленинизма, пролетарского интернационализма.

Западные синологи нередко обращаются и к исследованию древних корней маоизма, выявлению влияния на его политику старокитайских традиций. Западногерманские специалисты В. Бауэр и Т. Гримм отмечают, что в современном Китае влияние прошлого, негативное и позитивное, весьма сильно, что имеются «поразительные» параллели между маоизмом и дзэн-буддизмом, конфуцианством и даосизмом. Гримм особо выделяет связи социальной этики Мао и Конфуция, в которой подчеркнуты «роль лидеров», «вера в неограниченные возможности воспитания», а также восприимчивость маоизмом даосского принципа самоотречения. Следует упомянуть и оценки внешней политики КНР, исходящие из традиционных великодержавных факторов. Д. Фэйрбэнк и Э. Рейшауэр считают эту политику «продолжением и даже повторением великоимперских, великоханьских доктрин», а австралийский китаевед Ч. Фитц-

джеральд пытается объяснить ее традиционным китайским взглядом на мир, «в соответствии с которым Китай рассматривается как центр, единственный оплот истинной цивилизации, как законодатель для варварских народов». Однако несмотря на ряд метких наблюдений, буржуазным Китаеведам свойственна общая черта — неумение и нежелание связать маонизм, особенности деятельности Мао с социально-экономическими условиями современного Китая. Именно поэтому, как подчеркивается в рецензируемой книге, «концепции западных Китаеведов редко выдерживают проверку временем... главный их порок — тенденциозный подход к явлениям китайской действительности».

Значительное внимание в книге уделяется «лево»-радикальным интерпретациям маонизма. Апологетика исследователей этого толка проявляется прежде всего в том, что в маонизме они усматривают «прогрессивный и революционный» моральный элемент, якобы направленный на создание нового типа человеческих взаимоотношений. Американский синолог Дж. Дамьен оправдывал насильственные действия Мао, восхищался его теорией противоречий, практическим воплощением которой, по его мнению, является «диалектическое единство духовного и физического насилия», лживо утверждал близость маонистского понимания насилия с ленинской точкой зрения.

Стремление выдать маонизм за марксизм, перенесенный в Азию, характерно для другого «левого» американского специалиста, Р. Ли. В его представлении идеи Мао — это «идеология усиленного накопления и индустриализации на базе малого капитала», а система сяфан (принудительная отправка на физическую работу в деревню) — «реализация или отражение марксистского положения о ликвидации различий между умственным и физическим трудом». И. Шникель, выпустивший в Западном Берлине сборник документов о «культурной революции», старается убедить читателей, что она завершила борьбу со старой культурой, начатую кампаниями критики киноискусства, литературы, искусства и науки, идеологического воспитания, философии. Эти и другие построения «левых» и некоторых видных либералов, защита ими авторитарного маонистского режима, распространение мифа о его антибюрократизме, отмечается в рецензируемой книге, порочны и несостоятельны. Проводимые ими параллели между

маонистской непрерывной и троцкистской перманентной революцией не принесли западным синологам «научного дивиденда». И та и другая одинаково пагубны, ибо «обрекают трудящихся, победивших в одной стране, либо на пассивное выжидание, либо на авантюристические действия. Все это в корне противоречит принципам революционного марксизма, идеологии и политике пролетарского интернационализма».

Большинство западных авторов связывают судьбы экономического развития Китая с тем стратегическим курсом, который изберет постмаонистское руководство. Кое-кто исходит из того, что этот курс не будет маонистским; другие, как бы подсказывая руководителям Китая, надеются на закрепление раскольнической политики. Один из опытных специалистов по Китаю, американский синолог А. Д. Барнетт, считает, что «Китай не собирается совершить никакого «скачка» или вернуться к какой-либо другой радикальной политике в области экономики», что «китайские лидеры, вполне возможно, со временем изберут менее идеологизированный подход к экономической политике и станут уделять больше внимания поискам практических путей увеличения сельскохозяйственного и промышленного производства». В работах западных экспертов четко очерчиваются их «предвидения» осуществления в Китае программ повышения продуктивности сельского хозяйства путем внедрения новой техники и современных агротехнических методов, что должно привести к пересмотру внешней торговой политики, к допущению иностранных, то есть капиталистических, кредитов. А за этим в свою очередь, надеются на Западе, может последовать «размягчение политического режима КНР», подключение его к «мировому сообществу». Цели подобной интерпретации, переливки характера экономического развития Китая очевидны: превратить его в придаток монополий капиталистических стран, сделать зависимым от них. Антикоммунист и антисоветчик Дж. Рю, восхищающийся «китайским опытом» отхода от «русского образца», убежден в том, что принципы, на которых основана китайская экономика, — государственная собственность на средства производства, коллективное хозяйство в деревне — должны быть изменены и что китайские лидеры «изменяют их»...

Что касается внешней политики КНР, то ее, по мнению А. Д. Барнетта, будет опреде-

лять сочетание «сильного национализма» и «гибкого прагматизма». За ультрареволюционными фразами маоистов о национально-освободительном движении, его роли в борьбе с империализмом Фэйрбанк и другие буржуазные специалисты видят скрытую готовность лидеров Пекина потворствовать политике западных держав. Эта гегемонистская политика, констатирует профессор Колумбийского университета К. Чжень, подготовила почву для китайско-американского сближения, она же служит препятствием улучшению советско-американских отношений.

В книге доказательно разоблачены такие аргументы западных Китаеведов в пользу наращивания военного потенциала Китая, в том числе ракетно-ядерного, как обеспечение его национальной безопасности, создание «минимального средства устрашения» против ядерных угроз. Многие из буржуазных синологов повторяют ложь пекинской пропаганды о стремлении СССР окружить Китай. Подобными «доказательствами» западные специалисты хотят обосновать тезис о «неагрессивности» внешнеполитического курса маоистов. Подчеркивая общие цели Пекина и Вашингтона, призывая к выработке ими «многополюсного баланса сил», эти политологи «отражают стремление правящих кругов Соединенных Штатов Америки максимально использовать в своих интересах великодержавный, националистический курс маоистского руководства», что, как показано в рецензируемой книге, свидетельствует о политической их тенденциозности, «упорном стремлении всячески подыгрывать националистической политике маоистов, направленной против социалистического содружества».

Подводя итоги, автор заключения пишет о некотором видоизменении позиций западных Китаеведов в последнее время, о серьезном уроне, понесенном апологетическим промаоистским направлением левацкого толка, о его кризисе, о вновь усилившемся антикоммунистическом, «консервативном» направлении. Прагматический курс руководства КНР после ухода Мао, считают большинство синологов Запада, это отход от крайних аспектов «идеологии Мао», а не отказ от нее в целом. Лишь отдельные специалисты, как С. Лэй, говорят, что идеям Мао будет отведена «безобидная роль формальной государственной религии». Некоторые западные эксперты высказываются в духе демаонизации, но весомой поддержки не получают.

Между тем Китай переживает один из самых сложных моментов в своем развитии. Еще не зажили глубокие раны, оставленные «культурной революцией», тяжкие последствия политических кампаний последних пятнадцати лет не преодолены. Принципиальная оценка «культурной революции», роли Мао Цзэдуна еще не дана, и, видимо, не случайно: вокруг этих вопросов борьба в руководстве продолжается и вряд ли будет достигнуто единое мнение в ближайшем будущем. Китайские лидеры по сей день продолжают настаивать на том, что идеи Мао могут направлять движение китайского общества и впредь. Однако несомненно и другое: в недрах китайского общества, во всех его слоях все больше людей приходят к ясному осознанию пагубной роли этих идей в прошлом и невозможности руководствоваться ими в будущем. Именно к такому выводу и приходят советские исследователи маоизма в рецензируемой книге.

В. КАРПУШИН,
доктор философских наук.

Я. ПОВАРКОВ,
кандидат философских наук.



ИЗВЕЧНЫЙ КРУГОВОРОТ

И. Н. Велецкая. Языческая символика славянских архаических ритуалов. М. «Наука». 239 стр.

Еще в индоевропейской общности, задолго до того, как из нее выделились славяне и другие народы, существовало и прошло сквозь тысячелетия представление о вечном и неизменном круговороте жизнь — смерть — жизнь. Это представление зародилось не на пустом месте. Оно результат пристального наблюдения человека над явлениями природы: движением звезд, Солнца, Луны, сменой времен года, цикличностью роста растений и т. п. Наблюдения эти были необходимой составной частью жизнедеятельности человека, особенно с той поры, когда стало применяться и распространяться земледелие.

В соответствии с представлением о круговороте жизнь — смерть — жизнь сама смерть воспринималась как переход в новое состояние существования, как возвращение на далекую прародину, откуда приходят вновь рожденные и куда возвращаются. Там обитают могущественные предки, тесно связанные с космическими силами, имеющими решающее влияние на все стороны жизни человека, в особенности на его аграрную деятельность, да и на всю земную жизнь. Автор рецензируемой книги считает, что именно из этого воззрения в глубине веков зародился ритуал проводов на тот свет — насильственное умерщвление при первых признаках появления старости как проявление культа предков. Ритуал этот существовал у многих народов. Например, у древних римлян шестидесятилетних стариков сбрасывали с моста в Тибр, у многих народов ритуальное умерщвление производилось уже по достижении сорокалетнего возраста. У славян, исконных земледельцев, ритуал проводов на тот свет был особенно тесно связан с аграрными культами, со стремлением посредством своих «послов» оказать нужное воздействие на силы природы — прекратить или предотвратить стихийные бедствия, обеспечить хороший урожай... Души умерших следовали в потусторонний мир по Млечному Пути, а сами они перевоплощались в птиц, деревья, новорожденных детей и т. д. Тесно был связан с потусторонним миром, с культом предков и образ эмеи — превратившись в нее, умершие умели управлять небесными стихиями. Огромное значение имело представление о вечном бессмертном дереве жизни, корни которого находятся в подземном мире, ствол — между небом и землей, ветви ухо-

дят в космос. Это дерево жизни также — стопребывание богов и душ умерших, связанное с их перевоплощением, возвращением на землю и т. п. Архаичный ритуал проводов на тот свет наложил глубокий отпечаток на славянскую календарную и похоронную обрядность, и без знания этого ритуала, его мировоззренческой основы и его смысла невозможно понять многие явления истории материальной и духовной культуры славян.

Однако постепенно в славянском обществе зрело понимание жестокости и безнравственности ритуала насильственного умерщвления стариков. Опыт и житейская мудрость стали цениться выше загробного покровительства предков. Ритуал проводов на тот свет терял свою мировоззренческую социальную основу, вырождаясь в грубую традицию, а затем в обычай и в драматизированное обрядово-игровое действо (масленичные обряды, обряды, связанные с празднованием дня Ивана Купалы, и ряд других языческих обрядов, перешедших в трансформированной форме в христианскую обрядность), наконец, просто в игру. Живые люди заменялись их изображениями, например соломенными чучелами, куклами. При переходе от ритуала к драматизированному действию его функциональное (в частности, аграрно-магическое) значение еще частично сохранялось и полностью исчезло лишь на последней стадии трансформации ритуала — превращения его в молодежные игры. Сам ритуал постепенно заменялся его знаковыми обозначениями — например, сербский обычай ходить босиком по горячему пепелищу, прыжки через костер и т. д. как знаковое обозначение кремации. Рудименты ритуала проводов на тот свет содержатся в потоплении или сожжении человекоподобных чучел, в славянской жатвенной обрядности (действиях с последним снопом), в святочном, новогоднем, масленичном ряжении и т. д. Более того, ритуал насильственного умерщвления, проводов на тот свет сменяется представлением о насильственной смерти как о явлении противоестественном, требующем особого обряда погребения. Ритуал же преждевременного умерщвления человека сменяется драматизированным погребением знака самой смерти (похороны «кукушки», Костромы, Ярилы...). Происходит переход от культа предков к культуре старейшин,

Длина цепь эволюции — от представления об извечном круговороте жизни и смерти к умерщвлению стариков как посланцев к предкам, к космическим всемогущим силам и далее через множество трансформаций к почтению к старикам и признанию важной роли их опыта и мудрости в жизни общества. Культ предков играл определяющую роль в славянском языческом мировоззрении, в генезисе языческой обрядности. Значение его оставалось весьма существенным и в народной традиции христианства. Этот культ предков был у славян тесно связан с аграрными культурами.

В славянской культуре сохранились лишь трансформированные, пережиточные формы первоначального ритуала. Понимание этого ритуала дает возможность проникнуть в сущность символики архаичнейших явлений славянской обрядности. Конструктивное исследование символики, знакового содержания архаических славянских ритуалов, семантики фольклорных образов тормозятся недостаточной изученностью общендоевропейского праславянского слоя в славянской народной культуре.

Такова вкратце захватывающе интересная картина языческой символики славянских архаических ритуалов, их эволюции и изучения, нарисованная в книге Н. Велецкой. Значение ее для изучения истории мировоззрения и культуры славян трудно переоценить. Поражает огромное количество и разнообразие источников (не говоря уж о литературе), умело использованных автором: древнеиндоевропейские, древнегерманские, восточные, балтские, угро-финские, кавказские, античные, средневековые письменные источники, летописи, хроники, предания славянских народов, народов Севера, данные археологии, фольклора, мифологии и т. д. Особенная сложность исследования всех этих видов источников заключается в том, что они содержат не только отрывочные, но и как бы перемешанные, спрессованные све-

дения, относящиеся к различным этническим и хронологическим слоям и пластам. Автор, широко применяя сравнительно-исторический метод, корректируя и дополняя его типологическими и другими методами, расщепляет, отделяет один пласт явлений и их сущность от другого и выстраивает длинную цепь трансформаций — от ритуала к драматизированному обрядно-игровому действию и к игре. Не все аспекты исследуемых явлений представляются в достаточной мере разработанными, а выводы обоснованными, автор и сама отмечает гипотетичность ряда своих построений и целых звеньев в цепи трансформаций. Особенно, как нам представляется, это относится к первому звену — переходу от представлений о возвращении стариков на родину или прародину к наследственному умерщвлению стариков или стареющих людей. В целом же эволюционный ряд, выстроенный автором, кажется убедительным. Однако остается неясным, как связываются все эти изменения в ритуалах и обрядах с мировоззренческими, нравственными, идеологическими и общенсторическими изменениями, а ведь это важнейший вопрос. Вряд ли есть надобность указывать на мелкие недоработки. Судя по статьям Н. Велецкой, появляющимся в советской и зарубежной печати, работа над исследованием праславянских и славянских архаических ритуалов и их рудиментов продолжается. В нарисованной автором картине превращений и трансформаций, яркой, эмоциональной, красочной, интерес представляет не только конечный результат, итог, но и каждое звено в этой цепи, каждый этап.

Книга Н. Велецкой, содержащая богатый познавательный материал о важных этапах формирования и трансформации взглядов древних славян на жизнь и смерть, представляет большой интерес не только для ученых различных специальностей, но и для самых широких кругов читателей.

Г. ФЕДОРОВ,
доктор исторических наук.



КОРОТКО О КНИГАХ



СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ГЛАЗАМИ АМЕРИКАНЦЕВ. 1917—1977. Документы и материалы. М. «Мысль». 1979. 348 стр.

Читатель сборника с первых же его страниц оказывается захваченным той страстью и гражданским мужеством, с которыми лучшие сыны и дочери Америки, не смотря на грозившие им преследования властей, выступали с разъяснениями социальной сущности нового строя, в защиту его от империалистической интервенции и реакции. Достоинство книги в том, что к хорошо известной публицистике Джона Рида, Альберта Риса Вильямса и других американцев, побывавших в советской России в бурные годы революции и гражданской войны, она добавляет материалы малоизвестные или еще не публиковавшиеся на русском языке. «Нет сегодня на земле страны, которая более страстно боролась бы за идею братства людей, чем Россия», — писала социалистическая газета «Нью-Йорк ивинг колл» 1 августа 1918 года. «Трудящиеся протягивают руку через океан» — так была озаглавлена статья в чикагской рабочей газете «Нью маджорнти», призывавшая всех прогрессивных американцев бороться за вывод интервенционистских войск Антанты и США из России.

Пропаганда правды о Стране Советов тем более важна, что ей приходилось и приходится пробивать дорогу через мощный барьер лжи и дезинформации, воздвигнутый буржуазной прессой и другими средствами массовой коммуникации. «Американцы слышали столько лжи, что правду им разглядеть трудно, — с сожалением констатировал уже во второй половине 70-х годов известный драматург и писатель Джон Говард Лоусон. — Роль Советского Союза ясна всем мыслящим людям, но у многих американцев нет возможности узнать правду. Вопросы мира и разрядки напряженности необходимо разъяснять». Именно таким разъяснением внешней и внутренней политики СССР своим соотечественникам занимались писатели и публицисты Д. Смит, К. Ламонт, У. Мэндел, У. Помрой, певец

П. Робсон, художник Р. Майнор, журналист А. Шилдс и многие другие представители прогрессивной Америки. Большая заслуга в донесении правдивой информации о нашей стране до рядовых американцев принадлежит Коммунистической партии США и ее печати.

Документы и материалы рецензируемой книги показывают, что на всех этапах истории задача ознакомления общественного мнения США с достоверными фактами экономического, социального, политического и культурного развития СССР тесно переплеталась с задачей борьбы за улучшение и расширение советско-американских отношений во всем их комплексе. В апреле 1946 года, после окончания второй мировой войны, когда, с одной стороны, еще были живы традиции сотрудничества двух стран, направленного на разгром гитлеризма, а с другой — за океаном уже явственно крепил голоса противников продолжения этого сотрудничества в мирное время, Национальный совет американо-советской дружбы принял программу своей дальнейшей деятельности под условным, но ярким названием «Операция «Дружба». Эта программа включала «просвещение широких масс американского народа в отношении Советского Союза», обмен специалистами в области культуры, науки, торговли, борьбу за мир и международное сотрудничество.

«Операция «Дружба» не закончилась — к такому выводу приводит ознакомление с выступлениями прогрессивных американцев, и не только коммунистов, на протяжении 70-х годов, когда необходимость перехода от политики конфронтации к политике разрядки стала особенно насущной. «Советский и американский народы всегда нуждались друг в друге», — отмечает председатель Американо-русского института в Сан-Франциско Х. Робертс.

Читатель закрывает книгу с обеспокоенной надеждой, что необходимость сотрудничества с СССР со временем будет осознана все большим числом американцев.

Ю. Игрицкий.

А. ЧАЧКО. Искусственный разум. М. «Молодая гвардия». 223 стр.

Если отбросить интригующие метафоры «искусственный разум», «думающая машина» и тому подобное, то перед нами встает волнующая мозаика научного поиска, направленного на расширение логических и информационных возможностей ЭВМ.

Искусственный интеллект (термин этот был предложен в конце 50-х годов для обозначения работ по программированию интеллектуальных игр) ныне уверенно завоевывает статус нового научного направления. Оно, возможно, объединит научные интересы многих специалистов, так как задачи построения искусственного интеллекта тесно переплетены с проблемами таких традиционных наук, как логика, лингвистика, психология и, разумеется, философия.

Автор начинает свое повествование с первой женщины-программиста Ады Лавлейс (дочери великого английского поэта Байрона), которую «потрясла способность машины... обрабатывать самый человеческий, самый интеллектуальный материал — слова», и заканчивает его разбором работ американского философа Х. Дрейфуса, который без всяких оговорок называет искусственный интеллект... алхимией ХХ века.

Такая противоречивость оценок возможностей искусственного интеллекта требует как можно более реалистического анализа всей проделанной работы в этом направлении. «Сегодня в сложном термине «искусственный интеллект», куда ни кинь, всюду сомнения», — пишет А. Чачко. И в связи с этим он предлагает менее романтический термин Искинт, понимая под Искинтом «фактический уровень» развития дела.

После изобретения ЭВМ алгоритмизация начала свое стремительное наступление, завоевывая себе все новые территории, тесня неформализованное умение. Вот неплохая иллюстрация этой бурной атаки алгоритмов. В начале 50-х годов интегрирование в отличие от дифференцирования считалось «серьезной умственной работой», и студенты многие недели проводили в непрерывных упражнениях, для того чтобы овладеть этим искусством. Ныне же, как мы узнаем из книги А. Чачко, американский специалист по искусственному интеллекту Р. Риш придумал алгоритм интегрирования многих видов выражений, и, следовательно, интеллектуальная, творческая работа стала рутинной. Природа человеческой деятельности такова: что сегодня является целью, завтра станет средством достижения новой цели, а то, что было творческой работой, перестает быть творческой. Но сама человеческая деятельность при этом не становится рутинной, так как вновь поставленные цели и возникшие отсюда задачи еще нельзя формализовать — для них еще предстоит создавать алгоритмы.

В последних главах А. Чачко уделяет много внимания диалогу человеческого и машинного интеллекта. Раз нельзя дол-

ностью формализовать человеческое мышление, то нередко нужен «обходной маневр» — симбиоз человеческого и искусственного интеллектов, то есть необходимо фактически реализовать то, к чему в свое время призывал Н. Винер: «...отдать человеку человеческое, а машине машинное». Именно на путях этого взаимодействия получены наиболее важные с практической точки зрения результаты.

В заключительной главе книги, названной «Акушеры нового», автор дает волю своим «кибернетическим амбициям», называя психологов, которые смело идут за кибернетиками и проверяют обоснованность своих теорий посредством моделирования на ЭВМ, сторонниками «гелиоцентрической системы», а психологов, которые не хотят использовать ЭВМ (этот новый телескоп, который кибернетики вручили психологам), — сторонниками «системы Птолемея». Разумеется, такое резкое противопоставление неоправданно, так как современная психология понимает мыслительную деятельность как движение по двум логикам: логике, возникающей в результате взаимодействия человека с телами внешнего мира, и логике, формирующейся у человека в результате овладения знаковой деятельностью. Искусственный интеллект часто хромает в тех ситуациях, где требуется интуиция, здравый смысл, неуловимое чуть-чуть. Это и понятно — пока он вооружен только второй из названных разновидностей логики, а не двумя логиками. Сможем ли мы вооружить его первой логикой, пока что неясно.

Умелое переплетение исторического фона с романтикой сегодняшнего научного поиска делает книгу доступной и полезной для широких кругов читателей.

Ю. Орфеев,

кандидат философских наук.



Е. МАРХИНИН. В пасти огнедышащих драконов. Владивосток. Дальневосточное книжное издательство, 182 стр.

Автор этой увлекательной книги — известный советский вулканолог Е. Мархинин, посвятивший всю свою жизнь изучению огнедышащих драконов. Месяц за месяцем, год за годом шел ученый от вулкана к вулкану, от извержения к извержению, изучая их нрав и повадки, пытаясь разгадать, какие силы управляют вулканической активностью.

«Мне привычны канонады вулканических взрывов, свист раскаленных бомб, рев газовых струй на берегах горячих кратерных озер. Вулканические конусы колебались у меня под ногами, и раскаленный шлак обжигал подошвы ступней через толстые подметки сапог. Много раз ощущал я жаркое дыхание огненной лавы. Мне знакомы жгучие запахи вулканических газов и кислот,

как у лимона, вкус снега в кратерах вулканов», — рассказывает автор о пережитом.

Книга состоит из двух частей. В первой ее части описываются извержения вулканов, расположенных на Курильских островах, — Заварицкого и Сарычева, Алаида и Тяти. Вторая часть посвящена вулканам Камчатки — Ключевской сопке, Безымянному, Шивелучу, Аваче. Особенно подробно рассказывается об извержении 6 июля 1975 года новых вулканов.

Пытаясь изучить закономерности, которым подчиняется деятельность вулканов, Е. Мархинин задался целью выяснить и их роль в жизни нашей Земли. Большинство ученых до сих пор отвергают гипотезу, что жизнь берет свое начало от вулканов. Автор книги держится противоположной точки зрения. Он утверждает на основании проделанных им многочисленных анализов вулканических выбросов, что вулканы не только выносили (и выносят) из недр Земли первые органические соединения, но в процессе извержения создают предбиологические соединения, например аминокислоты, и тем самым «положили начало творению жизни». Так, в пеплах вулкана Тятя было обнаружено более ста сложных органических соединений, в том числе углеводородов и аминокислот, занимавших около 0,04 процента общего объема вещества. По подсчетам автора, вулканы ежегодно в среднем выбрасывают примерно 3 миллиарда тонн вулканического пепла.

Исходя из этих данных, Е. Мархинин приходит еще к одному существенному выводу: что во время извержения образуются углеводороды, которые могут «вместе с пеплом поступать в бассейны накопления осадков». Насколько справедливы выдвигаемые автором гипотезы, покажут последующие исследования.

Само название этой интересной книги вызывает желание прочесть ее. И нужно сказать, что читатель не будет разочарован.

Б. Розен.



Н. А. ТРОИЦКИЙ. Безумство храбрых. Русские революционеры и карательная политика царизма 1866--1882 гг. М. «Мысль». 335 стр.

В. И. Ленин, создавший научно обоснованную концепцию революционного движения в России, высоко оценил его второй этап, связанный с деятельностью революционеров-разночинцев. «Несомненно, эти жертвы пали не напрасно, — писал он, — несомненно, они способствовали — прямо или косвенно — последующему революционному воспитанию русского народа. Но своей непосредственной цели, пробуждения народной революции, они не достигли и не могли достигнуть». Эту миссию предстояло осуществить пролетарским революционерам.

Трудно представить себе историю второго этапа русского революционного движения без анализа более 220 политических процессов, устроенных царизмом в 1866—1895 годах. Рецензируемая книга, во многом обобщающая предыдущие исследования Н. Троицкого, написана на богатом фактическом материале, с широким привлечением архивных документов. Автор основательно проработал все опубликованные и неопубликованные стенографические отчеты о процессах, изучил протоколы судебных заседаний, агентурные донесения, тюремные письма революционеров, их воспоминания и другие самые разнообразные источники.

От судебной реформы 1864 года и вступления в силу судебных уставов до конца 1882 года — таковы хронологические рамки данного исследования. В центре книги — поведение революционеров на следствии и суде, эволюция их тактики и даже этики, разоблачение последственными и подсудимыми произвола, беззакония, келейности и палаческого пристрастия царской Фемиды. Заслуга автора в том, что он впервые обратил внимание на значение изучения политических процессов народников и воссоздал их целостную картину как заключительного акта борьбы революционеров. Политические процессы тех лет исследованы им в первую очередь как важная арена революционной борьбы с самодержавием и одновременно орудие карательной политики царизма.

Показателен в этом отношении процесс «50-ти», на котором революционеры впервые в России превратили скамью подсудимых в трибуну для провозглашения и обоснования революционной программы. Мужество и стойкость подсудимых на процессе увлекали за собой и тех, кто был послабее. Неграмотный рабочий Василий Ковалев, воодушевленный поведением на суде своих товарищей, заявил: «Я не был пропагандистом. Теперь, здесь, на суде, я сделался пропагандистом. И теперь, господа судьи, если вы меня взяли, то держите крепко, не выпускайте, потому что, если выпустите, я буду знать, что делать».

В работе рассматриваются карательные функции царского судопроизводства, расчеты, которыми руководствовался царизм, устраивая политические процессы, а также техника их проведения. Автор обрисовал все судебные инстанции, занимавшиеся политическими делами (а также суд присяжных — с объяснением, почему он с самого начала был отстранен от политических дел), характерные для того времени типы судей, прокуроров, следователей, портреты верховных заправил царского суда.

С целью исправить имеющиеся в литературе фактические ошибки Н. Троицкий составил полный перечень всех политических процессов в России за период 1866—1895 годов с указанием точных дат и судебных инстанций. Список подсудимых по процессам с анкетными сведениями о каждом был составлен и приложен

автором в его предыдущих работах. Попытка составить подобные списки уже была предпринята в календаре «Народной воли» в 1883 году, но они были гораздо беднее, без анкетных данных, с ошибками и большими упущениями. Автор воссоздал ход некоторых процессов — нечаевцев, участников казанской демонстрации, «193-х»...

Монография Н. Троицкого несомненно представляет собой заметный вклад в историографию русского революционного движения.

Н. Черкасова.



НИКОЛАЙ САМОХИН. Так близко, так далеко. Повесть. «Сибирские огни», 1979, № 5:

Все произведения Николая Самохина — пишет ли он очерк о сегодняшнем дне бассейна Оби, или повесть о собственном детстве, или вот рассказывает, казалось бы, незамысловатую историю о том, как сугубо городской человек купил дачу, — каждая его книга (я уж не говорю о сборниках фельетонов) окрашена иронией — веселой, злой, грустной. А говорят ведь, что ирония — стыдливость человечества. Ирония будто своеобразный скальпель, которым автор рассекает и небольшой нарыв и изъязв побольше, спрятанный поглубже.

Все чаще мы задумываемся и говорим о здоровье земли, о бережном отношении к ней. Экология приобретает весомый авторитет. Но подчас мы больше говорим, чем делаем. Это и старается вскрыть своим скальпелем автор.

Мелкий факт — человек купил дачу. И неожиданно оказался в гуще проблем. Что-то щекочет собственную совесть: и радость за свою семью, которой теперь есть куда выехать душным летом из города; и беспокойство за эту семью — вот и они захотели быть дачевладельцами, собственниками; и притягательность случившегося, и тревога — не порок ли кроется за этой притягательностью? И даже тревога окрашена иронией: беспокоюсь, мол, а все-таки купил! Не ханжа ли ты к тому же?

Эти вроде бы семейные радости и тревоги по ходу сюжета перерастают в тревоги куда более глубокие. Такие, например, как честность и ответственность за свои и чужие поступки, долг перед будущими поколениями...

Автор умеет лаконично сказать многое о своих героях. Вот реплика одного из них, соседа по даче, с которым лирический герой отправляется на ночное дежурство вокруг дачного поселка: «Чудесно! Взял он вилы и топор и отправился в дозор! Слушайте, говарищи дорогие, не знаю, как вам, а мне с этой палкой еще страшнее, чем без нее. А ну как и вправду кого-нибудь скарраулим?»

Бить их будем? Ребра ломать?» Здесь все: и характер, и нравственный облик, и, пожалуй, социальное положение человека.

Лирический герой прислушивается к разговору соседей и думает — что же это такое, возникшее в последние годы повертие на дачевладения и садовые участки: «Полигон, где тренируется угрюмая собственность, или лаборатория по восстановлению утраченной любви к земле?» Он не воображает себя единственным радetelem природы. Он знает, что рядом, в Академгородке, обсуждают проблемы экологического равновесия ученые... Но не опоздать бы — вот о чем болит душа!

Да, все чаще и чаще мы задаем этот вопрос и мысленно и в письменном виде: правильно ли распоряжаемся богатствами земли, все ли делаем, чтобы сохранить их?

Ведь не случайно в тех же «Сибирских огнях» три года назад была опубликована повесть Ильи Лаврова «Обитатели Медвежьей ложбины», в которой лирично, в другой тональности, но звучит та же тревога. И пробуждается она тоже у сугубо городского человека, прикоснувшегося к земле.

Видно, само время рождает и такие произведения, как «Царь-рыба» В. Астафьева, и такие, как повести Николая Самохина и Ильи Лаврова.

Н. Макарова.



БОРИС ШМИДТ. Стихи о моих сокровищах. Петрозаводск. «Карелия». 1979. 198 стр.

Борис Андреевич Шмидт без малого пятьдесят лет работает в литературе. Первая его книга стихов («Веселый бог войны») вышла в 1931 году. За ней последовали другие. Борис Шмидт — автор свыше 10 поэтических сборников. Новая его книга в известном смысле итоговая. Она не включает в себя все стихотворения поэта, не является его и з б р а н н ы м — и все же подводит итог поискам и размышлениям автора, который испытывает настоятельную потребность вернуться к тому, что им пережито, и осмыслить свой опыт с высоты сегодняшнего дня.

Участник войны, Борис Шмидт пишет о блокадном Ленинграде, который ему довелось защищать, об испытаниях, через которые пришлось пройти ему и людям его поколения. Давно породнившийся с Карелией, он обращается к рунам и былинам края Калевалы, к песням Заонежья, сказкам Беломорья, говорит о «деревянном мудром зодчестве» Кижей. Ленинградец по рождению, проведший в городе на Неве детство, отрочество и молодость, он ощущает свою неотрывность от родных мест.

Он вырос на окраине северной столицы России, на Охте. С волнением подходит он к улицам, где прошло его детство, где все изменилось до неузнаваемости, где ни одна подробность нынешнего городского пейзажа

не напоминает о прошлом. Там, где некогда лепились друг к другу деревянные домишки, вырос новый современный горбд «весь из стекла, бетона и металла». Ничто не связывает поэта с новым обликом старых мест, но в его отношении к этой крутой и разительной перемене, в которой как бы материализовалось движение самого времени, нет и тени угрюмства: «С двояким чувством: будто бы ограблен и вроде всех богаче стал душой, — я ухожу растеряно, как Чаплин, огням большого города чужой».

Верно, конечно, что на воспоминаниях об ушедшей юности (это ведь еще Пушкин сказал) поэзия далеко не уедет. Но верно и то, что человек не может мысленно не возвращаться к прожитым годам, не может не сопоставлять день нынешний и день минувший, которым равно принадлежит. Вопрос в том, что он извлекает из этого сопоставления. Борис Шмидт сравнивает то, что было, с тем, что есть, не для того, чтобы констатировать очевидное. Взгляд в прошлое дает толчок его мысли, помогая ему постичь движущую силу времени. Чувство, с которым он оглядывается на прошедшее, свободно от мелочного раздражения. Сожаление, такое естественное для человека зрелого возраста, о том, что ушло, и ушло навеки, лишено горечи. Об этом чувстве можно было бы сказать строками Пушкина: печаль моя светла...

Имя Пушкина не случайно приходит здесь на ум. Едва ли не добрая половина стихотворений сборника связана с Пушкиным, который для их автора больше, чем высочайшая литературная вершина. Пушкин был неизменным его спутником на протяжении всей жизни — в годы мира и в годы войны. С томиком его стихов он не расставался на переднем крае. Фронтовые дороги автора прошли через пушкинские места на Псковщине. Стоит ли удивляться тому, что Борис Шмидт все снова и снова возвращается к пушкинским строкам, что он с жадным интересом ловит каждую подробность, так или иначе связанную с биографией великого поэта и памятью о нем? Он пишет и о первой любви Пушкина, и о его встрече с Кюхельбекером, о пребывании его на Кавказе, о болдинской осени, о Михайловском...

Нет ничего проще, чем зачислить эти стихи по ведомству произведений вторичных. Прельщаться этой простотой не стоит. Вторичность поэтического произведения определяется не материалом, на котором оно строится, а машинальным, то есть в конечном счете не выношенным, внешним усвоением этого материала. Случается, что на произведения, в основе которых лежит самый что ни на есть живой и новый жизненный материал, ложится печать книжности. Ложится потому, что их авторы, лишённые подлинной самобытности, вольно или невольно пропускают этот материал через книжное восприятие. И наоборот, самые, казалось бы, книжные темы, многожды варьировавшиеся в литературе, обрета-

ют свежесть и непосредственность, когда они рождены самостоятельным восприятием этих тем.

Прав Д. Благой, когда пишет (его слова приведены в открывающем сборник Б. Шмидта редакционном обращении «К читателю»):

«Особенно дорого мне в Ваших стихах, что по ним я увидел, какое громадное значение имел и имеет для Вас — и человека и поэта — Пушкин-гений, создание которого было под силу только великому народу, Пушкин, с которым и в личных бедах и невзгодах, и в больших исторических испытаниях воистину «не пропадешь!».

Л. Абелев.



ВИТАУТЕ ЖИЛИНСКАЙТЕ. Парадоксы. Юморески, пародии. Авторизованный перевод с литовского Б. Залесской и Г. Герасимова. М. «Советский писатель». 1979. 255 стр.

Обычно авторские сборники принято озаглавливать по названию одного из помещенных в них произведений.

В книге Витауте Жилинскайте «Парадоксы...» рассказа с таким названием нет. Тем не менее автор рискнула вынести на обложку именно такое — откровенно декларативное и, в общем, обязывающее название. Ведь парадоксы являются одной из самых любопытных категорий в теории комического, читателей непременно заинтересует книга, в которой собраны образцы парадоксов, как заинтересовали бы их анекдоты, гротески, абсурдистские диалоги.

Итак, В. Жилинскайте сразу же предупреждает, что на первый взгляд ее произведения могут показаться противоречащими здравому смыслу. Однако если разобраться подробнее, то обнаружится, что в них выражена справедливая мысль. Два примера.

Жители нового дома очень любят заасфальтированную улицу, на которой он расположен. Однажды на асфальте появилась маленькая выбоинка, и те же жители с нетерпением начинают ждать, когда она станет большой ямой. Ведь до тех пор, пока в яму не угодит вверх колесами какая-нибудь машина, никто не станет чинить дорожку («Яма»).

Для привлечения туристов районное начальство решило организовать ресторан в виде старинной придорожной корчмы — замшелой развалюхи, освещенной лучинами. Подбирая для своего дитяща колоритные детали, организаторы ресторана в конце концов додумываются до того, что на выходящих из корчмы посетителей должны нападать разбойники и очищать их карманы. Должности маскарадных разбойников они оставляют себе («Старинно и современно»).

В. Жилинскайте не сводит свои юморески до уровня одномерного анекдота, и там, где иной автор остановился бы, она идет дальше. Достаточно сослаться на рассказ «Кое-что» или «Самозванец». По дому ходит но-

вый сантехник — вежливый, элегантный, гладко выбритый. Никто из жильцов не решается впустить его в свою квартиру. Тогда через несколько дней он появляется в подпитии, мятый, небритый. Сатирик послабее сразу бы изобразил, как угодливо распахнулись перед ним все двери. «Но мы не бросились отпирать двери, — пишет В. Жилинскайте и объясняет: — Кто однажды вышел из доверия, не так-то легко завоеует его!..»

Два слова хочется сказать и о помещенных в сборнике литературных пародиях. В. Жилинскайте не стала выделять их в специальную рубрику, понимая, очевидно, что пародия ее хобби, а не основная профессия. Да они и представляют собой нечто среднее между рассказом, чисто пародией и литературным фельетоном. В книге они выглядят не очень органично, им не хватает «зубастости», хотя некоторые пародии просто блистательны, к примеру «Голубые диалоги».

Взяточники, любители показухи, бюрократы, другие носители определенных пороков — вот объекты сатиры В. Жилинскайте. Врагом же номер один для нее является ме-

щанство во всех его модификациях. Многие рассказы написаны от первого лица. При этом автор надевает на себя маску женщины в меру плутоватой, кокетливой, злоязычной, то есть маску женщины с не самыми страшными на житейский взгляд недостатками. Трудно удержаться от смеха во время чтения и трудно не загрузить к финалу новелл, когда становится особенно ясен весь ужас разъедающего людские души мешанства.

Если говорить об опыте классиков сатирической литературы, то в произведениях В. Жилинскайте можно услышать твеновские нотки. Это объясняется не подражанием М. Твену, а схожестью «генотипа» дарования, в котором оригинальное остроумие дополняется умением с тонким психологизмом показать характеры персонажей.

Рассказы В. Жилинскайте читать легко — в них не навязывается готовое мнение. Просто таким образом расставлены акценты, что каждому легко сделать собственные выводы. И выводы эти будут весьма однозначны, ибо воинствующая позиция автора по отношению ко всякого рода недостаткам выражена весьма четко.

Ал. Хорт.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Краткий биографический очерк. Изд. 8-е. 160 стр. Цена 30 к.
В. И. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. 384 стр. Цена 75 к.
В. И. Ленин. Последние письма и статьи. 71 стр. Цена 5 к.
Маркс, Энгельс, Ленин, КПСС об управлении экономикой. Хрестоматия. 344 стр. Цена 65 к.
Л. И. Брежнев. Об основных вопросах экономической политики КПСС на современном этапе. В 2-х тт. Т. 1, т. 2. Изд. 2-е, доп. 568 стр. Цена 1 р. 10 к.
В. Дягилев, М. И. Ульянова. Изд. 2-е. 160 стр. Цена 30 к.
Н. Кузьмин. Рассвет. Повесть об Артеме. 454 стр. Цена 1 р. 60 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Ф. Абрамов. Дом. Роман. 342 стр. Цена 1 р. 10 к.
М. Бажан. Знаки. Стихотворения и поэма. Перевод с украинского. 94 стр. Цена 50 к.
Н. Глазков. Неповторимость. Стихи и поэма. 158 стр. Цена 45 к.
Л. Иванов. Корпус директорский. Очерки. 367 стр. Цена 1 р. 40 к.
Е. Осетров. Человек-песня. Книга о М. Исаковском. 256 стр. Цена 65 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

О. Вацетис. Избранное. Стихотворения и поэмы. Перевод с латышского. 287 стр. Цена 1 р. 30 к.
В. Коротич. Прозрачный ливень. Стихи. Перевод с украинского. 203 стр. Цена 80 к.
З. Надковская. Избранное. Перевод с польского. 459 стр. Цена 2 р. 80 к.
В. Сароян. Приключения Весли Джексона. Роман. — Рассказы. («Классики и современники») Перевод с английского. 382 стр. Цена 2 р. 70 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Р. Кашаускас. Неведьки наши грехи. Роман и повести. Перевод с литовского. 380 стр. Цена 1 р. 50 к.
Р. Погодин. Перейти речку вброд. Повести и рассказы. 479 стр. Цена 1 р. 10 к.
А. Преловский. Вековая дорога. Поэмы. 128 стр. Цена 60 к.
Тысяча и одна улыбка. Книга молодых юмористов. 351 стр. Цена 1 р. 10 к.

«СОВРЕМЕННОК»

А. Кешоков. Звездный час. Стихи. Перевод с кабардинского. («Новинки «Современника») 127 стр. Цена 45 к.
К. Лагунов. Больно берег круг. Роман. («Новинки «Современника») 528 стр. Цена 2 р. 10 к.
Ю. Нагибин. Заброшенная дорога. Рассказы. 249 стр. Цена 1 р. 90 к.
Г. Пащенко. Зал ожидания. Рассказы и повести. 336 стр. Цена 1 р. 40 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Дридзо. Надежда Константиновна. Повесть. 223 стр. Цена 70 к.
Б. Зюков. Друзья моих военных лет. Очерки. 112 стр. Цена 45 к.
Г. Кублицкий. Твоя Родина — Советский Союз. Научно-художественные очерки. 191 стр. Цена 2 р. 40 к.
С. Полетаев. Озорники. Повесть. 239 стр. Цена 65 к.

ВОЕНИЗДАТ

И. Беляев. День седьмой, как день первый. Документальная повесть. 352 стр. Цена 70 к.
Б. Изюмский. Плевенские редуты. Роман. 326 стр. Цена 1 р. 30 к.
В. Степанов. Полюса. Стихи. 287 стр. Цена 1 р. 20 к.
А. Югов. Страшный суд. Эпопея. 815 стр. Цена 3 р.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 24/XII 1979 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 20/II 1980 г.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 печ. л.)
А 03334. Тираж 320.000 экз. Зак. 3994.

Отпечатано с матриц ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5, в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94. Зак. 0831

Цена 70 коп.

70636